

ЗНАМЯ

В НОМЕРЕ:

М. ГЕОРГАДЗЕ

«ТОРЖЕСТВО ВЕЛИКИХ ИДЕЙ»

Роман

Василия СМЕРНОВА

«ОТКРЫТИЕ МИРА»

Повесть

Леонида ЖУХОВИЦКОГО

«ТОЛЬКО ДВЕ НЕДЕЛИ...»

Рассказы

Михаила ЗОТОВА

Стихи

Вс. РОЖДЕСТВЕНСКОГО, И. БЕ-
ЛОУСОВА

Соратники В. И. Ленина

С. ЦВИГУН

«НАШ ФЕЛИКС»

К 180-летию Г. Гейне

Мариэтта ШАГИНЯН

«НАЕДИНЕ С ПОЭТОМ»

Очерки и статьи

А. НЕЖНОГО, С. БОРЗУНОВА,
В. НИКОЛАЕВА, В. ОСИПОВА,
З. КЕДРИНОЙ, А. БОЧАРОВА,
Н. ПЕТРЕНКО, В. РАЗУМНЕВИЧА

12

1 9 7 7

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ЗНАМЯ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

М. Георгадзе	◆ Торжество великих идей	3
Василий Смирнов	◆ Открытие мира. Роман. Окончание	12
<u>Вс. Рождественский</u>	◆ «Не теряй ни единого мига...». Цикл стихотворений . . .	106
Леонид Жуховицкий	◆ Только две недели... Повесть	111
Иван Белоусов	◆ Первая просека. Сти- хотворение	169
Михаил Зотов	◆ Два рассказа	170

*Ежемесячный журнал
Выходит с января 1931 г.*

ДЕКАБРЬ

К Н И Г А
Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»
1977

Горизонты Нечерноземья

Александр Нежный	◆ Три ступени вверх	182
------------------	----------------------------------	-----

Соратники В. И. Ленина

С. Цвигун	◆ Наш Феликс	199
-----------	------------------------	-----

180 лет со дня рождения Г. Гейне

Маризтта Шагинян	◆ Наедине с поэ- том	212
------------------	-----------------------------------	-----

Страницы героической летописи

С. Борзунов	◆ На пути к победе	221
-------------	------------------------------	-----

100 лет со дня рождения А. Упита

Яркий, самобытный талант 230

У книжной полки

В. Осипов	◆ Надежный помощник партии	233
В. Николаев	◆ За добрые контакты .	236
А. Бочаров	◆ Преемственность идеалов	240
Н. Петренко	◆ Вписать свою строку... .	242
З. Кедрина	◆ Достижения и поиски . .	244
В. л. Разумневич	◆ Окно в мир прекрасного	247
М. Маркин	◆ На одном дыхании . . .	249
Содержание журнала «Знамя» за 1977 год		250



М. Георгадзе,

секретарь Президиума Верховного Совета СССР

ТОРЖЕСТВО ВЕЛИКИХ ИДЕЙ

Подходит к концу 1977 год, который по праву станет яркой вехой в истории Советского государства как год величайших событий: 60-летия Великого Октября и принятия новой Конституции СССР — Основного Закона жизни развитого социалистического общества. Как подчеркнул товарищ Л. И. Брежнев, это не просто совпадение во времени двух крупнейших событий в жизни страны. «Связь между ними гораздо глубже. Новая Конституция — это, можно сказать, концентрированный итог всего шестидесятилетнего развития Советского государства. Она ярко свидетельствует о том, что идеи, провозглашенные Октябрем, заветы Ленина успешно претворяются в жизнь».

Победа Великой Октябрьской социалистической революции стала главным событием XX века. Сегодня, с вершин ее 60-летней годовщины, особенно очевидно, что все наиболее значительные прогрессивные события современности прямо или косвенно связаны с Великим Октябрем. По существу, нет ныне ни одного народа, ни одной страны, на судьбах которых не отразилось бы благотворное влияние Октябрьской революции. Она коренным образом изменила ход развития всего человечества, положила начало переходу от капитализма к социализму, открыла эпоху борьбы за освобождение народов от империалистического гнета. Ее победа открыла путь к радикальной перестройке отношений между народами и между государствами на началах дружбы и взаимопонимания, равноправного сотрудничества и мирного сосуществования.

Во всех этих великих преобразованиях века роль первопроходца, первооткрывателя новых путей прогресса человечества выпала на долю советского народа. Эта историческая миссия не легка. Она требует колоссального напряжения сил, энергии, требует великой веры в торжество идей коммунизма. И советский народ вот уже на протяжении шестидесяти лет под руководством родной Коммунистической партии с честью выполняет эту высокую, ответственную миссию. Он героически отстоял революционные завоевания в годы гражданской войны и интервенции, превратил отсталую аграрную Россию в страну передовой индустрии, построил социализм и успешно строит коммунистическое общество. Укрепилась дружба и братство людей разных национальностей, населяющих Союз ССР, небывалых высот достигло развитие науки и культуры. Никогда не померкнет героиче-

ский подвиг советского народа, одержавшего историческую победу в Великой Отечественной войне.

«Победа Великой Октябрьской социалистической революции вывела нашу страну, наш народ в авангард социального прогресса. И сегодня, спустя 60 лет, мы занимаем достойное место на его самых передовых рубежах. Мы первыми на земле создали развитое социалистическое общество, мы первыми строим коммунизм»,— говорил товарищ Л. И. Брежнев в докладе на совместном торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященном празднованию 60-летия Великого Октября.

Ныне наша Родина — могущественная, высоко развитая держава, стоящая на самых вершинах научного, технического и культурного прогресса. В ее грандиозных успехах и свершениях воплотилась огромная работа и непреклонная воля Коммунистической партии, вдохновляемой гениальными ленинскими идеями, воплотился самоотверженный труд советского народа.

В больших успехах, достигнутых страной, — немалый вклад деятелей советской литературы и искусства, которые с первых дней Октября всегда шли в одном строю с народом, честно и преданно служили делу партии, идеям коммунизма. Их произведения широко и глубоко охватывают всю жизнь советского общества, постигают ее проблемы, ярко и талантливо воспевают достижения советского народа, наш образ жизни, которым мы так гордимся.

Советский образ жизни — это наше великое социальное завоевание. Он характерен коллективизмом и товариществом, дружбой и братством всех наций и народностей, подлинным нравственным здоровьем человека. Советский образ жизни отличается гуманизмом и демократизмом, высоким уровнем сознательности, идейной убежденности, патриотизма и социалистического интернационализма. Именно в совокупности эти качества каждой личности и создают все условия для полнокровной, содержательной жизни, удовлетворения ее потребностей, ее всестороннего развития.

Общие, не зависящие от социальных и национальных различий черты поведения, характера, мировоззрения советских людей постепенно приобретают у нас решающее значение.

В результате героического труда советского народа в нашей стране построено общество развитого социализма, «...то есть достигнута такая ступень, такая стадия зрелости нового общества, когда, — как отмечал товарищ Л. И. Брежнев, — завершается перестройка всей совокупности общественных отношений на внутренне присущих социализму коллективистских началах».

Развитое социалистическое общество — это общество подлинной демократии, общество, политическая система которого обеспечивает все более активное участие трудящихся в государственной жизни, сочетание реальных прав и свобод человека с гражданской ответственностью.

Коммунистическая партия постоянно ведет работу по дальнейшему совершенствованию демократических основ нашего общенародного государства. Итогом этой деятельности, отражением исторических завоеваний социализма явилось выдающееся политическое событие нынешнего юбилейного года — принятие новой Конституции СССР.

Положения нового Основного Закона страны были подготовлены всем ходом развития нашего государства, теми существенными изменениями, которые произошли в экономике, социальной структуре общества, в духовной сфере, в международном положении СССР за последние десятилетия. Высокая значимость новой Конституции для Страны Советов, исторических судеб Родины обусловила особую заботу Коммунистической партии, Центрального Комитета КПСС,

Политбюро во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым о подготовке Основного Закона. Осуществлена гигантская теоретическая работа, связанная со вступлением советского общества в период развитого социализма. Проанализированы и оценены новые явления и процессы современного мира, разработан и всесторонне обоснован политический курс применительно к нынешним условиям коммунистического строительства. Все эти положения и выводы, характеризующие новый этап в развитии общества и государства, получили отражение и закреплены в Конституции СССР 1977 года.

Конституция СССР в полной мере восприняла и отразила высшие идеалы и цели партии в коммунистическом переустройстве общества, реальную политику КПСС и Советского государства.

Как известно, принципиальные положения, главные черты Конституции были определены XXV съездом КПСС. Надо отметить также, что Конституция СССР 1977 года построена на началах преемственности, она обобщает весь советский опыт конституционного строительства. Вместе с тем в ней воплотился опыт государственного строительства в братских социалистических странах.

Майский (1977 года) Пленум ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета СССР, одобрив проект будущего Основного Закона, разработанный Конституционной Комиссией, решили вынести его на всенародное обсуждение. Чтобы обеспечить широкий, свободный и деловой обмен мнениями, проект 4 июня 1977 года был опубликован в центральной и местной печати, переведен на языки народов Советского Союза, издан в союзных и автономных республиках, обнародован по радио, доведен практически до каждого советского человека.

Всенародное обсуждение проекта Конституции проходило в обстановке огромного политического и трудового подъема советских людей. Всеобщее воодушевление и энтузиазм особенно усилились после опубликования решений шестой сессии Верховного Совета СССР, избравшей Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Своими выдающимися личными качествами, своим самоотверженным трудом на благо Родины товарищ Л. И. Брежнев снискал горячую любовь и уважение советских людей. Он выступает перед лицом нашего народа и перед лицом всего мира как самый авторитетный представитель Коммунистической партии и Советского государства. Решение высшего органа власти страны, реализовавшего рекомендацию майского Пленума ЦК КПСС, имеет глубокий политический смысл, отвечает высшим интересам советского общества и государства, выражает постоянное и неуклонное возрастание руководящей и направляющей роли Коммунистической партии во всей жизни страны.

Всенародное обсуждение проекта Конституции стало убедительным проявлением социалистического демократизма, стало кровным делом каждого гражданина. В обсуждении приняло участие свыше ста сорока миллионов человек, то есть более четырех пятых всего взрослого населения страны. Причем каждый, кто считал нужным внести какие-либо предложения и замечания по проекту, имел полную возможность сделать это. Широко обсуждался проект в партийных организациях, на партийных активах. Проект Конституции был обсужден на сессиях всех Советов — от сельских и поселковых до Верховных Советов союзных и автономных республик. Свыше двух миллионов народных избранников приняли участие в работе сессий, триста двадцать две тысячи депутатов выступили по проекту. В наиболее многочисленном звене представительных органов — сельских Советах — выступил каждый пятый депутат. Самой главной, самой характерной чертой обсуждения явилось полное и горячее одобрение основных положений проекта, выражение безраздельной под-

держки внутренней и внешней политики КПСС и Советского государства.

Ход обсуждения проекта был постоянно в поле зрения Президиума Верховного Совета СССР. Уже в июне 1977 года Президиум заслушал доклады председателей президиумов Верховных Советов Украины и Литвы о начале этой работы в республиках, а несколько позже были рассмотрены итоги обсуждения проекта на сессиях Советов. Повседневное внимание этому вопросу уделял Л. И. Брежнев, который живо интересовался ходом обсуждения, характером поступающих предложений и замечаний. Высказанные в ходе всенародного обсуждения предложения и пожелания трудящихся аккумулировались в Конституционной Комиссии. Как подчеркнул на сессии Л. И. Брежнев, «всенародное обсуждение дало возможность заметно улучшить проект Конституции, внести в него ряд полезных дополнений, уточнений и поправок». В итоге всенародного обсуждения Конституционная Комиссия рекомендовала Верховному Совету внести изменения в сто десять статей проекта и добавить одну новую статью.

Наиболее многочисленными были предложения, которые касались роли труда при социализме. С учетом этих предложений в проект внесены необходимые дополнения. На основании предложений граждан в Конституции указано, что наше общенародное государство выражает волю и интересы трудящихся всех наций и народностей страны. Расширена и перенесена в главу о политической системе статья о трудовом коллективе — первичной ячейке всего нашего не только хозяйственного, но и политического организма. По настоятельному требованию многих граждан в Конституции подчеркнуты недопустимость уклонения от общественно полезного труда, обязанность гражданина бережно относиться к народному добру.

Уточнены некоторые положения, касающиеся дальнейшего развития социалистической демократии: включена новая статья о наказах избирателей, конкретизирован принцип ответственности и подотчетности органов управления и должностных лиц перед Советами и населением, точнее сформулированы статьи о вопросах ведения союзных и автономных республик, о полномочиях местных Советов.

Содержательным и интересным было обсуждение проекта Конституции на сессии Верховного Совета СССР.

Особый настрой был задан сессии докладом Председателя Конституционной Комиссии, Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева. Доклад, представляющий собой выдающийся документ творческого марксизма-ленинизма, содержит всесторонний и глубокий анализ итогов созидательной деятельности партии и народа за минувшие десятилетия, показывает перемены, которые коренным образом преобразили облик нашей страны, обстановку в мире, раскрывает закономерности развития советского общества и перспективы его продвижения к коммунизму. Доклад подводит итоги всенародного обсуждения проекта Конституции; основополагающая идея доклада заключается в том, что подлинным творцом Конституции 1977 года является советский народ. «Главный политический итог всенародного обсуждения, — сказал Л. И. Брежнев, — состоит в том, что советские люди сказали: да, это тот Основной Закон, которого мы ждали. Он правильно отражает наши завоевания, наши чаяния и надежды, правильно определяет наши права и обязанности».

В эти дни особенно ощущалась непосредственная живая связь дум и помыслов депутатов с думами и помыслами всего советского народа. От коллективов заводов и колхозов, строек и научно-исследовательских учреждений, от отдельных граждан в адрес сессии посту-

пали десятки тысяч трудовых рапортов и приветствий, а также указы избирателей депутатам голосовать за новую Конституцию.

Те, кто был свидетелем атмосферы, царившей на сессии, воочию видели, что вся работа высшего органа власти, от первых до последних минут, была яркой демонстрацией монолитной сплоченности советских людей вокруг КПСС. Главное, что отличало выступления всех депутатов,— это деловитость, глубокое понимание высокой ответственности за судьбы народа, гордость за свою социалистическую Родину, вера в торжество коммунистических идеалов.

В обсуждении проекта Конституции на сессии приняли участие девяносто два депутата. Выразив представленному на их рассмотрение документу полную поддержку и горячее одобрение, депутаты верховного органа власти высказали ряд обоснованных предложений. Они были внимательно рассмотрены Редакционной комиссией, по рекомендации которой в текст нового Основного Закона были включены изменения, касающиеся двенадцати статей проекта. В частности, Верховным Советом в ходе сессии приняты такие принципиальные дополнения, как положение о том, что основу личной собственности составляют трудовые доходы; что государство поощряет новаторство, творческое отношение к труду, способствует внедрению изобретений и рационализаторских предложений; что духовные ценности должны использоваться для нравственного эстетического воспитания.

Принятые по предложениям депутатов поправки касались также вопросов совершенствования управления экономикой, улучшения условий труда женщин, конкретизации права на творчество, повышения гласности в работе Советов, обязанности государственных и общественных органов рассматривать рекомендации комиссий Верховного Совета СССР и сообщать им о результатах рассмотрения.

После делового, всестороннего обсуждения доклада товарища Л. И. Брежнева и проекта Основного Закона депутаты единогласно приняли новую Конституцию Страны Советов. Этот исторический документ неразрывно соединил наше настоящее и будущее, стал яркой вехой нашей истории. В Заключительном слове на сессии товарищ Л. И. Брежнев дал развернутую программу действий всех партийных, государственных органов и общественных организаций, всех советских людей по претворению в жизнь воплощенных в новой Конституции огромных созидательных возможностей социалистической демократии — власти народа, власти в интересах народа.

Несколько слов об основных, принципиальных моментах новой Конституции СССР.

Исходя из реальностей сегодняшнего дня, она дает развернутую характеристику руководящей и направляющей роли Коммунистической партии, четко отражает действительное место партии в общественной и государственной жизни. Об этом сказано в первой главе Конституции, среди коренных положений советской политической системы.

Следующий принципиальный момент — подтверждение в Конституции факта создания в СССР развитого социалистического общества и превращения нашего государства в общенародное, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян, интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны.

Большой политический интерес представляет то, что новая Конституция не только закрепляет достигнутое, но и намечает ясную перспективу нашего развития. В ней прямо указывается высшая цель Советского государства — построение коммунизма.

Обобщая, можно сказать, что главное направление того нового, что содержит Конституция,— это расширение и углубление социалистической демократии. Получают дальнейшее развитие демократиче-

ские принципы формирования и деятельности представительных органов власти — Советов. Конституционно закрепляются сложившиеся положения о Статусе депутата. Подчеркивается участие в государственных делах общественных организаций, трудовых коллективов.

Конституция отражает новый этап в развитии и упрочении экономического могущества нашей страны — экономика СССР превратилась в единый народнохозяйственный комплекс, охватывающий все звенья общественного производства, распределения и обмена на всей территории Союза. Одним из интереснейших моментов в конституционном развитии страны, существенно отличающим нынешнюю Конституцию от предыдущих, является специальная глава «Социальное развитие и культура». Закрепляя нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции как социальную основу СССР, Конституция указывает, что Советское государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых различий, а также существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом. В этой главе говорится о мерах в области развития образования, науки, искусства, улучшения условий труда, повышения благосостояния граждан. Трудно переоценить значение этих положений новой Конституции для жизни нашего общества.

Выступая на совместном торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР 2 ноября 1977 года, товарищ Л. И. Брежнев отмечал, что новая Конституция СССР «еще раз подтвердила, что все преобразования, все перемены, которые совершаются в нашей стране, направлены прежде всего на обеспечение каждому человеку подлинно человеческих условий жизни. Она вновь убедительно показала, что понятия свободы, прав человека, демократии и социальной справедливости наполняются действительным содержанием только в условиях социализма».

Основной Закон — это очередной шаг в развитии конституционных прав советских граждан, усилении их гарантий. Исходя из наших достижений, из того, насколько углубилось, стало богаче и весомее фактическое содержание прав граждан, Основной Закон фиксирует целый ряд новых положений в этой области. Если раньше в Конституции говорилось о праве на труд, то теперь это дополняется правом на выбор профессии. Если раньше Основной Закон говорил о праве на материальное обеспечение в случае болезни, потери трудоспособности, то теперь вопрос ставится значительно шире: советским людям гарантируется право на охрану здоровья. Если раньше Конституция говорила о «всеобщем-обязательном начальном образовании», а затем об обязательном восьмилетнем образовании, то теперь — о всеобщем обязательном среднем образовании молодежи.

Огромнейшее социальное значение имеет конституционное закрепление права граждан на жилище. Это право, его гарантии отражают небывалый размах жилищного строительства в СССР, постоянное внимание партии и государства к решению жилищной проблемы.

Хочется особо остановиться на проблеме художественного творчества, свобода которого получила ныне конституционное закрепление. Отраднo сознавать, что наша творческая интеллигенция так высоко оценила глубокий смысл и содержание этого конституционного принципа. Что может быть лучше свободы создавать художественные ценности, делать их достоянием миллионов людей. Конституция СССР выражает поистине ленинскую заботу партии и правительства о постоянном повышении культуры общества: в ее 27-й статье прямо говорится, что государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.

Расширены конституционные положения о политических правах

и свободах граждан. В Конституции зафиксировано их право участвовать в управлении государственными и общественными делами, внести предложения в государственные и общественные органы, критиковать недостатки в работе, обжаловать в судебном порядке действия должностных лиц. В полном объеме подтверждены установленные Конституцией 1936 года свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций. Необходимо подчеркнуть, что Советская Конституция основывается на принципе единства прав и обязанностей граждан, на том, что права и свободы не могут, не должны использоваться во вред нашему обществу и государству, другим гражданам, в ущерб интересам народа. Это полностью соответствует важнейшим международным документам, отражает всемирно признанный принцип демократической общественной жизни. Конституция фиксирует обязанность советских граждан честно и добросовестно трудиться, защищать Родину, оберегать интересы государства, способствовать укреплению его могущества и авторитета.

В новой Конституции СССР специальная глава посвящена вопросам защиты социалистического Отечества — важнейшей функции государства, делу всего народа. Не приходится говорить, что свой вклад в это общее дело вносят все государственные органы, общественные организации, все граждане Страны Советов. Поэтому очень важно, что деятели искусства, писатели, педагоги, журналисты постоянно держат в поле зрения вопросы военно-патриотического воспитания советских людей, помнят о героях — защитниках Родины, воспитывают стойкой и мужественной нашу молодежь.

За шестьдесят лет своего существования Советское государство накопило огромный опыт в области национально-государственного строительства. Могучий Советский Союз, созданный волей народов, олицетворяет государственное единство советского народа, сплачивает все нации и народности в целях совместного строительства коммунизма. Новая Конституция исходит из того, что советская социалистическая федерация полностью себя оправдала. Характерно, что в Конституции отражено прогрессирующее сближение наций и народностей, которое обеспечивает укрепление союзных начал государства. Этот раздел Конституции базируется на неизменном принципе сочетания общих интересов Союза ССР и интересов каждой из образующих его союзных республик. В ходе обсуждения проекта предлагалось ввести в конституционном порядке понятие единой советской нации, поступали предложения о ликвидации союзных и автономных республик, об ограничении суверенитета союзных республик, об упразднении Совета Национальностей. Ошибочность этих предложений убедительно показана в докладе Л. И. Брежнева, говорившего на сессии, что социально-политическое единство советского народа вовсе не означает исчезновения национальных различий. Отметив, что в процессе коммунистического строительства происходит неуклонное сближение наций, Леонид Ильич сказал: «...мы встали бы на опасный путь, если бы начали искусственно форсировать этот объективный процесс... От этого настойчиво предостерегал В. И. Ленин, и от его заветов мы не отступим».

Еще одна черта, отличающая нынешнюю Конституцию от предшествующей, — наличие специальной главы о внешней политике Советского государства. Эта глава исходит из того, что СССР последовательно проводит ленинскую политику мира, выступает за обеспечение безопасности народов и широкое международное сотрудничество, достижение всеобщего и полного разоружения. С гордостью читаем мы в своей новой Конституции, что наша страна — составная часть мировой системы социализма, что СССР развивает и укрепляет дружбу, сотрудничество и товарищескую взаимопомощь с соци-

алистическими государствами на основе принципа социалистического интернационализма. Положения этой главы сразу разоблачают фальшивые разглагольствования западных и восточных пропагандистов об «агрессивных планах Москвы», «советской угрозе» и т. п. Каждому ясно, что государство, запрещающее пропаганду войны, конституционно закрепляющее идеи мира и международного сотрудничества, включающее в свой Основной Закон все десять принципов Заключительного акта Совещения по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в Хельсинки, в качестве основы для развития своих взаимоотношений с другими странами,— такое государство желает только одного — мирного, спокойного труда своих граждан, добрых отношений с другими странами и народами. «Мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы обеспечивать мирные условия для строительства коммунизма в нашей стране, для утверждения ленинских принципов мирного сосуществования государств с различным социальным строем, для предотвращения угрозы новой мировой войны», — говорится в Обращении ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР к советскому народу, принятом на торжественном заседании 2 ноября 1977 года, посвященном празднованию 60-й годовщины Великого Октября.

Особое внимание новая Конституция уделяет роли и месту Советов народных депутатов в коммунистическом строительстве. Советы — от сельских и поселковых до Верховного Совета СССР — составляют единую систему органов государственной власти. Как указывал Л. И. Брежнев, такое единство высших и местных органов, опора верховной власти на инициативу мест отражают главную суть Советов — их неразрывную связь с народными массами. Советы руководят всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь. Новая Конституция в значительной мере расширяет компетенцию местных Советов народных депутатов. Теперь за ними закрепляется разрешение всех вопросов местного значения — исходя из общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета. Они полномочны проводить в жизнь решения вышестоящих государственных органов, участвовать в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносить по ним свои предложения. На своей территории местные Советы обеспечивают комплексное экономическое и социальное развитие, осуществляют контроль за соблюдением законодательства всеми предприятиями и организациями — независимо от их подчиненности, координируют и контролируют их деятельность в области землепользования, охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.

Примечательно, что, согласно новой Конституции, Верховный Совет СССР правомочен решать все вопросы, отнесенные к ведению Союза ССР. Это значит, что компетенция высшего представительного органа приобретает всеобъемлющий характер, что он может принять к рассмотрению и решить любой вопрос общесоюзного значения.

Новая Конституция СССР опирается на проведенное в последние годы обновление и совершенствование всех отраслей законодательства. Были приняты общесоюзные и республиканские законы о труде, о браке и семье, о земле, недрах, лесах и водных ресурсах, о здравоохранении и народном образовании и многие другие. Вместе с тем новая Конституция возводит в ранг конституционного принципа дальнейшее укрепление социалистической законности и правопорядка.

Принятие новой Конституции означает начало огромной творче-

ской работы по ее претворению в жизнь. Перед страной, народом, перед государственными органами и общественными организациями, перед каждым советским человеком встают важные и ответственные задачи. Несомненно, должна еще больше активизироваться деятельность Советов народных депутатов всех ступеней. Прежде всего речь идет о возрастании их роли в деле выполнения намеченной партией широкой социальной программы, повышения эффективности общественного производства, развития всех сторон нашей социалистической демократии. Два миллиона двести тысяч депутатов будут решать все более сложные и разнообразные вопросы, участвуя в деятельности Советов. Перед всеми нашими государственными органами и общественными организациями встают задачи по значительному улучшению стиля и методов работы, строжайшему соблюдению государственной дисциплины; особое внимание должно быть уделено более чуткому отношению к творческой инициативе трудящихся, к их нуждам и заботам.

Новая Конституция является политической и юридической базой совершенствования советского законодательства, мощным импульсом дальнейшего развертывания законотворческой деятельности.

Закон о порядке введения в действие Конституции СССР поручил Президиуму Верховного Совета СССР подготовить проекты Закона о выборах в Верховный Совет СССР и Регламента высшего органа власти. Одновременно правительству поручено разработать проекты Законов о Совете Министров СССР, о народном контроле в СССР, а также о Государственном арбитраже. Имеется в виду, что Президиум определит порядок организации работы по приведению текущего законодательства в соответствие с новой Конституцией.

Во всех союзных республиках уже сейчас идет большая работа по подготовке новых конституций. Как известно, в июне—июле 1977 года Верховные Советы республик образовали с этой целью республиканские конституционные комиссии.

Принятие новой Советской Конституции явилось событием большого международного значения. Перед всем миром наглядно продемонстрирована сущность социалистической демократии, разнообразие форм и постоянный рост реального участия трудящихся в управлении делами государства и общества. Впервые в мировой истории в конституционный принцип государства возводится наиболее полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей. Трудящиеся всего мира убедились, как широки, многообразны и реальны права и свободы граждан социалистического общества. Новая Конституция СССР внесла свой вклад в сокровищницу опыта мирового социализма, в интернациональное дело борьбы за прогресс человечества, за прочный мир на земле.

«Пройдут годы, десятилетия, но этот октябрьский день навсегда останется в памяти народной как яркое свидетельство подлинного торжества ленинских принципов народовластия. И чем дальше будет продвигаться наше общество вперед по пути к коммунизму, тем полнее будут раскрываться отраженные в новой Конституции огромные творческие возможности социалистической демократии — власти народа, власти в интересах народа».

В этих замечательных словах товарища Л. И. Брежнева раскрыто историческое значение новой Конституции СССР — Манифеста эпохи строительства коммунизма.



Василий Смирнов

ОТКРЫТИЕ МИРА

РОМАН

Никто из односельчан, как знает Шурка, не напоминал отцу об увечье, безножье, не жалел его, хотя и ободрял по-своему. «Ты сам себе царь,— говорили некоторые зубоскалостые,— и кличут Миколаем и величают Лександрычем... Никто тебя не свергнет — живи, как бог на небе!»

Всю зиму отец жил и не на земле, как все, и не на небе, а ровно в горшке, слепой и глухой, кипел, точно сунутый в печь на огонь, в самый жар. Но скоро остывал, будто дрова прогорели,— сухие, березовые, долго ли,— подбросить же лишнюю охапку вовремя не успели. И словно копать лежала на его каменном лице, не отмоешь, одни глаза за часами тлели огненными углями, потом и они затухали.

Сейчас отец живет уж если не на небе, так и не в глиняном горшке. Он все видит и слышит и сам участвует в том неслыханном, небывалом, что происходит в селе, по округе, во всей, слышно, России. И прозывается волнующе-звонко — революцией. У них в избе, на самом видном месте, под зеркалом, висит на гвозде холщовая школьная торба с тетрадками-протоколами Совета, списками мужиков и баб, пожелавших земли, разными важными вырезками из газет. Там, в торбе, спрятано и письмо Ленина, напечатанное в солдатской газетке и понравившееся всем мужикам. Никто не смеет прикасаться к торбе. Ее бывший полновластный хозяин и то раскрывает сумку лишь по разрешению или приказанию нынешнего владельца — секретаря.

Отец теперь часто бреется. Интересно и жутко смотреть, как он это делает.

Шурка заранее припасает чайное блюдце и стакан горячей воды из самовара (отец всегда бреется по утрам). Ванятка и Тонька разыскивают в игрушках осколок зеркала, найденный ими на улице, прислоняют косо к солонке или кринке на столе и, толкаясь, глядясь в зеркало, дразнятся, показывая друг дружке язык, корчат смешные рожицы. Тем временем мамка достает из «горки», с самого ее верха, припрятанную жестяную банку, необыкновенную, трубкой, с картинкой, изображающей питерщика с намыленным лицом, похожего на деда-мороза. В банке, за тугой крышкой, хранится безопасная бритва, ее таинственные части, завернутые по отдельности в шел-

ковисто-тонкую захватанную бумагу: свертывающаяся из половинок ручка, металлическая гребеночка с зубьями по обеим сторонам, выпуклая железка с винтом и самое главное, без чего не побреешься,— тонкие, ржавые лезвия бритвы, тупые от многолетнего употребления. Есть еще в банке кисточка из белого волоса. Как все это великое богатство тут помещается, разуму непостижимо, а укладывается и крышкой закрывается, верьте Шурке.

Священнодействуя, отец кухонным ножом скоблит в блюде бережливими стружками драгоценный мамкин обмылочек, макает кисточку в кипяток и — извольте, камрад, бриться! — в блюде гора радужной пены. Начинается самое жуткое: глядясь в осколок зеркала, заранее страдальчески морщась, батя намыливает кисточкой щеки, подбородок, горло. Ребяшня за столом, сидя напротив, старается не дышать, не мешать. Перекосясь, шипя, отец с каким-то хрустом и скрежетом дерет щеку бритвой, и тотчас кровь проступает в царапинах.

— Черт те, опять порезался! — рычит-мычит батя, чуть не плача от досады. Двигая скулами, он натягивает мыльными пальцами кожу на щеках, подбородке и скоблит бритвой множество раз по одному и тому же месту. Темная кровь капает на стол.

Ребята втроем, наблюдая все эти муки мученические, глядя на кровь, страдая, жалея, повторяют невольно, как в зеркале, все то, что видят: перекосясь, шипят, охают, морщатся, и Шурке, ей-богу, вдесятеро больнее, чем отцу.

— Из Варшавы выписал, с часами, по объявлению,— говорит довольный отец, утираясь полотенцем, поданным мамкой, осторожно подстригает усы ножницами.— Ермак Павел, дружок, выдумщик, форсун, пристал: выпишем да выпишем — карманные часы вороненой стали, верный ход, и опять же бесплатный подарок — безопасная бритва на всю жизнь, лезвия сами затачиваются. Пять целковых всего с пересылкой... Легко сказать — пять! А ты их заработай... Послушался, ухайдакал синенькую. Часы года не проходили, и не починишь, мастера отказались, выкидывай на помойку. Только бритва и цела... да ножики-то затупились, хоть брось...

Выбритый, сразу посветлев лицом, помолодев, отец, если собирался на собрание в Сморгочвы хоромы за стол со снежной, негнущейся скатертью, надевал рыже-зеленую суконную гимнастерку, привезенную с войны, вешал себе через плечо холстяную Шуркину торбу и становился секретарем Совета — бог не бог, а полбога обязательно. Это и было его новым счастьем, такого не водилось у других, — вот оно какое, батино, особенное.

А Шуркино счастье было самое большое и самое редкостное. Каким-то образом оно вмещало в себя и отцовы и материны радости, надежды и вместе с тем и то, дорогое из дорогих, принадлежавшее без остатка только ему одному, — сладкие и горькие, понятные и непонятные, незаметные и ошеломляющие открытия, которые он делал для себя постоянно, в самых неожиданных случаях, особенно нынешней весной. Конечно, в его большом, ни на чье не похожем счастье видное местечко занимали любимые книги-книжечки. И не только чтение, но и выдача книг в школе желающим ученикам, по субботам, с десяти до двенадцати. Гляди и завидуй, какое он заслужил невозможное доверие-распоряжение Григория Евгеньевича Красного Солнышка! Да что толковать, всякому свое счастье. Но он, Шурка, нежадный и других осчастливит: дозволит и Петуху покомандовать, пожигь библиотекарем, утешится немного, и Растрепе даст побаловаться, и Володьку Горева не забудет, оплатит сторичей за «Овода».

Скоро Татьяна Петровна и Григорий Евгеньевич уедут, как постоянно бывает летом, гостить к сродникам до осени, и Шурка, пардон, Саша, ферцайюнг, Александр Соколов, гм... Сокол будет два ме-

сяца хозяином всей школы... Ну, не школы, ихнего класса, где стоит разлюбезный друже, незамкнутый, в царапках, рыжий шкаф, полнехонький растрепанных книг. Да-с, будет царствовать Александр Сокол, запомните. Ну не шестьдесят дней, восемь суббот, по два часика каждая. Порядочно! Горбатая Аграфена, сторожиха, станет приходить и, ворча, открывать ключом заднее школьное крыльцо, дивясь и сердясь. Она обязательно раскричится, наорет что-нибудь такое, похуже:

— Пожалуйте, сопленосый гражданин-товарищ учителенок, лезь к своим проклятушим книжкам. Без хозяев, где это видано?.. Да ноги-то босые вытирай, не следи, у меня чистый пол, слышишь?! Ах, чтоб провалиться скрозь землю всем вашим выдумкам, господи, и летом сдыху-покою мне нетути!..

В его счастье хватало простора для плуга, затмившего белый свет и самого Шурку, научившегося пахать с неумемно-молодой, веселой силой; находился потаенный уголок и для пронзительно-беспощадной песенки о том, как растили, поливали в саду мяту для того, кого любили, а кого именно — неизвестно. Нет, очень даже известно, припомни, кому в последнее время глядели бессовестно в рот, ловили каждое питерское словечко, смеялись, заигрывали, — по крайней мере так казалось другому человеку. И этому, другому, которого не замечали, советовали не стоять у крылечка, не злобить сердечко, этому человеку оставалось только подохнуть. Но счастье Шурки не было бы самым большим из больших, редкостным из редкостных, самым верным и справедливым, если бы оно внезапно, как это всегда бывает, не оживило недавно вечером в читальне подошедшего молодца с помощью круглых зеленых белым и зверушечей смуглой лапки. Кошачьи глазки, жмурясь, заметили его, отличили от других, подали милостивый знак. Он осмелел, взял мягкую лапку в горячую шершавую ладонку и повел заглавное свое счастье к книжному шкафу, в хвост диковинной мужичьей очереди, за романами про любовь.

Они получили, как оказалось, не романы, а рассказы, но все равно им теперь достоверно известно, что романы есть не что иное, как длиннущие рассказы про обыкновенную жизнь взрослых. Если написать, например, книгу про Шуркиного бату, мамку и про него самого, Александра Сокола, это и будет роман.

Он не мог потолковать всласть о такой приятной новости с Петухом, когда тот прилетел к ним со свистулькой-дудочкой для Тоньки. Нежности напрасные: дудочкой завладел Ванятка, уж больно она ему пришлось по душе. Дудочка была сотворена из черемухового, проткнутого гвоздем прута с тремя дырочками и пищиком, совсем как покупная. Яшка принялся учить Ванятку свистеть на разные голоса. Потом штопал питерской кукле живот, он прохудился, сыпались опилки. Какие тут разговоры про романы! К тому же Петух читал взахлеб «Овода», которого ему дал недавно Шурка, и ничего другого не хотел знать. Кроме «смит-вессона», конечно. Володька Горев, разрешив поносить, еще не спрашивал револьвер обратно.

Вообще о Растрепе Шурка никогда не разговаривал с Яшкой, хотя знал, что в Хохловке у Петуха есть Любка Солнцева, ихняя одноклассница, и он озорничал над ней больше, чем над другими девчонками. Однако Яшка, по всему видать, не страдал, не мучился, как Шурка. Любка ни с кем не водилась и только царапалась. Петух слюнил царапки, чтобы они не сильно саднели. Разве это любовь? Одно баловство. А здесь всамделишный роман про отца и мать и про самого сочинителя. Есть о чем поговорить... Надо было перекинуться наедине парой словечек с Растрепой, — в тайном, волнительном этом дельце она определенно кое-что смыслила. Мамка, отец, Шурка — это ли не роман?!

Когда менялись книжками, он поделился с Катькой своей догадкой. Но она затрясла червонной своей проволокой, закрученной шишкой на маковке.

— Выдумал! — фыркнула Катька. — Где же тут любовь? Мамки и тятки всегда только ругаются, а не любят... И у тебя одного не получится романа. Какой же роман у одного? Сиди на суку, распевай ку-ку!

— Ну, я не так сказал. Надобно написать книжечку не про одного меня, но и... про тебя, — поправился Шурка. — Про нас вместе. Тогда и будет роман... про любовь. Да?

Он чувствовал, что краснеет. Растрепка давно пылала огненно-махровым цветком.

— Да... — тихонько согласилась она и отвернулась.

Шурка тоже старался не смотреть на свою невесту. Он ни в чем ее не упрекал. И она ни в чем не оправдывалась. Может стать, и не было ничего, ему привиделось. Бывает такое наваждение, когда всякое лезет в глаза и в голову.

И пусть потерял платочек с голубыми буквами по углам, не сложишь по особому секрету уголки, но все равно он знает, кто и почему подарил ему носовичок. Наверное, закатилось, задевалось куда-то колечко, которое обещались носить до гробовой доски. Что ж из того? И без кольца и платка они страстно, как в книжках, в романах, навсегда любят друг дружку... Постой, как он немного разбогатеет, будет куплено в городе другое колечко, венчальное, серебряное, может, и золотое... И не платок носовой, а вышитый шелком кисет с табаком еще прежде очутится в кармане у парня-молодца — так положено издавна.

Они немного помолчали. Потом Растрепка, не утерпев, вскинулась на Шурку, как бес Клавка Косоурова, рассмеялась и ударила жениха книжкой по белобрысой голове.

— На, читай, как цыган Лойко Зобар любил цыганку Радду... до смерти! Он зарезал ее, Радду, и его самого за это зарезали... Вот роман так роман, вот это любовь!.. Учи-ись!

Шурка схватил книгу рассказов Максима Горького. Видать, не зря расхваливал его дяденька Никита Аладьин, он знает толк в книжках. Поглядим, почитаем, за что режут девок и парней на свете...

Однако читать рассказы Горького стало некогда, — прикатил из Питера сам генерал Крылов с новым управляющим. В усадьбе началось вытворяться такое, того и гляди кого-нибудь на самом деле зарежут или застрелят.

Держись, ребята-мужики!

Глава XIV

Подсобляльщики революции веселятся, ненавидят и жалеют

А поначалу казалось — беречься нечего. Хозяин усадьбы и на генерала вовсе не смахивал. Так, хромоногий старикашка в чесучовом, как праздничная косоворотка Устина-лавочника, мягком и легком костюме, и сам желтый, как чесуча, тощий, с растрепанной бородашкой, совсем нестрашный. Он не выпускал из руки дорогой, с украшениями, палки, припадал на нее, опираясь, ког-

да медленно расхаживал по саду в черной, не по погоде, шляпе, широкополой, схожей на воронье гнездо, стоял на пожарище, где был флигель, заглядывал брезгливо на скотный двор и конюшню, шествовал гумном к амбарам и кладовкам. Новый управляющий в клетчатой, броской одежде, с морщинистым, хоть и моложавым, бритым, длинным лицом, с ухватками приказчика, в необыкновенных темных очках, как бы безглазый, сопровождал барина вместе с Василием Апостолом. Дедко, без шапки, докладывал негромко в чесучовую спину свои новости и нужды, Крылов откашливался, будто собираясь заговорить и не говорил, молчал, безглазый же управляло, сбив на затылок чистенькую полотняную фуражку, все переспрашивал, забегая перед Апостолом, даже вынимал, как заметил Яшка, из бокового кармана записную книжечку с бронзовыми застежками, чиркал в ней показно тонким карандашиком.

В поле и в лес, в сосновую рощу, поехали в коляске, на Ветерке, с Трофимом Беженцем за кучера. Дед трусил за ними в телеге.

Полно, да был ли когда Крылов генералом? Он, правда, до войны приезжал однажды в усадьбу на тройке со станции, в белом мундире-тужурке с золочеными пуговицами и такими же червонно-солнечными, негнушимися, ослепительными погонами на плечах, не захотел разговаривать с мужиками о волжском луге и живо уехал обратно в город. Всего скорей его теперь прогнали из генералов, вот он и прикатил в усадьбу. Наверное, трусил на позиции, в окопах, и пришлось доставать из сундука чесучовый мятый пиджачишко.

Почему у него такая хорошая, знакомая фамилия? Он, конечно, и дальним родственником не приходится другому Крылову, которого знают и любят ребята. И слава богу, что не приходится.

Встречавшемуся народу, бабам, работавшим по двору, пленным, допахивающим пар, барин, не останавливаясь, пристально, молча глядел в лица, точно ожидая, когда ему первому поклонятся. И почти все это делали по привычке или от неожиданности, и тогда Крылов чуть кивал в ответ черной шляпой. А стоило чесуче немного отойти, как слышался смех, веселый разговор, может, про свое, наверняка не про чужое, но желтые, обвислые плечи поднимались, Крылов распрямлялся и переставал вроде хромать. Иные из сельских мужиков сами пронзительно-враждебно резали взглядами, не узнавали, и барин, хмурясь, опускал глаза.

Снохи Апостола говорили: вернувшись в свой дворец с башенкой, Крылов потребовал к себе дядю Родю Петушкова. Тот не пошел, сказав, что не служит нынче в усадьбе, солдат, на поправке из госпиталя, дел к Крылову не имеет. Если надобно что узнать, милости просим, пусть Виктор Алексеевич приходит к нему в людскую, чай не забыл, где его угол, или прямо в Совет, в село, в избу пастуха Евсея Захарова.

С этого и началось.

В тот же день Крылов прогнал из старших Василия Апостола. На его место, смешно подумать, поставили было Трофима Беженца. Трофим и рот разинул, выговорить слова толком не мог, лишь повторял: «пан... пан...» — и не кланялся, не благодарил нового управляющего, торчал перед ним как столб и только хлопал глазами. Ребятяня немедленно решила, что дурень очумел от «щастя», свалившегося на его лохматую, не снятую с головы, «капелюху», папаху. Но вышло — неправда, ошиблись. Беженца просто не поняли: он отказывался наотрез, да не знал, как вымолвить это по-русски, вежливо, чтобы не обидеть хозяев, боясь, что его за отказ прогонят раньше срока из усадьбы, куда он денется, если домой ехать еще нельзя. На выручку ему пришла жинка, хваткая на работу и на язык, наплела-наплела с три ласковых короба: и уезжать собрались в Зборово ридно, скоро за би-

летами на станцию пойдут; и смекалки, строгости маловато у ее смиренного человека эдакастые дела робить, приказывать он не умеет; лучше она за мужа распорядится бабами и пленными, коли их милость изволит; а уж честнее, заботливее Василя Еныча на усем свите билом нема, вот добрый, разумный пан пускай и рассудит сам, как тут ему надобно хлеще поступить.

Яшка сказывал потом Шурке, что Крылов вечером, должно быть, выпив за ужином, долго покачивался на высоком крыльце, барабанил по перилам палкой и бормотал не поймешь чего. Новый управляло осторожно-деликатно отвел его под руку в дом, сам явился к дяде Родю. Петуха собирались послать за протоколами Совета к Шуркиному бате-секретарю. Однако школьная торба не потребовалась, безглазый приказчик, не снимая темных очков, и так все видел и понимал, будто стоял за прилавком в магазине. Поводя лисьей мордой, как бы принюхиваясь, он вежливенько попросил товарища солдата-председателя созвать на послезавтра, часиков на двенадцать, этот свой комитет или как он там называется, который противу законно распорядился частной собственностью — землей и рощей. Тем временем они с генералом съездят в город, к уездному комиссару Временного правительства.

— Что-с? Может, не ездить?

— Хоть в губернию поезжайте, к самому Черношвитову, — ответил дядя Родя и обещал созвать заседание Совета в просимый день и час.

А когда Крылов вернулся из города, стало известно, что на Совет приедет сам уездный комиссар.

— Ну что ж, поглядим, послушаем уездную временную власть, — сказал, посмеиваясь, Митрий Сидоров, явившись на яблоневои ноге в село за новостями по обыкновению. — Мы ведь, едрена-зелена, тоже власть... и не временная, кажись.

— По деревням народу сказать, — придут, помогут, — многозначительно-кратко посоветовал Косоуров. — Да кто у них комиссаром-то? Лабазник Петька Савельев?

— Прогнали. Успел провороваться за весну, — отвечали всезнающие. — Школьный инспектур, набольший учитель какой-то сменил купчишку-хапугу, дьявол их разберет.

— Ха! Всяк себе хорош.

— А нам-то что? У нас правое дело: чужого не берем, своего не отдаем!

— Да уж кукиш получишь, хо-хо-хо!

Поразительно, мужиков теперь вовсе не пугал приезд Крылова. А совсем недавно они поди как стращали генералом друг друга. Когда же мужики успели перемениться? Шурка и не заметил. Да, может, они и не менялись, всегда были одинаково отчаянными, бесстрашными. Болтали прежде, дразнились, только и всего. Эвон, погляди, уездного начальства не боятся, одно любопытство и зубоскалство. Не зря, должно, говорится: мал у человека язык, а ворочает горы.

Какие горы будут ворочать завтра языкастые мужики-революционеры? Или обманет поговорка, не сбудется?

Шурка слетал в тот день в усадьбу тотчас после чая. Дядя Родя в гимнастерке с крестом и медалями, сразу став выше, зеленым знакомым дубом собирался пораньше в село, на Совет. Из города еще никто не приезжал, Крылов и управляющий-приказчик не показывались. У скотного двора толпились снохи Василя Апостола. Они почему-то не пошли нынче в поле. И пленные не работали, покуривали табачок на крыльце людской, как в воскресенье. А ведь ни баб дедка Василя, ни пленных нынешнее дело как будто не касалось. Чего же

они в будни прохлаждаются, точат лясы? И о чем эти лясы, интересно знать? Обрадовались, что старшого на них нет. Одна Тася, постояв, послушав родню, спохватилась, перевязала живо платочек и побегала полоть лен. И была она, тонкая, загорелая, с белой головкой, как ромашка на лугу.

Еще в усадьбе Трофим Беженец старательно смазывал колеса у господского тарантаса. Далеко, сильно, вкусно пахло дегтем. Трофим вынимал из большого, перепачканного кувшина-дегтярника палку с навернутой ветошью, крутил это макало, чтобы не пролить капли, и густой деготь тягуче, блестяще-жирной, темной лентой свисал и не успевал коснуться земли, туго свертывался вместе с тряпкой в лаково-черный бугор. Беженец так быстро, ладно совал его в железную втулку, что даже лишек не проливался. Трофим подхватывал его палкой, тряпкой и мазал лишком ось, чеки, всякие гайки, шкворни, чтобы добро не пропадало зря.

В окошко высунулся Василий Апостол.

— Бабы, нету на вас бога! — простонал он, дергая себя за косицы бороды, занявшей пол-окошка.— Ить четверг седня, не праздник... Марш отселева!

Снохи послушались, тронулись со скотного двора, а на гумне сызнава остановились, разбалакались, жинка Беженца, слышно, пела за троих.

— Арбайтен! — крикнул дед пленным.— Оглохли? Арбайтен!

Те оглянулись, тронули длинные козырьки австрийских кепок, приложили к ним ладони, отдавая деду честь и, улыбаясь, что-то отвечая по-немецки, чего не только дед, но и ребята не поняли, сунулись опять в свои кисеты.

Дед плюнул, захлопнул окошко.

— Скорехонько разладилась машинка,— сказал Яшкин отец.— В усадьбе Александр, Яков, как в государстве: мы скажем, хозяина нет.

— Почему нет? Мы хозяева! — хорохорясь, ответил Петух.

— Нос не дорос,— дернул его отец за веснушчатое курносье.

Он, дядя Родя, и вида не подавал, что ему, может, тоже, как всему усадебному народу, не по себе. Он казался насмешливо-веселым, как раньше, когда была жива тетя Клавдия. Дорогой все дразнил Яшку и Шурку, что не поспеть им, горе-писарям, нынче за народом, мозоли на пальцах натрут до крови, и бумаги на протокол не хватит.

Ребята кипели от желания поскорей схватиться за дело и важничали от предстоящих больших своих обязанностей. Их ничто не пугало, не беспокоило, все только радовало. Шутка ли, денек-то какой намечается: сам председатель Совета обещал разрешить им сесть за стол, рядышком с депутатами, чтобы ловчее было писать протокол карандашами Фабера, неслышно-мягкими, черными-пречерными, сбереженными за зиму в школьных сумках, в пеналах.

— Небось, угонимся, и бумаги хватит,— две чистых тетрадки припасли,— оборонялся от насмешек отца Яшка, и веснушки горели и прямо-таки шевелились на его разгоряченном лице.— Ты, тятка, постоянно стращаешь, а мы и не боимся... Карандашики наточили загодя.

— Вдруг сломаются от старания ваши точеные карандаши?

— А ножики-складешки на что? Глянь в карман — на привязи, не потеряются... Опосля перепишем протокол начисто чернилами, эге, Санька? Перышки у нас номер восемьдесят шесть, клякс не знают.

— Прикажи, дядя Родя, чтобы не орали гомоном на собрании, мы и управимся. Лучше и не надо, как управимся,— твердил Шурка.— Пошли скорей, пошли! — торопил он.

Докуда хватало глаз, расстилались перед ними бескрайне озимые и яровые поля, усадебные и сельские, клевера, поднятые пары. Как всегда за последнее время, многоцветная земля эта казалась общей, без межей и изгородей. Стеклянная, почти голубая, рожь выкинула темный колос, приметный издали, но еще не цвела. Высохшие березки виднелись там и сям во ржах за Гремцом, к Крутову, в знакомых местах,— приметы ребячьего колдовства в троицу. Овсы и льны, ячмень и гречиха поднимались сплошными изумрудно-яркими зарослями, лиловели густой луговиной клевера... А что там, в барском поле, загон какой-то в плешинах, с редкими всходами?.. Родимые мои, да это же хваленый турнепс, посеянный на паях мужиками и пленными, подсобляли ребята... Вот прогнали Василия Апостола из старших в усадьбе, и нет уговора, как делить турнепс. Пропал, сгинул уговор, хоть воруй диковинную репу, чтобы попробовать. Придется.

Высоко, жарко горело раннее июньское солнце. Мурава на проселке была уже сухая и теплая, но картофельная ботва на распаханном барском пустыре, мимо которого они проходили, еще светилась от росы. Каждая капля в свернутом, отросшем листе, как в ковшичке, полном неподвижной, почерпнутой воды. Роса крупная, прозрачная, сквозь нее различались все синевато-зеленые морщины, ямки на листьях, в то же время капли сливались в сплошной блеск серебра.

— Пора окучивать картошку,— сказал Яшкин отец, на ходу любясь густой темной зеленью и светом росы.— Придется сохой, плугом нельзя... Кажись, одна на все село, у Быкова, соха. Проканителмся.

— Есть у дяденьки Никиты Аладьина новая и у тетки Апраксеи,— припомнил Шурка.

Дядя Родя остановился.

— Что такое?

На самой середке пустыря, в картофельной ботве, в серебре, торчал порядочный кол, и что-то красное, живое трепыхалось на волжском свежем ветерке.

Яшка и Шурка толкнули друг дружку локтями и фыркнули.

— Ослеп, тятка, неужели не видишь? — вскричал Яшка.— Это же красный флаг означает, чье поле!

Дядя Родя снял солдатскую фуражку, точно поклонился флагу.

— Теперь разглядел,— промолвил он, откашливаясь.— Сообразили здорово. Когда успели?

— А вот и успели... Вчера!

— Откуда кумачовое полотнище взяли?

— А нам тетенька Ираида, спасибо, пожертвовала холстинку. Гошка выпросил.

— Так, чай, холст-то белый?

— Мы в красных чернилах выкрасили,— пояснил горделиво Шурка.

На все поле рассмеялся председатель Совета Родион Большак.

— Молодцы! — потрепал он ребят за вихры.— Хитро и правильно придумано... Ну, эту земельку у нас никто уже не отнимет. Ша!

— Ша! Ша! Никто не отнимет! Не посмеет! — подхватили ребята и не утерпели, побежали на минутку к флагу по мокрой, холодной борозде, мимо зелени и серебра.

Полотнище, аршина в полтора, а то и побольше, крепко прибитое к березовому высоченному колу драночными гвоздиками, загнутыми для крепости, чтобы холст не порвался, вблизи было совсем неважное, пестрое, в кровавых полосах, пятнах и подтеках, потому что покрасилось, несмотря на старания, неровно, да и чернил не хватило.

Ребята вернулись на проселок, стали догонять председателя Совета, который так и шел с непокрытой головой, размахивая солдатской фуражкой. Всю дорогу они оглядывались. Издали флаг был красным, как настоящий, революционный, он пылал в поле неугасимым пламенем. Чем дальше ребята отходили, тем флаг казался им красивее, будто и в самом деле привезенным из Петрограда.

Оживленные, запыхавшись, влетели подсобляльщики революции в просторную избу Кольки Сморчка, в знакомо-душистую прохладу от трав-лекарств, сушившихся как всегда пучками по бревенчатым стенам. Влететь-то они влетели в избу, мастера на все руки и особенно на красивые флаги, да и застряли на пороге, обронив веселье.

На голбце понуро сидел дед Антип, свесив босые, в сиреневых узлах вен, ноги с вывернутыми вкось, на стороны, будто стоптанными пятками. Он рассказывал что-то хозяевам и плакал. Глухой, с глянцевиной лысиной во всю шишковатую, в редком белом венчике, голову, с лицом младенчески-розовым, пухлым, он беспрестанно утирался ладонью и под носом заодно подбирал насухо, по-стариковски.

Увидел дядю Родю, кланяясь ему, принялся повторять:

— Незнамо за что седни побила. Так и тычет кулаками в бороду, по загорбку лупит, аж в головушке отдается... Чего? Я тебе и баю, председатель, сам не знаю за что. Эку беду наделал, — чай пили, кринку с топленным молоком разбил. Дернуло меня ребяtenessам в чашки пеннок добавить. Обеими, никак, руками и взял посудину-то, да не остыла она, обжегся, выпустил, ну, и грохнулась на пол. Куда же ей грохаться? А Минодора, стерва, вскочила за столом, чуть самовар не опрокинула, с кулаками на меня. Дочь-то родная, а? «Хлебай с полу! — орет. — Досуха вылизывай!» Да что я — кошка?.. Ась? Не вру, вот те Христос. «Когда, безручье старое, проклятое, подохнешь, развяжешь меня?» Да гнет за шиворот, тычет в лужу... А ведь корова-то моя, все знают! И молоко, стало быть, мое, что хочу, то с ним и делаю... «Не задолую, — говорю ей, — отвяжусь, ослобоню. Лапайся со своим австрияком на слободе...» Чего? Так и сказал. Что головой качаешь, председатель? Да все село видит, бает — ей, бесстыжей харе, кобыле хоть бы что. А тут взъярилась на меня... Нет, ты погоди, послушай, нет, ты глянь сюда: до боков и не дотронешься, не вздохнешь, ровно кости-ребрышки подчистую сломаны, одни синяки остались. Глянь, какие!

Дед задрал холстяную, чистую, долгую рубаху. На дрябло-желтой, в пупырышках, гусиной коже виднелись кровоподтеки. Впалый, ямой, живот и дышал и, вздуваясь, скакал от возмущения.

— Уйми ее, приседатель. В Совете состоит, а дерется ровно при старом прижиме, чертова дочка, ведьма. Не имеет права!.. Чего? Баю, мочи моей больше нету... В суд подам! Из дому выгоню! Коровы лишь и внучат не пожалею! — грозился дед Антип и все плакал и утирался ладонью, как платком.

В избе неловко молчали. Что тут скажешь? Девки мели в три мокрых веника, так, порядку ради, янтарный, надранный накануне дресвой и щелоком пол. Тетка Люба, нарядившись в праздничное, бережно накрывала шаткий стол драгоценной питерской скатертью и вздыхала, собираясь, кажется, помочь Антипу реветь и утираться. Евсей Борисыч, тоже приодетый во все свежее, в ражей, букашками, светлой ситцевой рубашке, насупясь, не отрывался от окна, будто высматривал и не мог никак высмотреть что-то очень нужное. А Яшка с Шуркой, замерев у порога, растерянно переглядываясь с Колькой Сморчком, решали и не могли решить, как им поступить: идти к столу и припасать карандаши и тетрадки или повернуть в сени, на улицу, пока не позовут.

Было ужасно жалко деда Антипа. Не смотреть бы на его голые, с вздутыми венами, ноги, на стоптанные подошвы, кривые, со звери-

ными, грязными ногтями пальцы, которым не хватало на ступне места, они налезали друг на дружку, точно их было больше пяти. Не видеть бы слез, не слышать горько-хриплого бормотания. Ах, поленом бы негодяйку Минодору, до чего довела старика отца, плачет как малый ребенок! Березовым, суковатым поленом, чтобы больше, чтобы навсегда запомнила!

Дядя Родя послал Кольку за Минодорой.

Та прибежала тотчас, думала, собрание Совета началось, опоздала, увидела отца на голбце и плюнула.

— Пес тебя возьми, а я тороплюсь... здравствуйте! Говори, Родион Семеныч, скорееча, некогда мне, не управилась по дому. Чего звал?

— Нельзя рукам волю давать, Минодора Антиповна,— строго-сурово и как-то виновато сказал дядя Родя.— Сейчас прикатят из уезда, будет не до наших скандалов... Проси у тятеньки прощенья, живо!

— Прощенья? — ахнула Минодора, и острые молнии ударили из-под густых бровей-туч, осветили избу.— Он у меня кринку разбил, молоко топленое пролил... И я у этого безручья стану просить прощенья? — закричала она, краснея и бледнея и ни на кого не глядя, будто в избе она одна, с глазу на глаз с председателем Совета.— Это он должен у меня валяться в ногах за обиду, которую мне... казнил он меня. В самое сердце замахнулся, ударил! Какой он мне тятенька — хуже чужого! — И она неожиданно заплакала пуще деда.

— Чем я тебя казнил, окромя кринки? — будь она неладна,— растерялся Антип и даже слез с голбца.

— А-а, запомятовал? Ты и жизнь свою забыл, видать, демон лысый, ровно и не был женатым, меня не родил, пень осиновый, трухлявый. А подумал ты, пустая твоя голова, безмозглая, что у моих ребятишек, твоих внучат, отца нету? Убили на войне твоего зятя любимого. Не хотел в дом принимать, больно тих да худ, плохой работник... А какой ни есть — мужик был в дому, никакое дело не валилось из рук. Жили не хуже других, может, и получше, дружней. Ласковый был Сеня, кому знать, как не мне!.. Ну, когда, вгорячах, дотронусь до него,— жаловаться не бегал. Отойдет на душе, я у него ночью сто раз прощенья попрошу, на руках качаю, чисто баюкаю... Да не надобно мне другого, вороти Сеню!.. Не можешь? А я могу? Жду-жду, думаю, перепутали в повестке, не того прописали убитым, мой-то жив... Как же! С того света не возвращаются... Что же мне делать, молодой бабе? Ты об этом подумал? Может, я еще раз под венец пойду, ребятам своим сыщу отца... Австрияк, чех не хуже русского. Себе хоть малую, останную радость бабью вымолю у бога... Так чем же ты меня попрекаешь, бесстыжий? Говори! Как смеешь?.. Я и перед господом-богом, перед своими ребятами не каюсь... Да грех-то мой, как знать, вдруг самое святое счастье мое на белом свете!

Минодора повалилась на лавку, вниз лицом, зажатым в ладони, затряслась от рыданий. Кудрявые волосы, роняя шпильки, рассыпались по плечам, как у девки, собравшейся заплетать косу.

— Полно, полно! — уговаривал дядя Родя, пытаюсь поднять Минодору.

И у него, силача, этого не получалось. Железные руки мелко дрожали. Мучительно кривились большие, добрые губы.

Кто знает, кого он поднимал с лавки, Яшкин отец...

Все в избе принялись, кто как умел, успокаивать дочь деда Антипа. А он, отец, разинув оторопело беззубый рот, мутно-испуганно таращась, стоял посереде народа, на кинутой, чистой дерюжке, как в церкви, и только что не крестился.

Мало, мало попало тебе, старый хрыч, выжил ты из ума, ничогшеньки не понимаешь, не догадываешься! Надо бы добавить за раз-

битую кринку и пролитое молоко топленое, с пенками. Идешь в Совет жаловаться, а сам виноват. Да Шурка помнит, видел, и Яшка видел и, наверное, не забыл, как огрела Минодора Янека, когда тот при народе, на первом, кажись, ихнем знакомстве, взял ее за руку. Только и всего, что тронул ее шутливо за рукав, а Минодора так двинула его локтем в грудь, что Янек попятился.

— Русский баба — гросс... Кайзер — русский баба! — пролаял ненавистный ребятам Ганс в бескозырке и тут же упал наземь: не болтай гупостей.

Янек, пристукнув каблуками, вскидывая руку к виску, вежливо сказал Минодоре:

— Пардон, мадам!

И за что-то поблагодарил:

— Спасибо...

Народ смеялся, Минодора больше всех.

Вот она какая, твоя дочка-недотрога, дедко. А ты и не знал, старый?..

Минодора стихла, поднялась со скамьи, оправила волосы, закрутив их кое-как узлом. Поискала шпильки на полу и не нашла. Лицо у ней было мокрое, красное, печально-молодое и такое красивое, каким его еще не выдывали. Да женись, Янек, поскорей! Другой такой невесты тебе не сыскать ни в России, ни в Австро-Венгрии.

— Ну, прости ты меня, тятя, за кулаки,— сказала Минодора внятно-громко и опять заплакала.— Не мои они, кулаки, беды моей... Кабы могла, обкусала себе руки по локти... Отрублю на культяпки, вот те крест! — выкрикнула она.

— Что ты? Что ты? Бог с тобой! — заговорил тревожно дед, подвигаясь к дочери.— Эх, не надо было мне жалиться! — сокрушался он, переступая босыми ногами, не зная, куда ему идти и что теперь делать.

Принялся уговаривать:

— Родя, милый человек, приседатель дорогой, забудь,— не приходил я к тебе, ничего не баял, не требовал... Минодорушка, деточка, и ты все позабудь. Каюсь: нескладно про тебя сказал, нехорошо... Пойдем-ко мы с тобой скорееча домой. Ребяченьшки, поди, без нас соскучились.

Молча пошла вон Минодора. Дед Антип семенил за ней, шлепая по полу сбитыми подошвами.

— Заседанье скоро,— напомнил дядя Родя вслед Минодоре.

— А пропади все пропадом!.. и заседанье ваше! — ответила зло та, не оборачиваясь, и выбежала из избы.

Глава XV

Загадки и отгадки

Не много прошло времени, и будто не было в Колькином просторном доме, в Сморчковом чертоге, слез и жалоб деда Антипа и страшной, невысказанно-горькой и оттого схватившей за сердце, за душу исповеди Минодоры. Точно дядя Родя не понимал с лавки заплаканную Минодору и Шурка не сулил ей до этого березового кругляша, а тут неожиданно для себя простил кулаки и сердился теперь на глухого Антипа, что он такой бестолковый, недогадливый. Потом Шурка ни на кого не обижался, не сердился и, как

все в избе, не вспоминал о случившемся, не осуждал за глаза и не точил зубы на чужой беде.

«Ах, кабы эта беда и верно оборотилась в Минодорино святое счастье!..»

Наверное, и другие так думали, может, уж и надеялись, — в хорошее-то нынче скорей верится.

Словно оттого и вокруг становилось по-иному. Кабы не знать, кого ждут и по какому такому случаю, можно было подумать, что готовятся к свадебному Минодориному пиру. По распоряжению Яшкиного отца вынесли скореохонько на улицу, в тень, хозяйский старый стол, прикинули — тесновато, и добавили второй, от Андрейки Сибиряка, благо, рядом, сдвинули вместе, и белое облако с неба и легло на столы. Скатерти хватило с достатком. Оказывается, бережливая, расчетливая тетка Люба прежде складывала скатерть вчетверо, а нынче не пожалела, раскинула щедро, во всю крахмальную, нетронутую доль и ширь, — одно приятное удивление.

Какой же, братцы-товарищи дорогие, надобно стол по такой длинной и широкой скатерти! И что за этим престолом божьим делают? Неужто пьют чай и обедают? Если так, понятно. Но погоди, постой, сколько же сопляков-баловней у князя Куракина? Ведь это его добро с выведенными пятнами, заштопанными дырами, — он, подарочек, он самый, привезенный из Питера Кикиморами. Помнится, они кудахтали и плакали по стриженной девчонке и мордастом парнишке в очках, с которыми нянчились. Экая радость, счастье — плевака и капризник, каких свет не видывал, в одежке с отложным воротником, в чулках и туфлях с бантиками. А девчонка, кажется, ничего себе, похожая на Ию из усадьбы. Не ахти велика Куракинская семейка, хватило бы Колькиного обыкновенного стола! Нет, поглядите, полюбуйтесь, коли не лень, какой был стол, если этакое полотнище расстилали, ровно холст по насту весной... Гостей, что ли, зовут каждый день богачи, в будни и праздник, чтобы не пустовали ихние громадные столы?

Догадываться некогда: из ближних горниц понанесли скамей с запасом. Все, все загадочно. Зачем столы расставили на улице и лавок, табуреток натаскали? Не покидала еще знакомая опаска: держи локти подальше, не прикасайся к невиданному обедальнику, не мни его и не пачкай.

Писаря раньше депутатов пристроились к краешку белого облака на зависть Кольке (его они обещали потом пустить к столу), разложили осторожно школьные чистые тетради и острые карандаши, сидели прямо, не шевелясь, и почему-то начали трусить. Зато не робели депутаты, собираясь на свое спешное заседание. Так казалось по крайности ребятам. Все уполномоченные деревень, конечно, знали отлично, по какому поводу созвал их верховод Родион Большевик, попросту Родя Большак, как его прозывали, поначалу насмешливо, а вскорости за пустырь и бор любовно-ласково; по народу и депутаты привыкли так звать дядю Родю промежду себя. Знать-то знали, почему собрались, недаром же надел председатель Совета гимнастерку с медалями и стал солдатом-фронтовиком, выздоравливающим дома от ранения, а словно притворялись, что им ничегошеньки неведомо, сошлись на Совет решать т е к у щ и е д е л а, как всегда.

И вот неторопко, въедливо кумекают, как помочь безлошадным семьям, солдаткам вывезти навоз в поле и запахать пар.

— Опоздаешь — воду хлебаешь...

— Да уж к тому деньки бегут, полосы-то вороньими опестышами, что елками, зарастают. Тяни дольше — и плуг не возьмет.

Судили-рядили, но много не наскребли в затылках, хотя затылки эти были, как известно, самые умные, не зря выбраны митингом в Совет. Постановили п р о с и т ь справных, приделавших все хозяев,

как сознательных граждан (пригодилось любимое словцо Таракана-старшего, столяра из Крутова, к месту пришлось!) добровольно и желательно бесплатно дать отдохнувших коняг нуждающимся соседям хоть на уповод какой, на два, три, как подскажет каждому его революционная совесть.

Еще толковали о покосе — не заметишь, и Тихвинская подойдет, всегда делили и закашивали покупной волжский луг на второй день престольного праздника, вечером. Погуляли в охоту — и за работу. Нынче решили не делить траву, косить сообща, меньше ругани да и спорей — весенняя пашня и сев на пустыре и в низине Гремца, слава тебе, показали это заметно, очень даже хорошо показали. Только, чур, глебовских не забывать, дьяволы сельские, как в четырнадцатом году, чуть не перерезались тогда косами.

Яшка и Шурка записали решение в тетрадку и только после спохватились: луг-то ведь барский, а Совет распоряжается им, как своим собственным, без оплаты, как распорядился недавно пустырем и господским сосновым бором в Заполе. Неужели в самом деле запомнили, кто прикатил из Питера и почему они нынче сидят здесь, у Сморчковых хором в тени черемухи, и не праведниками на небе, на облаке, а просто мужиками за снежно-белым и длинным, как поваленная береза, столом?

Может, погодить записывать в протокол? Вычеркнуть?

Писаря запнулись, заколебались. А вдруг они просто ослышались, неправильно сочинили протокол, с ошибками?

Дядя Родя заметил беспокойство своих помощников.

— Пишите, пишите! Не ослышались, — сказал он.

И все депутаты за диковинным столом, покуривая, посиживая свободно, иные облокотясь на скатерть, приминяя ее, осыпая пеплом, подтвердили дружно и как-то странно-весело:

— Валяй, ребята, строчи! Будет вам ужо на калачи... Хо-хо!

Даже Шуркин батя, сидя рядом с председателем, такой же высокий, будто с ногами, и в такой же зеленой суконной гимнастерке, хоть и без наград, погромел масленкой с табаком, развертывая ее, и тихонько распорядился:

— Пишите...

Совет сызнова вернулся к лошадям.

— Хорошо бы на усадебных кляч завести очередь, — злобно плюнул на сигарку хохловский депутат.

И эта внезапная злоба будто отразилась на всех лицах, как в зеркале. Веселье пропало, мужики угрюмо насупились, замолчали, точно наконец вспомнили, зачем они тут прохлаждаются в будничные день, кого ждут.

— Кабы Василий Ионыч, мы бы, как весной, живехонько с ним поладили, — невольно вздохнул Никита Аладьин, уронил голову на плечо и не поднял. — С хромьгой да с безглазым не стоворишься: один — хозяин, другой — приказчик... Не поладишь.

— И не надо. Хватит ладить! — сказал спокойно-решительно Родион Большевик, и такая сила проступила в его могучих буграх над прищурами глаз, в набрякших кистях рук, которые он тяжело положил на стол, что у вихрастого, с гребнем и веснушками, секретаря карандаш принялся изображать в тетрадке дикие каракули, — за такое творение в первом классе выговаривали, ругали, а в третьем, на чистописании, без лишних слов отправляли столбом в угол, к печке. Другой секретарь на смену схватился за отточенный Фабер, но и у этого старателя писания не получилось, потому что он больше тарачился на председателя Совета, чем на бумагу, радостно косился на мужиков, восседавших все-таки как на небе, на престоле, чудотвор-

цами-праведниками за белым облаком,— им, народным угодникам, все нипочем, что захотят, то и сделают.

Сила дяди Роди опять отразилась у всех депутатов теперь в сдвинутых к переносьям бровях и заходивших желваках по скулам, в сжатых кулаках; их не прятали под скатерть, на колени, выставляли напоказ: чей кулак больше и крепче.

Никто и по столу не постучал, сидели тихо-смирно, а уж Митрий Сидоров, из Карасова, поднялся на яблоневую, с подковой, громкую ногу и, моргая беспощадно телячьими ресницами, прыская хохотком, напросился:

— Пошлите в усадьбу нас с Егором Михайлычем на пару: поваднее. Мы, едрена-зелена, в минуту выведем всех рысаков из конюшни.

Депутаты заскрипели табуретками и скамьями, ворочаясь, трясясь животами.

— Пора!

— Дуй-те горой, согласен, Митрий, веселый ты человек!

— Всех не всех, а сколько надобно, по очереди, как сказали, условились,— напомнил и осторожно настаивал Шуркин батя.— Рушить хозяйство грешно, чье бы оно ни было.

— Да вернем коней. Пустоглазому и не разглядеть, что деется на конюшне.

— А маньчжурскому вояке не догнать!

За эдакими-то вот охотными разговорчиками — не то в пустую шутку, тары-растбары, не то в настоящий серьез — не слышали, как с шоссе, от усадьбы, вывернулся городской тарантас с откинутым верхом, запряженный сивой худой парой, и мягко подкатил луговой переулк к избе пастуха. Хозяин вскочил было за столом, приветливо-ласково урча, кланяясь, одергивая короткую, дорогую ситцевую рубаху, но, заметив, что председатель Совета, до того высившийся горой, опустил на свое красное место и все его товарищи, оборачиваясь, косясь на тарантас, усаживаются покойнее, удобнее на скамьях, Евсей Борисович невольно тоже плюхнулся на табуретку, словно его какой магнит к ней притянул. Вот опыт, так опыт, почище школьного! Смекай, ребята-большаки, догадливые геноссы и камрады, что сей опыт с магнитом означает...

Готово! У писарей разгадка — хоть в протокол записывай. Но тут два молодецки-революционных сердца грохнулись на питерскую скатерть, подскочили и забились. И было от чего: в тарантасе ребята увидели того самого носастого инспектора, что приезжал к ним в школу зимой на тройке, в медвежьем тулупе, фуражке с кокардой и крутым козырьком, кричал и топал на Григория Евгеньевича, посмевшего заступиться в селе за мамок, не пожелавших отдавать скотину на убой незнамо для кого. Тогда учитель, сам не свой, выгнал в беспамятстве инспектора из школы, тот не успел тулупа сызнова на плечи накинуть, волочил его в охалке по коридору и фуражку потерял. Сторожиха Аграфена выбегала на мороз, подавала ее рябому ямщику в форсистых голицах. «Вон... Во-о-он!» — все кричал Григорий Евгеньевич, стоя на парадном крыльце, в распахнутой двери, белее инея, а Татьяна Петровна плакала, обозвала инспектора жандармом и грозилась пожаловаться земской управе. Но, когда тройка укатила, они тревожились несколько дней, как виноватые, чего-то ожидали, однако страшного больше ничего не произошло.

Бритый, с двойным важным подбородком инспектор нынче был в той самой фуражке с кокардой и крутым козырьком, в расстегнутой от жары форменной темной шинели со светлыми пуговицами; мясистый, свекольный нос густо алел и синел. Рядом с инспектором в тарантасе располагался, вертко оглядываясь по сторонам, чернявый

дядька с аккуратной бородкой и усиками, в плоской твердой соломенной шляпе и мутного цвета накидке, с зонтом в клеенчатом чехле. Известный ребятам косоглазый милиционер, с клюквенным бантом на гимнастерке, в ремнях, с наганом, был за кучера. С ним теснился на передке тарантаса управляло в дымчатых очках. Самого Крылова не видать.

Писаря глядели во все глаза и все примечали.

Депутаты так раззаседались, что все еще никак не могли закончить свои «текущие дела». Пришлось жданным да незванным гостям напоминать о себе. Освободивши тарантас, который распрямошил, скрипнув рессорами, будто вздохнул облегченно, приезжие подошли к столу и поздоровались. Вертлявый дядька даже шляпу свою приподнял, показалось мало, помахал ею над курчавой головой, инспектор дотронулся слегка до крутого козырька, а управляло и этого не сделал: протирал на ходу очки, щурился, точно никого не видел.

— Здг'авствуйте, здг'авствуйте, това'гищи г'аждане... дог'огие мужички! Пг'имите нас в свою дг'ужную компанию,— картаво припевал и раскланивался множество раз чернявый дядька, и его усики и бородка на румяном, подвижном лице прыгали от движений улыбающихся губ, и сам он подпрыгивал, взмахивая зонтиком.

Тут уж и депутаты за столом прекратили свои толки, оглянулись как следует, по-настоящему, степенно кивая, как всегда бывает на деревенских сходах, когда вваливаются посторонние и вежливость требует от собравшихся, хочешь не хочешь, отвечать на приветствие.

— Милости просим, присаживайтесь,— пригласил Яшкин отец.— Мы тут, поджидая, кое-какие дела решали... Теперь можем и вас послушать. Пожалуйста!

Инспектор оглядел стол, скамьи, черемуху.

— Зачем на улице? — нахмурился он.

— Духота в избе. Мухи беспокоят,— ласково пояснил Евсей.

Это в Сморгчовом-то холодном сарае — духота?! Завсегдатаи Колькиных хором, с карандашами и тетрадками, дивясь, переглянулись. Тараканы, и те перевелись, останных по стенам, в щелях, и на печке и полатях вышпарили девки кипятком на пасху. И мухи не успели еще развестись, ребят не посылают мамки в лавку за ядовитыми листочками, рано...

Инспектор фыркнул из-под козырька, недовольно ворочая короткой шеей. Ему особенно почему-то не понравились лишние скамьи и лавки. Усаживаясь, он пнул ногой одну, мешавшую ему, заметил ребят за столом, строго распорядился:

— Дети, идите гулять.

— Протокол пишут,— отозвался дядя Родя.

— О господи! — воздел руки к небу инспектор.

— Это мои лучшие ученики,— вызывающе-резко сказал Григорий Евгеньевич, внезапно появяясь у стола.— Прекрасно справляются со своими обязанностями, я знаю... Впрочем, извольте, могу заменить... Ну-те-с, ребятки, отдохните,— обратился он к писарям.

Яшка и Шурка беспрекословно уступили место за столом и пуще возненавидели школьного инспектора.

Вот так уездный комиссар Временного правительства! Один свекольный носище да лаковый крутой козырек. И не признает Григория Евгеньевича... Ну и Григорий Евгеньевич его не признает и очень правильно делает.

Пока уездное начальство рассаживалось за столом в середине депутатов (дядя Родя не уступил своего красного председательского места), откашливалось, сморкалось в чистые платки, кидая вокруг исподтишка настороженно-чужие взоры, а новый управляло имения, тискаясь к властям сбоку, приноживался быстро к народу и, забыв

темные очки, глазастро листал записную книжку и чесал под картузом в волосах карандашиком, пока милиционер с наганом, скривив неношенными ремнями, отводил тарантас подальше в переулок, к колодцу, вынимал из-под кожаного сиденья торбы с овсом и навешивал, налаживал их к нетерпеливым лошадиным мордам,— у сморчковой развесистой черемухи, один по одному и группами, появлялись сельские и из ближних деревень мужики, подходили мамки. Все были одеты не по-будничному, схоже, как в воскресенье. Точно услышали благовест к поздней обедне в большой праздник, но попали не в церковь, по привычке, а сюда, на собрание своего Совета. Располагались молча, неслышно на лавках и лишних скамьях, иные оставались на ногах, другие опускались на траву. Мамки, конечно, пожалев нарядные юбки и кофты, торчали за мужьями цветастым частоколом. Прилетела, не прозевала сельская ребятня, без нее не обошлось, попадала на луговину как придется.

— Это что же, митинг? — с неудовольствием, почти грозно спросил дядю Родю уездный комиссар.

Его инспекторская распахнутая шинель, крутой козырек и свекольный нос под ним — все вдруг стало сердито-раздраженное, с блеском пуговиц, лака, огнем в ноздрях и синью поверху, с колыханьем двойного подбородка.

— Кто разрешил? Зачем? — сверкало и клокотало, переливалось с пеной через брыластый край. Честное школьное слово — извержение Везувия, а нестрашно.

Может быть, потому нестрашно, что помощники секретаря Совета вылезли из-за стола. Как только они это сделали, так и перестали трусить. Ну, а депутаты и собравшийся народ, видать, совсем разучились бояться. Никакими вулканами их, должно быть, не прошибешь, не напугаешь.

— Народ пришел послушать. Дело-то всех касается,— заткнул извержение Яшкин отец простым ответом.— У нас не принято скрываться от массы. Сами к ней принадлежим.

— Не беспокойтесь, не помешают. Тутошный народ смиренный, тихий,— ласково отозвался Евсей Захаров на правах хозяина.

Депутаты за столом невольно заулыбались. Смешок пробежал по лужайке, частоколу и скамьям, добродушный, кажись, смешок, и не поверишь.

Вулкан, сотрясаясь, фыркнул раз, другой и потух. Инспектор вздернул плечами. Нет, поежился он, словно боялся народа. А картавый дядька, вертясь, осклабясь широким, зубастым ртом, усиками и бородкой, вроде как был доволен. Он всем подходившим мужикам и бабам кивал, ровно знакомым, приподнимая шляпу. Да он, оказывается, и впрямь был кое-кому известен. Яшка и Шурка слышали подле себя тихий разговор мамок:

— Это ж аптекарь! Ну который в городе на Воздвиженской улице торгует лекарствами. Неужто не узнала?

— Как не узнать, он самый... Хороший, добрый человек, шутник. В долг верит, ай ей-богу!

— Бабке Ольге зимой и вовсе даром отпустил агрома-адную банку цинковой мази.

— Чудак! Солнышко печет, а он прикатил, смотри, с зонтиком...

— Уж такая привычка. Зонтик у него в аптеке завсегда висит на стене.

Около Шурки и Яшки очутилась Катька Тюкина. Она так вся и горела-сияла, дышала часто и жарко,— гляди, еще вулкан проснулся. Чуть меньше — кипятик в самоваре.

— А я чего знаю! — шепнула она Яшке в непонятной радости.

— Говори,— снисходительно разрешил Петух.

— Не скажу. Тайна.

— Тогда проваливай со своей тайной подальше.

Катька не обиделась, весело пересела ближе к Шурке.

— Читал про Лойку Зобара и цыганку Радду? — тихонько спросила она.

— Одним глазком пробежал вчерась,— признался Шурка, любясь Катькой.— А какая у тебя тайна?

— Тятенька домой вернулся из Заполя.

— Что ты говоришь?! — ахнул Шурка.— Да ведь косоглазый милиционер тут. Заберет!

— Мамка не пустит тятеньку на улицу. Он на печи отдыхает. И вернулась к самому дорогому, о чем они шептались.

— Интересно, да? Настоящий роман про любовь. Здорово?

— Страсть как здорово,— согласился Шурка.— Только Зобар больно горд. Ух ты!.. А Радда еще почище... Оттого и убил ее Лойко. И его самого зарезали.

Катька кивнула и живо прибавила:

— А мы с тобой... не гордые. Правда? Промежду собой. Да?

И залилась румянцем, даже маленькие ушки покраснели. Ах, как бы в пунцовые эти раковинки да продеть золотые сережки полумесяцем! Растрепа была бы как картинка. Не хуже Радды.

— Ты меня не зарежешь? — спросила цыганка Катька, смеясь одними зелеными глазами.

— Обязательно зарежу,— сказал зловеще Шурка.— И всю кровь выпущу!

Его обуревало нестерпимое желание дернуть Растрепу за рыжую косичку. Без платка нынче Катька, перестала девкой притворяться, прически наводит — бантик дергается. Хватить — и поминай как его звали,— очутится у Шурки в кармане. Ему бы ответили приятным щипком, а то и горячий, милой оплеухой, принялись отнимать голубую ленточку, а он не отдавать...

Повозиться, понаслаждаться не пришлось. Петух потребовал тишины. За белым столом приподнялся ненавистный инспектор. Он не снял учительскую, с кокардой, фуражку, только сдвинул пальцем чуть выше на лоб дурацкий козырек, и ребята увидели его строгие, водянистые глаза. И то, что он остался за столом неуважительно в фуражке, хотя все депутаты давно сидели без шапок и картузов и теплый полдневый ветерок гулял по их разномастным лохмам, вороша их и приглаживая, и почему-то особенно то, что инспектор глядел на народ бесцветно-строгими, прямо враждебными и одновременно скучными глазами, обидело ребят. А поделаться ничего нельзя — сиди и хлопай ушами.

— Прежде чем разговаривать по существу дела, из-за которого мы все тут собрались, прошу выслушать представителя уездного комитета общественной безопасности Льва Михайловича Красовского. Он уполномочен комитетом разъяснить вам некоторые, возможно, неясные, м-м... проблемы нынешнего состояния революции в России и... м-м, будущего ее развития, м-м...

Картавый дядька быстренько стащил соломенную шляпу и обеими руками взбил кудрявые волосы. Ему, видать, так хотелось говорить, не терпелось, что он не дождался, когда перестанет урчать и мычать уездная власть, живо раскрыл свой большой, широко улыбающийся, красный, влажный рот:

— Пламенно приветствую всех вас, здесь собравшихся, дорогие товарищи, приветствую от имени вышеозначенного комитета и от себя лично, как социал-демократа, и желаю от души и сейчас богатого здравья, всяческого добра и революционного, демократического счастья. А? Так, не так?.. Вы спросите: долго ли ждать сво-

бодного счастья и доб'га? Скажу. Вы не дети, вам нужны не капли датского ког'оля, а земля... Так, не так? А? Вы ее получите, землю. Ског'о. Очень ског'. Но надобно уметь ждать, тег'пеливо ждать. И надо помогать Вг'еменному пг'авительству, чтобы это ског'о пг'ишло. А? Не так, так?

Приподнимаясь за столом на цыпочки и опускаясь, как бы качаясь на качелях, зубасто улыбаясь, размахивая зонтиком, аптекарь картова-мягко, приятно и торопливо, захлебываясь своим бархатным голосом, топил мужиков и баб в словах, как в воде. Утонешь не утонешь, не скоро все разберешь, а слушаешься. Он не рядился под крестьянина, как оратор-эсер из земства,— в сбитых сапогах с голенищами, застиранной косоворотке и в железных очках. Теперешний оратор был в городском костюме на загляденье, в крахмальном воротничке и галстук. Он не притворялся, не прикидывался деревенским краснобаем, не смешил мамок, рассказывая для понятливости, что квашня подвела государство, жидковато растворены блины, не пузырятся и сковорода еще не накалилась, потому и получаютсы сырые, не станешь есть, надобно подождать. Лев Михайлович Красовский ничего не обещал, а только, как бы схватив крепко за горло, ласково требовал, настаивал и тут же, освободив горло, даже погладив, терпеливо пояснял, хлопая по плечу, наставлял понятно и непонятно и опять держал народ за горло, душил, приказывал, стращал. И все это он говорил будто чужими словами, такие они были готовые, хлестали из рта фонтаном.

И оттого, должно быть, его обезьянья вертлявость, невозможное, небывалое на митингах и собраниях пожелание здоровья, добра и счастья, как пишут грамотные, натерелые в обращении питерщички в письмах домой, постоянно широкая, безудержная улыбка, не сходившая с чернявого лица, даже с усиков и бородки, это подскакивание, как на качелях, и особенно взмахи зонтика в чехле, бархатная картавость, эти вопросительно-восклицательные аканья, таканья и неканья заметно веселили и смешили народ. В зáchоты, конечно, никто не хохотал, не валился на траву, не хватался за животы, но все открыто посмеивались, переглядывались, подталкивали друг дружку плечами и локтями. Один Совет безмолвствовал и бездействовал за долгим снежно-праведным своим столом. Да еще уездный комиссар Временного правительства, нахмурясь, леденел, сдвинув крутой козырек на его старое место, на нос.

Аптекарь картова хлестал и хлестал словами, и они даже ребятам казались отчасти знакомыми, хотя многие и непонятными. Шурке почему-то вспоминался старый, разошедшийся ушат под застрехой, за крыльцом избы, поставленный с весны на все лето, чтобы и осенью можно было рубить в нем и квасить капусту. В дождь, особенно в ливень, вода с разной дрянью потоками падает с драночной, мшалой крыши и мутной пеной бьет через гнилой край ушата, хлещет по обручам, бежит ручейками из щелей и огромная лужа за крыльцом не просыхает неделями.

Если черпать ведерком из ушата слов Льва Михайловича, то получалось приблизительно и сокращенно следующее:

— Товарищи мужички, Россия не созрела еще для социальной революции. Народ не готов брать власть в свои руки. Такие попытки только на руку реакции... Посему: контроль над Временным правительством. Поддерживать поскольку-постольку... Критиковать! Подталкивать! Поить валерьянкой... Направлять. Но не свергать. Тем более сейчас, когда правительство коалиционное, в нем социалисты — наши вожди и товарищи... Мы — революционная демократия. Наша умеренная, общенародная платформа оказалась приемлемой для всей страны... Имущие классы, значительная их часть пошла на соглаше-

ние с демократией. Выступить против означает развязать в стране братоубийственную гражданскую войну, утопить в крови дело революции... Немцы только этого и ждут. Явятся тут же и посадят нам на шею опять царя Николая, своего родственника... Не допускать врага! Драться с ним! Защищать революцию!.. Наш священный долг — осуществить народные чаяния, вывести страну на светлый путь свободного гражданского устройства. Россия будет парламентской республикой. Только не спешить... И надо работать всем вместе невзирая на классы, ибо все мы, русские, народ и родина, ее судьба нам всего дороже...

Нет, мужики и бабы посмеиваются не над тем, как аптекарь подпрыгивает за столом, старается, размахивает зонтиком, утирается платком. Ей-богу, народ про себя смеется над речью чернявого дядьки! Не он их потешает, а они над ним втихомолку веселятся. Провалиться Шурке, Катьке и Яшке сквозь луговину, до самой середины земли грохнуться, если это не так. Так, так! А «не так» пусть остается у аптекаря, на его картавом языке.

Словно бы отцы нынче все понимали, о чем хлестал и душил их словами новый оратор, и не соглашались с ним. А мамы, которые догадывались, может, и не обо всем (конечно, не обо всем!), они верили своим муженькам. Как же им не верить, коли они кажинный вечер сидят в библиотеке-читальне, не выпускают из рук солдатских газет и «Правды», завели знакомство с учителем и учительшей и даже почиывают разные-прекрасные книжечки.

И мамы правы. Не те нынче батьки, какими их знала прежде ребятня. Совсем на себя не похожи, вот они какие теперь, мужики.

Прежде, как скинули царя и зачали проходить по шоссе, со станции, мастеровые из Петрограда и солдаты с фронта, как зачастил в село заика Митя-почтальон с газетами и новостями, толков было много разных. Да вот, пожалуйста: Шурка будто сызнава торчит на волжском косогоре, в ледоход среди мужиков, на гумне в пасху, вечерами в кути читальни, как она открылась, он опять видит растревоженный народ и слышит его речи:

— «Мы политикой не занимаемся, — малограмотные, неученые. Нам земли бы — вот и вся наша политика. Жалованья мужику никто не платит. Оно в земле лежит, наше жалованье. Сколько земли — столько и хлеба...» — «А земля где, соображаешь? У тебя звон лесу — всего ничего, а у Крылова — бор в Заполе на три версты во все стороны. Ему — житье, нам — вытье... Али не так? Двор, гляди, крыт светом, обнесет ветром...» — «Запретить куплю-продажу земли и леса! Наложить арест!» — «Не разрешать наем работников!» — «Пленных — домой отправить, в обмен на наших, которые в плену, ай, ей-богу!» — «Мое помышление такое: вся земля — всему народу, по божеской цене, по справедливости...» — «Стой, погоди, свояк, как так — всему народу? По какой-то цене? Народ, знаешь, бывает разный и цены разные, хоть и божеские, а все ж — цены...» — «Верно! Делить землю среди бедных, у которых ее мало или вовсе нету. И без выкупа... Покупать? Свою-то ?!! Да мы не чужие какие, не из Америки приехали. Эти барские поля, леса, долы сто раз нами оплачены пдтом и кровью». — «Справедливо. Мы Совет выбирали не выкупать господскую землю, а брать и делить». — «Догляд, мужики, нужен в этом деле. Обманут! Без догляда нельзя». — «Да больше сыта не съешь...» «Иной лопается, а все жрет, не может отвалиться». — «Вот я и говорю: нам таковского Совета, который покупает землю, — не надобно. И таковского, что раздает ее направо, налево, — тоже не надобно». — «То-то помещики и наши мироеды орут, будто с них лыко дерут!» — «В Ярославле, чу, крестьянский Совет вовсе запретил трогать землю...» — «Да-а, видать, и Советы бывают разные», — «А ты как думал?

Чья рука зараз — того и приказ». — «Рука-то, бают, энтих самых, как их... серых». — «Эсеров? Хорошо сказал — серые и есть, как волки».

Кажется, немного пролетело времени, все было словно вчера, еще не заглох в ушах гром и звон от сильно злых, ненавистно-раскатыстых мужичьих глоток, как произошла незаметно перемена из перемен: спокойно-насмешливо, как-то по-хозяйски разговаривает дядя Родя Большак или кто другой, Никита Аладьин, починовский Крайнов, Митрий Сидоров из Карасова, а может, и Нукало из Сломлина, неважно кто, — речь у всех одинаковая, так кажется Шурке.

— Изменили мужику, господа-товарищи эсеры. Поначалу верили вам, деревнями поголовно записывались в вашу партию. Как же, партия социалистов-революционеров землю обещает! Кто там на трон забрался — нам наплевать, у нас свои дела, сурьезные... Слушали вас, эсеров, ждали. Тут один из ваших частобаев прямо обещал каждому по двадцать семь десятин с четвертью. К-ха, тьфу, как высчитал! Стриг черт свинью, визгу много — шерсти клочка нету... Ваш Чернов в рот помещикам глядит, шарахается от требований народа. Айда мужицкий министр!.. Эсеры за перераспределение угодий? Переселение? Спасибо! У нас вон Матвей переселялся в Сибирь, да и вернулся без штанов... Изверились мы в вас, серые, защитники народные. Зачали соображать иначе: э-э, политика-то, смотри, штуkenция важная, можно сказать, самая необходимая. Без политики мужику не обойтись. Чья власть — тому и сласть... Газетка ваша орет: «В борьбе обретешь ты право свое!» А вы этой борьбы, оказывается, как нечистый дух ладана, боитесь. Кричите: «Да здравствует народная воля!» А знаете ли вы ее, народную волю? Она у нашего брата одна-единственная: кто чем кормится на свете, тем и кормись. Но без захребетников!.. Стало быть, мы скажем: земля — крестьянину; городскому люду, мастеровым ихний корм — заводы, фабрики... И конец войне! Мир! И свобода!.. А где она, к слову сказать, ваша свобода? Дали народу в феврале понюхать и в карман спрятали. Мы, дурачье, почихали, утерли нос — вот и вся ваша свобода, революция... Вместо замирения — наступление... Да вы та же царская власть, только прозвище другое... А ну вас, растуды-твую-туды, к лешему! Дождетесь, шарахнем гранатой. Есть у одного смелого человека, для вас, может, и припрятана... Мы сами управимся с землей и лесом. Как хотим, так и сделаем! Большевики нам подсобят. РСДРП не чета вашему клиросу... Представьте, познакомились, самого Ленина узнали. Одобряем! Надьсь слушали его письмецо в солдатской газетине — закачаешься, до чего правильное, нашненское...

А сейчас мужики, складно рассевшись на луговине и лишних скамьях у избы пастуха, возле своего Совета за белым, строгим и добрым столом, спокойно курили на вольном воздухе досыта, до отвала, их никто не оговаривал, и бирюзовое, пронзенное солнцем облако дыма стояло над их головами и не расходилось, не проходило. Да, бабки сейчас не кричали, не бранились, только слушали, жмурясь и посмеиваясь. Не разноглазый великан-богатырь с одной ревущей глоткой и множеством кулаков-бульжников, грозных указательных пальцев, пятерней, которые заранее чесались (к счастью, как говорят), нынче каждый батя сам по себе, каким его бог уродил.

Но в спокойных усмешках, тихом, согласном шепоте, в том, как удобно, дружно-тесно сидели мужики и беспрестанно, с удовольствием лазили в свои и чужие, щедрые кисеты и банки с табаком; по тому, как бабы знакомой частой изгородью окружали мужей и разноцветный частокол этот был вбит в землю крепко-накрепко, — во всем этом и еще в чем-то, неуловимом, было что-то отрадно-общее, сильное, умное. Не прежнее нетерпеливое ожидание перемен в жизни, а точно бы сама свершающаяся перемена, ее пусть малое начало, дорогое и

немножко понятное (ура! ура!) для ребятни. Она, сидя и лежа вповалку на горячей траве, все слышала, все замечала, и все для нее, как всегда, было страшно важным, чего нельзя пропустить, прозевать, подсобляльщикам революции тем более.

Становилось жарко, и Матвей Сибиряк обмахивался по-фронтовому, подручным способом — солдатской фуражкой, как веером. Любимый ребятами Крайнов, запорожец с вислыми усами, упарился больше всех, идя из дальних Починок, он полулежал на мураве, безжалостно расстелив под себя питерский пиджак, и шафранная ластиковая косоворотка его горела вторым солнцем, возникшим на луговине. Бородатый Федор и седой Косоуров, распахнувшись, беспоясые, часто пересаживаясь с места на место, двигались поближе к черемухе, в тень. Устин Павлыч, напротив, застегнутый на все пуговицы, со свежей алой ленточкой, связанной бантом и приколотой на груди, повидней, побогаче, чем у милиционера его клюква, жарился с краю лавки на солнцепеке и не чувствовал этого. Согнувшись, упершись локтями в колени, он глядел в лакированное голенище сапога, как в черное зеркало. Что он там видел, кроме своего печально-сердитого лица?

Мужики из Глебова, Хохловки, Карасова и других ближних деревень все подходили и подходили шоссейкой, уверенно сворачивая в переулочек, точно заранее знали, где будет собрание Совета. А вот Шестипалого, Вани Духа и братьев Фомичевых не видно, словно их нарочно не позвали на сход, не известили. Но чего же ради узнал и явился на Совет Олегов отец? Задаток за сосняк требовать обратно? Так ведь и Шестипалого денежки погорели и бывшего волостного старшины Стрельцова, которого тоже не видать. Или бондарю совестно показываться на люди? С каких пор? На него не похоже. Сам генерал Крылов тоже не явился, видать, во всем положился на нового управлялу... Ну, кого нет, значит, так и должно. Плакать, жалеть никто не будет.

Всем понравилось, что аптекарь не помянул в своей речи о пожаре в усадьбе, запаханном пустыре и наложенном аресте на сосновый бор. Да уж не арест получается — рубят, чистят, барский сосняк деревни, как свой, поделил Совет по церковному обществу. Докладчик из уезда обо всем умолчал. Что ж, и преогромное на том спасибо.

Ему даже немного похлопали, оратору. Вопросов не было, и никто не желал говорить. Только депутаты за столом пошевелились, переглянулись, да швырнул карандаш Фабера на тетрадку Григорий Евгеньевич. Один дядя Родя спросил аптекаря во всеуслышание:

— Вы что же, меньшевик?

— Я социал-демократ, — уклончиво ответил Лев Михайлович и перестал зубасто улыбаться. — А вы, я вижу, наслушались на фг'онте большевистской ег'еси и пг'именяете ее здесь на пг'актике? Касторка от живота! Похвально... Нет, г'азговаг'ивать нам с вами не о чем. Я обг'ащаюсь к наг'оду: Дог'огие, пг'еданные г'еволюции г'аждане, самая большая опасность сейчас — беспог'ядок, анаг'хия, самовластье. Вы должны, обязаны знать: в Тавг'ическом двог'це, в Петгог'адском Совете подавляющее большинство — умег'енные здг'аво-мыслящие элементы. А в особняке Кшесинской — максималисты. Там хотят сг'азу иметь все. И не получают ничего... Наг'од пг'ойдет мимо большевиков. Победим в Г'оссии мы, демократия, с умег'енной, но вег'ной прог'аммой... Не так? Так! А?

— Ну вот и высказались начистоту, — с заметным удовольствием, дружелюбно заключил дядя Родя. Он стал еще спокойнее, и та, постоянная, неодолимая, упрямая сила, которой всегда любовались ребята, слышалась теперь и в голосе Яшкиного отца. Петух чуть не кукарекал от гордости.

— В комитете безопасности состоите. Охраняете в городе торговцев,— сказал с насмешливым одобрением председатель Совета.— От кого же, интересно, охраняете? От нас, мужиков?.. Самое распрекрасное, мы скажем, дело для социал-демократа меньшевика. Знакомое!

Уездная власть за столом рычала, возилась, давая около себя местечко аптекарю. Красовский закрыл устало большой красный рот, утер платком черняво-румяное, мокрое лицо, усики и бородку, легонько положил на кудри, как дощечку, соломенную плоскую шляпу и нахохлился, что курица перед дождем.

Народ с еще большим любопытством разглядывал гостя с зонтиком. Мужики и бабы не видывали меньшевиков, только немного слышали, что есть такие. Они, батьки и мамки, как бы вынырнули из словесной воды, в которой их топил и не утопил Лев Михайлович, отряхнулись, стали прежними, какими были, себе на уме, особенно после одного письмаца, вычитанного ими в газете.

Глава XVI

Оплеухи с гаком

Наши приятели с приятельницей нетерпеливо ждали, что скажет уездная власть, как распорядится, что потребует от народа. Ведь не зря прикатила в село эта власть на сивой паре в городском тарантасе, с милиционером в скрипящих ремнях и наганом сбоку, в кобуре. Конечно, на подмогу генералу Крылову, которой сам, видно, боится показаться мужикам. Трусит старикашка, одному с народом не совладать. А тут, смотри, экая важная силища явилась — сам уездный комиссар Временного правительства. Да еще с меньшевиком-златоустом, как насмешил запорожец Крайнов потихоньку мамок. Богомольные даже засовестились: златоустом-то никак звали одного святого угодника, прозывать этак-то аптекаря грешно, хоть он и говорун-добряк в своем лекарственном магазине. Бог с ним, не знали меньшаков и знать не хотим, большаки нам любее...

Ух, мамки, газет не читают, а все понимают правильно, честное слово! Раскусили обезьяну с зонтиком, раскусят и бегемота в инспекторской фуражке с кокардой и крутым козырьком. Поглядите, ведь это же всамделишный бегемот, какие бывают в жарких странах. Нынче и в России жарко, вот и не мудрено — появились звери покрупней кабанов, с двойным подбородком и свекольным носищем. Эй, берегитесь, граждане-товарищи, мужики и бабы! Бегемот один справится со всеми вами. Навалится горой, сомнет Совет и до вас доберется. Сlopает и не подавится.

Ой, ой, как страшно! Особенно тем, кто своими глазами видел, как спускал с парадного крыльца школы зимой Григорий Евгеньевич этого самого бегемота, потерявшего фуражку, волочившего тулуп в охапке.

Два подсобляльщика революции, переполненные веселой храбрости и горчайшей обиды, что они по известной милости сидят не за столом писарями, торчат на луговине попусту, эти верные помощники секретаря Совета готовы были и реветь и смеяться, показывая недругу здоровенные фиги с маслом и без масла. Уморушка! Рассказать всем про школьное крыльцо — помрут со смеху. Хорошо бы еще свистнуть для острастки, когда зарычит-заговорит уездная власть. Петух, славившийся, как мы знаем, среди мальчишек по сим делам, заранее

вложил особым манером по два пальца в рот, к языку, чтобы огласить село посвистом соловья-разбойника. Жалко, помешала Марья Бубенец, рассеявшаяся со своим животом коровой близехонько от ребят. Она заметила приготовления Яшки и вовремяхватила соловья по загорбку.

Никакой уморушки, свиста, хохота пока не предвиделось. Отцы и матери выжидающе насторожились, посерьезнели. Строго-сурово восседал молча за слепяще-белым столом Совет, как небесный судья. Тут, смотри, не шутки шутят, приговоры загодя пишут в голове. Недаром Григорий Евгеньевич опять схватился за карандаш Фабера и из руки его не выпускает. А может, не только у Совета, у всего народа найдется за пазухой горячее словечко. Какое? Поскорей бы узнать!

Уездная власть порычала, посердилась на председателя Совета за насмешливые возгласы, покашляла, посморкалась в платок и успокоилась. Она, уездная власть, определенно была другого мнения об аптекаре и его речи. Инспектор благосклонно одобрил кивками бархатное старание златоуста. Власть словно и не помнила уже, запомнявала ухмылки народа, потешное веселье, издевки дяди Роди.

Ребятам почему-то вдруг представилась ярмарка в Тихвинскую у церкви. Тогда, на праздничном гулянье, толпы разодетых, потных мужиков и баб кипмя кипели около светлых груд новеньких граблей, звенящих, синеватых лезвий кос, лежавших навалом на прилавках, рядом с пахучим, ярким ситцем, вяземскими и мятными пряниками, ландринном, квасом в бутылках,— выбирай товар и угощение по вкусу и карману. Но товар, который только что предлагал аптекарь, кажись, не нравился мужикам и бабам, они не расспрашивали, не приценились, не пробовали, не шумели, они, слушая речь, как бы развлекаясь, просто глядели с любопытством на картавого оратора с зонтиком, как на чучело гороховое, может, как на торговца-зазывалу или на того памятного молодца в бархатном картузе, который ловко мошенничал костями на глазах подвыпивших гуляк и зевак, прибирая четвертаки, а соблазнительные часы «варшавского золота» как лежали, так и оставались лежать, красоваться нетронутыми за стеклом футляра.

Ребятам все чудилась и чудилась ярмарка, и народ вопреки давнему порядку не задерживался около ларьков и палаток. Даже страсть знакомая Яшке и Шурке по проигранному серебряным полтинникам знаменитая «вертушка» с горой редкостных, дорогих вещей, которые можно было выиграть за гривенник, крутнув на счастье перышко по гвоздикам, даже эта забава не интересовала народ. Он как бы проходил мимо и дедка в смешном парусиновом балахоне и колпаке с кисточкой, метавшего, будто колоду карт, большущие конфетины-плитки на опрокинутый ящик, вниз картинками, изображавшими волооких, румяных красавиц на одно лицо. «За головку — так, за юбочку — пятак...» — приговаривал сипло дедко, приглашая брать гостинцы. Нет, не соблазняло нынче баб и мужиков это даровое угощение, хотя счастливая Катькина лапка уже натаскала себе в подол юбки груды этого сладкого богатства. Положительно мамки и батьки полюбили ни с того ни с сего пить чай «вприглядку»... А инспектору, верно, мерещилось другое, то, что ему хотелось видеть, будто народ, как на гулянье, определенно высматривает, облюбовывает кое-что из речи аптекаря-говоруна, самое нужное ему, самое дорогое. И комиссар Временного правительства, словно хозяин палаток и ларьков, принялся сдержанно, с достоинством расхваливать некоторые вещи, чтобы не все чохом бракова.и.

— Я очень рад, госпо... м-м... граждане, что вы сочувственно выслушали нашего уважаемого Льва Михайловича Красовского. Конечно, мы с вами не социал-демократы, мы трудовое крестьянство, и не все разделяем из его воззрений. Например, приверженность к рабоче-

му классу и городу... Но есть в докладе товарища Красовского вполне разумные мысли и выводы. Разумные и своевременные. Весьма! В том мы все, я вижу, согласны,— проговорил басовито-уверенно комиссар, не вставая, не снимая перед Советом и народом фуражки, что сызнова рассердило и обидело почему-то ребятню больше всего.— Россия не созрела еще для социалистической революции, это очень, очень верно,— продолжал он, а чужие, холодные глаза его ни на кого не глядели, точно он говорил не народу, а кому-то другому, а может, самому себе.— Вот когда наш мужичок осознает великие идеи, станет образованным, наденет, так сказать, фрак, тогда... В отличие от социал-демократов ближе всех к заветной цели стоят социалисты-революционеры, так называемые кратко, эсеры. М-м... Поймите меня правильно: я беспартийный, то есть не принадлежу ни к какой партии. Я за одну партию, которая зовется — русский народ. Как честный гражданин отечества вижу: социалисты-революционеры — подлинные ваши защитники. Ведь именно они, и давно, сказали, что в России социализм ходит в крестьянской сермяге... Хорошо сказано? Запоминается? М-м да-с... Вы, крестьянство,— главная сила революции, а не рабочий класс. Пролетарская концепция приемлема для развитых промышленных стран и недопустима в крестьянских, как Россия... И вот, когда наш страдалец-мужичок сменит свою сермягу на фрак, на сюртук, иными словами, повторяю, станет культурным, образованным человеком, только тогда можно будет говорить в России о социалистической революции.

— Да ну? — смеясь, удивился Терентий Крайнов, накручивая запорожские усы. Он сел на питерский пиджак, зажегся на всю луговину шафранным пламенем — ребятам же показалось это пламя красным, как их флаг на пустыре.— А мы-то, дураки, думали, что у нас вот-вот сейчас кипмя закипит эта самая социалистическая революция,— добавил он.— Вроде как уже закипает! Во главе с рабочим классом, который вы так не жалуете.

Комиссар Временного правительства враждебно-пристально посмотрел в ту сторону, откуда раздался насмешливый, уверенно-твердый басок, с характерным питерским аканьем. Пожевал толстыми губами и ничего не ответил.

— М-м да-с... — промычал он.

И заторопился:

— Я убежден, граждане, что у вас вышло простое недоразумение с владельцем имения. Вы — смирные, добрые, верящие в бога христиане. Помилуйте, как можно брать чужое — землю, например, лес, зерно из кладовой! А что говорит заповедь господня? М-м... Видите, как скверно, грешно получается? Тут не о чем много и толковать, правда? Но убить ни за что, ни про что человека... Послушайте, это же каторга!

Депутаты за столом сердито насупились, потемнели, народ на лужайке беспокойно задвигался. Только этого и не хватало — вспоминать!

— В Сибирь попадет. Каторжник!.. Есть такой у вас, скрывается, по прозвищу, как там?.. Оська Бешеный. Есть?

— Есть, есть... Бесстыжий человек, разбойник. Сибирь по нему воистину давно плачет,— послышался из дальних рядов ядовито-веселый, будто знакомый голос.— В морду из ружья палая, а он, мытарь, лопатой обороняется... Ему бы, с-сукину сыну, рожу-то глупую свою подставить под ружье да покорно благодарить на том свете за ученье.

Катька, Шурка, Яшка от неожиданности чуть было не вскочили на ноги. Вовремя опомнясь, только головами повели в ту сторону, откуда слышалось зубоскальство.

В самом дальнем, последнем ряду сидел обросший за весну медной бородой, как сосновой шершавой корой, отец Растрепы и дразнился.

А депутаты и все мужики и мамки и не оглянулись, даже голов, как ребята, не повернули.

Мало ли кто там болтает и о чем. Милиционер торчит возле лошадей у колодца, не слышит и не видит. Да и не признать ему Осипа Тюкина, позабыл, поди, его «патрет», украшенный синью пороха, рябой от дробы. Позаросли рябины, дробь-то выковыряли в больнице, и сосновая борода скрыла остатки вмятин. Сидит обыкновенный рыжий мужик в лаптях, в рванье, трубочку-носогрейку курит и треплется, балагурит — эко диво.

Но какой же все-таки он, дядя Ося, молодчага, храбрец из храбрецов, точно из книжки! Прятался, прятался в Заполе, в шалаше, в Великом мху, где водятся одни журавли в болотине, и на́кося: явился на собрание как ни в чем не бывало, и сам о себе подает смешок-весточку. Да здравствует дядя Ося Тюкин!

С этой минуты все переменялось на заседании Совета и вокруг него. Точно депутатам надоело слушать приезжих, и они, уполномоченные деревень, устали молчать. И мужикам и бабам наскучило, кажется, сидеть и стоять на луговине попусту, забавляться чепуховиной, когда дома ждут дела и заботы по хозяйству. У ребят от неподвижного торчанья одеревенели ноги и заднюхи стали как чужие. Они, ребята, заворочались, задвигались, меняя положение согнутых локтей, подкорченных голяшек и затекших попок, принялись оглядываться, замечая то, чего до этого как-то не виделось.

В народе стоял Пашкин родитель, столяр из Крутова, и точно стеснялся идти за стол, хотя он, как известно, был депутатом. Вот оно как, совесть заела, надо быть, за недавнее, случившееся в сосновом бору. В палисаде мамок вдруг бросились в глаза снохи дедка Василия Апостола, вдовы-солдатки — Лизавета и Дарья. Никогда они не ходили ни на какие собрания, а тут зачем-то явились. Темные, худые, на одно лицо, они деревенели, и платья на них были будничные. У черемухи возвышались в травянисто-зеленоватых аккуратных своих куртках и кепках с пуговицами и длинными козырьками пленные из усадьбы — Янек, Франц и Карл. Что им надо было тут, пленным? Дела-то решались сельские, русские. Бросалась в глаза Минодора, заплаканная, красивая, молодая, в нарядной кофте и черном шелковом коске на курчаво-смоляных, пышных волосах. Ей, как Таракану-старшему, сидеть бы за белым столом, красоваться цветком среди депутатов. Нет, не пожелала, а пришла, не утерпела и правильно сделала...

Больно много примечать было некогда. Только успевай слушать, потому что главная перемена кругом в том, что заседал уже не один Совет на улице, возле пастуховых хором, шло собрание граждан всего села, может, и поболее. Совет же был вроде президиума этого собрания. Не ошибся бедняга уездный комиссар Временного правительства, на его голову с неснятой фуражкой свалился доподлинно целый митинг, и комиссар, должно быть, по опыту не зря побаивался этого митинга: хлопот с ним не оберешься. На каждое слово уездной власти народ теперь отвечал с разных мест луговины и из-за стола спойненько, но зло.

— Нужно передать вопрос о запаханном самовольно пустыре и лесных порубках в примирительную камеру в волость, уезд. Согласны?

— Нет, не согласны! — твердо сказал Шуркин батя.— Там, в камере-то, Мишка Стрельцов распоряжается, бывший волостной старшина. Он примирит... да в чью пользу?

— Погодите. Правительством давно образован Главный земельный комитет, он все обсудит, обдумает и решит... Зачем же забегать вперед? Да наш губернский крестьянский съезд еще в марте призвал

ждать решения земельного вопроса Учредительным собранием. М-м... Я вам пересказываю слово в слово принятую съездом резолюцию.

— Запомнили? — с насмешкой спросил кто-то из мужиков. — Вот уж верно говорится: свое всегда хорошо запоминается!

— Да поймите, немедленный захват повсеместно земель подорвет единство революции, отколет от нее прогрессивные силы общества.

— И отлично! — вмешался за столом Григорий Евгеньевич. Он поблел, карандаш прыгал по тетрадке, совсем так, как у подсоблял революции, когда они не знали толком, что писать в протокол. Но Григорий Евгеньевич знал, что писать и что сказать: — Ваши так называемые прогрессивные силы — силы контрреволюции. Необходимо очистить революцию от этих сил.

Уездная власть наконец удостоила милостивого внимания, признала учителя. Даже с тихим бешенством сказала:

— Мое почтение. М-мда-с... Не суйтесь не в свое дело. С большими под ручку гуляете?

— В обнимку, — отвечал вызывающе Григорий Евгеньевич.

Помолчав, власть буркнула:

— Усадебная — не выход. Всем угодий не хватит. По решению Учредительного собрания нуждающихся крестьян наделят землей за счет казенных и удельных владений.

— Верно. Глядишь, папенькино-то именье и уцелеет... Нет, господин уездный комиссар, казенные земли от нас никуда не денутся, не уйдут, — сказал резко, что из винтовки выстрелил, Матвей Сибиряк. — Сперва возьмем земельку, которая поближе.

Куриное распетушь подскочило. Шляпа поднялась у Льва Михайловича воинственным соломенным гребнем и упала, повисла на кудрах.

— Мужички, вы же по натуре — собственники, — бархатно закартавил аптекарь. — Что же вы против себя выступаете? Смешно! Неужели не понимаете: я — это уже собственность.

— Извиняюсь. Я — это уже человек! — строго, по-ученому, книжному живо отозвался дяденька Никита Аладын.

Одобрительный шелест пробежал ветерком по лужайке. Не все, конечно, как и ребята, поняли, о чем спор. Но больно приятно слышать, когда толкуют о людях с уважением.

— Черт с ним... с землей и лесом!.. Пусть заплатят!

Батюшки мои, глядите, сам генерал Крылов пожаловал. Явился на заседание Совета, на митинг не митинг, сход не сход, по-теперешнему сказать, просто собрание во главе с Советом. Прибыл-таки, ваше превосходительство, не погнушался, денежки-то дороже гордыни.

Он стоял отдельно от всех, торчал, как гнилой пень, в черной шляпе, чесучевом своем желтом пиджачишке нараспашку, в белой рубашке с горошком, точно источенный молью, — одна трухлядь. Постукивал дорогой палкой по мураве.

— Черт с ним со всем... уступаю. За наличные!

Господи, какая добрая, ласковая Ксения Евдокимовна, берет за руку, поит ребят парным молоком с сахаром... Какие свойские, покладистые братовья-гимназисты Витька и Мотыка, в холстяных гимнастерках и почти что в офицерских фуражках. Какая отчаянная девочка Ия с голыми ножками в синих плетеных туфельках, как в лапоточках, умница-разумница, мастерица играть всеми пальчиками на пианино... И какой же неправдоподобный, невозможный жадюга-скупердяй сам Крылов! Старый, противный... Да он, наверное, и не муж Ксении Евдокимовне, не отец Ие и ее братьейникам! Генералишка, которого за трусость прогнали из окопов, — вот он кто. Погоди, мужики сейчас и с собрания прогонят. Дождешься!

— Сжечь сосняк от греха! — мрачно проговорил Пашкин отец, столар, и сплюнул. — Подчистую! Чтобы и хвои не осталось!

Крылов стучал палкой и твердил одно, аж слюна брызгала, тела:

— Продаю. Платите!.. Черт вас всех побери!

— Не жалко? — спросил, поднимаясь со скамьи, Устин Павлыч. — Вам, видно, денежки только подавай, остальное не касается? Пропади все пропадом?.. А я вот, признаюсь, по глупости задаточек вам отвалил и не жалею. Деньги были и сплыли, туда им и дорога... А земля, лесок жалею... Да что я, — весь народ жалеет, потому для мужика каждая сосенка-раскоряка, кажинный вершок супеси, глинозема — жизнь... Понятно вам это, Виктор Алексеич, ваше превосходительство? Нет, вам ничего этого не понять. Вы — городской богатый, чистый житель... Так и уезжайте поскорей в свой Петроград, черт вас, действительно, побери вместе с городом! А уж дозвольте ковыряться в земельке нашему грязному брату-крестьянину. Ему не привыкать! Оставьте землю нам, деревенским мужичкам... Не оставите — силой возьмут, подсобим. Мы ведь все крестьяне, труженики, неспкуемся.

Народ не узнавал Устина Павлыча, такой открытой неприязнью, чисто ненавистью горело его исхудалое за весну, бритое, какое-то чужое лицо. Или он прикидывался, что махнул рукой на свой пропавший задаток за сосновую рощу в Заполе? Или что-то необычайно важное, неслыханное произошло с Устином Павлычем и все перевернуло вверх тормашками? Он нынче вовсе не лавочник, торговать нечем, он простой деревенский мужик и горой стоит за народ, потому что и сам происходит из народа.

Во все глаза, обрадованно, глядели батьки и мамки на Быкова и не узнавали его. А которые узнавали, почему-то раздраженно-сердито раскалывали его, Сахара Медовича, острыми, железными прищурками глаз, как щипцами, на мелкие кусочки, крошечки, будто он и в самом деле был сахаром, твердым-претвердым, как белый камень-кремень, и только осколки, синевато светясь, летели во все стороны.

— Мы вернем вам задаток-с! Получим с добропорядочных покупателей и вернем. Сполна-с! — подал впервые уверенный голосок приказчик-управляло.

— Новые добропорядочные покупатели не отказываются платить, — спокойно-решительно ответил председатель Совета. — Только не гражданину Крылову, а настоящему хозяину... на революцию. Соберем деньги до копеечки, по нашей, Совета, цене и переведем по почте во дворец Кшесинской, в финансовый отдел ЦК партии РСДРП большевиков. Я правильно понимаю вас, товарищи-граждане?

— Именно, Родион Семеныч, без ошибочки правильно. На революцию!

Дядя Родя обращался теперь не только к депутатам, но открыто, ко всем мужикам и бабам. И они отвечали ему согласными кивками и одобрительными возгласами:

— Верно!

— А как же иначе?

Теперь знакомая ребягине сила Яшкиного отца была не только в нем самом, но и в том, что за ним стояли депутаты и весь народ на луговине. Тут уж была не стена, а что-то побольше — целая крепость.

— В хорошие руки попадут денежки, и слава богу! — толковал народ.

— М-м да-с! Напрасно. У Ленина два миллиона золотом в банке, на счету. Только что получены... из Германии.

— Постыдитесь! — возмущенно крикнул Григорий Евгеньевич. — Повторяете буржуазную клевету из «Биржевки»!

Яшка с Шуркой и Катькой и Володька Горев, свалившийся на лужайку, рядышком, точно с неба, в один тонкий голосок, перехваченный волнением и обидой, закричали:

— Постыдитесь! Постыдитесь!

Народ одобрительно посмотрел на ребят, на учителя, зашумел:

— Зачем обижать человека? Мы Ленина знаем, наш, свойский товарищ, Горой за народ стоит... Какое золото? Буржуйское вранье!

Может, шум долго бы не затих, да тут в бабьем разноцветном палисаде точно калитка распахнулась: прямо на Крылова неожиданно высочили снохи-солдатки Василия Апостола.

— Деньги — тебе? Земля — тебе?.. А нам — что?

— Молока ребятам, вот что! Приехали из Питера — капли нельзя трогать... В навоз молоко лей, ребятам не бери...

— Жалованье, паек прибавить! Стараемся на тебя от зари до зари... Хватит!

У Крылова черная широкополая шляпа слезла со лба. Должно, такого он еще не слышал.

Да и один ли он? Временная уездная власть и новый управляло-приказчик подпрыгнули на скамье. Магазищик-продавец стащил с носа темные очки и разинул рот. А комиссар Временного правительства принялся лепетать что-то очень тревожное, решительно не похожее на очередную речь.

— Братцы,— завопил он не своим, каким-то тепленьким, испуганно-добрым голосишком.— Не узнаю, не узнаю... Да вас точно подменили сегодня эти... м-м-м... науськивающие господа, так называемые большевики. Поверьте мне, никакие они не большевики, если разобратся по существу понятия. Одно прозвище, совершенно неправильное, неприличное. На самом деле все наоборот: меньшинство! Подавляющая часть здравомыслящего населения России — подлинное согласное большинство... Вот кто настоящие большевики. По существу, по грамматике, если угодно. Мы — большинство! Мы — большевики! Мы! — рычал, мычал инспектор, надуваясь, багровея и синея ушами и щеками.

Встрепенулось за столом, как на нашесте, распетушье. Драчливым гребнем поднялась соломка под чернявыми растрепанными кудряшками.

— Да! Да! — подхватил, закудахтал Красовский, прихлопывая себя по бедрам, точно собираясь кукарекнуть на всю улицу.— Я докладывал почтеннейшему собг'анию, повтог'ю: если глубоко разобг'аться, мы, социал-демог'атия, действительно большевики, потому что выг'ажаем священную волю большинства населения пг'авославного нашего госудаг'ства,— скрипел аптекарь ржавой жостью.

Инспектор, слушая все это, даже, похоже, прослезился.

— Дорогие товарищи, братья по духу, по разуму, не слушайте подложных, обманных большевиков, ленинцев, слушайте доподлинных социал-демократов, например, моего соседа по скамье, Льва Михайловича, пламенного революционера-марксиста... Будем жить порусски, по-христиански, как бог велел, станем жить вкупе и влюбе...

Ребята заметили, как усмехнулся одной широкой усмешкой народ. И они, догадливые паршивцы, единым великим разом, понимающе усмехнулись, сообразив, что к чему.

А тут еще Катькин отец опять высунулся, не побоялся, что милиционер его заметит и признает.

— Да когда же,— спросил дядя Ося громко,— кои веки мои лаптишки жили вкупе и влюбе с вашими шагреновыми сапожками, бабин хороший?

Он выставил на обозрение свои берестяные, густо-коричневые, с блестящей чернью засохшей торфяной грязи, разъехавшиеся лаптищи. Инспектор дрыгнул, дернул ногами и спрятал под стол начищенные, с тонкой рантовой подошвой, франтоватые глухие башмаки, смахивающие на дорогие (дороже не бывают!) бабьи полусапожки, с резинкой по бокам. Такую барскую обувь даже Устин Павлыч не носил. Пожалуй, еще батюшка, отец Петр, щеголял в схожих бесценных штиблетах в пасху и в престольный праздник Тихвинской божьей матери.

Народ грохнул отрывистым, тяжелым смехом, словно бревно на землю уронил. Понятно: смеяться долго не приходилось, уж больно разительно неподходящи были обувь временной уездной власти и обутка Катькиного отца-обормота.

И не стало больше заседания Совета совместно с представителями соседних деревень. Шло понятное и непонятное собрание как бы одного громадного, дружного села, что уже второй раз приметилось глазастой ребягине. Теперь спорили за столом. Народ на луговине слушал и помалкивал. Но молчание это почему-то беспокоило приехавших, особенно временную уездную власть, и весьма нравилось, надо быть, депутатам: народ держал их сторону, вот что означало молчание. Оказывается, не зря читали и перечитывали мужики в библиотеке-читальне «Солдатскую правду» с письмом Ленина. Съезд крестьянских Советов за ним пошел, за Лениным, не до конца, но тронулся, сделал шаг вперед. Верховоды-эсеры вынуждены были переселить свое решение — вот что узнали нынче любопытные писаря.

Из знаменитой холщовой сумки (пригодилась! пригодилась!) тут в скорости появилась на свет бумага, и Яшкин отец понятно прочитал: «... все земли, без исключения, еще до созыва Учредительного собрания, должны перейти во владение земельных комитетов с предоставлением им права определения порядка обработки, уборки, укоса».

— Что же вам еще надо? — закричал обрадованно уездный комиссар, точно он и не знал до сей поры этой важной бумаги. — Что же вам еще?

— Убрать оговорочку.

— Какую?

— А вот какую: «...данный Документ рассматривать как проект постановления, который вступит в силу после издания Временным правительством соответствующих законов», — прочитал дядя Родя, добыв из холщовой торбы новую бумажину. Шуркин батя важно спрятал ее потом обратно, строго застегнул бывалую школьную суму на пуговицу и перекинул секретарское добро снова через плечо. Он не расставался со своей котомкой ни на минуту.

Ну и торба! Располным-полна, как в песенке поется, все в ней, миленькой, есть. Не обманешь нынче мужиков, на кривой не объедешь, сперва, как говорится, подумай, потом и соври, да тебе все равно не поверят.

Отец совсем другой — решительный, горой стоит за дядю Родю и мужиков. Он вмешивается в спор с инспектором и аптекарем. Именно его нынче не объедешь на кривой.

Что же изменилось? А вот что: «Чужим не проживешь», — говорил он недавно. Не чужое, свое, наше — получается у бати сейчас. Шурка с гордостью следит за отцом.

— На что вы надеетесь? Ведь вас за сопротивление пересажают всех в тюрьму, — страшила, рычала разинутая, квадратная морда бегемота.

— Весь народ не пересажает, места в остроге не хватит, едрена-зелена, — отвечал за всех Митрий Сидоров, ухмыляясь. — Мы на-

деемся, что власть скоро будет наша — и в городе и в деревне... С Лениным в голове. Шествие-то надьсь в Петрограде за кого проголосовало красными знаменами?

— Большевики придут к власти? Ха-ха-ха! — затрясся инспектор.

И аптекарь залился бархатным смешком, и Крылов угрюмо скривил губы. Шуркин батя наблюдал исподлобья и кусал ус.

— А почему бы им не прийти к власти, большевикам? — грозно спросил он.

— А потому не угодно ли вам знать, — жмурилась и поеживалась, как от щекотки, уездная временная власть, продолжая трястись животом. — А не угодно ли вам знать, на Невском проспекте плакатики повсеместно развешаны: Ленина и компанию — обратно в Германию! Хи-хи-хи!

И опять как по команде расчихикались все незваные гости. Григорий Евгеньевич сломал карандаш. Поднял голову Аладьин. Терентий Крайнов пошевелился на своем питерском пиджаке, собираясь встать, и зачем-то расстегнул ворот солнечной рубахи. А другой народ сразу и не разобрался, о чем смех и хихиканье, переглядывался.

— Мразь вы эдакая... погань вонючая! В харю бы вам дать — марасть рук неохота! — с презрением сказал Никита Аладьин. Он плюнул и угодил на рантовый сапожок.

— За оскорбление... дорогого нам человека... вожака нашего и вождя... я лишаю вас слова, — тяжело проговорил, потемнев, председатель Совета, поднимаясь за столом. Георгиевский крест и медали прозвенели на гимнастерке.

Даже ребятам видно и понятно было, какого труда стоило Яшкиному отцу говорить со спокойной силой. Каждая его отдельно-железная фраза ударяла власть оплеухой, да еще с гаком. — Вам, гражданин... временный... больше нет здесь слова. Лишаю!

— Что-о-о?! — закричала уездная власть, вскакивая, забывая Никиту Аладьина, выпучив изумленно холодные глаза. Шея за воротником шинели так и вспухла, налилась кровью. — Ме-ня... лишаете... слова? Да как вы смеете?!!

— Смеем. Кому же и сместь, как не нам!

Народ, кажется, немножко разобрался, что тут происходит. Мужики и мамки с любопытством ждали, чем все кончится, кто победит: приезжий комиссар или ихний Родион Петушков. Кто кому уступит? Даже пленные Франц, Янек и Карл придвинулись от черемухи ближе к столу, — стол притягивал их к себе снежной праведной белизной.

— А и здорово, дядя, насолил тебе, видать, этот Ленин-то... Молодец Ленин! — громко, с одобрением произнесла Катерина Барабанова и засветилась своими звездами.

Кругом смеялись. Да как же! Не Родион Большак с красной партийной карточкой РСДРП в кармане — простая деревенская баба повалила навзничь уездную власть!

Забылось, зачем собрались, какие дела решались. Иные советовали в шутку, иные всерьез:

— Убирайся-ка, пока цел, право!

— Чтобы и ступала твоего здесь больше не было!

— Смотри-и, переломаем ненароком ноги-то в нарядном сапожке!

— Хо-хо!

— Ми-ли-ци-оне-е-ер! — криком кричала, звала временная власть, выбираясь из-за стола, путаясь в длинной шинели. — Полицей... ми-ли-ци-оне-ер!..

— Лошадей! Лошадей! — скрипел встревоженно аптекарь, загораживаясь от толпы зонтиком.

Народ пуще смеялся и шумел, подступая ближе.

От колодца бежал, пятился впереди тарантаса страж в новеньких ремнях крест-накрест на спине. Страж оглядывался, часто хватая застегнутую кобуру нагана, поворачивался лицом к мужикам. Осип Тюкин был на самом виду.

— Граждáне! Граждáне! — кричал, напирая на второе «а», милиционер, сильно кося, побелев, никого не видя. — Так нельзя, граждáне!.. Стрелять буду!..

Ребятня замерла. Выстрелов, однако, не дождалась. Временная власть поспешно свалилась в тарантас.

Ей-богу, это было точно так, как в зазимье, когда мамки гнали из села «золотые очки» из земства и волостного писаря, приехавших отбирать телят для фронта.

Туда же, в тарантас, вскочил Красовский с зонтом и соломенной шляпой. Крылов, в распахнутом чесучовом, болтавшемся пиджачишке, не хромя, забрался со своей красивой дорогой палкой. А управляло-приказчик, которому места не хватило, летел за тарантасом, без очков, цепляясь за сиденье.

— Ну, пеняйте на себя! — пригрозило начальство, оглядываясь, придерживая фуражку с крутым козырьком.

— А что? Как в пятом году, дубасовскую артиллерию привезете? Начнете деревни поджигать? — кричал вслед Григорий Евгеньевич. — Так ведь нынче у пушек стоит крестьянин в шинели, ученый. Пушки-то не в ту сторону ударят!

Вот когда парнишки, даже Катька Тюкина, досыта насвистелись в три и четыре пальца! И Олег Двухголовый с Тихонями свистели. И никто не останавливал ребят.

Милиционер, стоя в передке тарантаса, лупил лошадей беспрепятственно кнутом и вожжами. Стучали колеса по булыжникам шоссе. Тряслись и подсакивали незадачливые седоки, пока не свернули на проселок к усадьбе. Пыль облаком поднималась позади тарантаса, над его откинутым гармошкой кожаным верхом...

В конце этого долгого, понятного и непонятного дня генерал побывал у батюшки отца Петра. Просил поучить народ, сказать в воскресенье проповедь с амвона. Отец Петр будто бы наотрез отказался. В мирские дела церковь-де не вмешивается. И за чаем посоветовал:

— Помиритесь, Виктор Алексеевич, с прихожанами. Уступите лишнее без греха... Такое смутное время переживаем, одному богу известно, чем и когда все это закончится.

Жена Коли Немы, прибираясь на кухне, все слышала.

Крылов не пожелал мириться с народом. Дескать, у них, разбойников, все давным-давно промеж себя решено.

— Не Совет, какая-то шайка с большой дороги... Ах, казаков бы сюда! Они живо бы утихомирили... Насмотреться бы, налюбоваться, как чубатые молодцы порют плетками сиволапых зачинщиков, самозахватчиков... И первым этого мерзавца, моего конюха, большевика... Доставить удовольствие, поглядеть бы...

— Каково, братцы, слободные граждане?! Спускай зараз портки, припасай голые задницы... Вот те и революция! — смеялся народ, узнав от поповой разбойницы, о чем мечтает Крылов.

— Ну нет, плоха революция, а такому не бывать. И в помыслах этакое только генералишку в башку влезет. Очухается!

И верно, ночью, вроде тайком (из своего-то дворца!) укатил Крылов вслед за женой на Ветерке на станцию к раннему поезду, прихватив с собой телянка и масла топленого коровьего два ведра. Бычка резал с фонарем Трофим Беженец. Вот тебе и пан Салаш и революционный паругаф!..

Отвозил генерала новый управляло. Ведро и теленка, разрубленного на куски, самолично впер, втащил в вагон. Ехал обратно и, слышно, все оглядывался...

— Да кто же все это видел? — сомневались иные.

— Видели не видели, а так было, не иначе, — говорили другие.

— Эвон как, братцы-товарищи дорогие, поворачиваются наши де-лишки. Сволочи побаиваться зачали народа. Дождемся обязательно, что и слушаться будут... Вот он каков, наш революционный паруграф. Слышишь, Трофим? Будет тебе поворачивать оглобли-то в разные стороны!.. Как вернешься на родимую земличку, в свое Зборово, сам будешь там красным генералом, значнешь командовать революцией...

А на другой день в усадьбе, когда пленные обедали, Карл избил проклятого Ганса. Маленький, толстый и тихий, со своей грустной губной гармошкой, Карл на себя был не похож. Что с ним случилось?

Яшка с Шуркой занимались овсяной кашей, хлебали молоко, которое принесла Тася в подойнике с выгона. Она цедила молоко через ситечко прямо в кашу. Яшка, балуясь, подставлял на правах хозяина еще и кружки, припасенные для кипятка, и Тася ласково наливала их по самые края.

— Данке! Данке! Гросс спасибо! — благодарили ее Франц и Янек.

— Здоровья вам и муженька!

— Да он у меня есть, муж-то... воюет на фронте.

— Пускай лучше воюет дома...

Тася порозовела, так ей, видать, понравились слова Янека, по душе пришлись. Янек хорошо говорил по-русски.

А Карл, тоже понятно, попросил отведать его стряпни и протянул Тасе собственную ложку, ополоснув ее в кружке с молоком.

— Ку-шать! Битте!

Улыбаясь, Тася попробовала каши.

— Гут! Гут! — весело сказала она. — Объеденье!.. Пригорела маленько.

Один Ганс в своей мрачной бескозырке не благодарил и не приглашал к каше. Экая дрянь! Выслуживается перед хозяевами, жалеет каши.

Тася присела на недолечко к костру, живо, ловко поправила головешки и угли, чтобы много не дымили, не мешали, и побежала по своим делам в людскую с пустым подойником.

Сидели возле амбара, в тени, на прохладной гуменной траве. Прозрачно струилось марево от костра. Горько-сладко пахло пригорелой овсяной кашей, и Карл по-немецки извинялся перед товарищами и дядей Родей, обедавшим, как всегда, с пленными. Молоко пришлось кстати, каша с дымом и молоком стала вкусной, особенно для двух самых больших, прожорливых ртов. Они не закрывались, их хозяева то и дело лазили в ведро и облизывали насухо старые, вместительные, закусанные ложки.

Пообедав, Яшкин отец и пленные закурили, заговорили промеж себя, и Карл уже вынул из бокового кармашка куртки губную гармошку. Но Ганс помешал ему, он залаял что-то по-своему. Карл отвечал ему, и все громче, сердитее. Внезапно кинувшись, заехал по скуле, схватил за горло.

— Rüdiger Hund, das zweite Geschäft für dich? Bitte! ¹ — закричал он.

Ненавистный ребятам Ганс дал ему сдачи. Карл упал, поднялся, и они принялись дубасить друг дружку. Доставалось больше Гансу, он потерял дурацкий картуз. Знакомая ребятам красная водичка капала из собачьего носа.

¹ — Паршивая собака, второй магазин тебе? На! Получай!

Франц и дядя Родя бросились разнимать.

— Sozialist! Saudummes Stück! Schwenke deinen roten Lappen! ².

— Krepriere zusammen mit deinem Kaiser! Ich will das nicht ³.

— Чего они не поделили? — спросил Яшкин отец.

— Революцию, — ответил Янек.

Ганс подобрал бескозырку, полез в амбар, на сеновал отдышаться, утираясь, ворча и грозясь. Карл не отвечал ему, взялся за гармошку, и скоро она грустно заговорила, запела, и стало тихо. Янек и Франц мягко, чуть слышно подпевали. Слов нельзя было разобрать, — все равно песенка забиралась в душу и что-то будила там, доброе, хорошее.

Ослепительно доцветал гуменник под горячим полдненным солнцем. Дикая кашка белела медовыми шапочками, на них качались, как на качелях, шмели и пчелы. Неустанно глядела в вышину и как бы звенела своими медными бубенцами известная трава, по прозвищу «куриная слепота». В крапиве и лопухах высился стеной дидельник, можно было уже делать из него свистульки. Конский щавель выкинул копыя с бледно-сиреневыми и розоватыми наконечниками. Жарко, дурманно пахли густые безымянные травы.

И над всем этим живым, добрым миром, во всю ширь четырех сторон, голубело небо невиданной незабудкой с одним большим, обжигающе-светлым глазом. И сладко было лежать в душистой тени, в прохладе и молчать.

Давно выкурили свои самокрутки дядя Родя, Франц и Янек. Перестал играть Карл, но подниматься с травы не хотелось. Нежная, с тонким, слабым звоном тишина окружала ребят и мужиков: кажется, это звенели цветы и травы.

Тут странно, непонятно загремел топор у людской. Послышались крики, плач.

Что такое?

Ребята побежали узнать. Митя-почтальон попался им навстречу.

Возле людской, на лужайке, дед Василий, босой, в неподпоясанной, старой, с заплатами на спине рубахе, колот дрова. Тетка Лизавета и тетка Дарья с плачем пытались отнять у деда топор. И только одна Тася, прислонясь к крыльцу, замерев, молчала. В оброненной, точно чужой, руке белело письмо, не то повестка. И сама она, Тася, была мертвенно-белая лицом. Она глядела на Василия Апостола и, кажется, не видела его. В окнах людской торчали перепуганные ребяташки.

— Что ты, тятенька, делаешь?! Опомнись!!! — кричала Дарья.

— С ума рехнулся, родимые мои... Антихрист! Да уймите его! Нешто это дрова, святые-то иконы? — плакала, причитала Лизавета. — Побойся бога!..

— Не боюсь... Некого бояться, — тяжелым голосом отвечал дед. — Иванка-то, последнюю мою живую кровинку, убили... За что-о? Кто убил?.. Дуры, не было и нету бога... Пошли прочь! Не мешайте, свои доски колю, ваши не трогаю... Прочь!

Иконы раскалывались от каждого удара топора, разваливались надвое, начетверо — сухие, без сучков, темно-рыжие, как ольховые поленья.

На деда страшно было глядеть. Седая длинная борода его тряслась. Коряво-дубовое лицо казалось черно-красным, как лико святого угодника на расколоте, брошенной на траву иконе. А глаз у деда совсем не было. Одни глубокие, темные омуты светились в провалившихся глазницах.

Исполнялась давняя угроза деда Василия: он поднял руки на небо.

² — Социалист! Дерьмо поганое! Размахивай красной тряпкой!

³ Подохни со своим кайзером! Я не желаю.

Глава XVII

Косари

Дядя Родя сменил ластиковую синюю косоворотку на зеленую, выгоревшую на спине и плечах, летнюю гимнастерку и сразу стал солдатом. Он надел эту сбереженную немужичскую рубаху и больше не снимал ее, потому что уезжал на фронт. В комиссии по ранениям и контузиям в уезде ему не дали отсрочки, признали здоровым.

Старый, грузный доктор Гладышев, что лечил тетю Клавдию, слушая дядю Родю в трубочку, выговаривал ему, сопя от одышки:

— Что вы, сударь мой, натворили там, у себя? Знаменитостью стали на весь уезд. Сам воинский начальник приказал отправить вас в маршевую роту... В общем-то вы, батенька, здоровы, но можно бы месяц-другой...

Толстый, рыхлый, в белом халате, что мешок с мукой, Гладышев, как рассказывал Яшкин отец, слушал, слушал его да и швырнул свою деревянную трубочку на стол к градуснику и железному молоточку.

— Черт с ними, с воинским начальником и свиньей, которая жаловалась! — сердито шепнул он. — По всему, что я знаю, вы молодец... А генералы наши вкупе с Керенским провалили, кажется, наступление на Юго-Западном... Передают десятки тысяч убитыми и ранеными... ни за что!.. Да ведь не всех же убивают и на войне. Возвращайтесь поскорей. Настоящий фронт, я понимаю, здесь... А как семья?.. Досадно. Восьма... Ну, храни вас бог!

Мамка собирала дядю Родю, как собирала когда-то на войну отца. Насушила сахарей, напекла ватрушек и пирогов с зеленым луком, яиц десяток сварила вкрутую и все это уложила в солдатскую, выстиранную в щелоче котомку. Туда же отправила еще каравай заварного, без примеси хлеба, какой они сами и не ели. Нашлось в котомке место и белью, полотенцу, ниткам с иглой, портянкам из льняного, тонкого и снежного, домашнего холста.

Батя смотрел на все это стиснув зубы, поводя ожесточенно тараканьими усами, точно он сам второй раз собирался на войну.

Дядя Родя принимался говорить о Тоньке и Яшке, что совестно ему оставлять их на чужой шее. Надо бы отдать в сиротский дом, возьмут, коли его посылают на фронт, непременно возьмут. Мать и отец и слушать не хотели дядю Родю.

— Обещала я Поле... Слово свое сполню,—отвечала мамка сквозь слезы.— И не чужие мы, родней самых родных!

— Поезжай, раз такое дело... Не беспокойся, проживем, прокормимся, горшки-то в цене,—усмехался и хмурился батя и начинал сердиться.

Совет прощался со своим председателем Родионом Большаком до полуночи. Протокола не вели, просто беседовали. Писарям делать было нечего, и они укатили по домам спать.

На станцию Яшкин отец уходил рано утром. Очередная маршевая рота формировалась в Рыбинске. Питерский поезд как раз и довезет. Тонька еще спала и не мешала плачем,хватило слез одной мамки. Дядя Родя заглянул напоследки за переборку, в спальню, где спала на кровати с Ваняткой его дочка, постоял, посмотрел и тихо вернулся. Он было сызнава заговорил о своих ребятах, благодарил и каялся, твердил про сиротский дом. Но у бати такие желваки заходили по скулам, что Яшкин отец скоро уж только благодарил.

Они с батей посидели молча на крыльце, на ступенях, покурили. Мамка, стоя в сенях, в дверях, еще поплакала, утираясь фартуком, из-под которого горой вылезал живот. А дядя Родя и батя и не прослезились и не обнялись, только пожали друг другу руки — они, должно быть, верили, что расстанутся ненадолго.

Яшка и Шурка проводили солдата с шинелью и котомкой до самого Крутова, прошли с ним деревней и долго стояли и смотрели, как он спускался за околицей по шоссе в овраг, поднялся из него, перейдя мост, обернулся, постоял, помахал им фуражкой и пошел быстро дальше, к Починкам и Папоротне, уменьшаясь, становясь смутным, и скоро скрылся за поворотом к станции.

В Крутове, возвращаясь, они повидались с приятелем по школе Пашкой Тараканом, мастаком рисовать, на удивление и зависть всему ихнему классу. Пашка показал им картинки, которые намалевал за весну. Картинки были что надо, в красках, как из книжки, про ребячьи весенние забавы. Но им, Яшке и Шурке, было не до картинок. Они не похвалили как следует, и Пашка обиделся, убежал к себе. Всю обратную дорогу, сечей и Глинниками, они шли молча. Петух не свистел и не передразнивал птиц.

С этого дня Яшка стал жить у них в избе. Они вместе, наперегонки, помогали мамке и батю по дому, гуляли, когда им позволяли (а позволяла им мамка часто), купались с ребятами в Баруздином омуте и на Волге. Бегали к Марье Бубенец смотреть народившегося мальчонка. Тетка Марья всем его показывала, до того была радешенька сыночку, не стеснялась ни капельки, что он не от мужа: Саша Пупа давно пропал без вести на войне и записан Марьей в поминальник. «Сашей и назвала, в память мово дорожного пьяницы, царство ему небесное... — говорила она, крестясь и плача. А на ее круглом, загорелом, в лишаях, лице было больше радости, чем печали. — На меня, чу, похож. Мой патрет!.. Вырастет — кормить старуху будет, ай, ей-богу!» — твердила она, тетешкая беспрестанно сынка. И то, что он ворошился на ее руках в распашонке, сероглазый, с русыми волосенками, большеносый, как она сама, и было, наверное, причиной ее неустанной радости. Шурка с Яшкой одобряли Марью Бубенец и вдосталь любовались на здоровяка — и не поднимешь! — красавца мальчонка... Они шлялись вдвоем-втроем в лес за земляничкой и полуспелой черникой, за начавшими выглядывать из мха и травы первыми маслятами, подберезовиками, крупными лисичками и крохотными белыми грибами-просвирками, когда бывала удача в Заполе.

Они и спали вместе в чулане, на полу, возле пропахшего нафталином сундука-укладки и не разговаривали никогда о Яшкиной матери. Они поступали так потому, что об этом, самом дорогом и горьком для Яшки, нельзя разговаривать, можно лишь вспоминать про себя. Зато они охотно толковали про Яшкиного отца, как он торопится с маршевой ротой на позицию, помогать русским солдатам побеждать врага. И всегда в разговорах дядя Родя был живехонек, он ходил в штыковую атаку и лупил германов и австрияков почем зря, в хвост и гриву. И эти австрияки и германы были другими, непохожими на усадебных пленных, которых ребята любили, кроме, правда, ненавистного, безжалостного Ганса в бескозырке.

— Дядя Родя заслужит второго Георгия, помяни мое слово, заслужит! — убежденно-завистливо говорил Шурка. — Бате моему тоже собирались повесить награду, да он попал в госпиталь, и крестик потерялся.

— Что один, что два креста... Все равно тятка не удержится, пожертвует их Ре-Се-Де-Ре-Пе.

— Зачем?

— Обменяют на денежки, кормить раненых большаков.

Шурка вздохнул.

За тесовой, со щелями перегородкой, отделявшей чулан от двора, слышно было, как возились на нашесте, угнездываясь на ночь, куры. Красуля, лежа на чистой соломе, пыхла и жевала свою бесконечную жвачку. Хорошо пахло навозом, щипало немножко в носу от мамкиной укладки. Запахи не мешали, они клонили в сон.

— Дрыхнем?

— Дрыхнем...

Но они все не засыпали, нежились в прохладной темноте, шептались.

— И батя пожертвовал бы награду для раненых, не пожалел.

— Конечно. Тятка отдавал свой крестик — не взяли. «Носи,— говорят,— будут лучше слушаться тебя мужики в деревне».

— Володька посеял вчера свой «смит-вессон»...

— Растяпа! Где?

— Кажется, в усадьбе. Надобно поискать.

— Найду и не отдам безрукому балде...

А Шурка думал опять о дяде Роде. Ох, сколько они с Петухом потеряют теперь оттого, что Яшкиного отца не будет с ними! Вот недавно его дружок спросил Григория Евгеньевича: «Эксприаторы — это хорошо или плохо? Разбойники, да?» Он, должно, вспомнил, как обозвал их весело этим непонятно-звучным прозвищем учитель, когда они, пареньки, играли в найденный в саду крокет барчат. «Э к с п р о п р и а т о р ы,— поправил Григорий Евгеньевич и заколебался, словно боясь ошибиться.— Нуте-с... э к с п р о п р и а ц и я... Пожалуй, хорошо... Впрочем, я сам еще плохо понимаю,— откровенно сознался он.— Разные бывают и экспроприации... Вот мы с вами немного поживем, поглядим, поучаствуем в революции и все узнаем». А Шуркин батя, когда к нему пристал, допытываясь, помощник-подсобляльщик, отмахнулся по обыкновению: «Почем я знаю? Слов новых много всяких навывдумывали, да толку от них мало... Куда ты сумку мою с бумагами девал? Ищи!»

Мужики в деревне, как давно приметилось Шурке, не любили разговаривать с ребятами по своим взрослым делам, а по нынешним, о революции, и подавно. Мамки не прочь, как всегда, почесать долгими языками со всяким и про всякое, только слушай, но им постоянно некогда — торопятся с печкой, коровой, курами, в поле бежать. Еще любят поторчать около мужиков, как это делают все парнишки и девчонки,— пользы от мамок тоже было маловато.

Кажется, только один дядя Родя в селе отличался от всех, охотно, как и раньше, разговаривал с Яшкой и Шуркой. «Прежде всего, мы скажем, есть э к с п л у а т а ц и я,— ответил он им значительно, как равным.— Попросту, по-нашему сказать, грабеж среди белого дня бедных людей богатыми: лавочниками, фабрикантами, помещиками, вроде нашего Крылова... Ну, а экспроприация — законное возвращение награбленного хозяевам, то есть нам, беднякам... Раскусили?»

Значит, и крокет ихний, собственный, ребячий, не барчат, потому и прозвал тогда молодцов-удальцов Григорий Евгеньевич одобрительным прозвищем. Но почему он постеснялся сказать все до конца? Точно учитель боялся кого-то обидеть.

Шурка немедля поделился с Яшкой этими своими важными мыслями, особенно напирая на то, чего они лишаются с отъездом Яшкиного отца на фронт. Петух от согласия и удовольствия только кукарекал.

Потом они поговорили о шлюпке в барском каретнике. Здорово бы спустить ее на воду! Да кто разрешит? Дедко Василий, как изру-

бил и сжег иконы, ушел из дому и пропал. Говорят, в монастырь побежал, замаливать тяжкий свой грех. Он всегда, когда поругается с богом, опосля кается перед ним, просит прощения. А тут страшно подумать, что наделал. И в монастыре не отпустится ему этот грех... Был бы дедко Василий дома, может, и разрешил, ведь шлюпка попусту валяется в каретнике, только рассыхается. А безглазый приказчик не позволит, и не заикайся... Разве попросить Совет? За писарские труды, а?.. Хоть бы в шкаф барчат часом заглянуть, покопаться в книжках... Шкаф-то ведь не ихний, нашенский. Тут экспроприация — самое святое дельце... А в субботу Шурка пойдет в школу. С двенадцати у него дежурство, обещал Григорию Евгеньевичу выдавать книжки ребятам. Можно и себе интересную сыскать, перечитать.

— И я с тобой, Саня. Ладно?

— Ладно... Да дрыхни ты, пожалуйста! Не мешай спать.

— Это ты мне мешаешь. Молчи!

Они сладко препирались, зевая. Бессонное комарье пробралось со двора в чулан, приятно ныло-звенело в темноте, над головой, не кусалось и точно убаюкивало. Сон схватывал друзей внезапно и не отпускал до позднего утра, пока Шуркина мамка не будила их к горячим лепешкам с творогом и мятой картошкой. Летнее солнце давно разгуливало по улице, это видно было из сеней по зеленому пожару луговины перед крыльцом.

На Тихвинскую не звали гостей: угощать было нечем. Хлеба в обрез, дотянуть бы только до нового. Обманул дядю Родю батя, утаил, горшки ему не делать до рождества — глина вся вышла. Купить или занять у карасовских горшелей трудно, сами они, как постоянно, сидели уже без глины, запасы у большинства кончились. Жить, то есть добывать глину, можно было лишь зимой, в сильные морозы, копая ямы и норы в Глинниках, не боясь воды и обвалов.

Продавать готовые корчаги и ведерники, подкорчажники, кринки и кашники было не из чего: высокой громкой колокольни в сенях уже не существовало. Батя, потемнев, опять обделял себя, когда за столом резал каравай. Самый тонкий, дырявый ломоть хлеба клал возле своей обкусанной ложки.

А мамка голубела и не унывала. Потчевала ребят, приговаривая ласково:

— Больше ешьте, скорей вырастете... Кому опосля обеда вставать тяжело, тому в поле нагинаться легко. Бери, отец, лепешки, удались они мне ноне, пышные, румянистые, творогу натошто... Вот я сметанкой тебе помажу, побалую. Новина скоро, слава богу!

— До новины еще дожить надобно, — ворчал батя, ни на кого не глядя, и делил лепешку на пять равных частей.

Голубая мамка не унималась:

— Не попрем, доживем!.. Чуть зачнет поспевать ржица-матушка, нажну сноп и на печку. Высушу, обмолочу вальком да каши вам ржаной сварю... Можно и смолоть свеженькое зерно на домашних жерновах и испечь хлебы.

На праздник прибрела из-за Волги лишь слепая бабуша Матрена. Она перебралась через реку поездом, от разъезда до станции. По шоссе до села ее подвезли, нашлись добрые люди.

На второй день Тихвинской, когда все еще праздновали как могли, отдыхая последний денек перед страдой, отец взялся отбивать загодя косы, и не только свои — и чужие. Сестрица Аннушка заранее распевала благодарения, желая братцу здоровья, и усердно сулила за работу яйца. Да и другие бабы от нее не отставали, понатащили литовок и хлопущ, потому что многие сами отбивать косы не умели и всегда обращались за подмогой к кому-либо из соседей. Отбивание кос истари было особым мастерством, главным образом мужиков,

и то не всех. Иной отобьет зазубринами косу, утро-вечер помаши ей и опять берись за молоток. А другой, золотые руки и брильянтовый глаз, так косу твою наколдует, отстучит ее молотком на наковальне по жалу, оттянет его на тонко, ровно, хоть неделю коси, наявивай со всего плеча, берегись само собой камней, не забывай изредка подтачивать лезвие бруском и крестить оселком. К таким колдунам, должно быть, относился и Шуркин батя, уж больно многолько понесли ему бабы кос. Он был доволен, охотно принимал работу, но от приношений отказывался наотрез:

— Не велики мўки — свои руки... Люблю, мать честная, отбивать литовки и хлопуши!

Косы замачивались в ушате за крыльцом, опущенные пятками в дождевую воду, чтобы крепче сидела на деревяшке сталь в железных кольцах. Ванятке и Тонюшке был дан строгий наказ к ушату близко не подходить.

В березовый свиловатый чурбан, валявшийся под навесом, батя вбил, как гвоздь с большой шляпкой, четырехугольную наковаленку, припас воды в горшке с отбитым краем. Разыскал на дворе, в ящике с плотницким инструментом, особый молоток, сохранившийся за годы войны, ржавый, как бы срезанный на концах с одной стороны, но все же совершенно тупой. Это было самое удивительное — молоток тупой, а коса стальная. Что можно сделать таким молотком? Оказывается, можно и многое, только смотри, дивись и радуйся.

Шурка не раз видел, как отбивают летом мужики косы, как это делал отец, приезжая на сенокос из Питера. И всегда это было для него волшебством, так непонятно-чудесно все происходило. И нынче это повторилось, волнуя его и радуя.

Батя приказал Шурке и Яшке отыскать и принести второй кругляш, который бы служил ему табуреткой. Кругляш-чурбан должен быть толстый, не высокий и не низкий, в самый аккурат, чтобы не наклоняться больно перед наковальней, а то сломается спина и отвалится, порвется шея да и молоток станет ошибаться. А в таком деле ошибок не полагается, иначе не сосчитаешь зазубрин.

Они немедленно отыскиали на гумне, в поленнице дров, то, что требовалось. Мамка не расхибла один кругляш, не хватило силенок, сук на суке, чурбан и пригодился сейчас. Одна мыслишка вертелась у обоих, но они не смели даже признаться о ней друг другу, желание было явно несбыточным.

Скрипя кожаными своими обрубками, отец на руках, сильно, как бы без труда, одним взмахом поднялся на сиденье. Молодцы сообразительно пододвинули ему ближе, ловчей наковальню. И чудеса начались.

Франц, конечно, был тут, гостем. Сидел-посиживал на скамье, вынесенной уважительно мамкой, в аккуратном своем травянистом латаном мундире, застегнутом на все пуговицы, воротник и тот на крючках. Мундир перепоясан немецким кожаными ремнем; нерусские, бронзово начищенные башмаки с подковками, чтобы каблуки не сбились. Как всегда, Франц был синий-пресиний от утреннего бритья, в кепке с долгим козырьком. Он курил трубку и разговаривал приятельски, ломано, по-русски и по-немецки, с батей, наблюдая с интересом за его работой. И полмужики не спускали глаз с колдуна, восседавшего таинственно на березовом чурбане.

Они принесли прежде всего мамкину косу-литовку, не очень большую, женскую, еще почти новую, с золотым клеймом на широком лезвии. Отец положил на правое плечо косье, просунул и утвердил свободно его верхний конец в щели крыши навеса, и выгнутое слегка дугой лезвие легло на наковальню, прихваченное левой рукой. Перед нахмуренным, сурово-строгим колдуном на наковальне была пятка

косы, и по ней стал ударять молоток срезанным тупым краем, все по одному, казалось, месту. Нет, коса незаметно, очень медленно передвигалась, и молоток в спокойно-сильной, загорелой батиной руке делал размеренно свое непонятное дело: бил и бил по самому жалу лезвия. Но сталь точно бы и не поддавалась ударам, была прежней, без следов, густо-лиловая. Упрямый, ровный звон, лаская слух, весело разносился из-под навеса по всему переулку.

Франц первым стал что-то замечать новое.

— О! Тошный глазик, верный рука... Гут! Очень карашо... Луче — найн! — с видом знатока, одобрительно сказал он, вынимая изо рта трубку, пуская кудрявое, душистое облако по всему навесу.

А подсобляльщики ничего нового, хорошего пока не видели.

Шевеля усами, батя прошелся молотком по всему лезвию литовки, начал отбивать вторично. Лицо его подобрело. Он бил третий и четвертый раз, и вдруг Шурка и Яшка увидели на наковаленке, под молотком, на лиловом полотне косы, по самому краю лезвия свежесветлую узкую полоску.

— А-а! Готово! — закричали они в один удивленно-радостный глас.— Франц, смотри, отбита коса... Острая! Битте, пробуй...

Отец провел молотком по жалу, точно выравнивая его, и, отложив косу в сторону, на землю, полез за табаком в солдатскую свою жестяную банку-масленку.

— Моего, Франц Августыч? — предложил он дружески.— Махорочка деревенского производства, крепкая, выдержанная, на горшки сменял... Отведай!

Пленный немец-австрияк, не поймешь до сих пор точно, кто именно, и неважно, австриец, герман, — одинаково отличный человек, смастеривший отцу тележку на железном ходу, вспахавший весной ихний клин под яровое, засеяв ячменем и овсом и, главное, научивший Шурку ходить за плугом настоящим мужиком, без обмана, этот славный-преславный дядька Франц постучал кривым чубуком по желтому башмаку с подковкой и, не церемонясь, по-приятельски набил свою трубку батиным самосадам. Он взял мамкину отбитую, с золотым, полустертым клеймом косу и сделал вид, что бреется.

— Арбайтен гросс! Бри-ты-ва... Моладец, Лексанрыч Кола!

— Надобно поточить бруском как следует, тогда и станет бритвой,— отозвался довольный похвалой батя.

Пареньки бережно, вдвоем, отнесли готовую косу на повесть, вынули из ушата мужицкое орудие сестрицы Аннушки, довольно-таки длиннее. Снова колдуя молотком, отец громко, точно поверх стука и звона, разговаривал с Францем.

— Евстигней, хуторянин залесский, гостил вчера у Косоурова, родственник дальний по жене. Выпил за обедом самогону малый лишек — и в слезы. Ревет, жалуется: «Грыжу нажил — добра ни крошки. Волчья-то пустошь и останется пустошь...» Министра царского проклинал, того самого, что отрубил, хутора выдумал: «Сидеть бы ему, анафеме, веки вечные в аду, гореть в огне! Я, грит, в родной деревне жил, хоть суседа видал, ругался с ним когда, грешил. А теперь радешенек бы и полаяться — да не с кем. Один-одинешенек в лесу живу-маюсь, в точности как волк, зубами с голодухи ляцкаю, проценты в банк плачу!»

— Bank? Prozente?.. Ха! Тьфу! — возмущенно плюнул Франц.— Diese Teufelei kenne ich, hab'ich selber erfahren!¹

— Ну да. Этак вот и живем... Земли у нас, сам видишь, мало. Курицу некуда выпустить со двора погулять, поклевать. Бесхлебье. Своего до пасхи хватает, это еще слава богу. А то и к рождеству

¹ Банк? Проценты?.. Эту дьявольщину знаю, на себе испытал!

в ларе пусто. На базаре хлеб прикупаем... Знаешь, во что торгаши сейчас пуд ржи вогнали?.. И еще страшат: «Бери скорей, завтра подорожает!» Прежде на заработки уходили мужики, кто в Питер, кто в Москву, теперь обратно бегут в деревню — жрать нечего, а у нас есть что?.. Этак и выходит: нужда-то свои приказы пишет, а мы их сполняем — вот и вся наша революция, не ахти какая.

Дядька Франц радостно встрепенулся:

— Я! Я! Понималь. Ре-во-лю-ция, бошаки, зер гут!

— Большаки,— согласился батя и даже перестал минуту колдовать на березовом чурбане, такое, видать, закипело у него на душе, на сердце, откровенное, страсть дорогое, а для Шурки и Яшки и более того.— Дотошные, справедливые люди, скажу тебе, умнеющие, сам вижу: за бедных стоят горой. И на гору лезут, на самую вершину для них, голытьбы. У нас, гряд, понятия о порядках свои, революционные: то, что богатеи, с тыщей десятин за пазухой, называют порядком,— для бобылей, как есть беспорядок... Форштейн? Отнимем, слышь, землю у живоглотов, для них это, конечно, будет беспорядок, раззор, а для народа — самый порядочек и есть, лучше не бывает... Эвон Ваня Дух наш разбогател на войне, обирал раненых, санитар, теперь мельник, тоже заговорил: «Не трожь! Мое!» — это его нынешний порядок. Ну, а мы, как видишь, держимся за другой, справедливый... Говорю тебе, Франц Августыч, друг мой, партия большаков — полезна для мужиков! — Отец рассмеялся удачному, складному слову.

— Ле-нин? — ясно, весело спросил пленный.

— Он самый... Не все еще слушаются его, вот что плохо. Да придет срок — послушаются! Не может не прийти такое время, поверь мне, придет. Скоро!

Батя долго молчал. Потом снова заговорил:

— В Питере Советы — не эти, вот еще наша беда. Заправляют там, слышно, меньшаки, серые разные... Помогают обманывать народ Керенскому, буржуям... Да ведь когда ни есть наш брат мастеровой, солдаты раскусят, прогонят, станут Советы и в Питере нашенскими, большаков. Вот тогда и... Как думаешь?

Франц думал точно так же. И Яшка с Шуркой соображали одинаково, как они это чувствовали. Больше, конечно, чувствовали, чем соображали. Что ж, для начала не худо. Зато они еще кое-что продолжали не только чувствовать, но и горячо, нетерпеливо желать, дружно кумекая и отчаиваясь, наблюдая с восторгом за чудесами на березовом чурбане. Эх, кабы им хоть завалыщуюся какую, поломанную, брошенную!.. Показали бы они другие чудеса, на гумне, к примеру...

Отбиты косы сестрицы Аннушки и тетки Надежды Солиной. Легла на наковальню чья-то ржавая, в зазубринах и вздутых шершавинах — определено безрукая бабья работа, правь, вытягивай, равный жало, если сумеешь.

— Устин, лавочник, сказывал наемни мужикам: управляло новый хвастался в усадьбе — солдате, чу, из уезда пригонит, караульную не то учебную команду, тыловую матушку темноту, не позволит косить волжский луг... Что тут делать? Бескормица... Родион наказывал: не уступать, а н а с т у п а т ь. Сраженье!.. А на войне нет хуже, как сидеть в окопе и разводиться вшей. Свисти в свисток, взводный, веди в атаку...

— Verfluchter Krieg, wann wird er zu Ende sein? Wer bestimmt dies? Außer uns — niemand¹.

¹ Будь она проклята, война... Когда ей конец? Кто распорядится?.. Кроме нас, некому... (нем.)

Батя долго возился с чужой порченной косой.

— А ну-ка, сынок,— неожиданно обратился он к Шурке,— принеси мне с повети старенькую мамкину косишку, которой она крапиву тяпает для коровы. Знаешь?

У белобрысого, долговязого молодца отнялись ноги и помертвел язык. Побледнев, Шурка торчал перед отцом березовым кругляшом.

Яшка, несколько придя в себя, спросил, заикаясь:

— А-а... для кого... старая коса?

Усмехаясь, батя лишь повел, пошевелил тараканьими усами. И этого было достаточно. Ребята, умерев от радости и воскреснув от нее же, как бывало уже с ними не раз, ни о чем больше не спрашивали, помчались сломя головы во двор, забрались по лесенке куда следовало.

Принимая сточенную донельзя, отслужившую свой век литовку с заплесневелым, коротким, словно обломанным косьем, отец порыvisto вздохнул.

— Верно люди говорят: пока работаешь — тогда и живешь... Черт!..— выбранился он.— Поживем!

И, омолодив старуху литовку, которой внезапные косари тут же без усталости держали, поперебой держали в руках, пробовали остроу жала, по росту ли им косье и удобна, хватка ли рукоять (оказалось, она передвигается, Франц в два счета наладил им пониже), отец, хмурясь, дергая скулами, точно жуя свои темные желваки за щеками, распорядился хрипло:

— Подайте-ка... мою... длинную...

Он молча принял аршинную косу, руки его мелко тряслись. Батя гладил бледной, вздрагивающей ладонью косье с захватанной, отполированной в сенокосы мозолями рукояткой, ласкал синее, вороненой стали, огромное полотно, отчасти сработанное, но еще довольно добротное, с блестяще-тонким, будто только что отбитым и чем-то смазанным жалом лезвия.

— Не покосить...— тихонько признался он, с трудом сдерживая себя, чтобы не заплакать.— Нет уж, не покосить мне... каюк!

Франц уронил скамью, вскакивая, отнял ласково-грустно у бати аршинную косу.

— Кола, Никола, до-ро-гой Колуша!..— притворно запел он девичью, где-то услышанную, запомнившуюся песенку и растерянно оборвал ее.— Я бу-ду ко-сит! — отчетливо, совсем по-русски сказал он, сдвинув брови, будто сердясь на кого-то, может, на себя, за неуместную песню, блестя мокрыми, широко раскрытыми серыми глазами.— Косит я!.. Ферштейн?

Наутро, раным-рано, Франц косил ихнее гумно вместо бати, его аршинной косой. Он отпросился потихоньку у Таси, занявшей как-то незаметно в усадьбе место уволенного и пропавшего Василия Апостола. Любо смотреть, как работал дядька Франц, расстегнув мундир нараспашку, бросив кепку и ремень на тропу. Ладно подошла к высокому, сильному немцу-австрийцу отцова долгая коса. Он и не косил, а брил в полукруг, взмахом на сажень, густой курослеп, конский щавель, дидельник и жирную гороховину, работая в два прокоса. Сначала шел как бы навстречу траве, поперек гумна, на краю поворачивал и, идя обратно, прокашивал захват с другой стороны начисто, и тогда сзади него скошенное гуменное разнотравье, в крупных алмазах, поднималось тугой, сине-зеленой волной, и волна эта, пенясь блеском, бежала за ним, нагоняла и не могла перегнать. Батя, ползя следом на скригучих своих обрубках, торопливо разбивал грабелитцем сырой, тяжелый вал, чтобы сено поскорей просыхало, становилось шумяще-легким и знойно-пахучим.

Мамку с ее животом прогнали скоро домой топить печь, готовить вместе с бабушкой Матреной завтрак косарям. Да, косарям (множественное число тут не ошибка!), потому что трудился на гумне с косою не один дядька Франц. У него нашлись два молодца-помощничка, которые изо всех сил, поочередно, махали старенькой косой-хлопушей.

— Чище коси, малым прокосом, не жадничай и не балуйся,— наставлял добро и строго батя, не спуская внимательных глаз с Шурки и Яшки.— Обратный прокос опосля сам к тебе придет, как научишься... Да веди по траве всем лезвием, не пяткой и не одним носком, слышишь?.. Стой прямой, клади косу на землю ровно, не заматывайся с плеча, тебе говорю!

Франц предложил свою школу, как надобно косить, ребята наотрез отказались. Пот катился с молодых косарей градом, щеки у них горели огнем, хоть прикуривай или теплоту разводи. Беспрестанно капало противно с носа, и стыдно было останавливаться и утираться рукавом, так они старались. Им бы отдохнуть, чередуясь, они же отнимали друг у дружки косу — терпения нет прохладиться.

Мимо летела зачем-то в поле сестра Кольки Сморчка, известный бес — Окся. Все на ней было старенькое, короткое — юбочка, кофтенка, стиранное-перестиранное, штопаное, а сама выглядела конфеткой — куколкой. Босоногая, а раскрасавица, ухажеров хоть отбавляй. Протопала копытцами Окся, остановилась, не утерпела, весело окликнула:

— Бог вам на помощь, кавалеры!

— Спасибо,— отозвался не очень ласково, боясь подвоха, Шурка: его черед был мучиться.

— Что-то у тебя, молодец, больно много позади травы остается... Щетина, погляди, борода целая!

— Тебе какое дело?

— Поучить?

— Отвяжись!

Но Окся Захарова не была бы бесом в юбке, если бы отвязалась. Где там! Она подскочила на своих копытцах к Шурке сзади, как бы обняла его и смуглые от загара, горячие руки положила на косье, рядом с Шуркиными скрюченными, потными ладонями. Окся дышала ему в затылок, вела косу, приговаривая ласково, необходимо:

— Вот как надобно косить, кавалер! Этак вот, гляди... Ничего трудного и нет, правда?

Кавалер ерепенился, отталкивал плечами, спиной Оксю, а старая, умная литовка-хлопуша его уже принялась, играючи, брить траву. Не надобно было нажимать пяткой, залезать носком в гущу курослепа, надобно было только спокойно, как бы нехотя, с ленцой, водить без всякого усилия косой по земле.

— Покажи им, покажи, девах! — поощрительно сказал батя, отложив грабли, любуясь на Оксю, на ее учение.

Затем бес в юбке обучал Яшку, и тот, видя явную пользу, не отталкивал Оксю от себя, переспрашивал:

— Так? Да?

— Этак, дрозочка мой, сообразительный, этак! Ну, совсем косарь-парень... Дай я тебя за старание расцелую! — смеялась Окся, тискала Петуха за плечи, чмокала щекотно по шее губами.— Ой, хорошенький мой, залеточка!

— Но, но! Без баловства!.. — оборонялся Яшка.

— Даром я тебя учила, негодный?!

— Оплеухой могу заплатить,— отвечал задорно Петух и тоже смеялся.

Они благодарно проводили Оксю Захарову гумном в поле. И снова взялись за косу, и теперь дело у них пошло спорей, лучше, так им определенно казалось, и они не ошибались.

А как приятно было, пройдя прокос, другой, остановиться и, подражая Францу, поднять клочок срезанной травы, обтереть им осторожно холодное, мокрое, с приставшими листочками и стеблями цветов полотно косы. Потом, сунув косье под левую мышку, уперев его в землю, проткнув мягкий изумрудный гребень кошенины, вытащить оселок из берестяного, пристегнутого к поясу налопаточника, как из ножен кинжал, и крестить, крестить этим оселком с обеих сторон, натачивая, выпрямляя лезвие косы и одновременно, неприметно отдыхая.

— Саша! — позвал отец. — Выкоси мне за сараем низинку почище. Больно трава хороша там уродилась...

Саша — почти Александр. Дела идут лучше и не надо как, бегом бегут. Он, Шурка, сам за собой не поспевает. Скоро и по отчеству назовут, окликнут. Не батя, конечно, соседи, знакомые. Вот тебе и мужик, без всякой половинки... И Яшка — такой же дядя. Что может быть слаще и дороже?

От избы уже бежали вприскок гумном, по скошенной и разбитой, начавшей светлеть траве Ванятка и Тонюшка, громко звали косарей завтракать.

Глава XVIII

Лютая беда

Барский луг к Волге косили через неделю после Тихвинской, переждав надвинувшееся ненастье, косили сообща с глебовскими, как давно решил Совет. Накануне пустоглазый, клетчатый управляло-приказчик в полотняном картузе носился в город на рысаке, возвратился живехонько и грозил открыто солдатами... Явятся и прогонят с луга, заарестуют главарей-самозахватчиков. Могут и расстрелять, имеют на то полное право-с, как в Петрограде, на Невском, манифестантов-большевиков побили наемни из пулеметов. Что-с? Не слышали? Услышите... Очень просто, почему: не ори во все горло «Вся власть Советам!». Глотки-то, слава богу-с, стали затыкать свинцом. Давно пора!

Мужики только посмеивались. Наязычил в уезде? Пуганые, не прошибешь пушкой, дуй те горой! Корусть какая солдатам с нами воевать? Да и кто они, солдаты твои?.. Опять же всякое дело середкой крепко. Потому не больно верь началу, лучше обожди конца, ему и верь. Ай, не знаешь?.. Ну так не забивай клин под всякий блин, испечется, сам свалится со сковороды.

Ребяшня от хохота чуть не каталась по мураве — до чего нынче опять ихние отцы зубастые, уморушка, только слушай. Так и режут, так и сыплют поговорками, присловьями, и все к месту. Глотай, пустоглазый, темные твои очки, да не подавись!

Мужики ждали свою газету, что она скажет про Питер, что там стряслось. Да брехня, поди, буржуйская, слушай не переслушаешь. Наша везде берет, вот дьявол толстопузый и орет... Но Митя-почтальон «Правды» не принес. Все равно мужики, сельские и глебовские, собравшись вместе, кинули на плечи косы, а мамки и девки, празднично разодетые на людях в сенокос, по обычаю, в ярких чистых

кофтах, белых косынках и босые, прихватили грабли сушить зараз луговое доброе сено. После дождей, в осоке на лугу по колена была ржавая «солоть» — обутку береги, ног не жалей, отмоешь в Волге.

Распоряжался всем дяденька Никита Аладьин, товарищ председателя Совета, сейчас и сам как есть председатель, раз большак Родион на войне. Держа свою лобастую, с залысинами, голову-корчагу прямо и твердо, Никита Петрович повел народ проселком через яровое поле. Ребяшня увязалась следом. Не столько за батьками и мамками, сколько за Яшкой и Шуркой, которые несли всамделишную косу и обещали научить приятелей заправски косить.

Под горой, к реке, у дороги сторожил с ночи барскую траву ненавистный ребятам Ганс, пленный холуй, с берданом. Он загородил бабам и мужикам дорогу, пролаял:

— Хальт!.. Цурюк!.. Нихтс, ниhtс!

Других слов он, наверное, и не знал на своем собачьем языке. Некоторые мамки, отчасти расстроенные, напуганные питерскими новостями, повернули было обратно в село, да Минодора прикрикнула на баб и девок, и они, косясь, обошли молча стороной пленного немца. А мужики, толпой, сияя-сверкая отбитыми, наточенными длиннущами косами, покуривая табачок, шли по дороге к лугу и точно не замечали сторожа с ружьем, будто не слышали его лая.

Ганс, выкатив бельма, с пеной у рта, пяtilся, угрожая берданом, однако не решаясь даже тронуть, пошевелить затвором. Мужики, расступившись, прошли на луг мимо сторожа и его ружья.

— Ну, стреляй, дурачина, — беззлобно сказал Осип Тюкин, останавливаясь последним, середь дороги, один на один. — Попадешь ли, еще неизвестно... Я, брат, стреляный... А уж косою-то вот этой наверняка тебя достану!

И он замахнулся.

Ганс отскочил, бросился бежать к усадьбе.

— Держи его, держи за хвост! — кричали ему вдогонку ребята. — Хальт, говорят тебе!.. Хендэ хох!

Пленный, а выслуживается, проклятый, почище хромого Степки. Не ошибись, как весной, от старанья! Караулил со своим берданом запертую Мишкой Императором в каретнике Ксению Евдокимовну с барчатами, и обмишурился, не тому, оказывается, угодику махал кадиллом. Индивиду, Анархисту самому попало — и за поджог усадьбы, и за грабеж, и за каретник. Знаешь ли ты, лупоглазая слепня, чей нонче этот луг? Сторожишь добро от законных хозяев, болван!

Действительно, мужики и бабы вели себя на волжском лугу хозяевами. Да еще какими! Не позволили мальчишкам бегать где хотелось, мять густую, драгоценную траву, рвать девчонкам любимые незабудки, ромашку и приглянувшийся, выше их ростом, иван-чай в розовых пиках цветов. Даже по синей, жирной осоке приказано горласто было идти, глядучи во все глаза, непременно гуськом, самой что ни на есть непролазной «солотью». Кусачая осока, которую раньше никто и за корм не считал, теперь оказалась сенцом хоть куда. Стряси ее зимой с гороховинкой, клевером и тимофеевкой — самая балованная сывая скотинина ясли вылижет за милую душу. Торчать, слышь, смирнехонько, паршивые сорванцы, не соваться под ноги — живо получите косою по голым пяткам!

А сами косари и не думали вести себя тихо-смирно, чесали языками вовсю. Наверное, на той стороне, через Волгу, слышен был ихний смех и трепотня. Мужики зубасто проезжались на счет Марфы-работницы, которую Устин Павлыч прислал косить со всеми барский луг. Не прозевал и не побоялся.

— По хозяину и лошадка! — зубоскалили мужики.

— Сосунка бы тебе завести. Совсем было бы хорошо...

Высоченная, седая Марфа топала, как всегда, своими бревнами в шерстяных, полосатых чулках и кожаных, сваливающихся опорках, отмахивалась обезьяньими, до колен, граблями-лопатами и краснела.

— Не пристало мне такие шутки слушать,— сердилась, конфузилась она, отворачивая птичьё, закутанную в платок головку с выбившимися прядями, как перьями.— Ить я девица...— признавалась она застенчиво.

— Да что ты говоришь?! — ржали мужики.

— Про девицу-молодицу и речь. Двойней принесешь, звон какая гладкая!..

— Постыдитесь! — весело ругали мамки отчаянных своих муженьков.— Ишь, распетушились... Со страху, что ли?

— Известно, мужик сам себя боится!

— А ты, храбрая, о чем думаешь, когда с печи падаешь?

— Да баба, пока летит с полатей, семьдесят семь дум передумает! — отвечала басом Надежда Солина, Молодуха.

Шуркина мать косить на волжский луг не пошла: ей нездоровилось. Она приказала Ванятке сбежать к бабке Ольге Бородухиной, сказать ей, чтобы наведалась. Отец, встревожась, хотел тоже остаться дома, но мамка не позволила. Франц на руках перенес батю через грязь и осоку, вернулся за тележкой и ее доставил на сухое место, на пригорок. Отец привычно сел в тележку, достал из нее кринку и брусок, велел Шурке сбежать за водой, готовясь точить бабам и девкам косы. Но у всех косы еще не затупились, не успели, дела нет, и батя, хмурясь, катая камни за щеками, опираясь ладонями на темно-зеленые валы кошенины, приминая ее, передвигался медленно на тележке за косарями, не отрывая от них жадно-горячего, завистливого, тоскливого взгляда. Франц, сняв башмаки и засучив повыше солдатские брюки, резал его аршинной косой неудобья, осоку в самой грязи и кочках. Мужики, останавливаясь, насвистывая, названивая вынутыми из налопаточников оселками, закуривали. Иные подходили к отцу, предлагая табачку. Он молча принимал кисет и со знакомым скрежетом разворачивал железную банку-масленку, угощая ответно соседа. Цигарка его беспрестанно дымила под вздрагивающими усами. От окурка он разжигал свежую самокрутку, и каменели, не пропадали желваки в острых, накрепко сжатых скулах.

Шурка поспешно хватался за свою литовку-хлопушу. Они с Яшкой учили косить набежавших ребят. От желающих, конечно, не было отбоя. Они, знаменитые учителя сенной грамоты, обучили бы всех, не поленились, но мамки заорали-затрещали, что этакое добро портят, сшибают одни макушки дидельника. Пришлось закрыть школу косарей.

Поперек всего волжского луга и не одной цепочкой растянулись сельские и глебовские старатели — мужики, бабы, девки. Один раз пройдут, как прежде, а кошенина уж легла за ними бесчисленными сине-зелеными волнами спенно-светлыми гребнями ромашки, словно на Волге в ветреный день бегут-гуляют с низовья по темной ряби, прячутся и снова гуляют белые барашки. Залюбуешься, стоя на пригорке, как на берегу реки. И купаться позабудешь.

Удивительно шустро трудились сестры Мокичевы, бабка Зина и бабка Варя — питерские старые Кикиморы. Прожили у князя Куракина в услужении почти всю жизнь, умели, кажется, только приседать на высоких, сбитых каблучках, а тут, поди ж ты, и деревенскую страду-работу вспомнили. Нужда: приглядели, говорят, на станции, у сторожа, годовалую козу, сторговались задешево, граммофон с сиреневой трубой посулили в придачу и напросились у Аладына покосить с народом на лугу. К березовым веникам больно подойдет

волжское, сладкое сенцо. Шурка с уважением поглядывал, как размашисто, точно девки, косят бабки Зиночка и Варечка, может, поминая свою далекую молодость. А когда, запыхавшись, останавливались, брались трясучими, худыми руками за оселки, то и все бабы сзади Кикимор охотно переводили дух, которые несли точить косы Шуркиному отцу, иные сами звенели-крестили лезвия, хотя, может стать, им этого и не требовалось. Экие догадливые, сердобольные мамки! Жалости у них хватит не на одних Кикимор.

Все были ужасно веселые, довольные. Кажется, лишь один человек на лугу совсем разучился шутить и усмехаться. Хоть бы одно веселое словечко сказал, оживился в пол-улыбки...

Появились на лугу неожиданно братья Фомичевы, набожники. Все так и ахнули. В лаптях, в старье, а косы точно сейчас куплены, с червонными метками, широченные и длиннущие, по аршину, наверное, с четвертью.

Народ со смехом говорил, что вроде грешно косить чужое. Братцы Павел и Максим в карманы за ответом не лезли, осклабясь, трясясь животами, оборонялись живехонько: теперича все свое, бери, да бога не забывай.

— А солдаты? — пугали мужики.

— Господь милостив, обойдемся ноне как-нибудь и без солдатиков.

И как господнее наказание — солдаты с ружьями, человек десять, спускались неловко с крутояра, от усадьбы, на луг. Надо же было так случиться, в то самое время, как Фомичевы храбрились.

— Беспамятный! — хлопнул себя по лбу Максим, побледнев. — В клевере с утра корова стельная привязана. Обожрется — подохнет... Бежать с-корееча, отвязать!

— Помогу... Может, и пузо вздуло, волоком придется тащить... Как же ты, помилуй господи, опростоволосился, братец Максим? На-ко, стельную — и в клевер... Не полагается!

— А и сам не знаю, братец Павел... Затмило! Божье наказание. Святош Фомичевых точно ветром сдуло с луга.

Никто о них и не вспоминал — не до того. Народ замолчал, прибавил усердия и старался не глядеть на косогор. Солдаты, спустившись с горы на луг, подходили медленно и будто тоже не видели мужиков и баб. Серо-зеленые, словно живые вешала с травой, они шли нехота, нога за ногу, винтовки держали под мышками, как надоевшие, бесполезно-лишние палки. Останавливаясь, глядели на Волгу, сняв фуражки, некоторые спустились к воде, умылись и остальных позвали и все шумно плескались, ахали и охали, утираясь рукавами и подолами гимнастерок.

— Ух, важно!.. — доносилось от воды. — Искупаться, а?

Ребягня, притаившись на лугу, не знала, что делать: спастись, бежать домой или погодить.

Решили погодить, и правильно сделали. Все было не так, как боязливо ожидали пареньки и девчушки.

Чем ближе подходили солдаты, тем сильнее и дружнее, сажеными полукружьями резали косы густую гороховину. Никто не останавливался точить. Будто в пляске поводит народ плечами, трава сама валилась под ноги и только железно, скороговоркой, неустанно выговаривали косы:

— Вжжиг!.. Вжжи-иг!

Солдаты нахлобучили, примяли фуражки, повесили винтовки за спины, как попало. Штыки торчали вкось, прутьями, совсем не страшно. Солдаты, с расстегнутыми воротами, пылью на гимнастерках

и стоптанных сапогах, подошли и устало остановились, будто не зная, что говорить и что делать. Потом, как бы спохватясь, поздоровались, некоторые по привычке даже призвали бога на помощь косарям, и те, продолжая работу, сдержанно, разноголосно поблагодарили.

— Спасибо, коли не врете! — совсем насмешливо-добро и мирно отозвался на особицу Катькин батька-говорун.

— Що вы тут робите? — становясь внезапно строгим, смешно и совсем не строго спросил один из солдат, надо быть отделенный командир, с лычками на суконных погонах, конопатый, хохлацкого вида.

Злое веселье охватило сельских и глебовских.

— Хоровод водим! — ответила за всех Минодора.

Девки храбро и озорно позвали:

— Становитесь, кавалеры, в круг! Приглашаем...

— Спляшем, коли не разучились!

— А, брось балакать, дивчины! Кончай базар! — сердитей, неправдоподобней и потому еще смешней закричал отделенный. От усилий казаться неприступно-строгим его даже во второй пот ударило.

Солдаты толпились, оглядываясь, снимая ружья, доставая кисеты. Народ, бросая косьбу, окружил пришедших. Мужики тоже немедленно занялись самосадам, поглядывая на чужие кисеты с настоящей махоркой, ярославской, запашистой. По дыму каждый признавал вахрамеевскую не то дунаевскую полукрупку. Кое-кого и угостили солдаты желанным куревом, но скуповато, осторожно, видать, кисеты были жидковаты, из последних запасов выдан табак на дурацкий этот поход.

Подымили и помолчали. Разговор заметно не клеился. Свой вроде человек, а леший его знает, чего может выкинуть.

— Граждане, ушли бы вы с луга подобру-поздорову, — уныло, без украинского играющего говорка, безнадежно попросил отделенный. — Христом-богом прошу: бросьте, товарищики, косить чужое! Зря нас, что ли, к вам сюда пригнали?.. Ей-богу, арестуем!

— Попробуй! Свое косим.

— Ты за нас скотину будешь кормить? Чем? — спросил, раздражаясь, дяденька Никита Аладьин, и все зашумели, заругались, но как-то скучно, несерьезно, будто по обязанности. Ребяшня и дивилась и радовалась.

Подполз на тележке Шуркин батя, совсем черный, каменный, одни глаза живые. Солдаты, закусив сигарки, переглядываясь, окружили батю, побросали около него ружья, присели на корточки, угощая наперебой казенной махоркой. Вот так уж было однажды, и у Шурки отлегло на душе, пропал холодок под рубашкой.

Мамки и девки присели на кошенину отдохнуть. Мужики придвинулись ближе к солдатам. Те разговаривали с Шуркиным батей о своем житье-бытье. Запасники они, войны пока и не нюхали. И одна думка: как бы ее миновать совсем, войну-то. Ну посмей, пикни — разом и очутишься в окопах. Стало, помалкивай... Что скрывать — выгодно, дом близехонько, заслужишь, отпуск дадут, езжай к бабе в гости... Вот и держимся за свою караульную команду...

Они точно извинялись перед Шуркиным отцом, оправдывались, и жалковато было на них смотреть и их слушать. Они не говорили о революции, о Советах, большевиках, ничего не знали о Питере, что там случилось, будто жили и не в России, в какой-то другой стране и желали одного: перехитрить войну, не попасть на фронт, уцелеть. И им словно было стыдно перед Шуркиным отцом, потерявшим ноги на войне, стыдно перед мужиками, не побоявшимися косить барский

луг, стать, как слышно, на сторону большевиков. Солдаты искали причины, почему они такие, не по своей охоте, да и не одни они.

— Доверчивы мы больно к грамотным,— говорили они.— А кто грамотные, краснобаи? Тоже офицерье, писаря с протертыми в тылу задницами...

— На фронте, слышно, смещают хлопцы самочинно царских командиров, собак, выбирают начальников из своего вшивого брата. Такой в обиду не даст, зазря в атаку не пошлет, побережет маленько... Да и зачем ему война, как и нам всем?

Отец мрачно вспомнил:

— Один ваш офицеришко, из уезда, телку у меня весной забрал, на поставки, мол, армии. Врет, сволочуга, себе!.. Пречудесная была телка, Умницей звали, хозяйка выпоила, выкормила без меня... На жеребенка хотелось сменять. Отнял! Кудрявый такой, мордастый, с плеткой... Не пожалел!

— Он забрал, наш, пьянчуга, больше не кому,— возбужденно говорили солдаты.— Зверь! Другого такого во всем уезде нету... Вот кого бы сместить!

— За чем дело стало? — вмешался в разговор Катькин отец.

— За маленьким: руки короткие.

— А уж дождется, сместим!

— Мало сместить,— сказал убежденно, равнодушно Осип Тюкин, выбивая трубочку. И полез всей горстью в солдатский кисет, даже Катька застеснялась, покраснела.— Таких надобно в Волге топить, с камнем на шею, чтобы не выплыл,— очень обыкновенно, как о давно решенном, добавил он.

И скоро на лугу вовсе стало хорошо, лучше, чем было раньше. Расстегнув холщовые, неказистые опояски с ржавыми бляхами, солдаты поскидали гимнастерки, как хомуты, через ворот, задирая подолы от нетерпения на исподнюю сторону, и преобразились в таких же мужиков, как глебовские и сельские; одна и разница, что помоложе, и в нательных, грязных и потных, миткалевых рубашках, не в ситцевых празднично-чистых косоворотках. Иные, совестясь, и нижние рубахи снимали, шею загорелые, крестики болтаются на гайтанах. Отнимали у мамок и девок косы и шутили, что не курносая их, солдатушек, бравых ребятушек, нынче будет косить, а они сами, молодцы-храбрецы, ахнут сейчас белоногих молодок по толстым икрам. Берегись! К жениху подвались!.. Чай, стосковались? Эвот они, женишки, рядышком с вами... А рубахи и постирать можно, научились, извините, в бане давно не были... Дайте только вспомнить, как косье держать, не из ружей палять...

И вдруг все это невозможно, страшно изменилось, в один какой-то миг, как во сне, точно было и не было.

Вороной жеребец, в пене, сверкая скошенными белками, наострив уши, появился на лугу, возле народа. В седле, нахлестывая коня плеткой, врезая в мокрые, поджарые бока шпоры, поднимая на дыбы, пьяно качался офицер в белом мундире, с шашкой и наганом, лохматое волосье, что соловая грива. Красное, бритое лицо искривлено бешенством.

— Пре-кра-тить!.. Что такое? — орал он на весь луг, и народ ша-рахался перед ним.— Отделенный, куда смотришь?! Почему снята форма?

Но не отделенного видел Шурка, а своего отца, приподнявшегося в тележке. Батя в упор, не мигая, глядел на приближающегося офицера, и глаза его наливались слезами и кровью. Все как бы загорелось и задымилось вокруг Шурки, темный огонь отца перекидывался и на

него. Но самое сильное, невысказанное пламя бушевало пожаром в неподвижных, мокрых, кровавых глазах бати.

— А-а, ваше благородие! Довелось сызнова встретиться? — громко, хрипло сказал отец. — Телушку-то мою слопал? Теперь и меня самого, всех мужиков хочешь проглотить?.. На! Жри! Подавись!

Батя разорвал на груди рубаху.

Офицер натянул поводья, и вороной заплясал на месте.

— Ты, безногий? Опять?! Придержи язык. Я, кажется, тебе уже говорил: смотри, без головы останешься!

— Шкура тыловая!.. Тебе только народ грабить, обирать... Был и остался сволочной шкурой!.. — заплакал, забился в тележке беспомощно батя.

А офицер, с плеткой, свисавшей с запястья правой руки, придерживая левой прыгающую шашку, отвернулся, увидел близко от себя Франца с косой.

— Заодно с самозахватчиками, немецкая харя?! Спелся, успел?.. Прочь! — И поднял ременную, в узлах, плетку.

Перекосясь красной, пьяной рожой, привстав на стременах и как бы падая, он со всего размаху хлестнул Франца плеткой по лицу. Кровавый рубец тотчас вспух во всю щеку, и кровь закапала с синего подбородка.

— Зверь!.. Не смей!.. Зверь и есть! — задохся Шуркин отец и в беспамятстве схватился за винтовку, валявшуюся в траве около него.

— Заряжено!.. Не балуй! — испуганно вскричал отделенный, бросаясь к тележке.

Но затвор уже сухо лязгнул, батя выстрелил. Ударил гром, и Шурка оглох, ослеп, но все видел и все слышал.

Офицер кинул коня на Шуркиного отца. Вороной, сопротивляясь, попятился. Шпорами, плетью, поводьями его гнали вперед, и вороной копытами сбил тележку и батю на скошенную траву.

Народ тихо, страшно ахнул. Что-то темное потекло, собираясь лужей, под отцом...

— Тятя! Тятя! — дико закричал и заплакал Шурка, бросаясь к отцу и к коню, который еще плясал и фыркал. Какая-то сила отшвырнула Шурку тут же в сторону, лошадиный мокрый, в пене бок пахуче мазнул по лицу.

Он еще увидел, как Франц, кидаясь к офицеру, выхватил откуда-то блеснувший серебром револьвер, схожий на Володькин, потерянный «смит-вессон». И офицер вырвал из кобуры свой черный наган. Раздалось два выстрела. Франц, как скошенный, повалился травой на землю, а офицер, свиснув с седла, матерясь, все стрелял и стрелял из нагана в упавшего пленного.

И тогда из мятущейся, кричащей толпы мужиков и плачущих, перепуганных баб и девок выскочил Катькин отец в рыжем огне. В руке у него матово светилась жестяная бутылка.

— Получай!.. — рявкнул он бешено и кинул бутылку под копыта вороного.

Граната не разорвалась.

— Запал... Ох!.. В кармане остался... Разрази тебя... — ужасно выбранился дядя Осип, вцепившись в волосы. — Разиня беспамятная... запал! — ругал он себя и драл лохмы.

Вороной уже мчал на него. Солдаты подхватили с травы белую жестяную бутылку...

А Шурка, не помня себя, все рвался к отцу, его удерживали. Кричащий, бранящийся, плачущий народ заслонил от него то, что лежало у перевернутой тележки в темной луже. Яшка схватил Шурку за плечо, он вырвался, оттолкнул бледную Катю, мешавшую ему.

Он побежал в село, не зная, зачем. Нет, он знал, зачем, он побежал к матери сказать об отце, искать у нее защиты, как это делал всегда, когда был совсем маленький, и ему было очень больно. Он бежал и плакал, падал, запинаясь, поднимался и опять бежал.

В переулке, на дороге к избе, ему попалась навстречу веселая бабка Ольга Бородухина.

— Санька, родимый! Серденько-то подсказало радость? — позвала она, и каждая морщинка на ее печеном лице улыбалась ему. — Иди, иди скорееча домой... Мамка тебе сестренку принесла... да красавицу, здоровячку... еле разродилась. Беги, смотри!

Но Шурка не побежал и не сразу понял, о чем болтает, смеется бабка Ольга. А поняв, все равно не послушался. Он не имел права идти домой и рассказать матери о том страшном, непоправимом, что произошло с отцом.

И он бросился прочь от избы, сам не зная, куда.

Глава XIX

Горькое, непонятное время

Отца и Франца похоронили в одной могиле. День был будний, а народу собралось полное кладбище. Только Шуркина мать лежала в избе без памяти да сидели уже в остроге дяденька Никита Аладьин, как товарищ председателя Совета, распорядившийся косить барский луг, пастух Евсей Захаров, в его хоромах собиравшийся всегда советчики, и Осип Тюкин за гранату, хотя она и не разорвалась. Батюшка в золоченой старенькой ризе, и сам старенький, сдавший за зиму и весну, был растерянно-грустный, усталый и как бы задумавшийся, это все заметили. Он еле двигался, отпевал неслышно, однако ничего не пропустил, исполнил все, как положено. Отец Петр, как говорили, сам предложил хоронить убитых на кладбище, не за оградой, и место указал неподалеку от алтаря, вблизи свежей могилы тети Клавдии и зеленого бугорка питерщика-мастерового Прохора. Все были довольны попом, его распоряжениями.

Когда засыпали, в пять лопат, охотниками, глубокую, красной сырой глины, могилу, отец Петр, перекрестясь, отдохнувши, сказал, словно в чем-то оправдываясь, что вера у людей бывает разная, бог один. И это народу опять понравилось. Батюшка сразу не ушел за дьяконом и дьячком, понюхал, отвернувшись, табачку и еще сказал, что грешно злоститься на других, кто бы они ни были. Надобно завсегда жить добрыми и справедливыми, помогать друг другу, как велит господь и наказывает православная церковь. Поп точно осудил Крылова с его волжским лугом, лишней землей и сосновым заповедным, и тоже лишним, бором в Заполе, и пьяного офицера осудил, убившего Шуркиного отца и пленного Франца, хотя офицера того уже не было в живых.

Мужики, без картузов, с полотенцами, на которых несли гробы с убитыми, хмуро-одобрительно молчали, а бабы все время тихонько плакали, жалели Шуркину мамку и в открытую говорили промежду себя, что всевышний покарал зверя в белом мундире. Он тогда, на лугу, чуть протрезвев, струсив, записал всех, против их воли, в свидетели, что защищался, его самого чуть не убили, стреляли дважды и гра-

нату швыряли, чудом спасся. А свидетели, слава богу, и не понадобились: когда он в тот раз возвращался в уезд, впереди своей команды, верхом, в лесу, в глухом ельнике, кто-то из солдат, точно створясь, бабахнул ему в спину и убил наповал. Бабы уверяли, что проклятуший зверюга так и остался валяться на лесной дороге. Вороной конь, задевая пустыми стремянами за кусты можжевельника, царапая кровью бока, умчался к городу, а солдаты, покидав ружья, разбрелись кто куда: по домам, может, и дальше, от греха.

Так это было или нет, взаправду не скажешь, но офицера солдаты убили, это точно. На другой день прискакала в село милиция и арестовала троих «зачинщиков» покоса. Хорошо, что Терентий Крайнов с Кирьюхой Косоротым и охраной с железнодорожного моста опоздали тогда на луг, было бы наверняка арестованных побольше.

Непонятно, как народ после всего, что случилось, не побоялся и не постеснялся сушить и огребать волжское сено. Пустоглазый из усадьбы сунулся было на луг, послал пленных с граблями убирать гороховину и осоку, метать в стога. Ганса и Карла с Янеком мужики прогнали и грабли отняли. А снохи Василия Апостола и жинка Трофима Беженца сами отказались идти на луг. Даже Тася, не любившая сидеть в людской сложа руки, не пошла.

Вот так и вышло, что поделили и развезли мужики и бабы волжское сenco по своим сараям и амбарам. И Шурке с Яшкой привезли на гумно ихнюю с Францем долю, не забыли, и ребята убрали ее сразу в сарай, навалили охалками порядочную, душную и колючую грудку около высушенной, мягкой гуменины, вкусной, как чай, не мешая сено одно с другим, как наказала бабуша Матрена. Она не поленилась, оставила на минуту Машутку и большую мамку, прибрела с палкой на гумно, в сарай, и все проверила.

Корм для скота всегда останется кормом, дороже и важнее его не бывает ничего в крестьянском хозяйстве, разве что хлеб. Оказывается, что бы ни произошло, самое лютое и невозможное, — беда, какой другой не бывает на свете, надобно помнить о зиме и корове. Это была необходимая домашняя забота, с которой ребята столкнулись, как взрослые, впервые, но помнить сейчас о ней, этой заботе, знать ее, тоже было как-то странно и больно...

Девочку крестили в воскресенье, после обедни, назвали Машуткой, в память батиной матери. Крестным отцом вызвался быть дяденька Иван Алексеевич Косоуров, а крестной матерью напросилась сестрица Аннушка, помогавшая в эти страшные дни бабушке по дому. Не успел народ прийти из церкви, как стало известно, что в усадьбе сбежал управляло, питерский приказчик. Он оставил за себя Тасю, которая на зависть жинке Беженца, исправляла уже обязанности старшей работницы, сказал, что едет по делам в Рыбинск, но люди видели на станции, что селся он в почтовый, на Петроград. Елизавета и Дарья обрадовались, бросили работу, праздновали воскресенье, а Трофимова жинка, словно озоруя, капризная, сказала больно. Вечером скотина, придя с пастбища, недоеная, непоеная, жалко мычала у скотного двора и разбрелась по усадебному гумну. Заплаканная, встревоженная Тася не успевала бегать с подойником от одной коровы к другой. Пленные пробовали присаживаться на корточки с ведрами к коровам, те лягались и не сдавали молока.

— Да сердечко-то у вас, родненькие, есть? Чем скотина виновата? — закричала Тася наконец на Дарью и Елизавету. — Напразднуетесь, успеете. Беритесь за подойники, живо у меня!.. Молоко куда? Да не в навоз, найдем место и молочку, напоим досыта ваших орунков, славные мои... Ребятишки, — обратилась она к старшеньким мальчикам, наблюдавшим за ходом сражения у скотного двора, — летайте,

миленькие, к беженке, в людскую, пускай сейчас же сюда приходит... или я ее, лахудру длинноязыкую, выгоню из усадьбы!

И все послушались Таши. Жинка Трофима сразу выздоровела, прибежала на скотный двор как встрепанная...

Говорили, что на станции, у весовщика, скрывается матрос из Кронштадта. Участвовал в питерском побоище на Невском, защищал манифестантов — солдат и рабочих, что требовали передать власть Советам. Власть не передали, угостили пулями, пришлось народу защищаться, отступать. Ростом тот матрос не ахти какой, прямо сказать мал, да делами удал, оттого и скрывается. И фамилья схожая, храбрая, не припомнить только, какая. И слава богу, хорошо, что выскочила из головы, надежнее, матроса-то разыскивают... А вот другая фамилья чисто врезалась в память, не сотрешь, и отчество, имя гвоздем торчит: Иван Авксентьевич Воинов, наш пошехонский земляк, из деревни Бесово, Николо-Раменской волости. Матрос тот рассказывал сроднику, весовщику со станции, убили, чу, Ивана в те самые дни. Так, ни за что принял смерть — за то, что «Правду» нес, был вроде почтаря у большаков и сам большак. Раздавал газету на улице, вот и убили... Смотри, братцы, откуда ветер задул, контрреволюция прет! И до нас доберется. Что стряслось на волжском лугу — еще цветочки аленьки, маленьки. Красны-ягодки, как говорится, впереди. Ешь, глотай, да не подавись!

Но мужики почему-то не шарахались скопом прочь от революции, не боялись расплаты, хотя кое-кто перестал заглядывать в Сморчкову избу на Совет. Большинство же толковало про одно худое, словно стращали сызнова себя, как для смеху, а ждали будто другого, самого хорошего. Откуда ему взяться, хорошему? Народ словно догадывался, откуда оно явится, верил и не верил, как всегда, точно опасаясь опять ошибиться. Но и это нынче не пугало, потому что все-таки больше верили хорошему, чем плохому.

И про арестованных помалкивали, будто никто и не сидел в остроге. А вот Шуркиного батю и пленного Франца поминали часто. И хоть это было и горько и дорого, но все же как-то странно: прежде мужики, известно, не любили говорить про умерших, точно никто и не умирал, все были бессмертные, как Кашеи. В сказке бабуши Матрены смерть Кашеева была запрятана им в иголку на высоченной, седой от старости ели. В лесу их сотни, тысячи елок, больших и малых, а иголкам и подавно счета нет: поди, отыщи, в которой Кашеева смерть. И мужичья будто там, в другом месте ей негде быть, оттого и не любят хозяева толковать про тех, кто взял да и помер запросто, раньше срока, точно неожиданно, случайно уколовшись о Кашееву еловую иголку. «Сторонка наша известно какая, камней, что гвоздей понатыкано проселком на каждом шагу, — поговаривал загадкой народ. — Ходи, поглядывай, не напорись — и будешь жить долго, сколько тебе влезет». — «Ноне шоссейкой катят, под ноги не смотрят, булыжники гладкие...» «Хоть и гладкие, а все камни, запнешься — не поздоровится».

Но про смерть отца был иной разговор. Вспоминая, мужики хвалили Шуркиного батю, как он, без ног, думал не о себе, о других. Он и не умер, его растоптали конем, за революцию, за то, что пожалел Франца. «Не забудется это, не забудется!» — вещи, знающие толковали мужики, насывая сигарки и трубки, чтобы скрыть непривычное волнение, словно его стыдясь. «Он и из винтовки-то пальнул, защищая, можно сказать, врага». «Ну, для кого немцы, австрийцы враги, для нас обнакновенные люди, такие же, как мы сами». «Верно, верно... Франц-то ведь тоже не за себя погиб, за Колю... за Миколая Лександрыча Соколова... Интересно, где револьвер взял?»

У Шурки сладко и больно сжимало грудь, набегали слезы от жалости и гордости за отца и Франца, от того непоправимого, но геройского, что произошло на волжском лугу. Он поскорей отворачивался, чтобы народ ничего не заметил. Он такой же каменный, как батя. Все герои каменные, бесстрашные, жертвующие свою жизнь за других. И Яшка, друг, это же делал, отворачиваясь от мужиков, он жалел и гордился, как Шурка.

Но самое горькое и страшное было дома: мамка. Привозили со станции фельдшера. В избе постоянно была тишь, рот не раскрывался, чтобы посметь нарушить ее. Танюшка и Ванятка, играя на лавке под окошком, разговаривали шепотом. И так привыкли, что и на улице шептались. Бабуша Матрена бормотала тихонько свое, как молитву. Лишь сестрица Аннушка, топившая по утрам печь и доившая корову, говорила в избе как нарочно громко, ушам становилось больно. Дверь из крыльца на улицу и калитку во двор держали постоянно на запоре, чтобы кто не пришел и не потревожил мамку. Все-таки тревожили, успокаивали, а мамка будто ничего не слышала. Достучался и Терентий Крайнов, посидел, мамка и на его голос не отозвалась. Он увидел на стене, под зеркалом, холщовую школьную сумку, с которой отец бывал всегда на заседаниях Совета, снял, подержал, порылся в ней и повесил на прежнее место. Забегала еще часто Тася из усадьбы, всегда, как загоняли ребята Красулю на двор и калитка была открыта, шепталась с бабушей, что-то совала ей в порядочном узелке. На другой день появлялись на столе за завтраком ржаные пироги с картошкой или масляные пряженцы, лепешки с припеккой.

Мамка поднялась с кровати недели через полторы, с трудом оделась и, немая, темная-темная, как земля, с большим серебром в волосах под черным платком, не замечая зыбки, пошатываясь, ушла на кладбище. Вернулась под вечер запухшая и, не раздеваясь, по-прежнему немая и темная, повалилась на зыбку, словно увидела ее в избе впервой. Да так оно и было, Машутку подавали ей кормить на кровать.

Она не плакала, мамка смотрела, замерев, на девчущку-куколку. Бабуша пробовала заговорить по делам, Шуркина мать не отвечала и все глядела и глядела в зыбку, точно видела там не Машутку, кого-то другого и не могла узнать.

— Повой... легче станет, по себе знаю. Повой, баю! — уговаривала просяще бабуша и сама первая тихонько завывала, запричитала:

— Ой, не год годовать, не ноченьку ночевать... Вся-то жизнь одиношенькой жить, малых растить деточек... А почто чужих прибрала, своих тебе мало? Чем будешь кормить?

Мамка молчала. Она неотрывно смотрела на сонную дочурку, все старалась как бы узнать ее и все не узнавала.

— Никто, как бог... Ни чьи, как твои рученьки... Поднимешь ребятшек, помяни мое слово, поднимешь! — сказала, обнадежила бабуша Матрена, смилостивясь.

Девчущечка пошевелилась в зыбке, слабо запищала. Мамка приподнялась, вынула ее и перенесла на кровать, раскрыла легонькое одеяльце, стала развешивать свивальник.

— Мокрая... и когда успела, бесстыдница? Давно ли подгузок меняла! — проворчала бабуша, помогая мамке.

Они сняли свивальник. Под ним вместо пеленки был оторванный подол брусничной выгорелой питерской рубахи. И подгузник был из рубахи, половинка рукава. Что-то живое мелькнуло в мамкином опухшем лице, в вспыхнувших глазах. У ней раскрылись и задрожали скорбные губы.

Склонясь, всхлипнув, она принялась целовать молочное, в пупырышках, как в топленых пенках, тельце Машутки, заливая его слезами.

Бабуша Матрена прислушалась и перекрестилась.

— Так и есть, ровно в корыте плавает, от того и ревет,— сказала она, пощупав тряпки.

Снова перекрестилась и добавила строго-сердито:

— Голодная... Разве можно стоко время не кормить дите?.. Подать чего сухонькое, говорю?

— Подай,— глухо, точно издалека, ответила мамка.— В горке, в нижнем ящике...

С этого часа, словно пробудясь от сна, принялась она за домашние вечерние дела. Подоила корову, растворила осторожно-скупое квашню на завтра. Она и ужин собрала, посидела молча с ребятами и бабушей за столом, напоила всех парным молоком, сама ни к чему не притронулась. Должно, рано ушла косить, потому что когда два мужика, проспав в чуланке до завтрака, вскочили, выбежали к колодцу умываться, они приметили за крыльцом, в углу, прислоненную мокрую батину косу, всю облепленную зелеными лапками и сиреневыми головками клевера. А на кухне, куда они тотчас явились, жарко дышала огнем печь и на горячих углях привычно калилась сковорода с отбитым краем. Что-то знакомое, припомнившееся Шурке было в этой пустой сковороде, калившейся на углях. И что-то новое, постоянное было в том, как материны руки, с завернутыми рукавами будничной кофты, голые по локти, неустанно двигались, раскатывая скалкой на суднавке, посыпанной чуть мукой, ржаное тугое тесто в тонкие лепешки и, положив на каждую ложкой грудку мелко нарезанного свежего лука, сворачивала в пирожки, прищипывая их рубчиками, чтобы они не расходились и начинка не вываливалась.

И не так страшно стало в избе. Она незаметно, сама собой, наполнялась обычными шумами: стуками, топаньем, голосами и даже смехом Тоньки и Ваньтки, раньше других заживших своей прежней маленькой, кипучей жизнью. Но все в доме было еще не такое, как раньше, и к этому новому, горькому приходилось привыкать.

Проведали мамку из-за Волги, узнав о несчастье, брат дядя Архип и тетя Настя, его жена. Пили чай с ландринном, занятым у Марьи Бубенец. Слезы капали у тети Насти прямо в блюдце. «Слаще чай...» — сказала она, хотела, должно, пошутить, ободрить чем-то мамку, а разревелась хуже ее и бабуши. Дядя Архип и тот прослезился, вылез из-за стола, не допив чаю, и пошел под навес курить и колоть дрова, высмотрев себе это дело. «Смерть не воротись, какая она ни есть, чужая, своя. Пришла, ушла... Душу обратно не отдаст... Ее не воскресишь, душу-то. А жить надо-тка», — заключил он, берясь за колун, поплевав на ладони.

Да, надобно было жить, работать. Работа и есть жизнь — батины слова. Никогда их не забудет Шурка.

Теперь два мужика наказывали бабуше Матрене будить их со светом. И бабуша безжалостно поднимала их, как протрубят Сморчки под окошком. Тетка Люба с дочками пасли поочередно стадо и выучились с грехом пополам трубить в жестяную Евсееву дуду. Сонные, натоцк, как истые хозяева, пареньки, спотыкаясь, позевывая, шли косить заполоски, межи в поле, перелог на Голубинке и в лесу. И чем больше они косили, тем лучше у них выходило. А клевер убирать им все же не позволили: не ребячья работа, клевер стоит стеной, попробуй пробей ее, срежь, размахнешься — язык высунешь на плечо; и сенцо считается самым лучшим, дорогим, косари, убирая, берегли каждый стебелек с крестиками листьев и сиреневыми, белыми и розовыми шапками — самая сладость для коров, мед, недаром висят и качаются на цветах шмели и пчелы. Поэтому клевер косила одна мам-

ка и управилась живехонько, ребятам оставалось лакомиться, высасывать светлые сладкие капельки из цветных трубочек клевера, сушить его и возить на гумно на Аладьином хромом мерине. Когда Тася позвала сельский народ помочь пленным убраться с клевером в усадьбе, наобещав за работу отплатить сеном. Шуркина мамка вызвалась первая.

— Покуси, руки не отломятся. А лишний воз поди как пригодится зимой,— одобрила бабуша.

Потом жали помочами барский хлеб. Народ, охотно работая, посмеивался:

— Коли генералишко вернется, прикатит, глядишь, и помилует... за старые грехи!

Странное, непонятное было это жнитво в барском неоглядном поле.

Бабы, девки и свое успевали сделать и чужое прихватить. Спелая, густая рожь точно ложилась им в босые, исцарапанные ноги. В одних холстяных сорочках и нижних белых юбках в жару, сами ровно снопы, они наклонялись и распрямлялись, как на ветру, низко, скоро срезая серпами полные горсти колосьев. И даже в ложбинах, где рожь от дождей полегла, мамки и девки терпеливо, ловко управлялись с «лёгой» и росли, росли позади них белесые лохматые суслоньки, что избушки на курьих ножках. Таисья Андреевна расхрабрилась воистину как новая помещица, обещала двадцатый суслон жнице. Мамки выторговали восемнадцатый. Тут уж и мужиков разобрал задор и жадность, и они принялись жать в барском поле, хотя и не ихнее это было, как известно, занятие, не все умели справляться с серпом, но восемнадцатый суслон соблазнил. Жали и чертыхались, обматывали грязными тряпками раненные пальцы. Побежали и Яшка с Шуркой, порезались тотчас серпами, и их прогнали с поля.

Стали пропадать по ночам барские суслоньки, и не восемнадцатые,— скопом, как придется. Пленные поймали Фомичевых женушек-монашек и некоторых теток и дядек из Глебова, Паркова и Хохловки. Тася живо и строго распорядилась сторожить хлеб по ночам пленным с берданками.

— Анафема ты этакая, Таисья! Да ты и впрямь помещица, рачительная...— гоготали мужики.— На пару с Ваней Духом, мельником, что ли? Он уж локомотив на станцию в сарай приволок. Теперь ищет в городе вальцы что ли какие. Вишь ты, не простая будет у него мельница, без каменных жернов, на железном ходу.

— В Рыбинске он золотой портсигар продавал ювелиру, в магазине. Через окно видели... Надо, быть, австрийский, не то германский... Керенки не деньги, а требуются.

— Эх ма-а, складно воевать на позиции санитаром!

— Смотри, Таисья Андреевна, выскочишь за хромом генералишка, как помрет его болящая. Чу, скоро! Нас попомни, не забудь!

— Будет вам! Как языки не отсохнут, не отвалятся от такой трепотни! — сердилась Тася, белея и краснея от обиды. Карие очи ее горели гневным огнем.— Не для себя стараюсь.

— А для кого же?

— Да, может, для вас, дурней... И солдаты на войне голодные.

— А-а, это подходяще. Особенно касательно дураков,— соглашались мужики и опять гоготали.

Смешно и непонятно было слушать такие речи. Тася распоряжалась, приказывала в усадьбе, и все ей подчинялись. Терентий Крайнов, заглядывая частенько в село, подбадривал и любовался. И было на что любоваться. Точно не заработанные суслоньки интересовали все-таки народ, а что-то другое, поважней.

Да все было важно в это горькое, непонятное лето и осень. Важно было двум мужикам драть лен, когда он созрел, долгуец, оправды-

вая свое прозвище. Захватить обеими горстями побольше червонно-коричневых, сухих, высоких стеблей с гремучими бубенчиками темных головок, рвануть из серо-каменной, потрескавшейся от зноя земли одним сильным движением рук, кинуть подле себя, набрать и еще рвануть, и еще, уколотившись в кровь осотом. И вот готов головастый снопище, тяжеленный, выше пояса. Не успеешь оглянуться — и уж ставь кудрявые вязанки позади себя, на льнище веселыми шалашиками. Важно было сбегать на минутку из поля на Волгу искупаться и забыться, конечно, там, на песчаной косе, в воде, напротив Капарулиной будки; отдыхать, держась с криком за бакен, чтобы перевозчик Водяной видел и ругался; переплыть на ту сторону через узкий бездонный, с водоворотами фарватер реки, где проходят летом пароходы и баржи, и устать смертушки как, обратно уже нет сил плыть, и Ленка-Рыбак, спасибо, отвозил их — голых, синих, ляцкающих зубами — на лодке до отмели, а то и до ихнего каменистого берега.

Еще важней забежать на обратном пути в яровое барское поле, где, по совету агронома из земства Турнепса, росла посеянная мужиками и ребятами, невиданно диковинная господская репа-репица, по прозвищу тоже турнепс, выглядывающая густо-фиолетово из суглинка. Ухвати за пучок широких, резных листьев, поковырай, поскреби вокруг них пальцами землю, сломай от старанья и нетерпения ногти, и фиолетовая громадина, наполовину белая, длинной редькой, очутится в грязных ладошках. Чисти ножом-складешком и ешь тут же на загоне, грызи с хрустом, как кочерыжку, сладкую, с приятно-острой горчинкой, набивай бугристо-тяжело пазуху в подарок Тоньке и Ванятке и, боже упаси, не показывай добычу мамке и бабушке — попадет. Да не трагой сельской делянки, которая имеется по уговору с дедом Василием Апостолом, за труды, уговор сей признан беспрекословно Тасей — Таисьей Андреевной; таскай чужое, которое не жалко, а на свой турнепс будет осень и дележка.

А как важно, хорошо было выспаться в ненастье в чулане, под убаюкивающий, монотонно-ленивый стук дождя по драночной крыше, не спеша позавтракать, посидеть за столом, переждать ливень и, одевшись во что-нибудь поплотнее, порванистей, лететь на часок-другой в Заполе за грибами. Отдых, а все-таки поторапливайся. Некогда потаращиться в лесу, полюбоваться всякими диковинками, причудами, золотыми крючниками примулы-первоцвета, бабурками и сквородниками, послушать птах и как шумят вершинами березы и сосны; недосуг постоять и посмотреть, как высится одиноко на перелогох великан дуб в чугунном сапоге дедка Василья, такой же старый, в дуплах, обломанных сучьях, бородастый, не поддающийся времени. Уж не поешь, обжигаясь, яиц, сваренных в горшке-ведернике на костре, как, бывало, нынче весной они это делали мальчишечьей беззаботной компанией, словно прощаясь со своим детством и отрочеством. И отчего-то сейчас было немного грустно... Да, в пору только собирать грибы, промокнув до последней нитки. Они, Яшка и Шурка, и песен не пели, не перекликались, не аукались, а разойдясь, лишь пересвистывались, как зяблики и, набив по дужки корзины лесной дичью на одной ноге — подберезовиками, коровками, молодыми подосиновиками, разной солониной, которую по перелогам хоть косою коси, поворачивали обратно, к воротцам, спешили домой — там их ожидали по хозяйству дела, их всегда было невпроворот, не приделаешь: картошку копать, на щи кочешок другой срубить в капустнике, воду носить из колодца, крапивы припасать на ночь Красуле да мало ли еще чего!

И как важно, из всего важней, дороже, радостней заметить однажды на липе-двойняшке, под окошком избы, у батиного горшка-скворечника, на рогульке перед лазом, скворца, а другого рядышком на кривой ветке. Еще листья не пожелтели, не осыпаются, солнца хоть

отбавляй, а они, скворушки, сидят-посиживают, как бы отдыхая, запасая сил перед дальней дорогой, переглядываются между собой и тоненько насвистывают.

Батюшки мои, неужто наступила осень, скоро в школу? Григорий Евгеньевич с Татьяной Петровной вернулись от сродников, нагостились и побывали у Шурки в избе, поговорили, поплакали вместе с мамкой, которая сызнава научилась этим заниматься. И все это уже не столько горько, сколько стыдно признаться, приятно и, главное, неожиданно, прямо невозможно. Еще Григория Евгеньевича помнит Шурка в слезах, когда с фронта пришло известие, что батя убит. Они, Шурка и учитель, как и мамка, не верили этому, плакали вдвоем в пустом классе и потом хорошо разговаривали. Татьяна Петровна никогда о постороннем не плакала, ученики не видели, только по своим горестям распускала слезы, когда ссорилась с мужем. А тут и она плакала по чужой лютой беде. Шурка и Яшка постарались уйти поскорей из избы. И вот на тебе — скворцы у ихней глиняной скворешни. Бабуша Матрена чистила на крыльце вареную картошку на обед, услышала:

— Никак скворцы свистят?

И сама так и засвистела, заклохтала, подняв к липе незрячие, остановившиеся глаза.

— Прощаться прилетели... Экие веселые, дружные! Родное-то гнездо никогда не забудется... Вернутся.

Скворцы снялись с липы. Ребята махали им вслед картузами.

— До весны, граждане! Не опаздывайте... Будем ждать!

Конечно, важно было и посидеть за столом в свободную минуточку (если она выпадет), сочиняя в тетрадку другой, счастливый конец для Володькиной питерской книжки. Можно и в спальне, качая ногой зыбку, сочинять: он жив, Овод, его не успели расстрелять во дворе крепости-тюрьмы, спасли товарищи. Его уносят на руках, раненого, и он, Овод, почему-то без ног... Яшка в это время мастерит самопал из железной трубки. У него и порох припасен из винтовочного патрона и пуля есть, будет Петух с оружием. Не «монтекристо», не «смит-вессон», почище — целая пушка: заряжай, стреляй по врагам революции...

Да, кончилось лето, но не кончилось непонятное время. И любимой мужиками газеты «Правды» нет как нет. Но появились другие, схожие, и все из Питера. Митрий Сидоров, знакомый всем как великий любитель стихов, вычитал однажды вслух из такой газетки страсть смешные и приятные. Эти стишки невозможно как понравились мужикам. С тех именно пор, кажется, они открыто, без колебаний почти все воспрянули духом и стали непонятно-веселыми. Как соберутся вместе, непременно вспомнят к слову и о стихке: ну, без хвастовства и преувеличений, не каждый раз, конечно, а часто, очень часто. Посмеиваясь в усы и бороды, почесываясь как бы от нетерпения, они заговаривали снова кое о чем уверенно-значительно, с догадками и просто так, как придется, и всегда с преогромным удовольствием. Конечно, иные и спорили, сомневались, без этого в жизни не бывает. Но запоминались Шурке на этот раз не споры — смех и удовольствие.

— Август, сентябрь — каторга, опосля зато — мятовка. Да все хлеб, каравашки... ведь и ситного хочется укусить, — зубоскалил Митрий Сидоров. — По большому куску, едрена-зелена, у меня и рот большой!

Они, мужики, заставляли сельскую ребятню, выучившую из газетины знаменитые стишки, повторять им по памяти, когда сеяли озимое, нахлестав под ригами о жерди и свернутые бочки с макушек

снопов рожь сыромолотом на семена, или потом, когда поднимали зябь. Давая роздых лошадям и себе, побросав лукошки и бороны, а если пахали,— свернув плуги в бороздах, они собирались по обычаю на конце чьего-либо ближнего загона в кружок покурить, пошевелить языками. Нельзя же целый уповод молчать и работать. Один остановит своего мерина с бороной, плугом, присядет, другой, увидев это и соблазнившись, будто получив знак, идет к нему прикурить, спички забыл дома, и третий, четвертый сюда же тянутся через все поле в засученных старых штанах, увязая голыми икрами в пашне,— вот тебе и сбор, как заседание Совета, отдых, табак, новости и охотные растабары на минутку и на добрые полчаса.

А ребята, идя с Волги, не то из школы, после уроков, короткой глобкой-тропинкой напрямик через полосы, паханные и непаханные, уж тут как тут; присядут, поваляться рядышком с батками на меже. Еще чуть греет, не забывает людей невысокое солнце, розовеет и начинает зеленеть у добрых, заботливых хозяев ранняя ихняя озимь,— каждое зернышко, даже которое не в земле, поверх суглинка лежит, на виду, уже проклюнулось, разбухло и торчит из него, как всегда, красноватая толстая игла с острым изумрудным кончиком. Видано и перевидало, а глаз не оторвешь. И густо-лиловая, и багряно-черная, и коричневая ближняя зябь ласкает ребят свежими, маслянисто-жирными, частыми отвалами. Они лежат косо, на ребре, плотно, ломоть к ломтю и сливаются вдаль в туманно-разноцветные реки и озера такой невиданной окраски и блеска, что Пашка Таракан, школьный мазила и выдумщик по части красок, не скоро сочинит подобное на бумаге, а может, и не сочинит. Уж не лиловая и не багряная зябь, она на солнце радуется, от недавнего теплого дождя. Ребяшня счастливо тарачится и жмурится. И мужики кажутся радужными, под стать озими и зяби.

— Читай, орава, «Похороны»,— приказывает кто-нибудь из отдыхающих пахарей и севцов, чаще других Косоуров, заранее прыская легоньким веселым смешком.

И ребяшня складно, нараспев, с выражением, по одному и хором орет-декламирует по-всякому, иногда разыгрывая перед мужиками целое представление, как ряженые мамки в святки, на беседе. Впервой так вышло у ребят невольно, само собой, от старания и внезапного озарения, а после, повторяя, ребяшня играла на разные, положенные голоса, с зауценно-готовыми выражениями радости и веселья, страха и ужаса и под конец с громом праведной осенней грозы, так, как сказывалось в стишке. Они работали изо всей мочи глазами, курносьем, бровями, разинутыми ртами, стремительными руками, изображая всем этим вместе со словами уморительную, живую, говорящую картину.

Начинала всегда бесстрашная, нестеснительная Катька Тюкина, став на это время не девахой на выданье, а обыкновенной, отчаянно смелой Растрепой.

— У буржуев шумный пир,— таинственно сообщала она мужикам.

— Ну и пир! — подхватывали хором все мальчишки и девчонки.

— «Всех повесить — кто за мир!» — беспощадно, по-буржуйски приказывала Катька.

— «Кто за мир?!» — зловеще спрашивал хор у мужиков.

Тут, как бы читая газету или докладывая на заседании «текущий момент», Шурка и Яшка провозглашали:

— Поднялся веселый крик.

— Ну и крик! — удивлялись школьники.

— «Умер, умер большевик!»

— «Большевик!»

— «Со святыми упокой»,— запевали по-церковному, умеючи Фомичевы ребята.

— «Упокой...» — тянули, завывали как на клиросе в церкви сорванцы-балаганщики.

— «Шевелит мертвец рукой...» — страшным шепотом сообщал слушателям Володька Горев, и у него от испуга поднимались и ходили на голове волосы.

— «Ох, рукой!» — стонала в великом ужасе толпа буржуев и буржук, закатывая очи к небу. Всех брала оторопь.

Ребята для выразительности немножко примолкали. Наступала такая тревожная тишина, что мужики невольно переставали курить. Животы у них тряслись от безудержных приступов смеха. Батшки знали, чем кончится школьное представление, а ждали этого конца будто впервые, ничего толком не ведая, угадывали и опасались ошибиться: а вдруг у стишка-то все, как в жизни, переменялось за неделю к худшему, ровно в Питере после побоища? Там Керенский с буржуями живехонько ввел смертную казнь на фронтах. Да ведь всех солдат не расстреляешь, придумали разгон, расформирование революционных полков. Не сполнили контрреволюционного приказа командира царского прихвостня,— штрафники, получай арестантский паек... А серые и меншаки, затемнители эти и рады стараться, сидят в президиуме Совета и благословляют... Да уж и господин-премьер Александр Федорыч не угодил хозяевам России, жидковат, чу. Сам верховный главнокомандующий Корнилов пожелал, вызвался забраться на трон, новым Миколоае Кровавым, душителем революции. Придумал, повел наступление на Петроград хитростью — окружить город и революцию, бабу-ягу чертову задушить — да, слышно, те же самые рабочие, солдаты, матросы, в которых стреляли на Невском за манифестацию в пользу Советской власти, они самые, стреляные и недостреленные, спасли столицу. Опять Керенский, притворщик, наверху. Что-то будет дальше?.. Врут, нет ли, Питерский Совет надясь затемнителям-то под задницу коленком дал: выразил большинством недоверие. Стало быть, кому-то другому доверие оказало. Понятно, кому? Стишок энтот не зазря пропечатан в газетке.

Оказывается, в революции всякое бывает. Умей распознать, выстоять и победить, как на войне, в Полтавской, например, битве или в Бородинском сражении...

А ребята про себя добавляли: и брюхом можно слушать, не одним ухом. Потому и животики мужицкие заранее тряслись. Их не обманешь, животы, они чувят, где лежит ихний ситный с изюмом и запашистый, с анисом, пеклеванник.

В ребячьем представлении начиналось самое интересное.

Олег Двухголовый, безжалостно швыряя наземь дорогой тюлений ранец, громогласно сообщал небывалую новость:

— Большевик открыл глаза...

— Ой, глаза?!! — шарахались прочь от Олега с перепугу ребята, разбегаюсь по пашне. Колька Сморчок, Анка Солина, Андрейка Сибирик и другие представляльщики-балаганщики верещали на разные голоса, всякими ужимками, трясучкой рук и ног показывая дикий страх.

— Неужель опять гроза?! — спрашивала шепотом, замирая от ужаса Растрепя.

И орава, для торжества вновь помедлив, набирая полные легкие прохладно-сладкого духу, гремела дружно-весело на все озимое поле:

— Да, гроза!

Мужики, роняя цигарки, валились от удовольствия и смеха на пашню.

— Ах, бес тебя лягай!.. Складно!

— Она самая... гроза!

— Богатеям. А нам ведро!

— Стой,— строго говорил, отдышавшись, поднимаясь Апраксеин дядя Федор.— Подписано под стихом чего? Забыли, беспамятные?

— Не забыли. «Покойник», вот как подписан стих,— отвечал за всех Яшка Петух, насвистывая.

— Ожил? Шевелит рукой?.. А мозгой — и подавно! — снова начинал смеяться Косоуров.— Понимай, граждане, товарищи дорогие: наша берет! Сызнава и теперь навсегда...

Но которые мужики смеялись осторожно, как бы выжидая, что случится в жизни дальше.

А дальше, по ночам начались зарева в темном осеннем небе. То стоит багряная заря в самую полночь за Волгой, к Спасу на Тычке, то, после вторых петухов, за лесом, за станцией, то еще в какой стороне на самом утре. Зарева разгораются в полнеба и долго-долго не гаснут.

— Ну, опять, кажись, кого-то жгут... усадьбу, не то хлеб,— толковал народ раздраженно-весело, завистливо, любуясь, как польхает очередное зарево.— Лучше бы развезли хлеб по домам, чем жечь.

— Попробуй развези... Потом тебя увезут. Жечь сподручней: никто руки, ноги не оставит.

— Да, может, сам себе пожары устраивает, какой стрекулист,— сомневался, предполагал Егор Михайлович из Глебова.— Есть, говорят, такие помещички-ухари: страховка в кармане, спалит копну, получит от казны за три, дуй те горой.. И дворцы свои таким манером поджигают, чтобы народу не доставались. Выгодно!

— Усадьбу, леший с ней, не жалко. Пускай горит, нам в ней не жить, а вот хлебушко...

Но сами они, сельские мужики и бабы, не жгли ни усадьбы, ни скирд на господском гумне. Убирали, молотили барский хлеб, как свой. А денег за рощу не собрали и на революцию в Питер не послали, как обещались,— пожадничали.

Глава XX

Осеннее мамкино счастье

В середине октября вернулось тепло. Неделю лежал снег по чугунно-гулкой земле и матово-ледяным, хрустящим лужам, висел густо на березах и липах, запутавшись в неопалой листве, в синих лапах елок и длинных, частых иглах сосен. Все думали, что наступила ранняя зима. Потом, за одну нежданно теплую, тихую ночь снег растаял, точно языком его слизало, земля отошла. И сразу в туманной, чуткой тишине запоздало, с торпливым шорохом посыпался, будто срезанный, багряно-червонный лист, и все вокруг сызнава на недолго покраснело и позолотело, заблестало сизой мокрой озимью, заиграло на низком, холодном солнце осенними, блекло-нежными, грустными и ласковыми последними узорами.

Опять раздвинулись дали, и в хрустальном воздухе стали видны окрест верст на десять поля, леса, ветряные мельницы и деревни. Но скоро явились низкие мягко-серые тучи с бисерной моросью, потеплело еще больше. На школьном градуснике лез и лез вверх серебристый

столбик ртути, зато в окошки изб, наряженных заботливо в свежую солому, принялись с полдня заглядывать сумерки.

Жилось тревожно, а неизвестно почему. Дальние зарева по ночам за лесом и за Волгой погасли, ровно их и не было, но все чего-то по-прежнему ждали. Новых пожаров на барских гуменниках, что ли?

Словно готовясь к чему-то, народ спешно управлялся с останними делами по хозяйству: мужики и бабы, семьями и помочами, домолачивали на гумнах рожь, овес, жито. Иные, зажиточные, с лишним загоном, полоской в яровом клину, молотили и веяли запасливо гречиху — на блины и кашу. Хозяйки рубили и шинковали, квасили капусту. Девки по ригам и овинам мяли и трепали лен галдящими оравами, в куделе и костре. И потом ходили, не замечая, в тенетах, костра сыпалась с невест колючим дождем. Не велика беда — на себя стараются: когда-нибудь да кончится война, нагрянут женихи с позиций, кто уцелел, — припасай добро. Лен-то из веков — девичье приданое...

Да еще в усадьбе Тася старалась, как для себя, распорядясь невестками и пленными. Откуда и взялось у ней такое умение и расторопность? Все было в порядке — и на гумне и на скотном дворе. Ее слушались, Таисию Андреевну, ровно заправского управлялу и старшую работницу одновременно. Когда что не ладилось, она первая бралась за самое трудное, тяжелое, и лучше не бывает, как у нее получалось, — одно загляденье. Даже горластая жинка Трофима Беженца помалкивала, рукасто подсобляла Тасе и больше не заговаривала, что ее оставял за себя безглазый приказчик, когда убежал, да она не пожелала, отказалась.

Тася была и строгонька, и ласкова, добра с людьми, и скуповата, хотя и не жалела ничего, если была у кого в чем острая нужда, раздавала солдаткам хлеб, солому и клевер, молоко от коров и позволяла съездить на лошади в Заполе за дровами или на станцию на вальцевую мельницу Вани Духа. А когда ее, Тасю, стращали, что за все придется ей отвечать, она только непонятно-удивленно расширяла запавшие молодые очи и усмехалась.

Выходило, будто усадьба принадлежала Тасе, и она хозяйничала, как ей нравилось: немного расточительно и, спохватясь, бережливо, настоящей заботницей. Она всегда слушалась Терентия Крайнова, Совета, и получалось скорее — имение давно народное, Тася лишь в услужении Совета и, слава богу, хорошо справляется со своими обязанностями.

Некоторые мужики, осторожничая, побаиваясь после всего, что случилось, лишь головами качали. Другие, посмелее, толковали вразнолад:

— Ах, догони ее вдогонку, что вытворяет!.. Ну и безмужняя молодайка!

— Забыла, видать, кто и почему лежит на кладбище вдвоем в одной могиле. Не заметит, как и сама там-отка очутится...

— Раненько, кажись, за новую революцию взялась Таисия Андреевна, раненько...

Мамки же без всяких оговорок заметно одобряли Тасю:

— Так и надобно! Чего зевать?.. Не рано, кому дано, а кому не дано — завсегда рано...

— Ой, не могу, до чего все правильно!

Кто из мужиков управились по хозяйству раньше других, посиживали уж вечерами на завалинах дотемна, насторожась, молча выжидая, в валенках и шубах, по-зимнему. Газеты приходили не каждый день, поэтому сказ тут завсегда был один: чего не знаешь — не разгадаешь. Которые мамки, скорые на руку, приделав самое неотложное, экономя драгоценный керосин, начинали собираться после ужина в избах по очереди, с прялками и вязаньем. Но не стелько работали,

сколько отдыхали, чесали обрадованно языками, словно они знали больше мужиков.

— Кажись, жди не плохого — хорошего,— убежденно говорила тетка Ираида.— Держат, держат наших челоуиков попусту в остроге — и выпустят...

— А что ж? Вестимо,— соглашалась Солина Надежда.— Советы, чу, опять подняли голову.

— Известно, где руки, там и голова.

Тетка Апраксея значительно вскидывала бровями, на кого-то намекая, может, на своего Федора:

— Слава тебе господи, хватуны у нас поискать какие... Тася-то, радуша, умница, смотри как командует...

— Ой, хвали-и, бабоньки, ясно утро ве-ечером,— пела опасливо, как всегда, сестрица Аннушка.

Побросав прялки и спицы, мамки крестились.

— Помоги нам, царица небесная, матушка...

А в Шуркиной избе бывали свои маленькие праздники, лучше посиделок. После чая, который пили без сладостей, по привычке и наско-ро, при лампадке, ополоснув посуду под самоваром, убрав ее со стола, мамка с засученными рукавами и прядями серебринок, свисавших ей на скорбное лицо, на печальные глаза, преобразясь, зажигала торжественно редкостную жестяную пятилинейку и приносила из сеней на кухню корыто, большое, старое, в котором батя когда-то обаривал ржаным раствором-обарой горшки, обожженные в печи. Навсегда осталась в корыте метка — раскаленно-огненные батины глиняные творения — ведерники, корчаги, кулачники,— схваченные обгорелыми деревянными клещами, шипя и ворочаясь в клубах пара, протерли на толстом дне корыта порядочную ямку. В этой ямке скапливалась глубо-же вода и долго не стыла.

Ванятка и Тонюшка сбегались на кухню смотреть, как мамка будет купать Машутку. Два мужика, стесняясь, важничая, отсиживались некоторое время за книжками и тетрадками, хотя при лампадке, которую водружали с божницы на стол, много уроков не выучишь. Надобно засветло помнить о школе. Эх, горе-ученики, старшеклассники!

Помаившись, не вытерпев, и мужики присоединялись к Тоньке и Ванятке. Корыто окружали с трех сторон, чтобы лучше все видеть. Только одна сторона у корыта была в распоряжении матери.

— Маменька, неси,— звала она, доставая чугуна с водой из печи.— У меня все готово.

Бабуша Матрена живехонько вынимала в спальне из зыбки про-снущуюся, гугукающую Машутку и, разговаривая с ней и сама с собой, клохча ласковым смехом, спешила на кухню.

— Не урони,— говорила мать, переливая из чугуна горячую воду в корыто.

— Дай лучше я понесу,— предлагал Яшка.

— Я! Я! — кричали, требовали Ванятка и Тонюшка.— Мы понесем, не уроним!

А Шурка просто кидался бабуше навстречу. И зря: бабуша никому не отдавала Машутки.

— Небось не отвыкла, не маленькая. Перенянчила всех вас и не роняла... Проваливайте-ка прочь, не мешайте,— ворчала она. И нара-спев радостно приговаривала:— Белая моя куколка, сладкая изюм-ягодка, скусная... Ччас съем и косточек не оставлю. Ам! Ам!

Удивительно, как она, слепая, держа спеленатую Машутку на вы-тянутых руках, проходила на кухню, не задев комода и переборок, будто все отлично видела.

— Агу, моя хорошенькая, несказанное утешеньце, агу! — клох-тала бабуша старческим смехом, и добрый кривой зуб, выглядывав-

ший в уголке ввалившихся губ, и волосатая бородавка на щеке хлоптали вместе с ней и агукали.— В кого ты у нас уродилась? По глазенкам вижу — карие, и волосенки темные, с курчавинками, носишко, как щипок,— все отцово,— приговаривала бабуша Матрена.

И до чего было правильно! Мамка сказала, а она запомнила, повторяет каждый день в свое удовольствие.

Мать разбавляла холодной водой горячую, пробовала ее голым локтем. Принимала от бабуши Машутку, быстро, ловко разворачивала ее из свивальника и пеленки. Казалось, девчушка сама все это проделывает, высвобождая с облегчением молочно-синеватые, перевязанные ниточкой в запястьях ручонки и суча ножками с такими крохотными, розовыми ноготками, будто цветочные лепестки. Она начала плакать, и ребятам становилось жалко ее.

— Мама, ты сделала ей больно,— шептал Ванятка, морщась.

А Тонюшка чуть сама не редела.

— Больно, больно! — ныла она, толкаясь у корыта.— Пустите, я подую... пройдет, перестанет плакать.

— А вот мы сейчас ее успокоим,— говорила, усмехаясь, мамка и клала Машутку в корыто, в теплую воду, предварительно одной свободной рукой сделал там, в знакомой ямке, постельку из тряпок, и девчушка сразу стихала.

Мать держала ее в ладони за темную головку, вверх личиком. Карие, батины глазенки Машутки тарасились на лампу, а ребятам казалось, что Машутка словно бы смотрит на них, узнает и начинает улыбаться.

Горстью, точно ковшиком, мамка поливала дочурку и разговаривала с ней, как бабуша. А та, отыскав ощупью припасенный обмылок, помогала купать. Натирала обмылком сырую, мягкую тряпочку и принималась осторожно гладить ею тельце Машутки.

— Дай хоть я тебя потрогаю, помылю, толстенькая, атласная моя!

Машутка сучила голыми ножками, плескалась в корыте ручонками. Она чмокала и булькала ртом, пускала им пузыри и гугукала.

— Машутка, Машутка, агу! Ты меня узнаешь? — спрашивала Тонька, наклоняясь к корыту. И кричала на всю избу: — Узнала! Узнала!.. Смеется!

И Шурка с Яшкой и Ваняткой тоже начинали спрашивать Машутку, узнает ли она их. Мамка, затопив кухню голубым забытым светом своих оживших глаз, говорила:

— Всех узнала, всех... Ну хватит. Как бы не простудить, вода совсем остыла.

Она окачивала Машутку остатками теплой воды, повернув попойкой. Девчушка не умела еще крепко и долго держать голову, поднимала ее и роняла. Головка свисала у ней беспомощно вниз, и ребята бозяливо ахали, как бы не сломалась шейка.

— Поддержи за подбородок! — торопливо приказывал Шурка матери.— Погоди, я сам...

Но раньше его совались Яшка, Ванятка и Тонюшка. Три руки поддерживали голову Машутки. Тотчас же к ним присоединялась сердито четвертая неспешная рука. До бархатно-теплого, мокрого подбородочка она успевала дотронуться лишь пальцем. Мать вынимала дочку из корыта, вытирала, клала в чистую простынку из своей прохудившейся сорочки, кутала в лоскутное одеяльце. Садилась на скамью, расстегивая кофту, и прикладывала Машутку к груди.

Праздник продолжался. Все смотрели, как Машутка, ворочая чепчиком, совалась носишком поглубже в мамкину кофту, искала там то, что ей надо было, начинала сопеть и захлебываться от нетерпения. Потом все налаживалось, и она стихала.

Ребята, сдерживая дыхание, долго не отходили от скамьи. Бабуша Матрена возилась на кухне с корытом, сливала ощупью громкую воду в ведро. Мамка задумчиво покачивала спящую Машутку на коленях, и лицо у нее, у мамки, опять становилось скорбным...

Все горькое снова забывалось и тогда, когда мамка, оставив Машутку на попечение бабуши, уложив спать маленьких говорунков, шла с газетами на минутку в читальню, если Митя-почтальон по привычке или торопясь заносил им их со станции, не доходя до Григория Евгеньевича. Коли библиотека-читальня бывала на замке (учитель, занятый школой, иногда открывал свое завлекательное заведение только по субботам вечером да в воскресенье днем), мать по обыкновению относила газеты ближним мужикам на завалину. Шурка и Яшка всегда ее сопровождали. Толкуя о чем-нибудь своем, школьном, ребячем, они летели впереди в одних картузах, позабыв в приятной спешке одеться по погоде, и холод тотчас забирался им под рубашки.

К ночи, как всегда бывает поздней осенью, разносило тучи, небо яснило в частых звездах. Становилось на улице свежо. Рано высоко поднималась большая, ослепительно снежная луна. Казалось, это она своим ледяным пронзительным светом подмораживает грязь на шоссе. С гуменников, из овин и риг, от ближних ометов ржаной обмолоченной соломы сильнее, чем днем, несло сытным, хлебно-солодовым густым духом; громче доносился в тишине кашель мужиков с завалин. Тлели сигарки самосада, вспыхивали красными угольками от затажек. Совсем не слышно было говора, и не замечались тусклые окошки изб. Луна и звезды смотрели из луж под ногами, и жалко было ступать, беречь дегтярную воду и живое серебро. Знакомое, привычное, а ужасно отрадное.

Последнее яблоко упало со стуком в саду Устина Павлыча... Скоро зима, без обмана, настоящая — значит, книги, уроки, скользкие, замороженные с навозом натолсто, лотки и козули, лыжи, санки. Они с Петухом сладят нынче лыжи всамделишные, с выгнутыми носами, не потребуются обода от старого решета, как прошлый год. Лыжи не будут проваливаться и зарываться в снег, заскользят легко, словно по насту. Это ли не удовольствие? Может, роман удастся отхватить в библиотеке-читальне у Григория Евгеньевича и Татьяны Петровны. Да не толстую скуку Шеллера-Михайлова, сворованного на денек Колькой Сморчком у сестер, а «Войну и мир» Льва Толстого — есть такая книжица в библиотеке, на нижней просторной полке, и не одна, четыре тома, Шурка высмотрел. То-то славно!

Хорошо немного забыться от того непоправимо страшного, что произошло. Быть по-прежнему и мужиком и мальчишкой, смотря по обстоятельствам, настроению и желанию. Шляться напропалую, учиться, забавляться сколько хочется и вместе со всем народом, непременно заодно с Катькой Растрепой, Яшкой Петухом и питерщичком Володькой Горевым трепетно и сладко ждать чего-то... Дождутся ли они? Конечно! А чего — там видно будет.

— Пелагея Ивановна никак? С газетками? — окликал с завалины, у колодца, Иван Алексеевич Косоуров, когда они с матерью проходили мимо.

Ребята узнавали Косоурова по голосу, и это опять почему-то радовало.

— Останного свету не пожалею, смерть желается почитать, узнать, как дела в Питере... Заходи в избу, Пелагея Ивановна.

Яшка и Шурка радешеньки погреться. Раньше матери оказываются они в избе Ивана Алексеевича.

Огонь вздувала бес Клавка, растрепанно-сонная, босая, соскочив с печи.

Клавка зажигалась вместе с богатой семилинейкой и успевала мимоходом щипнуть женихов, приласкать до боли. Можно стерпеть, можно дать сдачи. Женихи выбирали последнее. Однако повозиться вдосталь нет времени. Передав газеты Ивану Алексеичу, наказав не раскуривать их, отнести по прочтении в библиотеку или уступить другим мужикам, посидев чуть и перемолвьясь словечком с хозяйкой, мать торопится домой.

Еще приятней, радостней было, если снималась с гвоздя под зеркалом отцова секретарская, полная бумаг торба. (Шурке сшита из холста новая, с которой он и ходит в школу.) Мамка не вешала торбу через плечо, как настаивали ребята, как это делал отец, держала в руке и шла в Сморгчовы хоромы. Евсей сидел в остроге, а Совет по старой памяти безбоязно собирался в его просторной избе.

Из дальних Починок приходил Терентий Крайнов, как-то незаметно заменивший дядю Родю. Из Крутова непременно являлся, с кашлем и стуком в груди, Пашкин родитель-столяр. Митрий Сидоров топал на деревяшке из Карасова. Прилетал глебовский депутат Егор Михайлович со своим неизменным «дуй те горой» и уполномоченные из других деревень. Бывало, заглядывала и Минодора, а с ней Янек в австрийской голубоватой шинели, румяные и стеснительно-оживленные.

Все на месте, не хватало лишь хозяина избы да Большака дяди Роди, председателя Совета, не хватало товарища председателя Никиты Аладина и Шуркиного отца, секретаря... Совет жив-здоров, смотри-ка ты на него! Он сильнее смерти, арестов и острога, вот он какой, Совет.

В избе, как прежде, намыто, подметено и прибрано. Ситцевые, с кружевами занавески Кикимор на окнах, белая стиральная и наглаженная девками скатерть на старом шатком столе. Даже запахи в Сморгчовых натопленных хоромах прежние — от лекарственных сухих цветов и трав — пастухово душистое наследие, нюхай не нанюхаешься. Говорили-болтали между собой, переключаясь, вареная картошка с кислой капустой, рубленной и шинкованной — Тасин подарок из усадьбы. Но капуста и картошка не перебивали благовоения Евсеевых лохматых веников, не снятых с бревенчатых стен, терпеливо дожидавшихся кодуна-хозяина. Припасы лишь скромно напоминали о себе под лавкой из чугуна и в сенях из порядочной кадки и ушата, невольно хвастаясь, что Сморгчки нынче не ложатся спать натошак.

Тетка Люба подавала заранее черепок под окурки.

— Как хотите, гости дорогие, карасина последки... на доньшке,— извещала она не больно приветно.

— Ничего, мы скоро... А то и в потемках посидим, потолкуем. Нам привычно,— успокаивал Крайнов.

Мать клала свою ношу на ближнюю от порога лавку и собиралась уходить.

Неужели она это сделает, как всегда? Опять потребует, чтобы освободили ее от непонятной обязанности хранить торбу дома?

— Останься, Пелагея Ивановна,— говорил просительно-ласково запорожец, решительно дергая вислые усы.— Ты у нас за Николая Александровича, секретарем... Память ему вечная.

И собравшиеся депутаты, став печальными, какими-то неловкими, просили о том же.

Побледнев, мать отвечала горько-сердито:

— Навыдумываете... Писать совсем не умею. Какой я секретарь, ничего не понимаю...

«Господи, да она и отказывается, как батя, когда его выбирали! Сейчас Терентий Антоныч обязательно вспомнит, как дядя Родя, о подсобляльщиках революции, о помощниках секретаря...»

Прошлое, самое дорогое, возвращалось, становясь настоящим, еще более дорогим и необходимым.

— А ребята на что? — спрашивал Крайнов. — Верно, молодцы?

И мать на этот раз осталась-таки, присела за белый праведный стол с краешку и долго не поднимала глаз. Но жарко-жарко горели ее худые, темные щеки и таяли, почти не замечались в волосах, выбившихся из-под шалюшки, снежинки-серебринки, хотя их было там порядочно.

Нет, не одна Минодора молодая и красивая. Шурка глотал внезапные слезы и радовался. Ах, как бы мамке немножко Минодориного вдовьего счастья! Она бы зацвела, как цветут погожей осенью второй раз яблони...

Яшка-друг шептал на ухо Шурке про другое счастье, ихнее, оно уже расцветало вторично осенним легким одуванчиком:

— По очереди, как раньше... Ты первый... Эге?

Митрий Сидоров, заломив набекрень солдатскую, с дырой вместо кокарды, выгоревшую фуражку, заранее трясясь, прыская хохотком и жмурия от удовольствия телячьи белесые ресницы, забавлял, как всегда, народ росказнями.

— В Рыбну недавно баржа с хлебом пришла с низовья. Бабы-беженки разгружали: пятипудовый мешок на горб и бегом по доскам на берег. Доски-то аж гнутся под ногами, бабы сами гнутся, как доски, едрено-зелено. А работа кипит — зерно секундой на мельницу, питерским голодающим мастеровым паек, сухари в окопы, солдатам... Только вдруг слушок: мешки заместо мельницы очутились на товарной станции, городской голова толстопузый Девяткин приказал грузить в вагоны — и в Германию.

— Чепуха какая!

— Тебе, ученому, — чепуховина, неграмотным грузчицам — великая русская обида... Ранним утром, следовательно, митинг на барже. И айда всем митингом на квартиру головы. Стащили Девяткина с кровати и в одних подштанниках повели оравой, едрена-зелено, по городу, в милицию... Зачем мне врать? — правдуха! Начальничек милиции только и спас городскую власть: пообещал засадить Девяткина в тюрьму, вагоны с хлебом отправить по петроградскому адресу. А как разошлись, успокоились беженки, вырядил Девяткина в милицейские штаны и отправил домой через заднюю дверь.

— Новостушка твоя, Митрий, с бородой, — говорил Пашкин всезнающий родитель. — Весной приключилось такое, по несознательности. Я слышал, и начальника милиции арестовали бабы и прежнего городского голову Расторгуева. К чему? Настрогали рубанком стружек — не оберешься... Суд был. Оправдали... Про вагоны немцам, конечно, вранье. Жаловались суду — голодуха, Расторгуев и Девяткин пият, сверлят только для себя.

— У нас, в уезде, лучше? — горячо спрашивала Минодора, оглядываясь на Янека, точно разговаривая с ним одним. — Лабазник, как его?... еще весной в комиссарах ходил, сейчас-отка получает паек. В амбаре, под замком гноит хлебушко, а сам, бесстыжая харя, у голодных людей отнимает последнюю горбушку.

Апраксеин Федор хоть и не депутат, а за столом. Он придвигал поближе к себе черепок, тушил сигарку и свертывал новую, потолще. Пугает:

— Думай, Совет, о заглавном. Кумекай, как бы нам заодно с Таськой-дурой не попасть на каторгу.

— Не обязательно, — усмехается Терентий Крайнов и становится ужасно похожим на Большака дядю Родю: та же спокойная, любимая ребятами неодолимая сила разлита по железному, с запорожскими

усами лицу питерщика-мастерового, по его крутым плечам; сила стучится и в жилистой шее, ей тесно в косом вороте неизменно шафранной праздничной рубахи. Ворот, как всегда, расстегнут, свисает треугольником, и сила льется через край ластика безудержно.— Про имение «Нажерово» не забыли? В Ростовском уезде, близехонько от нас. Отобрал солдат Чехонин с мужиками и в руках держит. Ничего, не трогают, на каторгу не отправляют. Авось и нас бог милует.

— Бог-то бог, да и сам не будь плох,— вздыхает Егор Михайлович, растирая льняной, с подпалиной, подбородок.— Ломи вторую революцию, пролетарскую! Без рабочих не обойтись, я погляжу.

— Некому ее ломить, революцию. Ленина-то, чу, германцы на подводной лодке к себе увезли.

— Ляпнул!.. Дуй те горой!

— Да не я, другие бают. Из газет вычитали,— сконфуженно оправдывается хохловский депутат.— Ну, буржуйская газета, а все-таки...

Его не слушают, надоело. Лишь Матвей Сибиряк, заглянувший на огонек (он все числится на полевых работах, как приказал ему свойский его командир), только фронтовик Матвей, не утерпев, замечает с досадой хохловскому депутату:

— Ты «Правду» читай, «Правду»! Не зря мы ей Георгии свои пожертвовали.

— Но? Зачем?

— А затем, товарищ-друг, чтобы было на какие деньжата печатать газету. Георгии-то золотые, серебряные...

Так вот куда девался крестик Андрейкиного отца! Висел, висел на груди, красовался с оранжево-черной полосатой ленточкой, а теперь стал газетиной большевиков: читай, рот для глупостей не разевай.

Яшка и Шурка долго не могут успокоиться. Экий мысливый, победная голова, дяденька Матвей Сибиряк!

Ровным, большим светом, на весь вывернутый фитиль горит высоко под матицей лампа с жестяным абажуром. Зря скупилась тетка Люба, керосина в лампе и не убывает, видно по стеклянному доньшкку. Поэтому депутаты не торопятся, обсуждают, как быть с усадебными коровами. Тасе, слышно, управляться стало трудненько, телок на племя пустила, корма хоть и достаточно — накосили клевера всей округой, а рук не хватает. Митрий Сидоров, перестав балаганить, предлагает раздать до весны часть стельных коров нуждающимся, сенца подбросить, если своего маловато или вовсе нет, и получить по совести, что надо, едрено-зелено. Молока будет детишкам досыта, а как появятся телята, пожертвовать хозяйкам за уход: расти, Барабаниха, собственную коровенку!

Так и решают. Шурка под придирчивым наблюдением Петуха и соскочившего с голбца Кольки Сморчка, не торопясь, без ошибок, записывает постановление Совета в протокол, в школьную, в одну линейку, тетрадь.

— Может, обойдешь бескоровных, спросишь, кто желает взять? — осторожно и вместе с тем значительно говорит председательствующий Терентий Шуркиной матери.

Она, молчавшая все заседание, вспыхнув, долго перевязывает сбишущую шалюшку. Руки не слушаются, и шалюшка не слушается.

— Обойду... спрошу,— трудно, тихо отвечает мамка.

Шурка срывается со скамьи, выскакивает на улицу по своим делам. Признаться по правде, дел у него никаких нет. Он сам не знает, для чего выбежал на холод. Высокая снежная луна таинственно и пронзительно-безмолвно глядит на него во все глаза-крапины. Она все видит и понимает, но никому ничего не скажет. Спасибо, глаза-

стая, свети себе на здоровье, подмораживай грязь, ледени отрадно Шуркино мокрое лицо.

Когда он возвращается, Терентий, встав за столом ближе к висячей лампе, читает вслух свежие газеты, растолковывает чужие и свои новости. И по газетам и по новостям Крайнова получалось, что везде все трещит по швам — в городах, деревнях, по всей России — и никак не может треснуть напрочь и развалиться.

В Ярославле остановилась Карзинкинская мануфактура — хлебный паек урезали до полуфунта. А на складах мукомола, не то табачника Вахрамеева при обыске найдено рабочими 21 тысяча пудов соли, 145 мешков разной крупы, 44 мешка гороха, 32 пуда пшеничных сухарей... В Рыбинске бастуют все металлосты. На автомобильном заводе Лебедева, в том же Ярославле, мастеровые прогнали директора Карпова. А рядышком, у Щетинина, совет старост уволил заправлялу инженера Наугольного «как закостенелого буржуя». Не худо?.. Стой, слушай дальше. В Пошехонье, в усадьбе Черносвитова, что был, помните, губернский комиссаром Временного правительства, мужики-миляги захватили сто девяносто пудов ржи и сто пудов овса. Мало? Погоди, не обмолочено... А как явился хозяин из города с требованием вернуть, пригрозили, что и еще возьмут, подчистую, до зернышка, и скот сдадут заместо деревенского на поставку в армию — беги скорей к черту на кулички и не возвращайся!.. Везде открыто рубят лес, нет на них Евсея Борисыча, чтобы унялись, пожалели, подряд не пилили. Ихние пастухи другим были заняты — травили барские озими... Ну, сами видели частенько зарева по ночам: горели осенью копны хлеба в барских полях, скирды по господским гумнам. Кажется, одни наши курильщики спички берегли, не вынимали. Да и как чиркнешь ее, спичку, вроде не чужое, свое уж добро... Чего ждут солдаты? Мира ждут, Советской власти ждут. Да скоро и им надоест ждать... Вот, слушайте резолюцию, написано не больно складно, а очень ладно: «Хотя мы, солдаты 209 запасного полка, принадлежим не все к одной партии, но большей частью придерживаемся партии большевиков, благодаря их программе, которая для нас, солдат, более других партий полезна, и поэтому мы все поддерживаем большевиков и следуем по их программе...» Да что тянуть! Натек-ка: губернский Совет рабочих и солдатских депутатов недавно прямо решил требовать землю крестьянам, установления рабочего контроля над производством и немедленной передачи власти Советам...

— Да неужто?!

Подсобляльщикам революции всего не сообразить, начитал, наговорил Крайнов с три короба. Разберись-ка! Но последнее, про Советы, понятно по-своему: везде потребуются помощники писать протоколы.

Ой, не прихвостнул ли усатый их красавец из Починок? Утешает народ и самого себя. Почему же ему не возражают? Хватаются только за кисеты, черепок на столе полон окурков, гляди, как зобают, не жалеют самосада. Неспроста это, неспроста... Тетка Люба открывает дверь в сени, так надымили в избе. Как бы не прожгли ненароком окурками бесценную питерскую скатерть.

Колька относит черепок на кухню, в помойное ведро. Не жалеет, ставит чайное блюдце с отбитым чуть краем: курите, братцы-товарищи, сколько влезет, был бы в деле толк.

Шипит керосин в лампе тетки Любы, совсем его теперь последки, а хозяйка и не замечает. Вот и нет вовсе керосина в лампе, мигнул фитиль во все стекло, зачал и погас. И сразу в большие окна, пони и поверх занавесок, стало видать лунную мертвую улицу. Свет, как снег, лег на широкие, с натоптанной грязью половицы Сморчкова дворца. Не беда, девки завтра сызнава надерут дресвой, намоют

щелоком пол, может, снова соберется Совет. А пока надобно расходиться по домам.

Однако и в темноте, уходя, не могут никак уговориться депутаты:

— Чтой-то скажет Всероссийский съезд Советов? Надысь, вычитывали, собирается в Питере...

— На вокзале, в Рыбинске, при мне делегата туда отправляли, на съезд. Наказ один: без Советской власти не возвращаться...

В сенях темно, не разберешь, кто говорит про съезд. А про наказ — уверенный славный басок запорожца Терентия. Депутаты на крыльце громко, согласно топают каблуками сапог. И скрипят ступеньки, будто поддакивают...

Но идут дни, вечера, а из Питера вестей нет и нет. И Терентий Крайнов молчит, не собирает больше Совета, и сам не появляется в селе, будто прячется от людей. И газеты не приходят, не слышно писем от дяди Роди. Митя-почтальон возвращается со станции с пустой кожаной сумкой.

Может, его разогнали, этот съезд, как летом разогнали, расстреляли шестые за Советскую власть солдат, матросов и рабочих в Петрограде, на Невской улице, прозываемой проспектом, как убили Шуркиного отца и Франца на барском лугу, и началось это горькое, непонятное время... Когда же оно кончится?

Полно, да кончится ли?

Глава XXI

Бабуша Матрена благословляет революцию

Все непонятное кончилось неожиданно. Все понятное началось сразу.

Вбежал в избу Митя-почтальон, кинул мамке на лавку пачку газет и еле выговорил, заикаясь:

— Чи...чи...тай!

Утираясь рукавом полушубка, давился, захлебывался, стоя на пороге:

— П-пе... пере...д-дай муж-ж... Б-бегу с-с-славить по д-дерев-вням!

И заторопился, так хлопнул дверью, что задребезжали чашки в мамкиной «горке».

Два великих грамотея, старшеклассники, вцепились в газеты. Да поначалу и не в газеты — в серый, шершавый лист, точно содранный со стены, лежавший в пачке на виду. Огромными буквищами, как в школьном букваре — нет, крупнее, жирнее! — поперек всего листа напечатано:

«К ГРАЖДАНАМ РОССИИ.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЗЛОЖЕНО... ДЕЛО, ЗА КОТОРОЕ БОРОЛСЯ НАРОД: НЕМЕДЛЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО МИРА, ОТМЕНА ПОМЕЩИЧЬЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ, РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ НАД ПРОИЗВОДСТВОМ, СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА — ЭТО ДЕЛО ОБЕСПЕЧЕНО.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ РАБОЧИХ, СОЛДАТ И КРЕСТЬЯН!

25 октября 1917 г. 10 ч. утра».

Громовыми голосами, перебивая друг друга, толкаясь, читали Шурка и Яшка этот серый, шершавый лист. Им особенно понравилось одно словечко. Они орали его на все лады:

— Низложено!.. Низложено!.. Низложено!..

Потом принялись за газеты. Читали для скорости почти одни большущие заголовки, и по ним одним все было понятно даже им, ребятам. Ну, не все, самое главное, наиважнейшее:

«От Всероссийского Съезда Советов
РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ И КРЕСТЬЯНАМ!

...Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, Съезд берет власть в свои руки...»

«ДЕКРЕТ О МИРЕ,
принятый единогласно...»

Читари запнулись (Что такое «декрет»? После разберутся, узнают!) и побежали глазами и языком дальше:

«ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ

Съезда Советов Рабоч. и Солдат. Депутатов
(принят на заседании 26 октября в 2 часа ночи)».

А-а! Слушали — постановили!.. Приговор. Еще называют по-нынешнему постановлением, резолюцией... Помощникам-писарям новое слово по обыкновению врезалось в память сразу и навсегда. Уж больно хорошее, легко говорится и читается. Ни с каким другим словом не спутаешь. Теперь и они станут писать декреты в Сморчковых хоромах.

Декрет о земле был напечатан в газете «Известия», которой читари-расчитари еще не видывали и потому разглядывали с любопытством. Они все подметили, даже пустяковины: в верхнем левом углу газеты мелко: № 209, суббота, 28 октября 1917 г.; в правом — цена: в Петрограде 15 коп., на ст. жел. д. 18 коп. А посерединке, на всю страницу два слова и одна буковка. И пожалуйста — вбивай красный флаг на каждом загоне барского поля!

Все, все напечатано в газетинах по-новому, как никогда не писалось. Почти каждое слово с большой буквы.

Стойте, ребяташки, товарищи дорогие!! Стойте, милые сердцу геноссы и камрады! Глядите и запоминайте: эвот когда начинается воистину с новой красной строки жизнь и дела творятся, как заглавные буквы, такие большие... Да они и есть Заглавные, эти дела!

Поторопился тогда Григорий Евгеньевич, великим постом, рано возвестил ученикам о революции, ошибся. Была, да не та. Не в феврале, в предвесеннее голубое утро, с зимним солнцем и чистым, блистающим снегом, а глухой, грязной осенью, со слякотью и сумерками в полдни, с непроглядными тучами пришел этот денек. В окошко и смотреть не хочется, а в газетину, вот эту самую, кричащую, сунься носом, потарачись немножко — слепит, обжигает глаза посильней солнышка. Попросту сказать: да здравствует революция рабочих, солдат и мужиков! Подсобляльщики — за белый праведный стол писать декреты!

Мать слушала, слушала, перекрестилась и заплакала:

— Не дожил отец... не дожил! Чуял, а не дожил... убили!

Шурка горячо взглянул на мать и потупился. Замолчал, насупил-ся над газетой Яшка.

Но Шурка не мог сегодня долго горевать, Яшка тем более.

Да, все, что было недавно страшного, темного и непонятного, — пройдет, сгладится, забудется. Все теперешнее — радостно-понятное, самое справедливое и светлое, правда из правд — останется у них, Александра и Якова, навсегда. Они сами будут делать это дело, творить его, строить — они его плотники, столяры, печники и хозяева...

А мать все плакала.

Бабуша Матрена, свесив голову с печи, тревожно спросила:

— Чего ты? Ай беда какая стряслась?

Мать не отвечала.

Она взяла газеты, слезы заливали ей лицо, текли по щекам, капали на серую, шершаво-твердую бумагу и не сразу расплзались по ней звездами. Глядя на мамку, заревели Ванятка и Тонька, им тотчас попало от двух оживленно-суровых мужиков, большевистских революционеров.

А спустя неделю, нет, раньше, в сумерочные заплотни, когда подсобляльщики революции, голодные и жаркие, в грязных башмаках и распахнутой от бега одежке, полные отличных слухов и новостей, гремя в сумках карандашами и грифельной доской, прилетели из школы,— в избе, за столом, украшенным холщовой чистой салфеткой, сидел бледный и грустный Яшкин отец в знакомой суконной гимнастерке с наградами, а Шуркина мать, с красным, опухшим лицом, в праздничной кофте, кормила его обедом. Ванятка, приспособясь рядышком на коленках, с ложкой, глядел заворуженно на дядю Родю, как тот неохотно, медленно хлебает щи из полного глиняного блюда. Радостно-растрепанная Тонька вертелась около стола, скакала на одной ноге и беспрестанно спрашивала: «Чего мне привез, говори?.. Да папка же!» За перегородкой, в спальне скрипел очеп зыбки и тихонько выла и приговаривала бабуша Матрена.

Пахло солдатским табаком. И этот забытый махорочный живой дух больно сдавил Шурке грудь и долго не отпускал, не давал вздохнуть.

Яшка, обронив на пол школьную сумку, счастливо вереща, кукарекая, бросился к отцу. А Шурка не смог сразу подойти, да и незачем было. Как ему хотелось услышать ржавый скрип жестяной памятной масленки-табакерки! Но этого никогда уже не будет, он понимал, а душа не соглашалась, гнала вон из избы.

Мать неловко тронула его за рукав, шепнула:

— Поздоровайся... бессовестный!

Он застенчиво, приневоливая себя, двинулся к столу. Но дядя Родя сам пошел навстречу и по-взрослому пожал Шурке руку.

— Вот, брат, какие дела, Александр,— сказал он печально.— Держись солдатом.

И Шурка держался. Плакать ему было стыдно. Петух ухаживал за ним, когда они после обеда делали уроки. Подарил новехонькое перо и нетронутую промокашку. Предложил списать решенную им задачку на проценты, чтобы поскорей кончить с уроками. Все это раздражало почему-то Шурку.

Но тут к ним заглянул Устин Павлыч Быков, шумно поздравил дядю Родю с приездом и Советской властью. Нельзя было сердито смотреть, как ластится к дяде Роде растревоженный Олегов отец и все беспокоится за новую власть, как бы ее не прогнали. Керенский, подлец, слышно, убежал на фронт, не успели арестовать, собрал казаков и идет на Петроград. «С голыми рученьками супротив казаков что сделаешь? Ох, дорогунчик, голубок, Родион Семеныч, каков грех, такова и расплата... Али минует? Ведь и баба опосля родов десять ден в гробу стоит... Постоим? Устоим?» Дядя Родя односложно, скучно успокаивал лавочника и заметно обрадовался, когда тот ушел. И вдруг заявили к ним Терентий Крайнов и Григорий Евгеньевич, и от таких приятных-расприятных неожиданностей нельзя было не развеселиться. Не часто светит у них в избе Шуркино незакатное солнышко. И запорожец — гость редкий, что говорить. Вот оно, началось Заглавное времечко, жизнь с красной строки!

Влюбленно-восторженными глазами неотрывно смотрел Шурка на своего учителя, как Григорий Евгеньевич стеснительно покашливая, раздевается, отказывается сесть за стол в почетный угол, пристраивается на лавке с краю, как экономно берет из протянутого кисета щепоточку махорки кончиками трех осторожных пальцев, долго, немело вертит и клеит крючок и, спохватясь, уходит покурить в сени. А Терентий, наглаживая довольно усы, без приглашения оказывается под образами, будто дома, и торопит дядю Родю, чтобы тот самолично и немедленно подтвердил все газетные большевистские известия.

Давно горит на столе драгоценная мамкина жестяная пятилинейка. Поставлен на кухне, греется самовар. Припасены на салфетке, как в праздник, чашки и вилки, нарезан занятый у сестрицы Аннушки заварной каравай. В блюде соленые огурцы и кислая капуста. Вынута из печи сковорода с картошкой. Мать торопила гостей за стол — самовар скоро закипит, остынет картошка. И жалела, что негде достать, как раньше, по такому случаю бутылочку. Добыт дядей Родей из вещевого, выгоревшего добела солдатского мешка и наколот мелко-мелко сбереженный сахар, и заварка чая лежит в газетном кулечке. Ванятка с Тонюшкой на печи не спускают, конечно, глазешек с сахарницы и получают, баловни, любимцы, прежде срока угощение.

А было время, когда не один сахар — черносливинки лежали на столе, в каждую чашку попало по две сморщенные ягодки, в стакан — целых четыре, один школьник считал и не ошибся. В Шуркиной чашке две эти черносливинки стали пузатыми, а чай душистым. Он съел одну ягодину, попробовал, вторую отдал братику, получившему перед тем три черносливины от другого человека, которому Шурка, сразу повзрослев, счастливо-радостно подражал во всем... Теперь ему некому подражать, и черносливинок он не получит. Ему опять боль сдавила грудь.

От черносливинок во рту тогда долго было сладко. И не в одном рту, он, Шурка, весь был сладкий-пресладкий, как незабываемые счастливые Катькины конфетины, выигранные однажды на гулянье. И сейчас ему вдруг стало немножко сладко-горько на сердце: мамку послали за Афанасием Сергеевичем Горевым. «Вот как, и Афанасий Сергеич тут!» — подумал он, радуясь и завидуя. Оказывается, Горев приехал из Петрограда с Яшкиным отцом, они встретились на съезде, получили одинаковое распоряжение: ехать домой у с т а н а в л и в а т ь на местах Советскую власть. Ну и семьи навестить, само собой разумеется, посылают не куда-нибудь — на родину. Ах, едрено-зелено, как хорошо придумано!

Дядя Родя, хозяйничая, принес осторожно из кухни клопочущий, успевший убежать самовар, заварил чай и посадил за стол самых маленьких, соскочивших с печи. Он не забыл, поставил на лавку, поближе к Ванятке и Тонюшке, ковшик с холодной водой, чтобы разбавлять в чашках и блюдах горячий, настоящий чай.

— Пейте, пока сахарницу другие не опорожнили, — пошутил он. — Да поторапливайтесь, мы тоже хотим попить чайку.

Мальши, стесняясь чужих, не дотронулись до ковшика. Дули из всей мочи в блюдца и степенно, только по одному разику заглянули в сахарницу. Экие разумники, скромняги! Да ведь погоди, на кухне станут кланчить у мамки добавку, как постоянно просят пирога или лепешки после обеда, всем это известно. Ну, уж нынче сахарку они больше не получат, в о п р о с и с ч е р п а н!

Первым примчался в избу непрошенный Володька, и ему это простили, — так питерщичок-старичок был в этот вечер обалдело-счастлив, как Шурка в другой вечер с черносливинками. Подвижное, обветренное личико без морщинок горело и не сгорало, язык отнялся.

Володька от хлеставших через край чувств хлебал ртом, мычал, и лишь вытаращенные глаза его криком кричали, плясали, рассказывая за десятерых. А его батя-революционер, в кожаной потертой тулупе, в ремнях и мятой военной фуражке (очень схожий на командира с броневика, как на картинке из журнала, и верно, как узнал потом Шурка, из бронедивизиона), смуглым, худощавым лицом был прежний, точно в давнюю «Тифинскую», когда приезжал на праздник из Питера, — бородка аккуратным клинышком и густые темные усы закручены, загнуты вверх половинками кренделя. Мода, что ли, такая у мастеровых? То висят усы книзу, то закручены вверх, а одинаково приятно.

С Крайновым Горев поздоровался как со старым знакомым. Григорию Евгеньевичу вежливо поклонился, козырнув, учитель, поспешно привстав, первый протянул руку.

— Заседает военно-революционный комитет! — усмехнулся одобрительно Афанасий Сергеевич. — Когда же будем брать штурмом Зимние дворцы в уезде и волости?

Расстегнулся, кинул фуражку и ремни на лавку и долго, тихо-задушевно разговаривал в кухне с Шуркиной матерью.

— Бабушку-то забыли! — спохватился дядя Родя. — Садись, Матрена Дмитриевна, пить чай.

— Спасибочко, родимый, я опосля напьюсь, успею, — тотчас откликнулась из спальни, от зыбки, бабуша и с удовольствием заклохотала: — Чай пить — не дрова рубить, завсегда можно, особливо со сладостью. Сами-то, рачители мои, пейте да дело свое хорошо хонько разумейте. Шутка ли: самовластье!.. Слушала я вас, слушала, старая, глупая, в толк многого не возьму. А маленько, кажись, догадываюсь. Я молоденькая-то была вострая, орунья, сообразительная. Теперича на девятый десяток перевалило, где уж...

— Живи, бабуся, до ста. А там еще прибавим, — потеснился за столом весело Крайнов. — Присаживайся.

— Опосля, милый, чашечку выкушаю. Кипятку хватит, самовар большой, а сахарцу малую крошечку, знаю, оставите мне, благодарствую. Я баю: долго рассуждай, да скоро делай. Вот как по-нашему! Не бойся, с совестью не разминешься, она завсегда с тобой. От богатых-то злодеев давно-о земля стонет стоном... Ну и не грешно... Идите напролом, с топором, бог вам в помощь. Баю: господь поможет...

Она говорила, ласково приговаривала, отказывалась от чая, сама же давно сидела за столом, беспрестанно кивая головой. Машутка в люльке не просыпалась, бабуша Матрена была сама себе хозяйка, отыскала ошупью на столе, на салфетке, порожнюю чашку, чайник с заваркой, кран самовара и напоследок сахарницу.

Терентий Крайнов молча следил и диву давался.

А Володька шепнул приятелям:

— Хитрит бабка, все видит... и все понимает, вот те крест!

— А ты как думал? — горделиво ответил ему на ухо Шурка. — Ну, глаза у бабуши давно остановились, а голоушка хоть и седая, трясу-чая, но работает важнецки, я приметил.

— Речь была покрыта сочувственными возгласами и громким рукоплесканием, — воодушевленно, со смешком заключил по-питерски Володька. И чтобы не обидеть Шурку, поправился: — Нет, серьезно, я такую старуху впервой вижу.

После третьей чашки, не опрокидывая ее на блюдце, бабуша Матрена к слову не к слову, так, про себя, сказала протяжно-складно, с грустью и лаской что-то похожее на песню-сказку:

— Родная мать по убиенному сыночку воет — река течет,
Родная сестра плачет — ручей бежит,
Молодая жена слезы льет — роса ложится...

Красно солнышко взойдет, росу высушит...

— Еще чашечку чайку, маменька? — предложила Шуркина мамка.

— Да, пожалуй, последнюю, с сахарком, возьму еще кроху на загладочек, — согласилась бабуша.

Володькин кожаный батя, закуривая папиросу и всех угощая из железной коробки, растроганно пробормотал:

— Ах, бабка, бабуся, умница ты моя этакая...

В тот вечер было решено: немедленно созвать волостной сход для выбора новой власти — Совета; освободить из острога арестованных сельских мужиков, равно и других, если там, в тюрьме, окажутся, и начать готовить уездный съезд Советов. В волость ехать дяде Роде с Егором Михайловичем (Глебово рядом, завтра известят депутата) и с Таракановым (опять-таки по пути, будут проезжать Крутовым, захватят столяра). В город направиться самому Афанасию Сергеевичу с Крайновым Терентием на Ветерке — доставит скорым часом.

— Солдат с волжского моста, из охраны, взять свободных. Кирюха, железнодорожник, давно их распропагандировал, большевики, — подсказал уверенно Терентий. — Ружья захватят. Можно и пулемет, для острости. Комиссар там, в уезде, известный кадет, делит власть с меньшевиком, аптекарем. Будет возня, чую.

И все согласились, что нужны винтовки и, пожалуй, пулемет не лишний, не отяготит.

Сказано это было так просто, буднично, между прочим, словно речь шла об овсе и сене для лошадей на дорогу. Шуркина мамка, угощая гостей, слушая, и бровью не повела. А brave молодцы-писаря, готовые сочинять в Сморгчовой избе какие хочешь декреты, усиленно хлопали глазами и вострили уши. Поглядите, послушайте, пожалуйста, подивитесь, как обыкновенно делается революция, — словно уговариваются мужики чинить в поле изгороди и разбитую дорогу в Заполе! Да ведь недавно и тут не обходилось без ленивой ругани и перекоров. Господи помилуй, какие чудеса вытворяет с народом революция рабочих, солдат и крестьян! Не поверишь, а истинная правда. Глели, дымили и шипели угли в тепiline да и разгорелись огнем до неба... Положим, верховодят сегодня мужики-мастеровые, питерские рабочие, Выборгская сторона: Горев, Крайнов, дядя Родя — он на Обуховском заводе работал... А дяденька Прохор с голубыми хваталками и железными, раскаленными добела диковинками в кузне, с песнями, прибаутками, рассказами и насмешками над мужиками! И он тут, и его доля есть... Григорий Евгеньевич на заводе, наверное, не работал, но он как мастерской школьных дел загорелся солнышком над Выборгской сторонкой.

И все, что слышал и знал Шурка о городском рабочем человеке, встало сейчас перед ним и озарилось новым, горячим и добрым, красным дорогим светом. Да вот, все вместе они с пастухом Сморгчком, старые Шуркины знакомые, и есть Данило Большевик из сказки дяденьки Никиты Аладьина, освещающий людям в ночи путь вперед своим горящим, вынутым из груди, живым сердцем! Он, Шурка, и раньше так думал и сейчас так твердит. И его батя шел за Данилой, может, не сразу, подумавши, может, не в первых рядах, в самом конце брел во мраке, запнулся по дороге за старый, кривой корень сосны или елки (они, корни, в лесу завсегда торчат, извиваются поверху змеями под ногами), упал и погиб... Нет, не погиб, он о т д а л ж и з н ь за мужиков, за своего дружка немца-австрийца Франца, а пленный Франц не пожалел своей жизни за русского солдата-инвалида Соколова... Как это было страшно, невозможно тогда, и как это сейчас не страшно, правильно, иначе нельзя было поступить бате и Францу. Он, Шурка Кишка, давным-давно решил: он пойдет этой

Данилиной дорожкой и будет своим горячим сердцем смело освещать людям путь к правде и добру. С ним вместе беспрерывно пойдут братья Яшка Петух, Катька Растрепка, его невеста, о чем стыдно, невозможно говорить, но совсем не стыдно, приятно думать, пойдет и питейщик Володька, свойский парнишка, всезнайка. Они между собой не успели еще договориться, да и ненадобно: о чем тут толковать, все и так понятно...

Но пока они, трое подсобляльчиков революции, не смели нынче напрашиваться ехать в уезд и в волость устанавливать Советскую власть. Что ж, скоро и им найдутся делишки по ихнему росту и способностям. Один из подсобляльчиков уже заметно хромал и скрючил левую (или правую?) руку, став Оводом. Два других читая этой чудесной книжечки были его верными боевыми сотоварищами...

Григорий Евгеньевич просил и его взять в город на подмогу. Уж кому-кому, а ему и Татьяне Петровне больно знаком и страсть насолел инспектор училищ, нынешний уездный комиссар.

— Низложить! — грянули два могучих, ухарских голоса. К ним немедленно присоединился третий: — Низложить!

За столом посмеялись одобрительно. И Шуркина мамка, убирая молча посуду со стола, улыбнулась, зажглась, слава богу, своим забытым голубым сиянием, хотя и не купала Машутки, та беспросыпно спала в зыбке. Мамка грустно-ласково взглянула на Шурку и Яшку, на дядю Родю, и он посмотрел на нее одинаково. А Шурка вскинулся на обоих беспечально-светло и невольно чему-то порадовался.

Решено было учителя в город не брать: школа должна работать как всегда, лучше, чем всегда.

Разошлись поздно. Дядя Родя пошел с Яшкой ночевать в усадьбу, к себе в каморку. Просилась и Тонюшка, плакала, но Шуркина мамка не позволила, не пустила баловницу.

Утром, подобрав забытую Яшкой школьную сумку, Шурка забегал в усадьбу, отнес приготовленный мамкой завтрак. Дядя Родя, пока ему закладывали в телегу кривого мерина, проводил ребят до церкви.

Они зашли на кладбище, отыскивали могилку тети Клавдии, Шуркиного бати с Францем. Нашли и могилу дяденьки Прохора. Постояли возле каждой, посмотрели, помолчали.

На могилке Яшкиной матери посажена маленькая березка. И тем, что она была маленькая, в крапинах по белой коре, как в веснушках, березка походила на тетю Клавдию. Шурка постеснялся сказать об этом вслух. На батиной и Франца высокой могиле был вкопан могуче-сосновый, не успевший еще потемнеть, в трещинках и подтеках смолы крест. Сверху, по краям креста, углом, как крыша, прилажены две дощечки с резьбой.

— Узнаю столяра, его работа, — сказал дядя Родя, доставая кисет, повертел и сунул обратно в карман шинели. На кладбище курить не полагается, нехорошо.

А могилка дяденьки Прохора была и не могилка — бугорок, заросший травой и кустиками земляники. Побитая морозом, волглая трава лежала, как скошенная, буро-сиреневая. Земляничник рыжел и топорщился упрямыми листьями. На будущее лето он обязательно покраснеет ягодами...

Дядя Родя взял Шурку и Яшку за руки, и они повернули обратно, за ограду.

Не все шло складно в тот день.

Совсем плохо получилось у Яшкиного отца: он вернулся из волости ни с чем. Председатель земельного комитета — бывший старшина, дегтярник и смолокур Мишка Стрельцов наотрез отказался созывать волостной сход. Пришла телеграмма губернского комиссара

Дюшена, разосланная уездом по всем волостям: Советскую власть не признавать, распоряжениям ее не подчиняться, власть эта обманная, ее в самой скорости прогонят, законное Временное правительство будет восстановлено.

Осипа Тюкина с пастухом Евсеем и Никитой Аладьиним выпустили из острога. Они не дождались своих освободителей, задержавшихся в городе, прикатили пешедралом, до того им хотелось поскорей очутиться под родной крышей. Поревев на радостях, жены схватились за дрова и воду, страшая мытьем-пареньем в печах, не дожидаясь субботы. А мужьям ничего другого и не требовалось. Почесываясь, они обедали, чертыхались, прославляли питерскую долгожданную революцию и торопили своих баб с ихним обещанием учинить мытьепаренье. Топить печи, однако, не потребовалось. Устин Павлыч прислал Марфу-работницу сказать, что у него давно готова банька для пострадавших за народ и свободу.

Смешно, весело было смотреть потом, как недавние узники выползали из бани, распаренные до багровой синевы, начесанные гребнями, умиротворенные, в белье и кинутых на плечи полушубках, в валенках с калошами. Они гуськом топали гумном и шоссейкой, и ребята, проваяя их по домам, дружно и складно, совсем как Татьяна Петровна, пели заученный стишок:

— Сижу за решеткой в темнице сырой...

Горев с Крайновым и солдатами с железнодорожного моста вернулись из города поздно. Совет в полном составе ждал их в Колькиной избе. Было тесно и душно. Народ набежал спозаранку, и не только депутатский, любопытных набилось достаточно, полная изба и сени, и под окнами торчали, как весной, когда Совет заседал впервые и все было в диковинку. Сейчас все знали о Петрограде и декретах, дядя Родя громко зачитал их дважды. Хлопали так, что стекла в окнах дрожали и тетка Люба просила пожалеть ее, не вводить в разорение, где теперь стекло возьмешь, а сама хлопала не меньше других. Вести из волости, губернскую телеграмму встретили матом. И никто не постыдил, не оговорил, даже мамки, дядя Родя стучал кулаком по столу лишь для порядка, для прилику.

Чего же еще торчать, жечь керосин? Устин Павлыч другой раз и не расщедрится больше. Ребятам не досталось места даже на лежанке. Правда, для десятерых и лежанка с печью, пожалуй, были бы маловаты. Налетели ученики и ученицы, как в школу, со всех улиц и переулков села: и Катька, и Андрейка Сибиряк, и Анка Солина, даже Олег Двухголовый с Тихонями явился. Пришлось классу тереться в сенях, в толкотне, как в большую перемену в школьном коридоре. Из сеней, где курили и ругались несогласные с новой властью (откуда такие взялись? Поди ж ты, взялись, и не Фомичевы, не Тихонов, не Шестипалый, другие) и согласные, свои и чужие мужики и бабы, из этого гама не много услышишь. Но как дружно-весело поздравляли с возвращением домой с войны Афанасия Сергеевича, и глухни разберут. Долетело и как уговаривали добрые мужики Володькину мамку не плакать, шутили, что с радости и помереть можно, а другие мамки сердились на мужиков и тоже поревели-поплакали за бабье счастье Володькиной матери. Солина Надежда, молодуха, все спрашивала со слезами, когда же она повстречает своего штрафника.

Ушастая орава поймала из сеней и самое для них дорогое и забавное, посмешней недавнего шествия из бани.

Бегемота в инспекторской фуражке с крутым козырьком, этого ненавистно-знакомого ребятне уездного комиссара, Афанасий Сергеевич, как он рассказывал, не застал на служебном посту (начальство извоило завтракать), сочинил наспех записочку с предложением

сдать власть и поспешил с солдатами в острог. Когда они вернулись, уездный комиссар не пожелал с ними разговаривать, возвратил через курьера записку. В ней красными чернилами были исправлены грамматические ошибки. (Эх, дяденька Афанасий, не было у тебя поблизости грамотеев-писарей, постеснялись напроситься, а надо бы, надо!) Поставлена размашисто двойка («Бегемот, единицу тебе самому за поведение, единицу с минусом!»), и резолюция через весь лист наискось: «Научитесь грамотно писать... и мыслить. Без ошибок. Тогда и берите власть».

Горев отстранил курьера от дверей, вошел в кабинет инспектора-комиссара, сидевшего в шинели и фуражке. Поблагодарил за науку, обещался непременно и скоро научиться писать без ошибок. А мыслить, думать...

— Всю жизнь голову ломаем, гражданин, не знаю, как вас по фамилии... Вот и додумались: взяли власть в свои руки. Извольте сдать полномочия. Временное правительство сидит в Петропавловской крепости, сам отправлял их туда. Не уступите власти, и вас сейчас отведем в тюрьму, благо она недалеко, сразу за городом.

— Хо-хо! Уступил? — наперебой спрашивали, смеясь, депутаты и недепутаты. — А здорово тебя поддел с грамотой жирный дьявол!..

— Евгенийч, записывай меня в первый класс! — орал Пашкин родитель, держась за живот. — Ах, собака, как он тебя укусил, Сергеич! И ты стерпел? В морду бы ему, в морду!

— погоди, дай узнать najważнее: уступил, нет?

— Уступил, конечно, — ответил Горев без смеха, ворочаясь, должно быть, за столом. Кожаная черная тужурка от движения загремела.

Послышалось? Показалось? Ей-богу, железом стучало и гремело в избе!.. Ну, скрипела куртка, какая разница. Всем ребятам в сенях захотелось надеть такую громкую одежку и пошуметь, поскрипеть железной кожей.

Володькин батя — молодчага — рассказал еще про караульную роту, она после митинга перешла вместе с новым командиром на сторону Советской власти.

— Создали комитет вроде военно-революционного, как в Петрограде... Вашего покорного слугу выбрали председателем. Помогли земской управе самораспуститься. Организуем созыв уездного съезда Советов... А как дела в волости?

Дядя Родя и слова не сказал, только плюнул, надо быть, потому, что тут же послышался взволнованно-решительный, самый знакомый из знакомых, ужасно любимый голос:

— Созовем волостной сход в школе. Помещение удобное, между классами перегородка до потолка, как дверь, раскрывается на обе стороны... Ну те-с, раздвинем перегородку, места всем хватит. Дюшен — меньшевик, что вы от него хотите?

— Ура-а-а! — рявкнули сени. — Да здравствует наша школа! С перегородкой!

Вразноголосицу оглушительно летело в избу:

— Долой контрреволюционеров Стрельцова и Дюшена!.. Он курит папиросы «Дюшес», потому его и зовут так... Смерть врагам народа!

Великих ораторов, крикунов прогнали из сеней на крыльцо, чтобы не мешали депутатам...

В эти именно дни неожиданно появился в усадьбе дедко Василий Апостол в зимнем, на вате, пиджаке, который был ему тесен и короток, в чужих яловых сапогах с заплатами на голенищах и сам какой-то чужой, не похожий на себя: притихший, ласковый с людьми. Он, оказывается, гостил у дальних сродников, ткачей, в Иваново-Вознесенске. Сродники и одели, обули деда. Он хвалил племяшей, но жить у них не остался.

— Воздух чижолоый, фабричный, дыху нет, в одночасье помрешь, а мне нельзя, рано,— объяснял он.— Не все в жизни совершил, глуп был, верил тому, чему не надобно... Теперича поумнел маленько. Совершу!.. И других научу, потому уразумел,— загадочно говорил добро и мягко Василий Ионыч.

Уж не дуб шумел бурей и не гнулся, суковато-прямой, с сивой бородой по пояс и бездонными омутами под нависшими лохматыми бровями. Дедко горбатился и пошатывался, когда ходил, но еще цепко опирался на палку. Родня пообстригла ему бороду, а не обровняла, она торчала кудельными ключьями, как старый, облезлый венник. И темные омуты в глазницах пропали, точно высохли. Из глубоких ям глядели ласково-грустно на народ блекло-голубоватые глаза, точно осеннее, затуманенное к вечеру небо. Они как бы все время ласково-тихо беседовали с людьми, эти выпцветшие очи, и, вдруг, зажигаясь, становились синими, молодыми и кричали криком что-то страшное, непонятное.

После того, как дедко Василий, получив с фронта известие о гибели последнего, младшего сына Иванка, изрубил на дрова и сжег в подтопке иконы, пустив на растопку вместо бересты псалтырь и библию, снохи очень боялись его, ни в чем не перечили, сторонились, как он явился в усадьбу, шептались, что старый спятил с ума. Да и все мамки так думали и при встречах с дедом шарахались прочь. А мужики, начитавшись газет, наслушавшись питерских невозможных новостей, посмеиваясь, пытали громко деда Василия, и он охотно, тихо-ласково отвечал им, как малым, неразумным внучатам, и все одно и то же: о боге.

— Человек и есть бог, для себя и для других... Говорю вам, человек на земле — бог... И нету никакого другого.

— Ух ты! А на небе?

— И на небе, ежели очутишься на ероплане, станешь там богом.

— Обожди, куда же господь денется?

Дед внезапно опалал ржущих, веселых мужиков синими молниями.

— По шапке его, вашего бога, как царя!

И тут же меняясь, будто лаская несмышленишей, дорогих ему, непонятливых, толковал опять свое, одинаковое:

— Нету царя на земле, нет и на небе.

Максим Фомичев, если был поблизости и слышал такое, плевался и бранился.

— Окстись, богохул, антихрист! Что ты городишь, подумал?.. Право слово, антихрист, другого имени тебе нет!

— Эх, ты... Вася-антихрист! — укоризненно повторил, вздыхая, Устин Павлыч.

Олегов отец, одетый во все старенькое, серенькое, незаметное, не отходил нынче от народа. Где мужики, там и он. Больше молчал, поддакивал, если речь заходила о новой власти, которую он открыто одобрял. Теперь, слушая деда, косясь на него из-под разбитых, перевязанных суровыми нитками очков, давно потерянных и вдруг найденных, Устин Павлыч задумчиво бормотал:

— Без царя, без Керенского жить можно. Особливо сейчас, с большевиками, умничками. А без бога, кто его знает, пожалуй, робковато... Без бога, Василий Ионыч, человечиска, пожалуй, станет зверем. Только бог его в руках своих и держит. Побавляется господа всевышнего, с-сукин сынок, и не все дозволяет себе... А ежели ему некого бояться?.. Пожрет один другого!

Не повышая голоса, дед отвечал упрямо-ласково:

— Как знать, может, и не пожрет... Ну, богатых проглотит, не жалко: того стоят. А бедных чего ему есть? Он, человек, сам бедный.

Павел Фомичев, оглядываясь на брата, с которым он, разделяясь избами, добром и землей, жил, как известно, опять мирно-свято, заметил убежденно, со злобой:

— Сперва бедные богатых пожрут, как сейчас большаки. Потом сами себя с костью, без остатка, помилуй нас, господи-боже! — И размашисто крестился, чтобы все видели, какой он набожный. — Одна наша надежда, молитва: прогонят живехонько большаков, не угодны они богу.

Мужикам сразу становилось не до поучений деда. Павел задел их за самое живое. Огрызаясь, они кипели:

— Нам угодны большевики! Понятно тебе? Нам!

А дед Василий, согласно кивая шапкой и ершистыми остатками бороды, лаская мужиков синим молодым светом, толковал мягко, задушевно:

— Верить надобно, граждане, человеку, а не богу, себе верить, большакам... Слушай меня и запоминай: добру верь, за добро головы не жалея, победишь беспрременно... И станет тебе хорошо. Зла-то на свете и не будет, как бога. Одно добро на земле, для всех... Разве плохо?

— Иди ты, прости господи, к черту-дьяволу со своим добром! Провались в преисподню, сатана... Там твое место! — орал, ругались братья Фомичевы и уж не крестились — сучили кулаками. — В аду тебе будет хорошо, Антихрист!

Это прозвище прилипло к деду Василию как смола — не отдерешь, не отмоешь. Нет, оно, прозвище, было хуже смолы, — как метина на лбу, выжженная каленым железом.

И не стало на свете с той поры дедка Василия Апостола. Появился в усадьбе Вася-Антихрист.

Он разыскал дядю Родю поздно вечером, когда тот собрался спать и Яшка с Шуркой, не расставаясь, пристроились уже рядышком на печи. Слабо, трепетно горела церковная, грязного воска, тонкая свечка, припасенная неугомонной Тасей, и неясная, лохматая тень от дедки падала на стену и шевелилась, качаясь. И дед качался пьяным, бормотал несуразное, близко подсев к Яшкиному бате на кровать. Синий безумный огонь пылал в ямах под седыми нависшими кустами. Тасина свеча перестала замечаться.

— ...Взойду на амвон в шапке и совершу... Нельзя? Оскорбление? Да не обижу я народ, не обижу! Я токо скажу: смотрите на меня, товарищи-граждане, я разговариваю с вашим господином-богом. Где он? Что с вами делает?.. Безжалостно! А разве бог может быть безжалостным, глухим, немым?.. Стало, нет его и не было никогда... Коли ты, бог, есть, отзовись! Порази меня за неверие громом насмерть... А-а, молчишь? Не можешь?.. Пустота, обман...

— Не выдумывай глупостей, Василий Ионыч, — строго увещевал дядя Родя. — Поп, отец Петр, знаю я его, скажет: «Выведите этого старого, полоумного дурня из церкви, рехнулся, бес в нем сидит, соблазняет...» Заломят тебе назад руки, выведут на паперть, за ограду, насуют под бока, только и всего. Могут и до смерти избить, Фомичевы, мы скажем... Да разве так надобно бороться с темнотой, милый мой Василий Ионыч?.. И не мешай нам, в воскресенье — волостной съезд Советов в школе.

Они долбили каждый свое, шептались и шептались, чтобы не мешать ребятам спать. А те не могли долго заснуть, когда и ушел дедко. Растревоженные, напуганные, признаться, теперь шептались под дяди Родин храп Шурка и Яшка. Они не смели соглашаться и спорить с дедом, они только боялись за него. Неужто он это сделает, с о вер ги и т? Да не одни Фомичевы, святоши, все мужики избьют его, а бабы выцарапают глаза...

Глава XXII

«...Мы новый мир
построим!»

В субботу классы распустили в большую перемену. Не было ребячьего, положенного в конце недели праздничка — мазни-рисованья красками и пачканья-творения напропалую из глины кому чего вздумается. И очередь у книжного разлюбезного шкафа Григорий Евгеньевич все время поторапливал: «Не копайся на полках, все книги интересные, бери поближе, которые не читал. Нуте-с?»

Заманчивый порядок, заведенный учителем с осени — самим ученикам брать книжечки из школьного библиотечного шкафа, — этот порядочек оказался нынче не больно выгодным. Ребята подолгу не отходили от полок, вставали на цыпочки, лезли друг другу на плечи, чтобы дотянуться до верхних, самых бесценных, как бы спрятанных от тебя сокровищ. Да ведь и не сразу решить, какую милягу-книжечку брать, глаза разбегаются, этакая прорва богатств в мягких обложках и негнущихся, твердых корках напихано там, на верхних полках, — руки устают доставать и рассматривать, выбирать добычу. Терпи, Григорий Евгеньевич, раз сам придумал, установил это неслыханное дело, такое же новое, правильное, как Советская власть.

Не все ребята знали, почему Григорий Евгеньевич спешит в нынешнюю субботу с выдачей книг, куда торопится, не спрашивает, по обычаю прочитанное (не прочитал — не получишь подарочка!), не знали, почему без праздника отправляют их нынче по домам, не разрешают попачкаться всласть и вволю глиной и красками. Школьный народ ворчал и сердился. Но кто знал тайну, бешено помогал учителю поскорей управиться с выдачей книг, незаметно толкал взащей и в спину, кто мешкает, толчется у шкафа. Знакомые с тайной охотно соглашались забыть краски и глину до следующей субботы и мучились одной лишь неизвестностью: позволит или не позволит Григорий Евгеньевич остаться в школе после уроков?

Учитель позволил. Когда они таинственно остались одни в школьном коридоре, Григорий Евгеньевич не сделал страшных глаз и сердито-удивленного лица, как бывало, не закричал, озорничая: «А вы что тут болтаетесь? Нуте-с, марш домой!», — он просто сгреб их всех в охапку и закурился с ними каруселью. Глаза его блестели и смеялись беспричинно, грива волос дыбилась и тоже смеялась. Он повалил ораву потом в кучу на пол, и они его, в свою очередь, грохнули. Татьяна Петровна, конечно, высунулась тревожно из комнаты, пощурилась через свое пенсне и ничего не сказала. Это что-нибудь да значило. О, многое значило!

Сторожиха, горбатая Аграфена, тоже нынче раздобрилась, угостила всех на кухне вчерашней холодной картошкой без соли. Кормились Шурка с Яшкой, Володькой и Катькой, и Колька Сморок с Андрейкой Сибиряком и Олегом Двухговым, привязавшимся в последние дни почему-то к их честной компании. Бог с ним, не жалко, успеют подрасться, если потребуется. Хорошо бы не потребовалось, чего-то стало жалко Двухголового даже забияке-питерщичку. Другое дело — Тихони, наподавать им всегда негрешно. Но Тихони не знали тайны, укатили домой и книжек не меняли, до того обрадовались, что рано распустили класс. Оставшиеся пообедали картошкой, на загладок Олег, расщедрясь, поделился ржаным пирогом с капустой.

Вскоре пришел дядя Родя с Никитой Аладыным, они принесли из дровяного сарая лестницу и общими силами, с ребятами, Григорием Евгеньевичем, толкаясь, мешая одни другим, принялись открывать тесовую, крашенную охрой, заметную и незаметную перегородку, делившую помещение на два класса. Под самый потолок забрался с молотком Яшкин батя. Все, даже Татьяна Петровна, держали лестницу, чтобы он не свалился. Лестница одна, а рук лишних предостаточно.

— Осторожно! Ради бога, не упадите! — повторяла испуганно Татьяна Петровна и помогала держать лестницу двумя оттопыренными пальчиками. Вот какая она стала, Татьяна Петровна, недавняя супротивница революционных дел Григория Евгеньевича.

Дядя Родя не упал, а пенсне Татьяны Петровны упало, повисло на груди на черном шелковом шнурке. Оно всегда слетало с переносицы в такие минуты, словно от радости. Молоток певуче-звонко ударил по верхним ржавым крючкам, они отскочили не сразу; дядя Родя, слезая, передал молоток Аладыну, тот стукнул по нижним крючкам и, отодвинув в угол лишние парты, дружные, молодецкие ребячьи руки первыми схватились за перегородку, и она со скрипом, торжественно-медленно, как царские врата в церкви, расплозлась, распахнулась направо и налево... Неужели дедка Вася-Антихрист встанет в шапке перед вратами на амвоне и будет на глазах очумелых прихожан спрашивать бога, есть он или нет? Вчера Шурке было страшно об этом думать, а сейчас не очень, да и некогда. Иное чудо совершил сам Шурка, как бог.

Было два малых, так себе, класса, стал один, огромный, во всю школу. Сейчас они будут помогать Аграфене мести пол и расставлять удобнее парты.

— Экая благодать! — сказал с восхищением дяденька Никита, прямо, крепко держа свою большую голову. — Простору-то!.. Это тебе не острог... А я и не знал!

Шурка вспомнил, что и он не сразу догадался, что позади его парты не стена, а перегородка. Вспомнил он и вечерок, когда в морозы запросились оравой ночевать в школе вместе с дальними учениками и лежали на полу, на соломе, застланной редкостной, прямо-таки небывалой для них белой простыней. Они стучались в переборку и кричали девчонкам, ночевавшим в другом классе, что некие удалые ребятки побывали сию минуточку на кладбище, видели покойников. И страшали: покойники придут к ним, пискушам, ночью, в гости обещались прийти. Девчонки тоже царапались и стучались в перегородку, повизгивая от страха и удовольствия. И громче всех пищала и царапалась Растрепя, именинница. Татьяна Петровна подарила ей и перешила в тот вечер свое пальто с лисьим воротником. А посему один жених, помнится, обещался вывалить одну невесту в снег, утопить в сугробе и насыпать сахару за меховой воротник...

Сейчас старшекласники сами верещали от удивления и удовольствия: они вдруг очутились в невозможно громадном классе, он был и чужой и свой, с дырявым глобусом и школьной доской с поперечной трещиной и мутью от мела и мокрой тряпки. Но потолок в помещении, казалось, был выше прежнего, и окна как будто больше, и не два окна — четыре, дело к вечеру, а света в классе хоть отбавляй.

Орава с визгом кинулась к ближнему окну. За холодным стеклом было чистое небо, освещенное заходящим солнцем, которое закатывалось, как ему положено, позади школы за церковную рощу. Из этого непонятно-синего, с мягким багрянцем неба тихо и почти незримо опускались светлые пушинки, как бы от одуванчиков и тополей, и, не достигая земли, плавали невесомо в лиловом вечернем воздухе. А вокруг было давно белым-бело.

— Зима! — кричала и прыгала у окна Растрепя, как маленькая.— Который раз? Поглядите, Татьяна Петровна, Григорий Евгеньич, право слово, зима... Заждались!

— Я прокачу тебя с горы на козуле,— пообещал Шурка, наклонясь невольно к рыжей, толстой, золотой цепью косе. Она ненароком хлестнула его ласково по носу и щеке. Хозяйка золотой косы-цепи, обращившись, залила его изумрудным жаром кошачьих круглых глаз, и он, обжигаясь, утопая в этом зеленом омуте, не желая ничего другого, как прежде, когда он тонул в ином, дорогом ему, голубом, теплом свете. Мучительно-сладко хотелось сейчас, чтобы он, Шурка, постоянно, радостно-весело погибал вот так, в бездонном Баруздином бочаге; он будет тогда самым счастливым утопленником, которому, как говорится, во всем повезет в жизни. Ах, только бы вернуть навсегда голубое мамкино сияние, зеленое-то, Каткино, он уже вернул.

Подошли к широкому школьному окну остальные хлопотуны и хлопотуньи перегородочных чудес, смотрели, как зыбкая белая мгла, подсвеченная закатом, розовеет и густеет, скрывая Волгу и деревню на том берегу.

— Как бы не испортила погодка нам завтрашнего собрания,— обеспокоенно произнес Григорий Евгеньевич.

— Ничего,— отозвался дядя Родя.— По свежему снежку народ прилетит как на крыльях.

— Ну уж и на крыльях,— сказала оживленно-довольная учительница.

— Царица небесная, матушка, помоги...— перекрестилась сторожиха Аграфена.— Ни на санях, ни на телеге!

Никита Аладьин рассмеялся:

— Значит, пешком!

И правда, не много телег и дрог, облепленных грязью и мокрым снегом, прогремело по шоссе наутро к школе. На санях и вовсе ехать никто не решился: зима все не устанавливалась. На своих-двоих привалил народ к двенадцати часам, как просили и требовали повестки, разосланные с нарочными по деревням. Оглядываясь, здороваясь сдержанно промежду собой, поднимались делегаты на парадное школьное крыльцо, обметали праздничные сапоги и штиблеты с калошами Аграфениными пудовыми венниками из еловых лап, драли, скребли грязные подошвы и значительно-одобрительно косились на красный флаг, прибитый над дверью. Кто и когда успел это сделать— догадаться нетрудно. Флаг был настоящий, из кумача, не чета тряпке, выкрашенной в кровавые чернила. Что ж, тот флаг, вбитый колом в барском поле, на пустыре, послужил кое-кому честно. Пускай так послужит теперь народу этот, всамделишный, из кумача.

Все было похоже и непохоже на первое заседание сельского Совета. Это было не собрание, а торжество, по-иному и не скажешь. Запретители, супротивники Советской власти не явились. А может, кто и явился, да помалкивал: уж больно согласно, празднично глядел народ. В дверях ему пожимал руки кожаный Афанасий Сергеевич Горев, и все притворялись, что не удивляются его тужурке, должно быть, так надо, из большевистских начальников, сразу видать, и свойский, с каждым здоровается за руку. Дядю Родю, осклабясь, хлопали прищипками по шинельной спине, по плечу, кто доставал, кому было сподручно, поздравляли с благополучным возвращением с войны, а Евсею Захарову, Осипу Тюкину, Аладьину, Митрию Сидорову и другим знакомым советчикам даже совали дружески под бока:

— Держись, черт, свергать пришли!

— Вот уж рад-то буду...

— Не-ет, брат, запрягся, так вези!

Мало баб, нескоро отыщешь темные зимние шали и шалюшки. Еще некоторые свои любопытные мамки прибежали, конечно, не утерпели, а чужих и не заметишь, не видно. Точно малость пооттерли мужики баб от революции, ей-ей. Как спасти прежде бычков и телушек от казны, гнать взашей и вилами золотые очки, меховые поповские шапки и волостного писаря, квакавшего жабой, так потребовались непременно мамки. Ихние муженьки тогда, помнится, только поглядывали с завалин, дивясь и сердясь на бабий бунт, и ворчали, что отвечать придется им, мужикам: заварили, дуры, кашу — не расхлебать. А теперешнюю готовую революционную кашу все бабки хлебали охотно сами и немного подпускали к ней мамок. Так по крайности иногда казалось Шурке, и нынче на это было похоже. Или он ошибается? Ведь известно, кто пожалел скотину в усадьбе, хлеб, когда сбежал пуштоглазый приказчик.

В школьном коридоре, за маленьким учительским столиком, вынесенным из класса, Татьяна Петровна у окна регистрировала прибывающих, записывала в большой, без линеек, развернутый лист, кто откуда явился. Ей нынче не приходилось напоминать, что курить в школе нельзя, — дымили мужики на улице. Иные делегаты, записавшись, оставляли на ребячьей вешалке оранжевые полушубки и шубы, разноцветные ватные пиджаки и пальто, другие лишь распахивались во всю грудь, снимали шапки и картузы и, приосанясь, наглаживая усы и бороды, откашливаясь, степенно-торжественно проходили в классное помещение. Немножко удивлялись партам, что их не вынесли загодя, не заменили скамьями, шутили, опять, кажись, пришли учиться, садились, теснясь, за парты, по трое, как ученики, и на парты садились, свесив ноги, кому как удобно, как нравилось.

В Шуркиной классной половине, напротив парт, вместо учительского столика громоздился, красовался кухонный, накрытый богатой, с бахромой и кистями, клетчатой скатертью. Стол окружен венскими, из учительской квартиры стульями. На скатерти бронзовый колокольчик, начищенный до блеска сторожихой, графин с водой, стакан на тарелке и горшок с редкостным «Варвариним цветом», которым всегда, поражаясь, любовались девчонки, бывая у Татьяны Петровны. Да и как было не любоваться, не удивляться и мальчишкам: резные, в зубцах, точно с дуба, листья растут друг из дружки, ветками-цепочками; на кончиках листьев розово-багровые, солнечного восхода и заката цветы, даже зимой. Каково? Ай да тетка Варвара, кудесница, кикимора лесная! Забралась ведьма-баловень в класс, на стол президиума, для услады делегатов. Куст был усыпан цветами, как огоньками.

Но не один «Варварин цвет» порадовал нынче Шурку. Он узнал дареный батин фасонистый горшок, высокий, узкий в поясе, будто перетянутый ремешком, с хлебным глянцем и разводами по широкому, крутому верху. Шурка ласкал горячим взглядом батин глиняное творение и словно видел сейчас отца на волостном сходе.

Позади стола, во всю бревенчатую стену старого класса, где раньше висели картины-пособия по истории, теперь прибиты, неизвестно откуда взявшись, два кумачовых полотнища, точно запорошенные снегом. Полотнища эти так ладно прилипли в простенок, словно всегда тут висели.

На одном, крайнем, частыми белыми сосулями — слова:

«Горячий Привет Делегатам Первого Волостного Съезда Советов!» и чуть пониже, редко и крупно:

«Да Здравствует Советская Власть!»

Ого, плакаты-лозунги! Всамделишные, как в Петрограде. Про такие рассказывал им, ребятам, все повидавший Володька-питерщичок. Дождались!

Казалось, и делегаты так думали, разглядывая красные полотнища с дальних парт и читая про себя. Они стеснялись сесть поближе, вооружались очками, кто видел плохо. Все одолели, разобрали и определенно остались довольны.

Был доволен и Шурка, что не мешало ему задавать себе постоянные вопросы и отвечать на них, болтать шепотом, доверительно с приятелями и приятельницами, давно пожаловавшими, как и он, в школу, толкавшимися рядом с ним.

С заглавной буквы каждое слово — это ошибка или нарочно так написано? Чтобы и привет и лозунг были заглавными, как наступившая новая жизнь? Да, конечно же! И по тому, как всякая буква-буквица выписаны аккуратно и броско, по-печатному, с украшениями — хвостиками и закорючками, нетрудно сообразить, что это ночная работенка одного известного художника-рисовальщика. Слава ему, слава и большущая благодарность!

Пора и подсоблялам революции, помощникам Советов научиться так рисовать. Он поделился этими замыслами с Яшкой Петухом и Катькой Растрепой и получил полное одобрение. Володька, узнав, о чем шепчется тройка, тотчас к ней присоединился — четверня вышла — час до неба. И не простая четверня — артель маляров-художников. Хватит мази красками-пуговицами и белчьиими кисточками на дорогой, но бесполезной, так называемой «слоновой» бумаге. Пришло, наступило прекрасное время орудовать малярными кистями, писать разведенным мелом, серебром и золотом аршинными буквами на красном ситце и алом шелке самые заглавные, дорогие слова из декретов Ленина о земле и мире. Вот она, правда так правда, воистину всем правдам родительница!

Как пылающее кровью и немеркнущим огнем живое сердце выборгского мастерового Данилы Большевика поведет ихние плакаты и лозунги за собой людей, показывая и освещая им дорогу вперед. Сколько раз он твердит схожее? Так и надобно — повторение, брат камрад, не одно учение, но еще и терпение. О несогласных, не сообразивших зараз всего, помни, не забывай. Долби им чаще, повторяй на каждом плакате, объясняй, растолковывай складными лозунгами, показывай пример, то есть будь везде первым, глядишь, и поймут, убедятся, что не обманываешь, на хорошее, доброе зовешь и непременно пойдут за тобой...

Половина старших, четвертых, не меньше, узнав дома, что произойдет в воскресенье в ихнем классе, прилетела в школу. Григорий Евгеньевич всем позволил поторчать досыта у стены с плакатом-лозунгом позади стола президиума.

Все, все было необыкновенно-значительно, торжественно и ужас как интересно на этом первом волостном сходе Советов: и как веселый, решительный Афанасий Сергеевич Горев, объявляя о начале собрания, потянулся за школьным колокольчиком и не позвонил, лишь потрогал его и отодвинул к стакану и графину, словно в классе давным-давно шел урок и делегаты, как ученики, замерев от интереса и внимания за партами, не спускали глаз с учителя в кожаной тужурке, который открывал им неведомое, самое важное и дорогое, страсть какое завлекательное, о чем они краем уха слышали, что им нравилось, но теперь обязательно хотели знать больше, доподлинно все, до конца-края и даже за краем до самого доньшка; и как Афанасий Сергеевич, дрогнув, начиная волноваться и сдерживая себя, тихонько почему-то и оттого особенно проникновенно-радостно поздравил участников собрания с долгожданной народной властью, и Шурка, стыдливо сжавшись, и Катька, и Яшка, да прямо сказать, вся глупая орава трепетно ждала и боялась, а ну как мужики пойдут на попятную, не захотят одобрять но-

вую власть, и как он, дурачина, оглох,— стена с плакатами затряслась от грохота в классе, ну не стена, кумачовые полотнища зашевелились, надулись двумя парусами, и он, Шурка Кишка, и ребята подхватили грохот в классе, старались, хлопали ладошками до того, что их стало жечь, и тогда Горев, одобрительно оглянувшись, позвонил в колокольчик; или вот еще, как пленные Янек и Карл, в знакомо голубоватых, вытертых, а без единого пятнышка, шинелях, таких чистых, затянутых ремнями, приветствовали волостной съезд Советов от своего имени (говорил, конечно, один статный красавец Янек, хорошо знавший русский язык, маленький же толстячок Карл, не снимая кепки с длинным козырьком и тремя пуговками над ним, смешно задрав бороду, только прикладывая руку к козырьку, отдавая во все стороны честь мужикам, настукивая каблуками), да, вот так приветствовали пленные от своего имени прежде всего, а потом и от имени всех австрийцев и немцев, и опять школа была в оглушительные ладони, и старшекласники ей подсобляли изо всех сил, а Шурка, невольно воскрешая в памяти первое заседание сельского Совета в Сморгчовой избе, спрашивал себя, когда же этот русский гром докатится до Германии и Австро-Венгрии и отзовется там; и как дружно, без пререканий, выбрали президиум — да, все, все шло отрадно-замечательно, празднично, и вдруг Надежда Солина, молодуха, сердитым своим басом крикнула откуда-то из коридора, от дверей:

— Что ж вы, Советская власть, мужиков за стол насажали, а бабам и места нет?

Тут уж не рукоплескания — смех грохнул, прокатился по школе от стены с плакатом-лозунгом до самых задних парт. Мужики и ржали и топали от удовольствия и веселья. Афанасий Сергеевич сказал во всеуслышание, что надобно исправить ошибку.

— Да садись, гражданочка, с нами пожалуйста! — пригласил Терентий Крайнов, пододвигая свободный стул.

— Выбрать ее самую в президиум! Забыли женщин, нехорошо... В президиум, в президиум, сердитую, востроглазую! — неслось одобрительно со всех парт.

— Тасю сажайте, Таисию Андреевну, она ноне у нас, баб, самая на́большая. Ничего не боится... Али и это не помните? — одинаково сердито-строго отозвалась, пробасила от дверей Надежда Солина.

И Тасю выбрали, усадили за стол с клетчатой скатертью и батиным горшком-вазой с «Варвариным цветом». Посадить бы Минодору, был бы в президиуме второй цветок, может, краше Варвариного. А Тасю цветком не назовешь, она ровно отцвела навсегда. Худющая, как есть кожа да кости, печально-темная, безулыбчатая, в будничной залатанной кацавейке и старом вязаном сером платке, она долго, удивленно оглядывалась суровыми, запавшими очами, будто не могла сразу понять, где очутилась.

Кажется, Шурка нынче малость опростоволосился. С кем не бывает! Потеснились мужики и дали женщинам местечко в революции. Обожди, придет нужда,— мамки сызнава выйдут наперед, помяните Шуркино слово.

Писать протокол попросили Татьяну Петровну. Она принесла чернильницу-непроливашку, ученическую деревянную ручку, горсть отточенных заранее карандашей для президиума и много нелинованной бумаги. Писаря позавидовали такому богатству. Нынче им, подсоблялам революции, помощникам Советской власти, только глядеть да слушать, бумаги и карандашей они и не понюхают.

Володькин отец читал и растолковывал Декрет о мире, и сход благодарно-горячо, согласно откликался почти на каждую произносимую фразу. Пожилые мужики были поспокойнее, но молодые усидеть не могли, парты им вдруг стали тесными, они вскакивали, толкались и от-

чаянно работали ладонями. Больно по сердцу пришелся этот декрет Ленина. Живо схватились за табак, как за успокоение, сами себя шепотом оговаривая «курить нельзя!», и дымили, дымили в рукава, в горсть и потом надрывались кашлем.

— Наша задача: крестьянам — землю, рабочим — заводы и фабрики, солдатам — мир! — говорил Афанасий Сергеевич.

Катькин отец, посиживая молчком у дверей, словно присмиривший после отсидки в остроге, вынул из рваного рукава припрятанную глиняную трубку-коротышку, пыхнул из нее открыто-насмешливо:

— Мир... Так они тебя и послушаются, согласятся, буржуи!

Горев заскрипел ремнями и кожей, поправил свою военную сбрую, одернул командирскую, черно блестящую тужурку.

— Значит, будем защищать революцию с оружием в руках,— ответил он.

И в школе видели и поняли, что он и к этому готов.

— Стало, опять война? — мрачно плюнул кто-то на передней парте.

— А ты что захотел? — прорычал Осип Тюкин от дверей, наливаясь бешенством. Нет, он был и останется Осей Бешеным до смерти, Растрепя сейчас не стыдилась за отца.— Ты хочешь тихо-мирно разговаривать с буржуями за обедом с бражкой? — взъярился Тюкин.— Не станут они с тобой чокаться, бражку пить! Берись за...

— За гранату,— подсказал Митрий Сидоров. Он не стерпел — надобно потешить народ. Поржут меринами мужики и еще верней решат все дела.— Да запал не забудь, сунь в гранату,— с подчеркнутым простодушием добавил Митрий.— А то жестяная твоя бутылка, едрено-зелено, так бутылкой и останется... как было на барском лугу.

Про гранату Осипа Тюкина многие слышали. Школа чуть не развалилась от хохота.

Откуда-то из коридора, с задних мест, медленно плыла по рукам записка в президиум. Ребяшня с интересом следила, как ее передавали с парты на парту. Оказалось, и не записка — целое письмо. Дядя Родя, председательствуя, принял мятый конверт, разорвал, пробежал листок глазами.

— А где же податель письма? — спросил он.

Никто не откликнулся, не отозвался. Точно конверт сам прилетел откуда-то по воздуху.

Яшкин отец громко прочитал записку вслух. Это была знакомая телеграмма из губернии: не признавать Советскую власть, не подчиняться ее распоряжениям.

Что тут было! И говорить никому не позволили, и голосовать телеграмму запретили. Смех и гнев перекатывались по партам. До самого потолка поднимался и гремел гром. Того и гляди не выдержит старая, гнилая матица, и потолок провалится.

Матица выдержала. Не выдержал мужичок в белой сатиновой рубашке, без пиджака и жилета, он располагался за ближней к президиуму партией совсем как дома. Подскочил к столу, как с печи свалился. Маленький, большеголовый, что гриб-боровик, светясь ясными, как у малых ребятшек, глазами, он тоненько крикнул за всех:

— Всецело признаем одну Советскую власть!.. Записать в приговор, записать!..

Горев поддержал мужичка-боровичка, настоял, чтобы проголосовали и занесли в протокол.

— Вообще-то телеграмма, пока добиралась к нам, немного устарела,— сказал Афанасий Сергеевич с усмешкой.— Дюшена в губернии прогнали. Советская власть провозглашена рабочими в Ярославле.

Но кто же все-таки принес сюда, на съезд, проклятую телеграмму? Почему не показывается? Старшеклассники возмущенно переглядывались. Прячется! Есть, есть здесь, в школе, супротивники Советской власти... Надобно их найти.

Став у стены на цыпочки, вывихнув шеи, добровольные стражи революции зорко разглядывали волостной сход через затылки президиума. Но и самые глазастые-разглазастые, пристальные, как Олег Двухголовый, не замечали ровнехонько никакой контрреволюции. Съезд Советов дымил и дышал одной, казалось, грудью, смотрел на ребят, отвечал им одинаковыми светлыми глазами. Конечно, всякий по-своему радовался и сердился, шумел, смеялся на свой лад. Но лад этот был опять-таки один, советский, иначе не скажешь, не подумаешь.

Приметил Шурка Егора Михайловича из Глебова, пьяненького на радостях революции. Подпалины на кудельной бороде редкие какие-то нынче, и сама она поубавилась заметно, будто жена спозаранку постаралась, расправилась за недозволенный самогон. Егору Михайловичу, видать, вполне было достаточно того, что он успел хлебнуть, сбегав на станцию к самогонному варилу Нюрке Пузырьку, и он уж обнимал недруга Быкова: «Павлыч, наша взяла... дуй те горой!» — приговаривал он и лез целоваться. Устин, непонятно-добрый и ласково-веселый и общительный в последние дни, нынче хоть и торчал на виду, однако досадливо помалкивал, будто маленько обижался, что его не посадили за стол с клетчатой скатертью и «Варвариним цветом» в батиной глиняной вазе. Зато Капаруля-перевозчик, горделиво-независимый, в стороне от всех был заметно доволен, точно второго трехпудового сома острой забил. Подпирая благостно кривым боком широкий подоконник, он припадал на ревматичную ногу, а сесть на окно не решался: скажите, какой деликатный гражданин. Как он перebrался в своей худой лодке-завозне через Волгу, с той стороны, из будки, и не догадаешься, «сало» шло по реке всплошную. Шурка с обычным уважением и изумлением потарачился на загадочного старика. Вот тебе и нелюдим, Водяной! А какое у него тут дело?.. На сходе, само собой, нет Фомичевых, Шестипалого, Вани Духа, не делегатами (их никто не выбирал), любопытными. Побежал новый буржуй Тихонов на станцию, слышно, поломался локомотив на его вальцевой мельнице. Дай бог, чтобы и не починился!.. В проходе между партами, не мешая другим, ласково стоял, опираясь на суковатую палку, дедко Вася-Антихрист, сгорбленный, тихий, жалкий. Но под седыми клочьями бровей, нависшими светлым ивняком, темно светились в бездонных омутах, запертые там синие молнии глаз. Погодите, придет его час, выпрямится старый дуб, разразится в церкви на амвоне бурей, ударит молниями в прихожан, с о в е р ш и т задуманное, невозможно-страшное...

Шурке мешала разглядывать народ чья-то цветастая, праздничная шаль. Он отводил взгляд в разные стороны, шаль все ему мешала, притягивала и не отпускала и ровно была знакомая. Он признал свою мать по этой питерской шали, и не сразу узнал по лицу, и порадовался, какая нынче его мамка хорошая, разругалась от жары в классе. Она стояла в самом его конце, где не было парт и теснились опоздавшие делегаты и недегаты — Солина Молодуха, Минодора, Катерина Барбанова, Коля Нема, работник попа и бессловесная Володькина родительница-питерщица, такая несхожая с мужем Афанасием Сергеевичем. Коля Нема, должно, гугукая, пытался рассказать что-то мамкам на пальцах.

Ковровая шаль, спущенная на плечи мамки, играла и переливалась «Варвариним цветом». Шурка глядел на шаль, а видел дядю Родю вчера в избе. Он осторожно-бережно, точно боясь уронить и разбить, держал мамкину руку. «Должно быть, нам вместе жить... ребята

растить, Пелагея Ивановна... Поля», — тихо-медленно, с запинкой, говорил он. Мать не отвечала, руки не отняла. Темная от загара, с вспухшими, покривившимися пальцами, эта знакомая до каждой трещинки, мозолей, до всякой зажившей и незажившей царапинки, ласковая и строгая материна рука, которая шлепала и баловала Шурку и Ванятку, лежала теперь беспомощно в большой, сильной ладони дяди Роди и казалась очень-очень маленькой и беззащитной.

Шурка оторвал влажный взгляд от ковровой шали и торопливо, не зная зачем, отыскал и схватил Катькину теплую, мягкую ладошку.

Растреха вырвала руку, зашипела:

— Как не стыдно!.. Видят...

Бритый дядька в пальто на лисьем меху, с отогнутыми огненно-рыжими вытертыми бортами и котиковым, вовсе стареньким воротником, дядька, не похожий на деревенского, зло жаловался Гореву, что они, городские агитаторы, большевики, все рабочими их, мужиков, потчуют, в нос им суют мастеровщину. Пролетариат, везде пролетариат заправляет, честь ему и хвала. А где же крестьянин? Ведь Советская власть и мужицкая, не одних рабочих. Вон в декретах Ленинто ее рабоче-крестьянской властью прозывает. А послушаешь иного товарища из города, по его суждению выходит — мужик был и есть сбоку припека. Обидно! Каравай — мужик подавай, управлять миром — не вышел рылом...

Вот она, контрреволюция в старой лисьей шубе с котиковым воротником! Малые большевики кипели, негодовали. Им бы сейчас волю, полетел бы из шубы останный лисий мех. Эвон и сход насторожился, притих одобрительно. Может, и ему, всему сходу, обидно? Кругом контрреволюция, кругом!

Но Афанасий Сергеевич почему-то разговаривал с лисьей шубой дружелюбно.

— Да ведь и рабочий — тот же мужик, из деревни вышел. Чего же тут обижаться на своих? — сказал он. — Деревня — мать родная рабочему человеку, всему рабочему классу. Как же они, сыновья, против матери пойдут? Или она, мать, против своих сыновей?.. Да что! — проникновенно воскликнул Афанасий Сергеевич, — скажу, не постесняюсь: вся Россия вышла из деревни!

— А? Вся Россия из деревни? — радостно-удовлетворенно переспросил дядька и, облегченно вздыхая, распахнул широко богатую когда-то, может, дедушкину, крытую касторовым сукном шубу, а утерся, как нищий, рукавом. — И я говорю: мужик сделал Россию. Москва-то, слышно, из деревни повелась!

— А Питер? — подсказали из класса. — Кто его строил на болоте?

— Вот видите, как складно получается, — совсем ласково, по-приятельски заключил Горев. — Чего же сердиться?

— Ну! — Дядька устало махнул облезлой котиковой шапкой-пирожком. Пот с него лил ручьями, он боролся с ним шапкой. — Прощенья прошу. Недопонял... Обижаться, конечно, не приходится, ежели по истории...

Строго, неприступно глядя в класс, довольный, красный, мокрый пошел на свое место.

Нет, контрреволюции тут не было. Просто дядька в лисьей, точно чужой, шубе хитрил: сомневался сам в себе и теперь успокоился, вот и все. Класс четвертых, старших, самых сообразительных и революционных учеников, дружно сдвинулся к столу, чтобы преданно глядеть на Володькиного умного-разумного отца, настоящего большевика-рабочего и вместе с тем мужика из ихнего села, глядеть не с затылка, с лица и слушать, что он еще скажет правильного.

Афанасий Сергеевич переглянулся с улыбающимся президиумом, сам мягко улыбнулся, помолчал, послушал одобрительный говор делегатов и, насмешливо щурясь, добавил добродушно, по-соседски:

— Но ведь и Рябушинские, миллионеры, тоже из деревни, калужские... Ась?

Тут уж мужики в школе так заржали, загоготали, затряслись, пощипав, чем на шутку Митрия Сидорова про гранату. А ведь сказана была им совсем не шутка.

— Восемь братейников, волки один к одному, вцепились в горло рабочему, рвут мясо зубами и нажраться не могут. Они давно хозяева в России,— рассказывал Горев, и теперь смуглое, с бородкой клинышком и усиками торчком, крендельками, добродушно-насмешливое лицо его было настроено-строгим и даже злым, и ребятам оно таким особенно полюбилось. Большевики добрые, но коли нужно, умеют стать беспощадными к врагам.

Слушай, слушай, дядька в лисьей шубе, и на ус себе мотай, пригодится. Нету усов? Оттого и недопонимаешь, растяпа. Колька Сморок и тот все понял и фигу тебе кажет.

— Набольший, Павел Павлович Рябушинский, чай, слышали про такого, вожак всей буржуазии в России. Мало ему фабрик, рвется к государственной власти, спит и видит себя царьком... Он вам пожалует земли по три аршина на брата.

Горев опять помолчал, усмехнулся. И ребята усмехнулись, точно заранее знали, что он еще скажет что-нибудь хорошее, правильное.

— Рабочих помянуть не грешно. Если бы не они, не рабочие, не питерский гарнизон (солдаты опять-таки те же мужики!), не сидеть бы нам с вами, дорогие мои друзья-товарищи, здесь, в школе... Будем строить жизнь без богачей, сами, рабочие и крестьяне, вместе, одной семьей... Говорю: вот мы в школе собрались, это знаменательно. Придется учиться... Учиться жить по-новому, по-советски, учиться строить эту новую жизнь.

В классе появился Трофим Беженец в армяке и бараньей своей высокой папахе, с кнутом под мышкой. Он так и не уехал в свое ридное мисто, под Зборов, остался в усадьбе; старался, работал, ходил за лошадьми, и Тася нарядила его в господское кучерское одеяние. Трофим делал Гореву красноречивые знаки папачой и кнутовищем. Афанасий Сергеевич извинился перед съездом, кратко объяснил, куда и зачем он сейчас поедет, не дожидаясь конца собрания. И всем понравилось, что этот человек в городской военной кожаной одежде — в прошлом мужик из села, отходник, всем это известно,— не теряет зря времени, едет в уезд устанавливать Советскую власть, как он установил ее, слава богу, уже в волости.

— Сейчас батя станет рассказывать про календари! — весело шепнул на ухо Шурке счастливый Яшка.

— Про какие календари?

— Узнаешь!

В молитвенно-торжественной и жадной тишине, читая Декрет о земле, дядя Родя действительно рассказал волостному съезду Советов, между прочим, удивительную, отрадную историю. Декрет о земле все давно и хорошо знали, но выслушали еще раз с благоговением и отрадную, веселую историю на лету запомнили, потому что она говорила, казалось, о малом, а в сущности, об очень большом, может, о самом важном, дорогом.

— Перед отъездом из Петрограда захожу в Смольный, за декретами, мы скажем. В комендатуре — матрос в три аршина ростом, любодорого посмотреть, в патронных лентах крест-накрест, с маузером у

пояса, подает мне сверток и два отрывных календаря. Смотрю — старые... «Зачем мне, спрашиваю, численники за шестнадцатый год?». — «А затем, браток, — отвечает матрос, — чтобы ты дорóгой, в вагоне не раскурил на сигарки декретов о мире и земле, что везешь в деревню. Бери! Сам товарищ Ленин распорядился снабжать вас, делегатов, календарями на курево. Специально грузовой автомобиль посылали к книготорговцу Сытину... Оторви листок из календаря, бумажка что надо, согни ее на угол, накосо — пара крючков. Сыпли махры и зобай на здоровье... Бери, не задерживай других!»

Дядя Родя порылся в шинели, сброшенной на стул, и появились на свет один, другой новехонькие отрывные численники, такие хорошенькие, не мятые, аккуратными как бы стопочками, как из лавки Быкова в рождество.

— Вот они, календарики... Декреты сохранил и численники, мы скажем, не раскурил! — похвастался дядя Родя с особой охотой и под смех и хлопанье пустил календари по партам.

— А оторвать листик можно? — спросил крутовский столяр Тараканов.

— Хоть все.

— Какой человек, какой человек!.. — растроганно бормотали делегаты, делили численники уж не столько, может, на курево, сколько на память. — Все предусмотрел... Обо всем подумал!

Дядька в лисьей шубе пытал с места Яшкиного отца:

— Какой он, Ленин-то? Видал его?.. Я спрашиваю, Ленина знаешь?

— Еще весной, на Финляндском вокзале встречал. На руках нес... — тихо, сокровенно и оттого особенно доверительно произнес дядя Родя. Он всегда так рассказывал о Финляндском вокзале и как нес Ленина на руках. — И на съезде, в Смольном, повидал, — добавил он.

— Да каков он обличьем?

— Ну какой? Скуластый, с бородкой и усами. На крестьянина похож.

— А? На мужика?!!

— И на рабочего. В пиджаке, мы скажем, при галстукe. Говорит понятно, заслушаешься.

— Свой, значит, человек?

— Мало так сказать. Он вождь наш, Владимир Ильич, — ответил дядя Родя, и голос его сорвался от волнения.

И снова гремел, раскатывался в школе гром, и ребяшня хлопала досыта, не беспокоясь о матице и потолке. А мужичок-боровичок с ясными детскими глазами, не утерпев, соскочил с парты-печи, одернул свою сатиновую белую рубашку, поправил ладно поясok и рассказал, кстати, свою историю.

— В волостном селе живу. Кажинный, почитай, день встречаюсь с Мишкой Стрельцовым, старшиной, председателем земельным, пес его знает, как по-теперешнему назвать... Седня, как сюда ехать, остановил меня, спрашивает, дескать, зачем едешь?.. Я ему и говорю, богачу, лесопромышленнику: «Ленина не знаю, не видал ни разу, а я ему верю, Ленину-то... Тебя знаю годков двадцать, не меньше, как облупленного знаю. И не верю ни одному твоему слову... Почему? Догадайся!.. Вот оттого и еду на сход».

Мужичка-боровичка наградили и смехом и большим хлопаньем. Ему, видать, это пришлось весьма по душе, он топтался у стола президиума, не хотел уходить на свою печь.

— Барынька у нас рядом, именье... Уж такая ядовитая барынька, Софья Николаевна, чисто смерть! Житья от нее нету мужику. Всех норовит укусить... Ну, стало быть, дорога на станцию через ённую

усадьбишку. Не разрешает! Ни проехать, ни пройти. Собак спускает... А крюк, почитай, верста.

Он шаркнул валенками с калошами, помялся у стола и, ласково смеясь, ослепляя наивным, ребячьим светом глаз, признался:

— Ноне, я прямо-тка мимо ее дворца прокатил на телеге. Чуть было крыльцо не задел, пожалел... Не пикнула! Софья-то Николаевна, говорю, не пикнула. Только занавеску в окошке отдернула эдак, зыркает бельмами... А надо бы крыльцо-то задеть!... Ну мы теперь, по декрету, не одно крыльцо, всю ее землю заденем, отберем и поделим.

Декрет о земле, как и о мире, был принят единогласно.

С задней парты поднялся Евсей Захаров, намытый, начесанный, в суконном пиджаке, занятом, наверное, у кого-нибудь из соседей, как на свадьбу. Нескоро его и признаешь, Колькиного батьку, разве что по дареному когда-то Устином полушубку, который нынче бережно висел на согнутой руке.

— Расцвела душа... Теперича ей не будет удержу, душе-то. Все сломит, сделает,— значительно, убежденно сказал Евсей Борисович, ласково-добро глядя на народ, точно видя перед собой эту расцветшую человечью душу.— У меня, ребягушки-мужики, желание, чтобы все у нас было, как в Питере... как у Ленина: Совет Народных Комиссаров... волостной.

Школа ахнула от этакой приятной неожиданности, от неслышанного предложения. Потом школа немного пришла в себя, покумекала и загудела согласно, радуясь и дивясь, как это ни у кого до сих пор не загорелось дивное такое желание. Хо-хо, пас коров, а надумал самое умное!

Одинаковое с Питером — одинаковая с ним власть — всем страшно польстило. Но делегаты робели, стеснялись: удобно ли такое?

— Высоконько хватил, Борисыч! Упадешь... дуй те горой! — пьяньенько крикнул из угла глебовский Егор Михайлович.

Ему отвечали со смехом:

— В самый аккурат колокольня... Не свалимся!.. По душе, именно! Митрий Сидоров, стуча деревяшкой, нетерпеливо потребовал:

— Голосуй!

Дядя Родя, кажется, растерялся — ребята заметили.

— Как-то неловко,— сказал он осторожно.— В Петрограде, сами знаете — центральная власть, у нас — волостная. Назовем обыкновенно: волостной Совет.

Куда там! Предложение Евсея ужас как всем понравилось. Делегаты шумно поддержали. Колькин батька упрямо-важно настаивал, твердил:

— Совет Народных Комиссаров... как Ленин прозвал. Уж он знает, что ладит, травка-муравка...

И рассердился, полушубка не пожалел, швырнул на пол.

— Слушайся народа, леший тебя побери!

Пришлось дяде Роде подчиниться, послушаться.

Ой, как здорово получилось, когда тут же, не расходясь, выбрали Яшкиного смущенного отца председателем волостного Совета Народных Комиссаров! Смеялись: «Первый в Совете, первый и в ответе... Чур, без попятного!» А Петух, вместо того, чтобы радоваться, гордиться, утирался шапкой и ни на кого не смотрел. Шурка дал ему малую затрещину, Яшка, должно быть, и не почувствовал. Дяденьку Никиту Аладына определили тоже на хорошее место: народным комиссаром земли, Терентия Крайнова — комиссаром волостных денег. Не забыли и Тасю из усадьбы — она стала хозяйкой всего волостного государственного имущества. Устин Павлыч в шутку предложил себя народным комиссаром по торговле, кооперации и продовольствию. «Голодными,

дорогунчики мои, не оставлю, всех досыта накормлю и допьяна напою. Хе-хе-хе! Лавочку мы живехонько побоку: бери в ней задарма чего хочешь...» Шутить пошутили, а выбрали другого, неизвестного школьникам дядьку, что жаловался на рабочих, потом извинялся и пытал дядю Родю про Ленина, каков он обличьем. Сельские предлагали и Осипа Ивановича Тюкина уважить, дать ему должность — гранаты швыряет, смельчак,— но спохватились: а кто же останется в сельском Совете председателем? И не слушали, как ворчал насмешливо Осип: «Без меня меня женили... Скажите хоть, какое жалованье?»

А Евсея Борисовича единодушно, под хлопанье ладошами, утвердили волостным судьей, комиссаром. Он удивился, отказывался, но его не послушались. Отказывался и Григорий Евгеньевич, когда его назвали комиссаром волости по просвещению, культуре и при з р е н и ю. (Просвещение означает, конечно, школы, понятно, про культуру тоже можно догадаться, а вот что такое п р и з р е н и е, четвертые, разумные головы, не сообразили. Уж не презрение ли к врагам революции? Так презирает всякий, не только народный комиссар...) Отказа Григория Евгеньевича съезд тоже не принял, и уж тут четвертый класс показал себя: первый из первых долго хлопал своему Красному Солнышку.

Господи, прозвища-то какие складные, ровно декреты, так и звенят в ушах, так постоянно и запоминаются, как все новое: народный комиссар... комиссар волостного государственного имущества... волостной Совет Народных Комиссаров — всему голова, а сокращенно, как пишут иногда в газетах всякие названья, волсовнарком. Прямо пулеметная очередь: вол-сов-нар-ком. Огонь по Ване Духу, Шестипалому, Мишке Стрельцову!

Заспорил съезд о военном комиссаре: нужен он или не нужен? Некоторые делегаты сердито спрашивали: «Зачем? Кончать войну по декрету Ленина!» Другие отвечали им: «Вот чтобы кончать войну и нужны комиссары. Афанас-то Сергеич как пояснил? Не пойдут буржуи на мир, будем защищать революцию с винтовкой в руках. Комиссары-то обязательно и потребуются». Поспорили и согласились, выбрали волостным военным комиссаром матроса Удалова со станции. «Зараз Удалой и есть, подходит!» Но ребятам военный комиссар не больно понравился, бескозырка с лентами, по околышу тоже лента, на ней золотом пропечатано «Полтава», и рубаха выглядывает из ворота полосатая, морская, а поверх ее — засаленный, в сборах, и рваный бабий полушубок. «Скрывался после июля, разыскивали, большевик» — многозначительно-кратко пояснил Кирюха-железнодорожник. Свернутое на сторону, с детства, лицо его страшно улыбалось, и это почему-то примирило отважных героев у стены с плакатами: комиссар тоже будет страшный для врагов, живо запросят мира.

Волостной съезд Советов все никак не мог закончиться.

Придерживая пенсне, Татьяна Петровна писала в протокол, ровно ученица диктант, настойчивую бормотню того самого насмешливо-веселого мужичка-боровичка с ребячьими светлыми глазами, что не знал Ленина, а ему верил и пожалел крыльцо барыньки. Может, и не слово в слово записала, но похоже, зачитала съезду:

— 1) Поручаем революционному комитету в городе поскорей созвать уездный съезд Советов и избрать на нем органы власти, такие же, как в Петрограде. 2) От имени волостного съезда единодушно выдвигаем на пост председателя уездного Совета Народных Комиссаров к а н д и д а т у р у нашего земляка т. Горева А. С. Ему же просим доверить составление уездного Советского правительства. 3) Низкий поклон и крестьянское спасибо партии большевиков — защитнице

мужицких интересов. Да здравствует навечно Советская власть и ее Председатель тов. Ленин — Ульянов Владимир Ильич!»

По настойчивому требованию все того же делегата с ясными глазами Татьяна Петровна приписала еще в протокол: «Принято единогласно, с большими р у к о п л е с к а н и я м и ».

Председатель волостного Совета Народных Комиссаров присел за стол и помолчал. И все в президиуме и в классе посидели недвижимо-молча. Так поступают всегда перед дальней дорогой, чтобы она была счастливая. Шурка с Яшкой опустили на пол. И все старшекласники их послушались, шлепнулись рядом, кто как сумел. Стало в школе так тихо, что слышно было, как скрипело перо Татьяны Петровны, она что-то дописывала в свой длинный протокол, наверное, выводила красивым своим почерком положенные подписи: председатель, секретарь.

Потом дядя Родя поднялся во весь свой могучий рост, позвенел для чего-то в школьный колокольчик и объявил съезд закрытым.

— Полагалось бы, мы скажем, по новому революционному порядку спеть пролетарский гимн «Интернационал»,— добавил он.— Да ведь, наверное, слов-то еще не знаете?

Ему сконфуженно-стеснительно откликнулись с парт:

— Слыхали... Да где запомнить?.. Не знаем слов!

Дядя Родя подумал, сдвинул брови, и постоянная, сокрушающая препятствия, скрытая сила проступила на его побледневшем лице.

— Ну так я вам прочитаю «Интернационал»,— решительно сказал он.— Прошу встать и снять головные уборы.

Жаркий мороз радостно-сладко пронзил Шурку с головы до пят. Все с шумом поднялись, стуча крышками парт. Шапки и картузы давно у многих были сняты, только ребятня по привычке парилась в ушанках. Содрав их, вскочили с пола. Растрепанная сдернула вязаный материн платок и рассыпала, добавила меди и золота на лисий воротник. Другие девчонки повторили фокус с платками и шалюшками, только золота и меди на их воротниках не оказалось.

Было душно и дымно, делегаты потихоньку так накурили, что не продохнешь. Все были кирпичные, потные и заметно довольные.

Сильным, крепким своим голосом дядя Родя стал читать «Интернационал», и торжественно-молитвенная строгость легла на мамкины румяные щеки, на тугие багрово-синие Минодоры, Солиной тетки Надежды, на бородатые лица мужиков. Эта торжественная строгость так там и осталась по твердо сжатым и удивленно раскрытым губам, напращенным от внимания и слуха, прищуром доверчивых глаз, сурово нахмуренным, и блаженно заломленным бровям.

Никто не скрывал, что слышит «Интернационал» от слова до слова впервые, иные знали с пятого на десятое по пению, понаслышке от солдат и ребятшек-школьников. А тут громко, внятно читают им, и каждое слово стучится молотом в грудь, в разбереженную душу и откликается в ней правдой, смелостью, гневом и добром. И то, что все набожно встали и мнут шапки и картузы, а не крестятся,— не в церкви они, в школе! — было ново и удивительно; и то, что громко-отчетливо и выразительно произносил Родион Семенович Петушков, по прозвищу Большак, и был он с этого часа председателем Совета Народных Комиссаров, такого же, как в Питере, только волостного, тоже было удивительно и ново и чем-то еще более удивительно знакомое, с в о е ; и от всего этого у народа, как у Шурки, как у всех ребят, перехватывало дыхание. Они, ребятки, не прочь были петь «Интернационал», многие его знали, кто чуточку, кто от начала и до конца, недавно разучивали с Татьяной Петровной на уроке пения. Володька-питерщик уж и рот раскрыл. Но дядя Родя говорил, не

пел, и школьники послушно, терпеливо молчали. Они повторяли про себя каждое словечко вместе с председателем волсовнаркома, не отставали от него и не забегали, и не смели шелохнуться, так им всем, замерев, было хорошо, как и отцам и матерям, одинаково радостно-торжественно.

Все было справедливое, желанное, что читал отец Яшки Петуха:

— Никто не даст нам избавленья —

Ни бог, ни царь и не герой,

Добьемся мы освобожденья

Своею собственной рукой.

Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,

Отвоевать свое добро,

Вздувайте горн и куйте смело,

Пока железо горячо!

Ну дяденька Прохор их, молодцов-удальцов, этому давно научил: раздувать горн в кузне-слесарне и ковать диковинки. Но тут был другой горн, и они догадывались, какой, и гордились.

— Лишь мы, работники всемирной

Великой армии труда,

Владеть землей имеем право,

Но паразиты — никогда! — гремело в школе.

— Подходящая песенка, — невольно, весьма одобрительно откликнулся кто-то из мужиков.

На него зашикали.

— А что? — оправдывался тот, оглядываясь на соседей за поддержкой. — Правильно говорю — наша песенка. Про нас!

«Да, про всех голодных и рабов... И про меня», — подумал Шурка. Его мальчишеское сердце громко, ответно билось, душа трепетно пела:

— И если гром великий грянет

Над сворой псов и палачей («Грянул! Грянул!...»),

Для нас все так же солнце станет

Сиять огнем своих лучей...

1940—1941 гг., 1945—1977 гг.



Всеволод Рождественский

«НЕ ТЕРЯЙ НИ ЕДИНОГО МИГА...»



Разлеглась на столе твоя пестрая карта,
Где любой уголок в цвет надежды одет.
Погляди на нее сквозь очки космонавта
С голубой высоты восемнадцати лет.

Сколько сердцу обещано смелых открытий,
Городов и морей, снежных высей и рек,
Звезд в ладонях озер, гроз и счастья в зените —
Все, что может вместить человеческий век.

Будет столько еще и разлук, и свиданий,
И далеких путей, и жестоких невзгод —
Все, чего угадать ты не можешь заранее
В этом тайном сплетенье долгот и широт.

Жизнь еще пред тобой — нераскрытая книга,
Будет каждый твой день на другой не похож.
Так иди, не теряй ни единого мига —
Ведь его ты уже никогда не вернешь.



Темным лесом оторочена,
Дедом правнукам подарена,
Здесь была когда-то вотчина
Подмосковного боярина.

Был потом и дом с колоннами,
Почерневшими и хмурыми,
Парк с заросшими газонами
И безрукими амурами.

Но сменялись поколения,
И кто думать мог заранее,

Что от графского имени
К нам дойдет лишь это здание?

Все косой Сатурна скошено,
Сметено порою грозною,
Стало давнее «Порошино»
Просто школою колхозною...

И пришел солдат на родину
От песков приморья прусского
В эту школу, в сад, в смородину
И в березы корня русского.

Стал он вновь исконным жителем
Своего селенья мирного,
Краеведом и учителем
В классах здания ампириного.

За очками, за морщинами,
Как на выцветшем пергаменте,
За поистине былинными
Всеми записями памяти

Воскресают дни суровые
С партизанской хмурой чащей,
Дым и зарева багровые
Над деревнею горящей.

Говорит учитель седенький,
Окружен ребячьим гомоном:
— Дорожите же, наследники,
Миром, нами завоеванным!

Я дарю мной пережитое
Людам нового рождения,
Пеплом памяти покрытое
Сохраняю от забвения.

Чтобы жить вам с доброй верою
В то, что каждому назначено,
Чтобы знать, какою мерою
Вам грядущее оплачено.



Вас манили знания колодцы
И в глухих потемках старины,
Мореходы и землепроходцы,
Родины отважные сыны.

Кто-то вел верблюжьи караваны,
Добираясь до индийских гор,
Кто-то сквозь якутские туманы
С Океаном вызвался на спор.

Ради вольной зауральской шири
Из отеческого далека
Пробивалась реками Сибири
Буйная ватага Ермака.

Как бы ни была земля сурова,
Ни кидалась вьюга напролом,
На краю земли ладьи Дежнева
В Ледовитый вышли окоем.

Кто же звал вас, люди дикой воли,
На зело опасные дела,
И куда от изб родных и поля
Русская вас удаль повела?

Шедшим вслед оставлены приметы,
Что вершилось дело до конца
Не за царской милости монеты
Или мех полярного песка.

Может, сами толком вы не знали,
Жизнь свою с опасностью деля,
Что весло ладьи и гром пищали
Не забудет отчая земля.

Виолончель

Виолончель исходит в томном стане,
Гудит, жужжит, как шмель в июльский зной.
Растаяли в святилище симфоний
Колонны, люстры, строгих кресел строй.

И нет пюпитра перед черным фракком,
Нет к струнам наклоненной головы.
Уж не смычок скользит по нотным знакам,
А ветер лета по кудрям листвы.

Прозрачными глухие стали стены,
Шумит за ними пробужденный сад,
Где липы о печали сокровенной
Широким вздохом с миром говорят...

Поет и для меня «Сомненье» Глинки
Безжалостной тревогой дней былых,
И спорят звуки в страстном поединке
Минувших бед и радостей моих.

Но что теперь мне скорбное гуденье
Из глубины угаснувших времен,
К чему чужого сердца уверенье
В том, что любовь растаяла, как сон?

И все-таки я знаю: эти звуки
Душа, испепеленная дотла,
Став музыкой, пройдя горнило муки,
На высоту созданья вознесла.

Нет для меня и терпкого сомненья,
Растаял и разлуки горький хмель...
Так пой и дли в груди моей гуденье,
Покорная смычку виолончель!



Проснулось озеро в изломах света,
Слепит глаза колючей чешуей,
Лениво тянется, полураздето,
Освободясь от дымки голубой.

И в том бору, где скалы греют спины
Над заводью в щетине камыша,
Должно быть, нет тропинки ни единой,
Какой бы не прошла моя душа.

Вот и сейчас, беспечная, босая,
Она сбегает, как в былые дни,
В простор и зной, о камни обжигая
Свои нетерпеливые ступни.

И сразу, словно юная наяда,
Взметая брызги, рушит тишину.
Плывет, ныряет... Что еще ей надо?
Пусть это сон. Я рад такому сну.



Шиповник комедий Шекспира
Приснился мне в майском цвету:
С рапирой скрестилась рапира
На спущенном с замка мосту.

Здесь лес, притворившийся сказкой,
Заставит блуждать неспроста,
Здесь ум, укрываясь под маской,
Звенит бубенцами шута.

Жизнь кажется вся маскарадом,
Где, в медленном танце кружа,
Загадка с влюбленностью рядом
Лукавит в обличье пажа.

Здесь можно в лицо рассмеяться,
Роняя записку из рук,
Шутя не на шутку влюбляться,
Вступив в зачарованный круг.

Здесь девушек водит отвага,
И женственность может сама
Пронзить в диалоге, как шпага,
Кирасу мужского ума.

Не нужен здесь довод рассудка
Тому, чья догадка остра.
Не знаешь, где кончится шутка,
Где правды начнется игра.

И, залитый солнечным светом,
Здесь зритель, хотя бы на миг,
Становится тоже поэтом
В запутанной пряже интриг.

Кастальский ключ

Кастальский ключ... Чудесное течение,
Рожденное из самой глубины.
Но волшебства и тайн возникновенье
По сумрачным преданьям старины
Способно жить едва ль одно мгновенье,
Чтобы уйти в несбывшиеся сны.

И все же, пробужденный хоть однажды,
Не может он умолкнуть навсегда.
Его судьба — томить нас зноем жажды
И зовом окрыленного труда,
Чтоб мог к нему прильнуть губами каждый,
Познавший правду и огня и льда.



Я думаю о том, что жадно было взято
От жизни и от книг,
О множестве вещей, любимых мной когда-то,
Вернувшихся на миг.

О лодке в камышах, о поплавке, стоящем
В разливе тишины,
Спокойствии озер и отблеске дрожащем
Всплывающей луны.

О крутизне дорог, и радости свиданий,
И горечи разлук,
О жажде все познать, тщете именований,
Замкнувших тесный круг.

О том, что свершено по воле иль неволе
В борьбе добра и зла,
О том, что в полноту земных щедрот и соли
Душа моя вошла.

Да, было прожито ни много и ни мало,
И полной мерой сил,
Но мне в моем пути всегда недоставало
Того, что я любил.

ТОЛЬКО ДВЕ НЕДЕЛИ...

ПОВЕСТЬ

Из Мостков он выехал Федор Иванычем. Когда в кепке и зимней куртке нараспашку спустился он по лестнице со своего второго этажа, попавшийся навстречу сосед, бульдозерист с канавинского участка, сказал:

— В отпуск, Федор Иваныч?

— В отпуск! — ответил Федор с привычной, почти автоматической твердостью в голосе.

И простенький этот разговорчик без всякого к тому стремления лестничных собеседников выразил нечто большее, чем констатация обоим известного факта. Бульдозерист свойски-уважительной интонацией невольно показал, что Федор хоть и начальник, но все-таки сосед, хотя, с другой стороны, хоть и сосед, но все-таки начальник. А из однословного, уверенного ответа Федора явствовало, что в долгий, за два года, отпуск он едет спокойно, не сомневаясь, что дела и без него будут идти как надо, то есть лишь чуть-чуть хуже, чем при нем самом.

— Перемычку гоните? — спросил Федор бульдозериста.

— Щебенка есть — гоним.

— А нет щебенки?

— Тот развел руками.

— Умельцы, — сказал Федор...

Молоденький шофер уже пристроил большой чемодан на заднем сидении.

— К Мотылеву, — скомандовал Федор. — Пять минут туда, пять назад. Покажи, на что способна твоя керосинка.

Шофер схитрил — сразу за поселком вырулил из колеи вправо, и «газик», уцепившись правыми баллонами за обочину, почти перестал скользить. Молодец, подумал Федор, но вслух не сказал, чтобы не обесценивать похвалу.

Он посмотрел в окно на дорогу, разбитую, но не слишком, и решил, что вообще погода в этом году балует. Зима вышла удобная, хоть и холодная, но малоснежная и без ветров, так что с ритма почти не сбивались. И весна пока щадит. Снег сходит медленно, незаметно, грязь вполне божеская. Если и дальше так пойдет, можно будет до суда обойтись обычными резиновыми сапогами. Прошлой весной, бывало, и болотные не выручали.

Шофер остановил машину чуть дальше обшарпанного вагончика прорабки, и Федор прошел к ней не по тропе, а по снегу, по извозив сапог.

Начальнику участка он сказал:

— Вы, Семен Андреевич, перемычку к двадцатому обещали, я вас за язык не тянул.

За язык, может, и тянул. Но тот согласился — значит, должен отвечать за свои слова.

Мотылев, чересчур большой для такой нежной фамилии, торопливо выбрался из-за стола. Два бригадира, сидевших у него, тоже поднялись, не зная, уходить или оставаться. Федор махнул рукой — сидите!

— Федор Иваныч, — быстро заговорил Мотылев, — вот опять шебня нет. Шесть машин бегают, а нужен минимум десяток. Я вот Проценке звонил, а он...

— У вас заявка на когда? — веско перебил Федор.

На когда заявка, оба знали...

— Заявка на пятницу, но...

— В пятницу и будут машины.

Мотылев с надрывом попросил;

— Вы бы все же дали команду, а?

— Я по два раза команды не даю, — отрубил Федор.

Начальник участка растерянно проговорил:

— С шестью машинами никак не сделаю...

— Сделаете, — сказал Федор. Еще зимой он понял, что Мотылева придется менять, и с тех пор говорил ему только «вы».

— Ну, как же я к двадцатому успею, если...

— Это вы знаете, как, — отмахнулся Федор. — А я не знаю. Я не начальник участка, у меня своя работа.

Он не любил болтовню и бессмысленную торговлю вокруг и, в сущности, неизбежных дел...

Шофер уже развернулся.

— Горского заберем, — сказал Федор.

Он откинулся на спинку сиденья и усмехнулся с легкой досадой. Досада была не на Мотылева: в конце концов каждый может так, что может, и злиться на это — глупее нет. Мотылева скорее было жалко. Старается, суетится, вон побриться не успел, а все равно не тянет, все равно убирать... Просто вся эта командирская поездка на участок не имела никакой рабочей необходимости. Отпуск уже начался, с утра правит Горский, и перемычку он, конечно же, не упустит. Да и вообще не дело руководителя бегать и подгонять, дело руководителя решать вопросы. Так что и визит Федора на участок с чемоданом в машине и крутой разговор при свидетелях были, в сущности, типичным представлением: начальник все видит, начальник все знает, начальник и в отпуске начальник.

Когда-нибудь, на своей стройке, Федор прикроет эти театральные номера. Но в Мостках командовал не он, а Хмелевой. Тут считалось, что настоящий руководитель должен всюду успевать сам.

Так работать Федор не любил — примитивно. Но иногда приходилось показывать, что умеет работать и так. Нужно было, чтобы его считали настоящим руководителем...

Прочавкав километра три до поселка, «газик» причалил к деревянному тротуарчику. И Горский, главный инженер управления, еще со студенчества, напросившийся проводить до станции, напущив на Федора не без зависти, устраиваясь позади, рядом с чемоданом.

— Ну, Федор Иваныч, ты уж там выдай!

— Выдам, — пообещал Федор, не стесняясь присутствия молоденького шофера. Ибо разговор этот, достаточно вольный, авторитарный

Федора не только не вредил, но отчасти и способствовал: начальников, не умеющих на досуге как следует отключиться, уважают средне...

За лесом по временной насыпи переехали трассу канала. Сейчас, весной, канал был непригляден — разрытая, оплывающая земля. И трудно было представить, что через год с небольшим на месте этой неопрятной мешанины протянется чистая лента речной воды в ровных, задернованных берегах...

До станции было сорок километров. Ехали полтора часа, два раза даже садились. Но толкать не пришлось — шофер знал нужный маневр и, раскачав машину, быстро вывел ее на относительно сухое место.

На станцию приехали загодя. Федор взял, было, чемодан, но Горский отнял и, ухмыляясь, сам донес до перрона.

— Ты теперь курортник!

Шофер хотел помочь. Главный инженер свободной рукой толкнул его в плечо:

— Иди, иди! Ты молодой — силу на ночь береги!

Федор снял сапоги и отдал шоферу, а сам надел туфли, после чего они с Горским минут двадцать почти молча простояли на путях, глядя в даль просеки, откуда все не показывался поезд. Дел у них сейчас не было, а все неделовые разговоры были переговорены давным-давно.

Лишь когда в темной выемке между деревьями показалась и стала быстро увеличиваться массивная грудь тепловоза, Горский развел широко руки, с силой хлопнул Федора по плечам и сказал со вздохом:

— Ну — за себя и за меня!

Он любил жену, был без ума от девчонок-близняток, но считал своим мужским долгом тосковать по вольному холостячеству...

В поезде Федор познакомился с соседкой по купе, и соседка ему понравилась. Понравилось, что лет ей где-то к тридцати, что учительница, что едет к родным, что не одна, а с дочкой — беленькой тихоней лет шести. Понравилось, что на некстати заданный вопрос спокойно ответила за дочку:

— А папы у нас нет, одна мама.

Еще понравилось, что не пошла с ним в вагон-ресторан, что адрес свой дала не сразу и не слишком охотно, что не бойкая, не смазливая, явно не падкая на легкое веселье. При знакомстве она назвалась не Надей, а Надеждой Сергеевной — так что и в поезде он ехал Федор Ивановичем. И эта нелюбовь к торопливой фамильярности ему тоже понравилась.

И, ведя с попутчицей неспешный вежливый разговор, неумело заигрывая с девочкой, Федор думал, что, по идее, жениться надо именно вот на такой спокойной, сдержанной женщине, хлебнувшей, по всему виду, столько жизненных тягот, что вряд ли когда еще потянет на баловство. На женщине, которой можно, не колеблясь, доверить и дом и свою фамилию.

Он даже порасспросил насчет Кременчуга, куда она ехала, проявил интерес к тамошним местам, чтоб не выглядело очень уж большой неожиданностью, если вдруг решит нагряться.

В Москве у камеры хранения он с ней попрощался с четким ощущением, что отпуск начался хорошо.

Здесь тоже была весна, но сухая, теплая. Над серым асфальтом стояли еще серые деревья. Однако, приглядевшись, Федор уже в привокзальном пыльном скверике углядел тревожащие крапинки зелени и снова подумал: хорошо начался отпуск!

Прямо с вокзала он поехал в окраинную гостиницу, где вот уже несколько лет останавливались все командированные и отпускники из Мостков — с того самого дня, как дошли снабженец из управления сунул в паспорт трояк и тут же получил отдельный номер. Год назад снабженец уволился, уехал в родной Елец. Но имя его продолжало жить своей особой жизнью, как легенда, как постоянный пароль. Вот и теперь Федор, сунув в паспорт трояк, передал администраторше привет от Николая Фролыча, и она, улыбнувшись, как старому знакомому, протянула ему анкетку поверх таблички «Мест нет».

Путевки у Федора не было. Дали бы, конечно, но сам не захотел. Два года назад он отдыхал в санатории в Сочи — не понравилось. Кормежка была пресная, скучная, да и режим сковывал. В конце концов и там есть гостиницы! Передам привет от Николая Фролыча, с ухмылкой решил Федор еще в Мостках.

В Москве он думал остановиться дней на пять — пройтись по магазинам, по выставкам, а вечерами — на концерт или в театр. В какой, особого значения не имело: в столице все театры столичные.

Но, поболтавшись два дня по городу, Федор заскучал.

В магазинах была давка и слишком много вещей — черт их разберет, что нынче хорошо и модно. Пошел на два спектакля, и оба оказались занудными, люди уходили посреди действия. Обидно было не столько это, сколько то, что кассирша в театральном ларьке, видно, сразу угадала в нем доверчивого провинциала, а ходить в дураках Федор не привык и не любил.

К тому же накапливалось и постепенно крепло тоскливое чувство отчужденности, обособленности от московской толпы.

Костюм на Федоре был дорогой, солидный, шитый на заказ, ботинки импортные. Но столичные мужики одевались как-то по-иному — даже не ярче, а свободней, что ли. Сорокалетние ходили в джинсах и свитерах, как студенты. Черт их знает — может, теперь так и надо?.. О молодых женщинах и говорить нечего: они были с головы до ног так продуманны и совершенны, что сам собой накатывал холодок неуютя и одиночества.

Чтобы стряхнуть с себя это зябкое настроение, Федор на третье утро пошел в министерство: там у него были хоть и не срочные, но все же дела. А взявшись за дела, он сразу почувствовал себя уверенно и быстро, цепко пробил два вопроса с фондами и корректировкой плана.

В коридоре Федор столкнулся с высоким начальством, членом коллегии. Тот знал стройку, обрадовался и, хоть спешил, все же расспросил Федора, что и как в Мостках. А прощаясь, бросил со значением:

— Не женился еще? Давай не откладывай.

Насчет женитьбы Федор промолчал. Но, в общем, приятно было, что у начальства насчет него определенные виды. В конце концов сам Федор даже прорабов предпочитал семейных и детных — руководитель, дорожащий местом, надежнее.

Уже на выходе из министерства к нему вдруг радостно бросился моложавый мужчина с аккуратной прической, в начищенных туфлях и плащике с пояском.

— Федор! — крикнул он. — Федька!

Федор узнал его не сразу, а узнав, тоже обрадовался — Женька Лобарев, пять лет в одной группе учились! Федор увесисто хлопнул его по плечу:

— Ну и плащик у тебя!

В ближайшем кафе Федор оглядел его как следует. Они были одних лет, по тридцать четыре, но Лобарев выглядел куда моложе.

Долговязый, модная гривка, костюм серый с бледной полоской, рубашка в горошек.

— Ох и пижон! — восхитился Федор. — Когда стариться начнешь?

— Когда в начальство выйду, — отшутился тот. — Кстати, знаешь, тебя к нам в министерство сватают?

— Знаю, — сказал Федор. — Не пойду.

— Почему? — удивился Женька.

— А на хрена вы мне нужны?

Оба засмеялись: Лобарев — потому, что принял эти слова за шутку, Федор — потому, что сказал чистую правду. В министерство стоит идти, если хочешь стать министром. А он в министры не хотел...

Расплачиваться начал было Федор, но Лобарев не дал и стоял на своем с упорством, в котором было что-то жалкое, Федор уступил — в конце концов он москвич, хозяин, да и счет вышел на трояк с копейками.

В тот вечер Федор в театр не пошел — отправился с Лобаревым к его знакомым. Ночевать тоже остался у него, чтоб не ловить такси, не тащиться ночью на окраину. И как-то сама собою началась странная, приятная, непредвиденная жизнь.

Лобарев жил в самом центре, один в двух комнатах старенькой коммуналки. Был вообще-то женат, но в данный момент холост: жена попалась с тяжелым характером, совершенно его не понимала, а полгода назад окончательно перебралась к матери. Детей, слава богу, не завели.

Лобарев не только выглядел мальчишкой, но и жил, как мальчишка: вечеринки, компании, магнитофон с ящиком пленок. Получал полтора, мечтал о двухстах, но Федор в эти чаяния верил слабо: две-сти — зарплата взрослого.

Магнитофон Женьке подарили родители к тридцатилетию.

Сам Федор получал двести шестьдесят, с премиями и надбавками выходило еще полстолько. Но он и работал на четырехста.

Впрочем, выяснилось, что мальчишка мальчишкой, но кое-что и Лобарев в жизни приобрел. Например, разные бытовые связи.

Так, у него был парикмахер Гарик, постригший Федора по самой моде и без всяких очередей, причем обошлось недорого: пара улыбок, человеческий разговор за стрижкой и рублевка в карман. Был также продавец Петя — Федор пошел к нему с запиской, и пятидесятилетний Петя быстрым шагом вынес из дальних покоев импортный летний костюм, бледно-голубой, с матовыми пуговицами. Еще была официантка Эмма в ресторане и Таточка в кафе.

Номер в гостинице Федор сдавать не стал, но жить фактически переселился к Лобареву. Тот оказался парнем, в общем-то, добрым и житейски легким. К приятелям, в компании — всюду таскал Федора с собой. Сводил по пропуску на модную выставку живописи и вообще показывал Москву как мог.

Вот только расплачиваться в ресторанах Федор ему больше не давал.

Представляя Федора приятелям, Женька дурачился:

— Одинокашник, учились вместе, а ведь скоро узнавать перестанет! — И на спровоцированный вопрос «Начальником твоим будет?» безнадежно махнул рукой: — Хуже — начальником моего начальника!

Собственно, одну кашу с Лобаревым Федор никогда в студенчестве не ел. Тот был москвич, при родителях. А Федор харчился в столовках, выбирая, что подешевле, только бы заглушить зверский, почти не утоляемый голод. Он стипендию тратил на жизнь, Женька — на развлечения. И оттого само собой получалось, что все у них было

разное: и одежда, и компании, и знакомые девушки, и планы на будущее.

Федор завидовал тогда веселой и ясной жизни москвичей. Они искали работу поинтересней или полегче, чтоб оставалось больше времени для себя. А Федор от специальности хотел совсем другого: чтобы была надежной, а еще лучше дефицитной — если в тебе есть нужда, то и твои нужды учитываются хоть в зарплате, хоть в жилье. У него за спиной никаких тылов не было — одна мать в райцентре под Костромой. По сути, Федор и не знал, каково быть парнем, — уже в восемнадцать он поневоле жил мужиком, вынужденным рассчитывать только на себя.

При распределении он выбрал стройку, где платили на двадцатку больше и через год гарантировали комнату.

Ту дополнительную двадцатку Федор с первой же получки стал посылать матери. Ему прибавляли — и он матери прибавлял. Теперь посылал восемьдесят. Хотел сто. Но после первого сотенного перевода старушенция взмолилась: мол, у меня пенсия, огород, куда мне столько, а ты, сынок, молодой, не мучь мать, не отрывай от себя, лучше заедь когда лишний разок. Увы, заехать лишний раз — оно и не получалось: жизнь крутила по-своему.

В те годы, сразу после института, Федор не был ни романтиком, ни мечтателем. Планы его были конкретны и краткосрочны: одеться по-зимнему, купить стол и кровать, разобраться в полужнакомой технике, выполнить месячный план, а потом квартальный, а потом годовой.

Бывшие однокурсники вспоминали Федора редко и с сожалением: захоластная, запущенная стройка, работа ломовая. Да он и сам тогда не задумывался о перспективах, не предполагал, что его привычные качества, столь мало ценимые в студенчестве, — неприхотливость, внимательность, спокойная готовность к любому труду — буквально за три года определяют его судьбу. Однако когда стройку все же сдали, когда выговоры сменились премиями и банкетам, он, пожалуй, впервые взглянул на себя со стороны и увидел крепкого молодого руководителя, безотказно выносливого и уже опытного, с жесткой хваткой строителя-профессионала. Другие его похваливали и раньше. Но другим он верил через слово, особенно когда хвалили. Теперь же уверился сам.

Вот с того момента он и начал мечтать...

Прошла уже неделя отпуска.

Близился май, зелень на бульварах и в сквериках входила в силу. Вечера стали суше и теплей. Улицы украшали к празднику.

Федор не жалел о потраченных днях. Они были забавные, странные, чуть-чуть нарочные — самые отпускные. То какой-то поэт читал непонятные стихи — сам малый был тощий, бородатый, с кудрями до плеч, в рваных джинсах с кожаной заплатой на задку. То обмывали новую мастерскую художника — тянули кислое винишко, сидя на полу, на заляпанной красками холстине. Собственно говоря, стол тоже имелся, но именно в холстине был самый шик.

А отпуск — что отпуск! Еще два месяца впереди — успеет подкоптиться на пляжах...

Новый костюм с матовыми пуговицами Федор обносил быстро, к модной прическе привык, не стеснялся. Вдруг оказалось, что он вполне еще молод, еще парень, еще Федя — даже для семнадцатилетних тощих девчонок, умненьких дурех, уверенно болтавших о современной музыке и с удовольствием пивших с ним на брудершафт. Оказа-

лось, что он талантливый и чертовски везучий малый, к тридцати четырем годам практически сделавший свою жизнь и теперь имеющий возможность выбирать любую из открывшихся заманчивых перспектив. Когда же Федор бросал, не объясняя, что в министерство не пойдет, оказывалось, что он еще и романтик, сильный человек, живущий по Джеку Лондону и Хемингуэю.

Между прочим, выяснилось, что здорово иметь мать в деревне, уходить, так сказать, корнями в землю. Федор всегда завидовал москвичам, получившим легко и даром то, к чему он прибавался с трудом. А они, выходит, завидовали ему... Федор пожимал плечами, ухмылялся и не рассказывал, как мать из шкуры лезла, лишь бы дать ему надежную городскую специальность...

Вообще разговоры в этих компаниях были мальчишеские — про футбол, про книжки, про церкви, которые ломают зря. Приставали к Федору — красива ли в их местах тайга, хороша ли охота. И странно было, что легковесные эти фразы произносят взрослые, в сущности, мужики.

Но в общем Федора такая болтовня не раздражала, а забавляла, тем более, что он почти не вслушивался в нее — больше смотрел на лица, на платья, на обувь. Нелепо-толстые подметки, «платформы», Федора привлекли сразу — удобная штука, в малую слякоть можно и без сапог...

Свет в комнатах обычно был мягкий, низкий. Кислое вино пилось легко, девочки в коротких юбчонках или в длинных, до полу, медленно курили, красиво пуская дым, магнитофонная мелодия была нежна и чуть печальна — душа отдыхала в ней, как отдыхает тело в теплой воде...

И лишь иногда, без повода, посреди разговора, Федор вдруг встряхивал головой и озирался — неужели это он, неделю назад с жесткой деловитостью крутивший оперативку, сидит, развалясь, на низком уютном диванчике, лениво вбирая ленивую музыку? И это его рука лежит на слабом плече совсем еще молодой, лет восемнадцати, наверное, девчонки? Странная штука жизнь...

Было уже к двенадцати. Кто-то прощался с порога. Подруга хозяйки пошла на кухню мыть чашки.

Федор наклонился к девочке и спросил негромко:

— Тебя проводить?

Она вежливо ответила:

— Да, пожалуйста, если вам не трудно.

Эта спокойная вежливость, без наводящих интонаций, слегка озадачила Федора. Но задумываться он не стал. Можно и просто проводить. Хороший вечер — к чему его осложнять?

И опять странно было идти по незнакомым бульварам и переулочкам, держа ладонь на тонком плече. Вот уж не думал у себя в Мостках! Ехал отдыхать, а занесло в молодость. Повезло? Да, пожалуй, повезло. Это тебе не подкидной на пляже!

Он спросил девочку:

— Как тебе компания?

Она ответила:

— Обычная. А тебе?

Она говорила то «ты», то «вы».

— Детство, — сказал Федор. Он усмехнулся, вспомнив парня, который все приставал насчет охоты. — Помнишь деятеля? Ну, все его беспокоило — охота там хорошая?

Девочка кивнула — вспомнила.

— Работа там хорошая! — жестковато передразнил Федор. — Там делом занимаются, понимаешь? Вот мы канал ведем, я два года без отпуска. Ну, летом — ладно, зимой — более или менее. А осенью? До-

рог-то нет! Делаем сами для себя на живую нитку. Но это разве до-роги? А ему охота понадобилась!

Чуть поостыв, добавил справедливости ради:

— Охота тоже хорошая, но подальше, в тайге. Вырываемся раз в квартал и то, когда начальство приедет. Есть, конечно, в колхозах профессионалы, но эти вкалывают не для удовольствия. Тоже, между прочим, план...

Они снова шли бульварчиком. Песок под ногами был ночной, влажный. Тропинка, огибая дерево, расслаивалась на две нитки, и вышло так, что Федор шагнул влево, а девочка вправо. Федор, державший ее за плечи, потянул к себе. Девчонка неожиданно заупрямилась, уперлась и даже подалась вправо...

Федор, конечно, легко перетянул. И этот неудавшийся бунт вызвал у обоих хохот.

Отсмеявшись, Федор сделал ей выговор:

— Иди, куда ведут,— сегодня тебе не восьмое марта.

И спросил, наконец, о том, о чем раньше было неловко:

— Слушай, как тебя в конце концов зовут? Буркнула что-то невразумительное...

Девочка пожала плечами:

— Надо было просто спросить. Я Зоя.

Они вошли в переулок, потом в переулок поменьше, еще в какой-то зигзаг. Девочка остановилась, и Федор снял руку с ее плеча.

— Вот здесь я живу,— сказала Зоя и несколько раз качнулась — с носков на пятки, с пяток на носки.

Дом был одноэтажный, но большой и явно с прошлым — толстые стены, лепка, две колонны у входа. Бывший особняк, что ли? Теперь лепка облезла, пооббилась. Да и колонны ремонтировались, видно, в разные годы, по мере износа и из имеющихся материалов — одна была кирпичная, квадратная, другую заменял беленый цементный столб.

— Интересный дом,— неопределенно похвалил Федор, чтобы не обидеть девчонку. Мало ли почему живет в развалюхе...

— Ему двести лет,— сказала Зоя,— старше Наполеона. Зимой переселять будут, а жалко. Там такой коридор — я в детстве на велосипеде каталась.

— Хороший дом,— согласился Федор и усмехнулся.

А потом усмехнулся еще раз, прикинув, что он уже добивал диплом, когда она каталась по коридору на трехколесном велосипеде.

— Чего улыбаешься? — спросила она.

— Ты на зайца похожа,— сказал Федор.

На зайца она совсем не походила, но это не имело значения. Имело значение, что она стояла рядом, покачивалась, вопросительно подняв брови, и в такт ее движениям качался в глазах Федора окружающий мир. Это головокружение, испытанное в свое время, а потом проклятое и забытое, на сей раз было так сильно, что Федор испугался. Еще чуть-чуть, еще ступенька, и уйдет контроль над собой, а тогда — хоть глупость, хоть унижение...

Защищаясь от этого наваждения, Федор проговорил грубо:

— Дай хоть рассмотреть-то тебя.

Он с циничной беспешностью провел по ней взглядом с ног до головы, ничего не пропуская, и ничего не увидел: перед глазами плыло.

— Ну, и как? — поинтересовалась девочка.

— Иди-ка ты домой,— хмуро попросил Федор.

— Все равно надо,— сказала она.

Он признался:

— До чего неохота тебя отпускать...

Зоя проговорила без выражения:

— Завтра в два часа я должна быть на выставке в Манеже, у нас культпоход...

— Это надо понимать, ты мне назначаешь свидание?

Она тихо засмеялась. Потом сказала:

— Подожди немного, ладно? Если не выйду через десять минут — завтра в два у Манежа.

— Давай, — кивнул Федор.

Она скользнула в темное нутро особнячка. Федор ждал. Зоя вышла быстро.

— Только ненадолго, — сказала она.

Они снова прошли зигзагом и двумя переулками на бульварчик, сели на скамейку и посидели молча — она прислонилась затылком к его плечу, он легко гладил ее волосы и теплую кожицу щеки. Потом встали и в третий раз прошли тот же путь — два переулочка и зигзаг.

У подъезда Федор спросил:

— Что же мне с тобой делать, а?

Она полюбопытствовала:

— А что ты делаешь с другими?

Он вздохнул:

— Что делаю с другими, с тобой нельзя.

— Нельзя — значит, не надо, — ответила она, то ли соглашаясь, то ли подначивая.

Тогда он положил ладони ей на щеки, сдвинул, так что губы по-негритянски выпятились, чуть коснулся этих оттопыренных губ своими и выдохнул:

— Ладно, девочка, иди.

Повернулся и пошел, не оглядываясь.

В переулочке стянул через голову галстук, сунул в карман. Блаженно покрутил освобожденной шеей. Улыбнулся широченно, так что мышцы щек распустились до самых ушей. И пока шел переулочком, другим переулком и бульваром, улыбка эта лежала на лице естественно, как постоянное его выражение...

На следующий день Федор совсем потерял голову. Он пошел с ней на выставку, потом в кафе-мороженое, потом в кино, потом в ресторан, а после, держа за плечи, просто таскал по городу, пока опять не настал черед бульвара, переулка, переулочка и зигзага.

У подъезда с разными колоннами Федор спросил:

— Можно сказать тебе одну глупость?

— Скажи.

— Поехали со мной на юг?

Она молча глядела ему в лицо.

Он проговорил без обиды, с пониманием:

— Не хочешь?

Зоя спокойно сказала, не опуская глаз:

— Хочу.

— Ты только не думай...

Он запнулся. Хотел объяснить, чтоб не боялась, никакой задней мысли у него нет, просто охота продлить хмельное ощущение молодости, легкости и свободы, которое Зоя давала, даже не помышляя о том. Но слов не нашлось, и Федор только сжал и разжал ладонь.

Девочка задумчиво вскинула взгляд и снова опустила.

— Вообще-то у меня довольно много отгулов — еще с осени, я на картошке была... Дней пятнадцать, по-моему... Маме надо что-то сказать...

Тут ее глаза остановились на лице Федора:

— А ты очень хочешь, чтобы я поехала?

Он резанул ладонью горло:

— Вот так!

Тогда она деловито уточнила:

— С какого мне брать отгул?

— Чем быстрее...

— Попрошу со среды. Позвони днем на работу.

В кармане нашелся только киношный билет с оторванным контролем. Федор записал на нем номер...

Придя домой, Федор не выдержал, растормошил Лобарева и стал вспоминать последнюю вечеринку, всячески сворачивая разговор на Зою — хорошая, мол, девчонка и не дура. Но Лобарев хотел спать, он клевал носом и лишь из вежливости бормотал: «Ага... Ага...» Только один раз вполне осмысленно проговорил:

— Это которая водку не пила? А-а... Теперь вспоминаю... Постой, кто же ее привел?.. Не-не помню...

Назавтра с утра он съездил на вокзал и взял два билета в мягкий до Сухуми. Полной ясности пока не было, но Федор знал по многолетнему опыту, что сдать билеты всегда легче, чем взять. В кассах было пусто — человек по пять к окну. И кассирша была хоть и не вежлива, но и не груба. Апрель месяц — не сезон...

Часа полтора он болтался по городу, купил зачем-то новую бритву и позавтракал в кафе, где на стеклянной двери был изображен большой красный арбуз и шашлык на длинном шампуре. А сверху надпись: «У нас можно хорошо отдохнуть». В кафе был резной потолок, торцовая стенка зеркальная — зато из горячего имелись лишь сардельки да рубленый шницель, холодный и сырой.

— Отдохнуть у вас можно, а поесть нельзя, — уязвил Федор официантку.

— Это директору говорите, — равнодушно возразила та.

Было еще рано, Федор хотел пойти в кино, но не утерпел и позвонил Зое из первого же автомата. Она сама подняла трубку, и Федор сказал:

— Это я. Слушай, плюнь на все! Поехали, а?

Она тихо засмеялась и проговорила:

— Очень может быть...

Придя домой, Федор покидал вещи в чемодан. Вечер был свободен — Зоя сказала, что напоследок должна посидеть дома, с мамой. Федор дождался Лобарева и потащил его в ресторан — что за отъезд без отпальной!

В ресторане он заказал все, что хотелось, и еще кое-что для престога, чтобы официант знал, с кем имеет дело.

Лобарев в принципе на спиртное слаб не был. Но в этот раз его почему-то быстро повело, он загрустил и снова стал жаловаться на бывшую жену, на ее бестактность и душевную глухоту.

— Понимаешь, — убеждал он Федора, — вот живет рядом с тобой совершенно чужой человек. О чем я думаю, чего хочу — ей совершенно наплевать! Только чтобы было, как она. А что ей нужно, тоже не знает. Я — да, значит, она — нет, вот вся ее позиция. Хочется, например, с другом посидеть, поговорить, допустим, как мы с тобой...

Он плел еще что-то, в общем, довольно логично, но Федор не слушал. Что толку в словах. Мужик неплохой, но слабый, вот и все дела. На таких бабы всегда ездят.

Но тут Лобарев, наклонившись, стал салфеткой оттирать какое-то пятнышко с голубоватой брючины Федора — и того как ударило. Да ведь это же его друг! Слабый, не слабый — какая, к черту, разница! Пять лет в одной группе — это тебе не кошка начихала. А веселые, забавные отпускные дни, Москва изнутри... Чего там, даже де-

вочка, которая завтра съедет с ним в поезд, — даже ее не было бы, если бы не Лобарев!

— Погоди,— сказал Федор,— ну чего ты здесь приклеился? Ты же умный мальш, разве это жизнь?

Они кинули еще по стопочке, и Федор стал уговаривать Женьку ехать к нему в Мостки, становиться наконец на ноги.

— Тебе тридцать четыре,— говорил он,— образование, все, что надо,— при тебе. И до сих пор в сержантах. Да я из тебя за три года полковника сделаю! Разве у тебя здесь зарплата? Да и не в деньгах дело. Должность — это право на творчество! Вот знаешь чего я хочу? Почему министерство ваше мне до фени?.. Да ты ешь, чего ты сидишь!

Федор придвинул Женьке тарелку с севрюгой, сам подцепил кусок. Но пока он жевал рыбу, подбирая слова, чтобы убедительней объяснить Женьке свою мечту, тот грустно понюхал свой кусок севрюги, опустил его на тарелку и потерянно пробормотал:

— Да, конечно. Надо чего-нибудь придумать.

И Федору стало стыдно своей горячности, суетливых слов. Какой там полковник, какие Мостки! Это утопающего легко тащить — он смерти боится. А в обычной жизни люди идут ко дну постепенно, с привычными удобствами и не любят, когда их хватают за волосы...

— Ладно, старик,— сказал он,— давай — за все хорошее!

И подумал с трезвой тоской, что вот это дешевое присловье, эта паршивая стопка коньяка сейчас куда приятней Лобареву, чем реальная помощь.

Уже когда выходили, Женька спросил:

— Один едешь?

Федор улыбнулся:

— Да не совсем.

— А-а... — протянул тот, осваивая новую информацию, — ясно... Ты, случайно, не жениться собираешься?

Федор отмахнулся:

— Что я, с ума сошел!

Утром он простился с Лобаревым. Они обнялись, и Женька с тяжким вздохом крутнул головой:

— Да... Хреново без тебя будет!

На что Федор только хмыкнул: с ним-то чем было хорошо?

Лобарев обещал еще подъехать на вокзал, проводить, если с работы отпустят. Федор хлопнул его по плечу:

— Да не морочь ты себе голову! В Австралию, что ли, еду?

А когда тот ушел, задумался, пытаясь понять Женьку. Что ему в Федоре? Что приобрел с его приездом и что теряет теперь?.. В конце концов решил, что причина проста и тосклива: на Женьку при всех его компаниях, прическах и благах уже наляпан чернильный штампик неудачника. Вон и к водочке привык и от жены никак не отвяжется — все мусолит старые обиды. Еще год, и жизнь покатится к сорока. А перспектив нет и не предвидится. Вот и возникла, видно, жалкая надежда научиться удаче у бывшего соученика, заразиться ею, как коклюшем... Если бы этому можно было научиться! Раз а три Федор пробовал — жадным он никогда не был, — пока не понял, что удача, увы, идет только к удачливым и, главное, четко нацеленным на результат. Теперь, к тридцати четырем годам, Федор вовсе смирился с этой жизненной закономерностью и привык, что чем дальше, тем больше его окружают не те, с кем хорошо дружить, а те, что цепче в работе и в достижении своих желаний...

В нужный час Федор поймал такси и заехал за Зоей — она уже ждала на углу Сретенки. На вокзале, пока шли длинным туннелем, пока взбежали наверх, на платформу, он с трудом сдерживался, чтобы не вскинуть чемоданы над головой, как гантели, — просто от мышечной радости, распиравшей тело. Забросив вещи в вагон, хотел было сгонять за пивом, но увидел в окно, как по перрону, оглядываясь, бежит Лобарев с большим портфелем и бумажным пакетом в руках.

— Посиди тут, — сказал он Зое и быстро спрыгнул на платформу.

Женька спешил. Он сунул Федору пакет с апельсинами и, пока тот провожал его до конца перрона, рассказывал, как специально вызвался отвезти материалы в подведомственный НИИ, чтобы под этим предлогом заскочить на вокзал. И эта хитрая победа на уровне курьера вновь вызвала в Федоре волну жалости к Женьке и скребущее чувство вины...

Федор не любил оставаться в долгу — за хорошее, что ему делали, предпочитал переплачивать. А Женьке — это Федор понимал — он не сможет отплатить никогда. Слишком уж в разных поисках живут. Хоть в министерство иди, в кабинет с тремя телефонами — только чтоб поднять парню зарплату до двухсот...

Вагон был новенький, по-весеннему полупустой. Федор сразу же заглянул к проводнику и нашел с ним общий язык, в результате чего они с Зоей оказались в купе вдвоем, а проводник сам принес постели.

Девочка спросила:

— Мы куда?

Он проговорил:

— Поезд до Сухуми. А там посмотрим.

И уточнил, хотя однажды уже слышал ответ:

— Значит, первый раз на море?

Она кивнула.

— Завидую, — вздохнул Федор. — Море впервые — это вещь.

Подумав, добавил:

— Правда, не впервые тоже вещь.

Пришел проводник, забрал билеты. Федор спросил про вагон-ресторан. Проводник ответил, что — до одиннадцати.

Федор повернулся к Зое:

— Есть хочешь?

Она покачала головой.

— Не голодна или воспитанная девушка?

— Не голодна.

Федор неодобрительно бросил:

— Я бы на твоём месте ответил: и то и другое.

Она засмеялась.

— Все равно пошли, — сказал Федор, — сейчас не хочешь — потом захочется.

В ресторане было обычно, то есть буднично и неудобно. Но этот общепитовский уют был все-таки классом выше, чем их поселковый, и Федор поел с удовольствием. Впрочем, он всегда ел со вкусом, что бы ни попадалось — хоть сладковата, подмерзшая картошка в столовке в Мостках, хоть цыплята табака в сочинской «Магнолии», хоть тот холодный шницель в московском кафе. Он и официантку-то тогда ругнул больше для порядка.

Девочка тоже поела. На тарелке она не оставила ничего, и это Федору понравилось.

— Кто у тебя мать? — поинтересовался он.

— В ателье работает. Портниха.

— Хорошая?

Зоя улыбнулась:

— По мне не видно?

Федор вновь оглядел ее и вновь ничего не увидел.

— Мне нравится, но я не спец...

Официантка долго не рассчитывала — сперва уходила куда-то, потом ужинала за крайним столиком. Зато подсел нестарый товарищ в большой бороде и стал развивать проблемы экологии в их глобальном понимании. Идея, выяснившаяся не сразу, заключалась в том, что глупо охранять рыбу у нас, когда японцы ее все равно ловят.

Бородач был навеселе, но границ не переходил, и Федор, переглянувшись с Зоей, разрешил ему болтать сколько влезет.

Меж тем, поругав рыбоохрану за грубость и отсутствие логики, тот перешел к издержкам женской эмансипации. Федор постучал ножом по тарелке.

— Должна быть у женщины гордость? — с напором спросил бородач у подошедшей официантки.

— Обязательно! — ответила та, выписывая счет.

Федор расплатился, и они пошли в свой вагон.

За окнами уже стемнело, посверкивали огни станций, городишек, деревень. Скорый летел мимо. И опять Федор порадовался, как хорошо, как ладно все идет, насколько его теперешняя жизнь лучше той, что остается за окнами, устоявшейся и однообразной.

Но когда вернулись в купе, когда сели вдвоем на один диванчик — тот, что по ходу поезда, когда Федор откинулся на мягкую спинку и уже привычно положил руку на слабое плечо, он вдруг ощутил неуверенность и легкую тревогу.

Да, все вышло, как он хотел. Поезд летит на юг, а в купе с ним едет девятнадцатилетняя девушка, чье плечо уже привыкло к его руке. Но кто она? Что он знает о ней? Взрослая женщина, точно понимающая, чего хочет? Или бедовая девчонка, сбжавшая от мамы позаргаться, которую хорошо свозить на море, напичкать ранней клубникой, поцеловать в щечку и отправить домой?

Федор впервые посмотрел на нее трезво — и на этот раз разглядел. Невысока, сложена прилично, хоть и слаба в плечах и груди. Туфли на модной подошве, брючки в обтяжку, уверенно подкрашенные глаза... Девятнадцать — по нынешним временам вполне взрослый человек...

— Спать хочешь? — спросил он.

Зоя пожалала плечами:

— Не очень. А ты?

Он тоже неопределенно шевельнул плечом.

И снова они молчали — минуту за минутой.

Федор не любил эти затяжные паузы, когда люди, может, просто молчат — молчат и больше ничего, но само собой выходит так, что каждое слово потом становится весомым и обязывающим. И уже никак нельзя заговорить о пустяках, ибо будешь выглядеть полным дураком: думал, думал и вот разразился...

— Покурю, — сказал он и вышел.

Снаружи было совсем темно, от этого коридор вагона казался светлым и даже праздничным — главная улица поезда. Какая-то женщина внимательно глядела в окно — Федор не сразу понял, что смотрит она на собственное отражение в стекле. Полный старик в пиджаке читал расписание. Курящих не наблюдалось, а дымить в одиночку Федор не любил — скучно, да и незачем. Он вообще легко бросал курить, легко начинал снова, если выпадала ситуация...

Сейчас он все же закурил и тянул дым медленно, словно выгадывая время.

Женщина, глядевшая на себя в окно, повернулась к нему и посмотрела долгим, враждебным взглядом — дым сквозил в ее сторону.

Федор, покрутив ручку, опустил стекло и тем самым выгадал еще минуту.

Ему вдруг расхотелось идти в купе.

Уж слишком легко все это получилось. В общем-то случайно. Потому что в незнакомой компании именно он положил ей руку на плечо. Позвал — вот и едет. А позови другой — глядишь, и другому кинула бы в трубку тем же дразнящим шепотом: «Очень может быть».

В общем-то причин для плохого настроения не было, и Федор умом это прекрасно сознавал. В конце концов она ему не жена и не невеста и никогда не будет женой. Двадцатый век, большой город, взрослые люди. Чем легче встретились, тем легче после разойтись.

Он не понимал, откуда же берется, почему нарастает в нем сводящая скулы горечь? Потом вспомнил: так же легко, как сейчас пришла к нему эта женщина, когда-то ушла от него другая.

За спиной со скрипом поехала дверь купе. Федор быстро оглянулся. Нет, это у соседей.

Он вдруг представил себе, как, пока он тут пускает дым в окно и мучается сомнениями, она снисходительно посмеивается над его провинциальной неуверенностью и допотопной моралью, над нерешительностью взрослого дурака.

Он щелчком швырнул сигарету за окно — она, попав в поток воздуха, рванулась назад большой искрой — и вернулся в купе.

Зоя все так же сидела у окна, свет не зажгла.

Федор сам тронул выключатель, медленно, подчеркнуто, глянул на часы, потом на постельное белье, два комплекта, лежавшие на диванчике, как блинчатый пирог, и проговорил не спеша:

— Ну что, не пора ли?

Она молча поднялась и стала разбирать постели.

— Я выйду, чтоб не мешать? — предложил Федор.

— Ага, — кивнула она. И опять голос ее звучал спокойно, будто стелить постель мужчине было для нее делом привычным и даже будничным.

Он сдержал поднимающееся раздражение и сказал так же буднично, даже с ленцой:

— Ты раздевайся, я пока умоюсь.

Взял полотенце и пошел в конец коридора.

— В ее-то годы! — с усмешкой выдавил он.

Он неторопливо умылся и еще постоял в коридоре, чтобы не прийти слишком рано. Потом толкнулся в купе:

— Можно?

Ответа не было, и он открыл дверь.

Внутри не горела ни одна лампочка, даже ночник под потолком. Но поезд проезжал какой-то длинный поселок, и законный свет проникал в купе, то усиливаясь, то убывая.

На правом, против хода поезда, диванчике, занимая мало места, лежало нечто, полностью скрытое простыней. Брюки и блузка висели на плечиках у входа.

Поезд дернулся, притормаживая, потом опять дернулся, набирая ход. С тех же плечиков из-под блузки выскользнул беленький лифчик и упал на пол, слабо звякнув застежкой.

Федор не стал его поднимать, лишь чуть подвинул ногой, чтоб не наступить ненароком. Давая выход раздражению, громко закрыл все три замка на двери — защелку, задвижку и предохранитель. Потом аккуратно, не спеша, разделся, повесив костюм на другие плечики, лег, устроился поудобней и лишь тогда жестко, почти грубо позвал:

— Иди сюда!

...Потом он лежал на спине с закрытыми глазами, медленно курил, чувствуя, как входит в обычный ритм дыхание, и обреченно ждал, пока безвольная, бездумная, блаженная опустошенность не сменится скончательно тревогой и тоской. Мысли были еще нечеткие, необязательные — он и не пытался их собрать. Но в глубине мозга, как маленький, незаметный, но уже начавший созревать нарыв, существовало сознание, что происшедшее непоправимо, решать так и так придется, а решение одно — двух нет.

Вот ведь как вышло, подумал он.

Да, брючки в обтяжку, и глаза накрашены, и поехала легко — а все равно домашняя девочка, мамина дочка, ребенок рядом со взрослым, ответственным мужчиной. Вот сейчас она загрустит, может, заплачет, может, просто задаст свой беспомощный и тяжкий женский вопрос — что дальше? — и он возьмет эту тяжесть на себя, ответит, что все будет в порядке, все будет хорошо. А дав слово, сдержит его. Праведником он не был, наверное, никогда и не будет. Но есть на свете вещи, за которые нельзя не отвечать. Что ж, придется ответить...

Обычно к жизненным неприятностям Федор относился трезво: с необязательными боролся упорно и умело, неизбежные принимал как факт, без истерик. Но сейчас он никак не мог свыкнуться с мыслью, что вся его вымечтанная, продуманная, просчитанная наперед жизнь пойдет нелепыми рывками, что лежащая рядом девочка, тепло которой он чувствовал правым плечом, — его будущая жена.

Однажды он уже был женат на девятнадцатилетней девочке...

Тогда его только поставили прорабом, дали комнату на одного — первое в жизни собственное жилье, и он сразу купил шкаф и кровать — свою первую мебель. Зарплата резко выросла, ее стало хватать на все. Именно в то лето он впервые поехал на юг. Правда, насладиться курортной жизнью не сумел — отпуска достало лишь на то, чтобы перестать этой жизни бояться.

Тогда же осенью, в ноябре, он женился.

Сперва Федор не выделял ее из трех девчонок, присланных в управление после техникума, тем более что и ходили они всегда втроем. Даже имени не знал — и не интересовался.

Но на праздники они попали в одну компанию, и когда кончилось застолье и врубили музыку, Федор поймал на себе ее взгляд.

Взгляд был исподлобья, диковатый, но не увертливый, а прямой и горячий, будто за коричневыми зрачками крылся источник не света, а тепла. Посмотрела, не сразу опустила взгляд, немного спустя опять посмотрела. Она не кокетничала, ни на что не намекала — просто сторожила его напряженным взглядом.

В конце концов на Федора подействовала эта радиация, и он позвал девчонку танцевать. Крепко прижал к себе, и она подчинилась с такой естественностью, будто все между ними было решено.

Потом Федор пошел ее провожать. Разговор был о ерунде: откуда приехала, да как тут нравится, да кто подружки. Ответы Федор тут же забыл. Но на лавочке перед общежитием просидел с ней почти до утра.

Девчонка была еще совсем зеленая — не знала, что делать с губами, с руками. Но взгляд ее, жаркий, как раскаленный паяльник, все время дымился рядом.

Когда на третью встречу она осталась у Федора, он совсем одурел от ее молчаливой и потому непонятной послушности. Была она плотненькая, с крепкими икрами, с ровным, негаснущим румянцем на

щеках. Казалось, вся роль ее в жизни заключается в единственном — подчиняться ему.

Она молчала вечером и так же молча готовила завтрак в их первое общее утро — картошку с селедкой, больше ничего дома не оказалось. Потом подмела в комнате, нагрела воду и принялась стирать его носки и рубахи — с этого начался их совместный быт.

Федор, хмельной и глупый от всего происшедшего и происходящего, взял ее за плечи, поднял от таза, потянул к себе:

— Ты меня любишь?

Она ничего не сказала, даже ресницами не шевельнула — неумело, но старательно прижалась губами к его губам...

Они расписались через неделю — в поселке это делалось легко.

У нее был талант к дому. Сразу за каких-нибудь полтора дня она свила гнездо в его пустоватой комнатухе, сшила и навесила занавесочки, нашла коврик и нужное место для него. Она обходила дом с муравьиной старательностью, вылизывала пол, посуду, окна. Федор, приходя, сразу же рушил всю эту лепоту, швырял рукавицы на пол у входа, шапку на подоконник, тужурку на табурет... Но едва очнувшись от объятий, молодая жена начинала восстанавливать разрушенное — руки ее двигались бережно и, возвращая табуретку на место, она не протирала ее тряпкой, а словно гладила. Затем подавала обед — именно подавала, по-особенному раскладывая вилки и ножи, непременно ставя под чашку блюдечко, как бы исполняя ритуальный танец хозяйки дома, театральный номер для одного зрителя, а еще верней — для самой себя. Она никогда не спрашивала, что готовить, когда постирать. Во всем остальном подчинялась естественно, как дышала, но дом был ее державой.

Как же счастливо жилось Федору в те недели! Все у него было. И была жена — спутница, помощница, близкий до дна человек, с которым и слов не надо — все понимает душой и кожей. Федор любил с ней говорить, советоваться. Про жизнь она знала мало, зато слушала внимательно — лучше слов грел и успокаивал горячий, исподлобья взгляд.

Постепенно Федор вызнал всю ее биографию, понял из коротких, обрывочных, словно бы вынужденных фраз. Текстильный городок, две смежных комнаты в большой коммуналке, четверо детей в семье — все дочки. Трое старших одна за другой пошли на фабрику, где на праздничные вечера приглашалась в клуб малочисленная воинская часть. А ей хотелось жить совсем по-другому, интересно — так провести молодость, чтобы было что вспомнить в старости. Вот и договорилась с девочками уехать.

Федор умилялся ее банальной, но такой понятной мечте и сам мечтал, как месяц за месяцем станет формировать ее душу, будто рисовать на чистом листе. Жена, родной человек, мать его будущих детей...

Федора до сих пор поражало, с какой легкостью и оскорбительной быстротой она предала его в первую же двухнедельную отлучку, изменив с заезжим изыскателем.

Федор узнал об этом еще в дороге, возвращаясь со станции: знакомый шофер, подбросивший до поселка, сразу оглушил новостью и даже вскрыл причины:

— Здесь бабы вообще звереют. Мало их, вот и мнят о себе...

Федор попытался не верить. Но шофер тут же добил подробностями. Поселок был невелик, быт его однообразен, потому и подробности оказались нищенские, типовые: познакомились в клубе после картины, выпивали в кафе — одной из трех столовок, только с проигрывателем и большей наценкой на спиртное, ночевал у нее почти открыто и даже нахально здоровался с соседками в общем коридоре.

Одна из баб углядела, как блудная жена вместе со своими комбинашками и штанами стирала в тазу изыскателевы кальсоны.

От этой последней детали Федору защититься было нечем — он кальсоны не носил.

В поселок Федор приехал, отупевший от боли. Изыскателя уже не было — уехал на трассу позавчера. С ней разговор вышел тягостный и односторонний: он спрашивал, она молчала — только взгляда в этот раз так и не подняла.

— Ну, зачем ты это сделала? — бессмысленно допытывался Федор. — Можешь объяснить?

Что все кончено, он понял сразу, еще в дороге: есть вещи, которые не прощаются. Но почему-то давил этот вопрос: зачем? Словно найдись причина — и станет чуть полегче.

Но она даже плечами не пожимала — молчала и ждала, пока он выдохнется, пока кончится этот тягостный допрос.

Потом сказала:

— Ну, я пойду?

В последующем, многократно прокручивая в памяти эту паскудную, неотвязную сцену, Федор заканчивал ее взрывом, пощечиной, пинком, любым выплеском наружу жестокой, унижающей боли. А тогда он сказал только:

— Иди.

В тот момент он еще не осознал до конца, что это не игра играется, все надеялся — сейчас она улыбнется и кончится злой, неумный розыгрыш.

Она собрала вещички, все тряпки, аккуратно складывая по складкам, и ушла. На пороге обернулась и выговорила:

— Ну, до свиданья...

И опять он потом ломал голову. Что она, извиниться хотела? Предлагала расстаться без обид? Или просто сработал рефлекс?

О том, что было с ним дальше, Федор старался не вспоминать. Прежде жизнь была трудна, но так иезуитски никогда не била, и как справиться со всем этим, он не знал. Приятели советовали: пей. Федор пил, но ни черта не проходило — просто к боли душевной прибавлялась похмельная головная боль.

Очнулся он лишь через месяц, после того, как в скверике у магазина страшно измордовал хорошего парня, поселкового кинемеханика Витю за незначительную и, в общем, справедливую фразу. Витю увели в медпункт, а Федор отрезвел, сник и как освобождения и выхода начал ждать тюрьмы. Но Витя заявлять не стал, и вся тяжесть, лежавшая на Федоре, так и осталась с ним — еще и увеличилась...

Со временем он, пожалуй, понял, что случилось с молодой женой. Как ни обидно, прав оказался тот шофер, дорожный философ. Девчонка еще в своем текстильном городке слышалась про Север, что там прямо земля обетованная, на каждую невесту по пять женихов, да и вообще из-за женщин воюют насмерть — для любой, хоть самой последней, выйти за инженера не проблема. Держаться за мужа она не собиралась — пусть сам держится. Для нее Федор был лишь первым из пяти.

Как пошла дальше ее жизнь, Федор поневоле узнал досконально — в поселке от новостей куда денешься? Свои вещички она вскоре перенесла к красивому парню, бульдозеристу, который обещал увезти ее в Полтаву. Затем был бетонщик Шота, который обещал увезти ее в Батуми. Затем — немолодой механик из Вологды. Затем два пьяных парня избили ее в мужском общежитии автоколонны.

Тогда, наверное, ей открылась еще одна истина о Севере: женщины тут действительно в цене, но не всякие...

Дня за два до того, как она уехала из поселка, Федор встретил ее на улице возле столовой, на обледенелых мостках. Разойтись было негде. Он глупо спросил:

— Ну, как ты?

Она чуть подняла левое плечо. Взгляд был мимо, в сугроб за его спиной.

Федор жадно искал в ее лице следы порочности, вины и расплаты. Но ничего такого не увидел — тихая, румяная девочка, такая, как пришла к нему.

Довольно долго стояли молча, после чего он все же не удержался:

— Хоть тогда-то, сначала ты меня любила?

Глядя в снег, она негромко отозвалась:

— Любила...

Голос был безразличный: так двоечник у доски бубнит на риторические упреки учителя: «Учил»...

Но Федор тогда не захотел вникнуть в интонацию — услышал только слово. И тихо, горько выдохнул:

— Эх ты...

И тут, впервые за их знакомство, она в разговоре проявила свою волю: сверкнув глазами, озлобленно, с вызовом бросила:

— Подумаешь!

Она не сдалась и не каялась. Север большой!

Через год знакомая бухгалтерша видела ее в райцентре и рассказала, что живет ей там плохо, хуже, чем в поселке, — катится девка... Весть эта дала Федору горькое удовлетворение — должна же быть в мире хоть какая-нибудь справедливость!

Увы, в предпоследний свой отпуск Федор встретил ее в областном городе. Полная, благополучная, в дорогих туфлях, она шла об руку с немолодым майором. А впереди топали двое мальчишек-погодков...

...Поезд притормаживал, что-то скрипело и лязгало. Вагон дернулся и встал. Федор глянул в окно. Станция.

Он придавил окурок о металлическое блюдечко пепельницы, не оборачиваясь, нашарил Зоину щеку и несколько раз провел по ней, стараясь полегче, потому что кожа на щеке была нежная, тонкая, а его ладонь жестка и шершава, как черствый ржаной ломоть.

— Ладно, — сказал он, — ничего...

Она шевельнулась, и Федор почувствовал, как все ее лицо мягко уткнулось ему в ладонь.

— Не сердись? — проговорил он.

Зоя бормотнула что-то отрицательное, и в его горсти потеплело. Тогда он лег на спину, пристроил ее голову у себя на плече и спросил:

— Ты что, никого не любила?

— Теперь сам знаешь.

Федор почувствовал в темноте ее улыбку.

— Я думала, это страшней...

— И не сказала ничего, — укорил он со вздохом.

— А что бы изменилось?

— Ну, все-таки... — растерялся он.

— Я ведь знаю, что ты думал, — усмехнулась Зоя. — Легкомысленная девчонка. Поманили пальцем на юг — она и рада.

Федор сокрушенно качнул головой:

— Вон как ты меня...

— Это же правда, — спокойно, без всякой обиды возразила она.

— Да нет, не совсем,— отозвался он.— Я, конечно, думал, что ребята у тебя есть...

— Ребят полно,— сказала Зоя.— Ну, не полно, но хватает. Один, кстати, довольно хороший парень. Если бы его не вызвали на дежурство в тот вечер, мы бы с тобой не познакомились. Надо будет написать. Собирался на мне жениться. Маму уже уговорил.

— Вернешься — выйдешь за него замуж?

Она сказала:

— До чего глупый вопрос...

Федор спросил, стараясь поравнодушной:

— Глупый в смысле «да» или в смысле «нет»?

— Не ходит же одной на вечера,— усмехнулась она.— Мужчи- на нужен хотя бы как деталь туалета.

— Красивый парень?

— Интересный. Во всяком случае, не компрометирует... Даже стыдно, сколько я ему крови испортила.

— За что? — поинтересовался Федор.

— Злилась. Хотела в него влюбиться, а никак не могла.

На станции что-то объявили через динамик. Поезд пошел.

Вдвоем на узкой лежанке было неудобно и боязно: Федор ощущал тяжелую громоздкость своего тела и опасался неверным движением повредить что-нибудь в нежной конструкции существа, беззаботно дышавшего рядом. Он натянул тренировочные рейтузы — пижамами не пользовался,— сел на край полки и сразу почувствовал себя свободней.

— Слушай,— сказал он,— а правда, почему ты со мной поехала?

Зоя молчала. Федор уже хотел переспросить, но тут она заговорила:

— Ты взрослый. Знаешь жизнь, знаешь, зачем живешь. А в лодке хорошо с человеком, который умеет грести.

— Но там ведь и прочие были не дети,— не сразу отозвался Федор, имея в виду компанию, где познакомились.

Зоя попыталась объяснить:

— Вот ты сказал: «Поехали на море». А наши парни так не говорят. Неплохо бы, да как-нибудь надо бы, да если бы, да кабы. Тебе твоя работа нравится?

Федор развел руками:

— Лучшее, что у меня в жизни есть.

Прозвучало виновато: возвышенные фразы давались ему с трудом.

Зоя кивнула:

— Сразу чувствуется... Знаешь, я уже привыкла, что парни вокруг только ноют: и жизнь не та и начальство не то. А по-моему, человек должен быть сам хозяином своей судьбы. Не добился работы по себе,— значит, сам и виноват... Сказать тебе по секрету одну вещь?

— Ну?

— Только не пользуйся этим, ладно? Хотя бы со мной.

— Не буду,— пообещал Федор, поддерживая игру.

Но она сказала серьезно:

— У мужчины на свете обязательно должно быть что-то поважней женщины.

— Ты смотри! — ошарашенно выдохнул Федор.— Ничего себе...

Походя, в случайном разговоре девчонка облекла в точные слова принцип, по которому Федор жил уже давно, уже лет пятнадцать носил в себе, не формулируя. Но больше поразило даже не это — бескорыстные мысли, дерзкая, в ущерб себе искренность. Смелая девчонка!

Он улыбался в темноте, восхищенно крутил головой. Потом спох-

ватился: Зоя продолжала говорить. Федор поймал конец фразы и дальше слушал внимательно.

— ...больше всего боялась,— сказала она.— У меня довольно много подруг, и представляешь — почти у всех это началось без любви. Одна возраста испугалась. Другая замуж хотела, думала к себе прихватить. Та — от девчонок не отстать, та лишнего выпила в турпоходе... Я больше всего боялась, чтобы не случилось вот так. Еще в шестнадцать решила: уж тут ничего не уступлю. Как дальше жизнь сложится, никто не знает. Но уж если начать без любви, то и потом надеяться не на что. Ведь верно же?

— Вполне может быть,— согласился Федор холодновато.

В свое время он от этих проблем отстранялся. Да и сейчас в душу не пускал. С любовью, без любви... По-всякому люди живут, еще неизвестно, кому лучше...

— Наверное, ты мой тип,— сказала Зоя.— Прямое попадание. Ребята про снежного человека рассказывают—и скучно. А ты в окно смотришь или чай пьешь — интересно! Хочешь правду?

— Давай.

— Ты только в комнату вошел — ну, думаю, все. Погибла девочка.

— А если бы я с тобой рядом не сел?

Она снисходительно поинтересовалась:

— А кто тебе сказал, что это ты сел рядом со мной?

— Как?— удивился Федор.— Разве...

— Ты сел, где посадили,— сказала Зоя.— А посадили, где место оказалось. Такие вещи нельзя пускать на самотек.

— Ну и ну,— пробормотал он,— тонкая работа...— Он повернулся к ней всем телом и спросил, стараясь разглядеть лицо: — Вот ты говоришь — только вошел. Но ведь человек—существо темное. А если бы ошиблась?

Она будто не заметила сослагательного наклонения:

— Может, и ошиблась. Кто тебя знает...

И добавила негромко, почти без выражения:

— Сама ошиблась — сама расплачусь.

Серьезно говорит, шутит — Федор толком не понял. На всякий случай погладил ее по щеке — это во всех случаях годится.

В темноте вновь прозвучал ее спокойный голос:

— Мы бы с тобой больше не встретились. Ты человек занятой — уехал, и все. А я не люблю, чтобы мои поезда уходили без меня.

Федора задело множественное число: «поезда». Он похвалил с некоторой иронией:

— Отчаянная ты женщина!

Она возразила независимо:

— А чего бояться!..

По ночному вагону мягко прошлепали чьи-то шаги и замерли поблизости. Женский голос произнес:

— А я все равно люблю июль. И погода, и фрукты, и народу полно. По крайней мере весело.

— Это конечно,— рассудительно ответил мужчина,— сезон — не то, что не сезон. Чтобы в вагон-ресторане пива не было...

— Ладно, пошли, что ли,— сказала женщина.

— Сейчас, сигарету выброшу.

Где-то рядом лязгнула дверь.

Зоя спросила:

— А у тебя есть жена?

— Нету.

— И не было?

— Была,— сказал Федор. И, чтобы возникла окончательная ясность, отрубил: — Я свое отработал —хватит!

Ему тут же стало стыдно за резкую фразу. Тем более что хватит или не хватит, зависело сейчас не от него. Решать — было ее право, и Федор не собирался отнимать у девчонки эту привилегию.

Но Зою такой поворот темы как будто совсем не тронул. Она спросила негромко:

— Плохо было?

Он жестковато ответил:

— Ничего — прошло. Несущественно.

И снова притянул ее к себе...

Когда Федор опять начал воспринимать окружающее, поезд шел стремительно и ровно, темное пространство за окном совсем размыло скоростью. И первой отчетливой мыслью Федора было, что, пожалуй, делают они сейчас километров по сто в час, а то и больше сотни.

Ему было хорошо, никакой тревоги, только легкость и покой. Кожка медленно, приятно остывала. Всем своим безвольным, расслабленным телом он чувствовал, как разумно, толково течет сейчас жизнь. Ибо, пока он тут лежит, не шевеля даже ресницами, поезд шпарит вперед, и все к югу, к югу — так что ночь за окном, наверное, уже теплее московской.

Зоина голова слабо давила плечо, волосы касались его подбородка.

— Тебе хорошо? — глупо спросил Федор. Но плечом почувствовал кивок и оценил ее тактичность.

Прошло довольно много времени, может, четверть часа, прежде чем Зоя произнесла:

— О чем ты думаешь?

— О чем же еще? — отозвался Федор и погладил ее по щеке.

Но ответ этот не был правдой — Федор думал не о ней. Да и вообще не думал — просто мечтал.

Мечтать Федору удавалось не часто — только в краткие, совсем спокойные, как бы выпавшие из суеты часы, в те крохотные ломтики времени, когда можно отпустить нервы и дышать как дышится, не заботясь ни о чем.

Собственно, эта была не только мечта, но и план, постепенно осуществлявшийся. И все же главное оставалось далеко впереди, частью в расчетах, частью в тумане — ибо мечта у Федора была основательная, на весь запас его жизненных сил.

Она возникла лет десять назад, к концу первой стройки, когда Федор справился и четко понял: может. Но решающей удачей было не то, что он в себя поверил, а то, что в него поверил Хмелевой.

Тогда на митинге, пока гремели речи, которые Федор по молодости лет слушал от начала до конца, к нему подошел знаменитый, широко прославленный в анекдотах снабженец Хмелевого Бабскер.

— Молодой человек, — сказал он, — у вас уже есть приличные предложения на новый объект?

— Да пока этот не кончили, — уклонился Федор, — доделок на месяц.

Предложений у него не было.

— Месяц — это не год, — возразил Бабскер, — а год — это не вся жизнь. Я не люблю намеков, но если вы хотите поговорить с настоящим хозяином, я могу это организовать.

Сердце у Федора заколотилось, он с трудом взял себя в руки. Ибо Бабскер, не любивший намеков, намекнул достаточно ясно: его хочет взять к себе Хмелевой. Федор и думать не смел, что тот знает о его существовании. А выходит, не только знал, но и успел приглядеться...

У Хмелевого было порядочно должностей, званий и наград, естественно, были отчество и фамилия. Но высшим званием было его имя. Даже Героев Труда среди строителей хватало — а Матвей был один.

В Москве или в Хабаровске, на Каме, на Енисее, на Зее говорили — «Матвея назначили», «Ушел к Матвею» — и ясно было, о ком речь. Вот уже лет пятнадцать Хмелевой был Матвеем, и байки о нем украшали строительский фольклор...

Давно, еще в институтские годы, Федор видел на выставке картину: женщина, летящая над морем впереди парусника. Волосы у нее были рыжие, с золотым отливом, да и все тело слабо золотилось. Экскурсоводша ровно вела речь про мифологию и символику, про трактовку образа в изобразительном искусстве: женщина на шаре или колесе, с повязкой на глазах, с рогом изобилия, рассыпающая монеты, а здесь — вот такая, романтическая, летящая, далекая от первоначального канона, с волосами, которые ветер полета, вопреки бытовому правдоподобию, относит не назад, а вперед...

Федору скучны были малознакомые слова, его отвлекло самоуглубленное, таинственное, почти сонное лицо летящей женщины, отвлекло ее солнечное тело, и он уловил лишь суть рассказа: женщина эта — Фортуна, богиня то ли удачи, то ли судьбы.

Он не жалел, что пропустил мимо ушей подробности. Зачем? В наше время удача в таком виде не расхаживает...

Но картина Федору запомнилась. И очень понравилось само слово — Фортуна, он любил его повторять. Вот и тогда, на митинге, это слово вдруг возникло в мозгу...

Низкорослый человек в кепке и сапогах, в плаще, оттопыренном на животе, ждал ответа. И Федор сказал Фортуне, удаче, судьбе: — Что ж, поговорить можно...

Года два новый хозяин придерживал Федора на невысоких ступеньках лестницы, словно бы забыл о нем. Но и затерянный среди сотни низовых начальников, Федор все время чувствовал, что на виду. Потому что четыре раза подряд участки ему доставались завальные, самые каторжные, и случайностью это быть не могло. Федор молча тянул, благо здоровья хватало. На глаза не лез — это было не в его характере.

Затем Хмелевой начал быстро его поднимать. И опять каждое возвышение выглядело случайным: понадобился человек, а Федор оказался под рукой — вот и сунули... Но случаи выстраивались в ряд, и Бабскер, считавший себя как бы крестным отцом перспективного новичка, как-то сказал ему:

— Ты знаешь, я не люблю намеки, но у меня такое впечатление, что Матвеем понадобился наследный принц.

Бабскер звал Федора в столовую и за тарелкой лапши, взятой из общего котла, но поданной в закулисной комнатке для начальства, поделился своим единственным за много лет разгульным воспоминанием: как на День строителя он в ленинградском ресторане пил двадцатирублевый зарубежный коньяк и ел аристократическое кушанье — «куру-табака», которую, как поведала ему тамошняя официантка, три дня выдерживают под прессом. И этот доверительный разговор за лапшой и котлетой с макаронами как бы узаконил право Федора на его тогда еще неуверенную тайную мечту.

Год за годом он спокойно набирал силу в широкой тени Хмелевого. Он не высовывался, не получал больших наград. Но не только провидец Бабскер, не только соседи по объектам — уже и влиятельные министерские мужики знали: под крылом у Матвея поднимается начальник одной из будущих строек. Когда Федор встанет на собственные две — это, конечно, зависело от обстоятельств. Но что встанет, сомнений не вызывало.

Вот уже лет пять назад — куда раньше других — перестал сомневаться в этом сам Федор. Но ни раньше, ни теперь он не мечтал о должности.

Он мечтал о стройке.

Вот и сейчас, лежа на мягкой лавке поезда, рядом с молодой и красивой девчонкой, он, едва отошедший от счастливой усталости, спокойно мечтал о куске планеты, который когда-нибудь — уже скоро, пожалуй, — отдадут лично ему в переделку. Что там будет — канал, гидростанция, плотина, которая погонит северные реки на юг или южные на север, — это значения не имело. Важна была команда, которую Федор приведет на свою, полностью свою стройку.

Начальник стройки — вот была жизненная цель Федора, потолок, добровольно принятый для себя. Выше расти он не собирался — неинтересно.

Начальников строек Федор повидал порядочно на кустовых и московских совещаниях, куда Матвей в последние годы все чаще возил его с собой. Они собирались из разных, порой отдаленных краев, но друг про друга знали много и мнением собратьев дорожили куда больше, чем оценкой сверху. Класс в работе, новое решение, неожиданный, остроумный ход — такое замечалось сразу и помнилось годами.

Естественно, люди среди них попадались всякие. Но лучшие, короли профессии, были независимы и полны достоинства, которое не было нужды подчеркивать походкой или манерой вести разговор. Они на равных спорили с любым начальством, отмахивались от опасных журналистов, а если и просили о чем, то спокойно и жестко, будто требовали.

Федор был свидетелем, как однажды Матвей выставил замминистра список на дефицитную технику, тот уперся и, устав доказывать свое, бросил в сердцах:

— Легкой ты жизни хочешь, Хмелевой!

На что Матвей спокойно и внятно, на весь забитый людьми здоревенный кабинет возразил:

— А ты, Евгений Сергеевич, садись на мое место, попробуй эту легкую жизнь.

Замминистра покраснел и не сразу нашелся:

— Мы себе, Матвей Петрович, места не сами выбираем. И теряем, между прочим, тоже не по своей воле.

Субординация вроде была соблюдена — последнее слово осталось за начальством. Но прозвучало оно довольно жалко, да и список замминистра подписал. Федор хорошо запомнил, как усмехнулись тогда коллеги Матвея. Никому из них безработица не грозила — тут же, на улице, перехватят ходоки из пяти министерств...

Хмелевой был крупен, тяжел, круглый год ходил в жестком, старом плаще. Он походил на пожилого прораба из самоучек, да в принципе и был самоучкой — заочный институт не дал ему ничего, кроме бумажки. Он почти не читал, не увлекался охотой, за удочку брался лишь ради почетных гостей, и то нехотя, просто по долгу хозяина. Федор его любил и уважал, пытался как мог перенять его огромный опыт, но благоговения не испытывал: чем дальше, тем чаще промахивался Матвей.

Эпоха Хмелевого кончалась. Росли масштабы, сложнее становилась техника, менялся быт — невозможен был теперь хозяин, способный всю стройку, до досочки, держать в голове. Из институтов приходили непонятные парни, непохожие друг на друга и на прежних инженеров, говорившие про деньги, про НТР, про битлов, про экологическую катастрофу... Кто из них перспективен, а кто пуст — в этом Хмелевой уже путался и, случалось, ставил на середнячков, хороших лишь тем, что обличьем и манерами напоминали самого Матвея в молодости.

В последние годы стало еще трудней: на стройки повалил вчерашний десятиклассник; бульдозеры и самосвалы теперь гоняли то на

хальные, то подчеркнуто-вежливые длинноволосые парни. А что им надо, почему едут на стройку или вдруг скопом бегут — этого не понимал даже мудрец и кудесник Бабскер, однажды изловчившийся выменять за грушевый компот два гидромонитора.

Свою стройку Федор видел не такой, иной, чем у Матвея. Не такими — руководителей, будущих своих маршалов, которых он не только продумал, но и начал исподволь собирать. Левка — тут и говорить нечего, механик тоже уйдет с ним и Бугров из автоколонны... Даже зам был присмотрен — немногословный, все умеющий прораб, которого Федор пока специально прятал в малых начальниках, чтобы до срока не разглядели и не увели.

Федор мечтал о своих майорах и полковниках, честолюбивых, трезвых ребятах, которым надо быстро, лет за пять, выковать свою судьбу. Что ж, можно и быстро, только молот тогда — потяжелей...

Он мечтал о поселках, которые выстроит сразу, до начала основных работ. В его столовках не будут давать на первое лапшу, а на второе макароны. В его клубах не станут вбивать деньги в пудовые оркестры — медный лом, нынче только и нужный что на похоронах...

...Федор почувствовал Зоины пальцы на щеке, потом на губах. Она ладонью накрыла его улыбку.

— Ты чего улыбаешься?

— От удовольствия.

Он поцеловал ее в ладонь и сказал:

— Иди спать. Могут поднять рано — вдруг кого подсадят дорогой. Зоя отвернула его голову к стенке.

— Не оборачивайся, пока не лягу. Ладно?

Чуть вздохнул коврик под босой ногой. Пружины диванчика слабо шевельнулись под слабой тяжестью.

— Все, — проговорила Зоя.

Федор лег на бок, потянулся и сказал, придерживав зевок:

— Ну, спи. До завтра.

— До сего дня, — поправила она.

Федор сладко зевнул, закрыл глаза и опять улыбнулся — от удовольствия, от покоя, оттого, что так ладно складывается жизнь, и юг все ближе, и есть о чем мечтать, и не надо, слава богу, жениться на этой отличной девчонке, которую он и на день боялся бы отпустить от себя, из-за которой все его продуманные планы полетели бы кувырком, теряя контуры и распадаясь, как грузовик, сорвавшийся в овраг.

Уже утром, часов в шесть, Федор пробудился от шума большой станции и, наверное, тут же уснул бы снова, если бы не поймал Зоин взгляд.

— Чего не спишь? — сказал он. — Спи.

— Угу, — кивнула она.

Он вдруг догадался:

— Ты что, так и не уснула?

Она чуть улыбнулась.

— Для тебя эта ночь самая обычная, но для меня — нет.

— Ну, почему, для меня тоже... — начал было Федор. Но глаза слипались и не было сил удержать зевок. Он услышал тихий Зоин смех и не понял, что это — последний колышек реальности или зыбкое начало сна.

...Зато потом почти весь день Зоя спала.

Федор будил ее, чтобы накормить, и укорял с торжеством:

— Вот она, твоя романтика! Днем отсыпаясь?

Голос его от нежности становился хриплым, глухим.

Зоя не хотела просыпаться, и Федор жалел ее, отставал, садился на свой диванчик и смотрел, посмеиваясь, как она силится расклеить ресницы, но тут же смежает их опять. Прежде он не знал, что это такое удовольствие — просто сидеть и смотреть на спящую девчонку.

На большой станции в Донбассе он купил два дорожных набора. В каждый полиэтиленовый мешочек вместе с черствой булочкой, крутым яйцом, тремя конфетами и высохшим куском сыра был вложен довольно большой, привлекательный апельсин.

— Чего ж отдельно апельсины не продаете? — весело поддел он продавщицу вокзального ларька.

— Набор есть набор, — в тон ему ответила она.

— Коммерсанты! — усмехнулся Федор. — Небось, и за упаковку берете?

— А как же! Три копейки. Были ваши, стали наши!

Ларек открылся недавно, покупатель был из первых, и продавщица еще не успела вызвериться.

Федору баба понравилась — умеет за себя постоять...

В купе он очистил оба апельсина, аккуратно разделил на дольки и одну за одной скормил Зое. Она ела, почти не открывая глаз. Потом вдруг забеспокоилась:

— А ты?

— Ешь, — сказал он, — я пива выпил, не хочу.

С последней долькой она чмокнула его в руку и уснула опять. У Федора аж в глазах защекотало.

Совсем раскис, удивился он.

Он смотрел на безмятежное Зоино лицо, ловил глазом ровное, почти беззвучное дыхание и пытался понять ее смелость. Ну, что она знает о нем? Поехать черт те куда, черт те с кем... И ведь живет небогато, опоры в жизни — одна мать. А окажись на его месте какой-нибудь подонок?

Хотелось есть. Он грыз черствый, потрескавшийся сыр, а потом, разохотившись, съел без соли оба яйца — пресных, безвкусных. Черт с ним — лишь бы живот набить. Зато проснется — поужинают вместе...

Люди выходили, другие подсаживались. Но в их купе не толкался никто — проводник свое дело знал туго.

Поезд вошел в дождь, небо закрыло полностью, словно одна сплошная туча висела над мокрыми, черными терриконами. Федор смотрел в окно спокойно — до места было ехать и ехать, погода еще двадцать раз изменится. А убежать от дождя — в конце концов тоже удовольствие.

Около пяти он все-таки поднял Зою и повел в вагон-ресторан. Она попросила только второе и чай.

— Это еще что? — возмутился Федор.

— Я всегда так ем.

— Выгодная ты женщина!

— Сейчас в моде худощавые.

— А мужчины какие в моде?

— Тут мода не меняется, — ответила она. — Мужчина должен быть умный, добрый и нахал.

— Ну хоть на треть гожусь.

— На треть — это точно, — серьезно согласилась она. — Ты добрый.

— Я — добрый? — искренне удивился он. И вновь почувствовал беспокойство: ну что она его придумывает?

— В общем-то ерунда, — сказала Зоя. — Мужчина должен быть мужчиной. Башка и твердое плечо. Знаешь ведь, какие теперь девчонки. Совсем не дуры! Но он-то должен быть умней.

— Желательно,— усмехнулся Федор. Умных баб он никогда не боялся — в свою голову верил. Боялся хитрых, существующих скрытно, как бы в засаде, и всегда готовых бульдожьей хваткой вцепиться в любое житейское благо, от колготок до мужика.

Зоя развела руками — в одной был нож, в другой бумажная салфетка — и недоуменно оттопырила нижнюю губу:

— Прямо эпидемия какая-то! Ну вот поверишь — все подряд девчонки жалуются: чего-то с мужиками не то. В парикмахерских блаты завели, кофе варить научились, машины пастой полируют... Тоже мне хозяйка жизни! Кофе варить я и сама могу.

— Это кому как выпадет,— задумчиво отозвался Федор.

Девчонка не поняла. Но принесли салатки, и переспрашивать она не стала.

Мужики, подумал Федор. Мужиков-то хватает — да вот мужичьих должностей на свете маловато. Чем дальше, тем меньше. Машина вертится, и у каждой шестеренки свой круг — не выскочишь. И он в который раз с благодарностью подумал о судьбе, так щедро и вовремя вложившей ему чуть не в ладонь и профессию, и дорогу, и счастливый случай.

Когда после шли к себе по трясущимся вагонам, Федор все же не выдержал, сказал:

— Вообще-то решительное ты существо.

— Почему?

— От этого ведь и дети бывают.

Зоя усмехнулась:

— Ты как моя мама. Только она моим половым воспитанием занялась несколько раньше, в четырнадцать лет. Слава богу, курс лекций состоял из одной фразы: «От собак бывают блохи, от мужчин бывают дети». Так что в этом смысле, как видишь, я уже образованна.

— Ничего! — похвалил Федор маму.

— Она у меня вообще умная женщина,— похвасталась Зоя.

Тут вагон трянуло, ее бросило от стенки к стенке — Федор едва успел удержаться, обняв за плечи и прижав к себе. Зоя засмеялась, глянула на него с веселым вызовом и сказала беспечно:

— А, ладно... В наше время дети бывают, только когда их хотят.

Федору не понравилась эта легкость, но он промолчал — развитие темы в его интересы не входило. Он давно хотел сына, еще лучше двух — двух мужиков. Вот только бы мать им подыскать подходящую...

В вагоне их сразу перехватили муж и жена из соседнего купе — нужна была пара для подкидного. Федор глянул на Зою, она пожала плечами. Из восьми партий благодаря сноровке Федора выиграли шесть — он и это умел...

Утром проводник поднял их рано, в пятом часу — за окном было свежо и дымчато.

— Ничего отдохнули? — спросил он Федора без всякого намека, просто чтобы показать хорошее к нему отношение.

— Нормально,— сказал Федор,— на курорте отоспимся.

И не столько спросил, сколько примирился с неизбежным:

— Чаю нет?

— Не ставил,— повинился проводник,— лимонад еще остался и печенья.

— Тоже ничего,— согласился Федор.

Проводник тут же принес прохладную после ночи бутылку и пачку печенья в клетчатой обертке. Федор стал расплачиваться. Но у него мельче десятки не было.

— Да ладно,—махнул рукой проводник,—подумаешь, полтинник...

Федор уверенно возразил:

— Брось, Володя, работа есть работа.

Пока они рядились, Зоя полезла в сумочку и вытащила рубль.

— Спрячь подальше и никому не показывай,—посоветовал Федор.

Она все же протянула бумажку проводнику. Но тот показал глазами на Федора и развел руками:

— Не имею права.

Взял десятку и пошел разменивать.

Девочка рубль спрятала. Но зато достала из сумки и протянула Федору пачечку десятков и пятерок — рублей семьдесят, наверное.

— Это что такое? — удивился он.

— Деньги. Возьми! Пускай будут у тебя.

— Зачем?

— Я тебя прошу.

— Самостоятельная женщина?

— Да.

— Ну, что ж, уважаю,—сказал Федор и сунул деньги в карман пиджака. Богатеть за счет девчонки он не собирался. Но пускай полегат, раз ей так хочется. Целее будут.

Потом он вдруг расхохотался.

Зоя вопросительно подняла глаза.

— А если убегу с деньгами, что станешь делать? — спросил он.

— Обманешь бедную девушку?

— Конечно. Чего теряться!

Он задумался, помедлил:

— Стой. А если сама захочешь убежать, а?

Вынул ее пачечку и положил на стол:

— Нам нужны женщины независимые.

Зоя подумала немного, отделила две десятки, а остальные вернула ему.

— Не мало? — улыбнулся Федор.

— До Москвы хватит,—ответила она невозмутимо, закрывая сумочку.

— Уж прятала бы поглубже — в чулок или в лифчик.

— Это места ненадежные,—возразила она.

Проводник Володя уже ходил по коридору, отбирал постели — только их купе пока пропустил.

— Пора, пожалуй,—сказал Федор.

Зоя молча поднялась и стала собирать вещи, свои и его. «Хозяйка»,—с умилением ухмыльнулся Федор и положил руку ей на затылок — просто потому, что хотелось дотронуться до нее. На секунду Зоя прикрыла глаза и потерлась затылком о его ладонь.

Тут в коридоре зажегся свет, поезд, сбрасывая скорость, вошел в туннель, но через минуту-другую вырвался из гулкой норы и простучал, не останавливаясь, нешироким ущельем. В смутном утреннем свете мелькнуло чистое бутылочно-зеленое озеро, сжатое высоко поднявшимися скалами, пустынная платформа, висящая прямо над водой, и легкий белый павильон — цементный цветок с ажурными лепестками. Зачем он в этом безлюдье? Зоя схватила Федора за руку, они приклеились к окну, но вагон уже втягивало в новый туннель.

— Хочешь — тут? — спросил Федор.

Она сразу кивнула и только потом спохватилась:

— А ты?

— Твое желание — закон! — ответил он и бросился к проводнику, возбужденный возможностью этого неожиданного подарка.

— Агараки, — сказал проводник. — Станция это, Агараки называется. А место — Новый Афон. Электричкой можно от Сухуми.

Обратно в купе Федор шел не торопясь. Поезд уже вылез на свет, и стал виден поселок: горы в тугой, мохнатой зелени, домики по склонам, редкие и едва видные за деревьями, а над ними, высоко и обособленно, большой, красивый монастырь, словно висящий между бытом и бледными небесами, только-только начавшими розоветь.

«Хорошее место», — подумал Федор, радуясь, что обещанный Зое кусок зелени оказался таким симпатичным и что после отпуска, в Мостках, можно будет небрежно ответить Левке и Виктору Ивановичу: «В Афоне отдыхал. Есть такой городишко в Абхазии. Что там ваши Сочи!»

Зоя стояла у окна, неловко перегнувшись через столик, волосами и ресницами почти касаясь стекла.

— Все! — проговорил он. — Новый Афон. Можешь расписаться в получении.

Хотел слегка шлепнуть ее, но рука не подчинилась, сработала свое — погладила бережно и нежно.

Зоя не обернулась.

— Ты чего прилипла? — спросил Федор.

— Море, — сказала она.

В Сухуми они вышли на перрон и сели на скамью у входа в вокзал — ждать электричку. И странно было здесь, в считанных метрах от рельсов и масляных пятен на шпалах, увидеть молодые, свежие пальмы и крупные, красные, празднично-яркие цветы. Причем всей этой роскоши было много, и росла она без охраны и без ограды, просто, как растет в Мостках, в скверике перед клубом, березка или ольха. Только сейчас Федор полностью, всей кожей ощутил свой бросок на юг через огромные пространства из сырой северной весны.

Зоя сидела притихшая, словно подавленная.

— Вот тебе и юг, — сказал Федор. — Ничего?

— Странно.

— Вот дождемся электрички...

Он чувствовал некоторое беспокойство: даже в пиджаке не было жарко. От соседства пальм казалось еще свежей. Ну, он-то ладно, ему что — он и в Мостках купался чуть не с мая, когда по воскресеньям с парнями выбирались в тайгу. Но девочка...

— Купаться, конечно, рано, — сказал он Зое сразу, чтоб не разочаровывалась потом, — а вот загорать, думаю, вполне. Весна, наверно, поздняя.

— Все равно здорово, — тихо сказала она.

До электрички было минут сорок. Но еще до нее подошел какой-то из местных поездов, Агараки пропускавший, но останавливавшийся в Афоне, и они побежали к вагону, дожевывая на ходу жесткие буфетные пирожки, — ничего другого в такую рань не было.

В Афоне вышли на высокую платформу вокзала, забросили чемоданы в камеру хранения и хотели идти в поселок — Федор уже руку ей на плечо положил. Но уйти не удалось.

— Маладой чалавэк! — хрипло крикнули сзади. — Маладой чалавэк!

Федор обернулся. К ним подбегал плотный, коротконогий старик с вытаращенными глазами и большим красным носом, с мохнатой щеткой в руке.

— Нылза! — сказал он строго. — Красывый курорт. Красывый дэвушка. Батынки далжны блистет!

Свободной рукой он крепко взял Федора за локоть, и тот пошел за ним с покорной улыбкой. В принципе Федор не любил, чтобы им командовали. Но тут был свой, курортный закон, и покорность чужим обычаям входила в понятие «юг».

— Гразный батынка — хозяйка прагоныт! — сказал чистильщик, грозно тараща глаза. — Малыцианэр аштрафует!

Он сел на низкую скамеечку и принялся орудовать щетками.

— Масква? — спросил он. — Лэнынград?

— Москва, — кивнул Федор.

— Хороший город! — похвалил старик.

— Она из Москвы, — пояснил Федор точности ради. — А я — из Мостков.

— Хороший город!

Старик прошелся по туфлям бархоткой и крикнул, жмурясь:

— Глаза болна!

Федор полез за деньгами. Но чистильщик решительно поднял ладонь.

— Дэвышка! — позвал он. — Прашю!

— Я в босоножках, — сказала Зоя и улыбнулась.

Старик сурово отвел это возражение:

— Нылза! Красывый курорт. Красывый маладой чалавэк. Все далжно блистет!

Он взял другие щетки и бесцветный крем.

— В другой раз босиком приедем, — пригрозил Федор.

— Тожи начыстым, — сказал старик.

К ящику чистильщика была прибита сбоку синяя стекляшка прейскуранта: «Ботинки — 10 коп. Сапоги — 20 коп.». Федор протянул старику полтинник.

— Шысдыят нада, — сказал тот. — Цына такая. Пара — тридцать.

— Ну извини, батя, — сказал Федор, — я ведь вон куда смотрел.

— Надбавка за качество, — возразил чистильщик.

Федор дал ему рубль — острота тоже чего-нибудь да стоила. К тому же старик этот со своими приговорками был частью и как бы даже фирменным знаком настоящего, подлинного юга, не приглаженного для курортников. Про него тоже можно будет рассказать потом Левке и Виктору Ивановичу.

Федор взял пиджак на руку, помог Зое выбраться из свитерка и подождал, пока она достанет из сумочки большие и круглые, с зелеными стеклами очки.

Еще не было восьми, но солнце уже работало.

Так начался для них юг.

Снимать комнаты Федор любил и умел. Он не брал, что предлагают, не вслушивался в зазывные голоса хозяек на перронах, потому что по универсальному опыту знал: хороший товар не рекламируют. Пройдя вместе с Зоей вдоль поселка, он сориентировался сразу и точно.

Домики вдоль дороги отпали без раздумий — шумно и пыль. Выше по склону, почти не видные из-за зелени, тоже негодились — от моря далеко. За рынком, за большим мандариновым садом, проглядывались еще какие-то крыши. Но это была глушь, предместье, не для них. Без недостатков оказалась одна только коротенькая улочка, ведущая от турбазы к морю.

Федя выбрал домик посимпатичней, из красного кирпича, прорезанного по швам белилами.

— Годится?

— Тут, наверное, все занято,— неуверенно проговорила Зоя. Он махнул рукой:

— Не август!

Хозяина, крупного благодушного армянина, звали Самвел. Говорил он, улыбаясь, чуть медлительно:

— Москвичи? Уважаю москвичей! Живите. Что надо — пожалуйста. Посуду берите. Черешня есть. Вино есть. Клубника, извиняюсь,— он прижал ладони к груди,— на базаре есть.

Они бегло осмотрели комнату — две кровати, вешалка, стол, еще кое-какая мелочь,— после чего Федор сказал:

— Люкс. То, что надо. Вот она — Зоя, а я — Федор. Так что — будем!

Он протянул руку Самвелу и с удовольствием убедился, что рука у него тоже крепкая, жестковатая, с немалым резервом силы. Ничего мужик!..

Им повезло — сразу на дороге поймали такси и минут через десять распаковывали чемоданы в почти незнакомой, но уже своей комнате. Им все больше нравился этот тихий домик на бойком месте: минута до моря, минута до рынка, минута до автостанции. Окно выходило на ручей, по здешнему реку — поток метров шесть шириной, весь размочаленный камнями.

— Миссисипи,— усмехнулся Федор,— в глубоком месте, пожалуй, и по колено будет.

Но вода текла весело, брошенную Зоей щепку унесла в момент и вообще была хороша той же бессмысленной, непрактической красотой, что и море, и небо, синее до смешного, будто на детском рисунке, и зеленые горы, большие и неуклюжие, как слоны в посудной лавке, массивными крупами оттеснившие к самому морю узенькую полоску земли.

Он положил ладонь Зое на плечо и сдержанно поинтересовался:

— Ну — ничего?

Самому Федору здесь нравилось. Но почему-то было гораздо важнее, чтобы понравилось Зое, словно все вокруг — и горы, и вода, и тихий домик, и благодушный Самвел с его медлительной речью — было заранее предназначено ей в подарок.

Девушка взглянула благодарно, и Федор почувствовал редкое удовлетворение жизнью и собой. Все же дарить приятнее, чем пользоваться!

Вернулись в комнату. Федор спросил Зою, хочет ли есть. Она мотнула головой.

— Тогда переоделись и на пляж?

Женщина оказалась хозяйственной. Пока Федор рылся в вещах, она достала из сумки не только купальник с полотенцем, но и большую махровую простыню. Держа в руках купальник, Зоя растерянно смотрела на Федора.

— Давай! — поторопил он, не отворачиваясь.— Быстро. Одна минута.

Но голос был хриплый, будто сорванный!..

На пляж они вышли часа через полтора. И здесь чувствовался не сезон: народу было мало, играли не в преферанс, а в подкидного, и женщины были немолоды и толсты.

Минут десять Зоя молча смотрела, как море строгают кромку берега, отбрасывая на гальку белую стружку. Потом расстелила простыню, легла на живот и отключилась, словно приступив наконец к долгой, приятной, но и достаточно сложной работе, требующей полной отдачи и внимания.

Федор сел на простыню рядом.

Он чувствовал себя странно и беспокойно.

От начала отпуска до этой минуты он был человеком, хоть и не полностью, но все же подневольным. Обстоятельства давали команду, от Федора требовалось лишь точно и с выдумкой ее выполнять.

А теперь все эти надобности кончились.

Дальше что?

Ощущение было такое, словно начальство внезапно заболело или убыло, не оставив никаких указаний.

Федор огляделся. Море было чистое, без дымков, без корабля на горизонте. Наверху, по шоссе, шли редкие машины. Справа, за рынком и турбазой, поднималась треугольником довольно большая гора с какими-то развалинами на вершине.

Надо будет на гору сходить, подумал Федор.

Зоя лежала ничком. Он положил ладонь ей на бедро. Она подняла глаза вопросительно, но не удивленно. И внезапно чуть не до слезы тронул этот неувиденный взгляд, как бы признававший право его ладони на ее бедро, хозяйскую власть Федора над ее маленьким стройным телом.

Его женщина...

— Лежи,— сказал он,— я так...

Прежде чем уйти с пляжа, они окунулись, а Федор и поплавал немного. Вода была вполне терпимая. Но он не жадничал: отпуск длинный, успеется.

И здорово же было прямо в мокрых плавках, бросив на плечо полотенце, идти домой. Вторая калитка от моря. Что-что, а снимать комнаты он умеет!

— Переоделись — и осваивать город! — скомандовал Федор, когда они вошли.

Для начала освоили парк. Он лежал сразу за речкой, но обходить пришлось стороной, через мост. Парк был маленький, но парк — со всем необходимым и кое-чем дополнительным: пальмы, клумбы, дорожки, скрипящие галькой, цепь словно игрушечных прудов с мостиками над протоками. В вольерах под деревьями томились горные козы, небольшой грустный олень и пара павлинов. Трое курортников, две женщины и мужчина в соломенной шляпе, стояли у самой сетки, ожидая, пока большой ленивый петух распустит веером то, что осталось от хвоста. Старуха в грязном фартуке, засыпавшая животным корм, ворчала громко:

— Из живых рвут! Вот у самих бы повыщипать...

В заросших прудах ходили стаи темно поблескивающих карпов. Перед мостиками они застывали, как пассажиры на остановке, — ждали мзду от проходящих. Им крошили булку или лаваш, и солидные, толстые, чуть не метровые рыбины скопом кидались на случайную и скромную поживу.

— Совсем ручные! — восхитилась Зоя.

Впрочем, как Федор и заподозрил, общение человека с фауной этой трогательной платоникой не ограничивалось: в ресторанчике на сваях в меню был жареный карп.

Тут же, «в поплавке», и пообедали.

Официант не шел долго, однако, подойдя, протянул даме меню с поклоном, грациозным по-южному.

— Стоп! — сказал Федор. — Для начала познакомимся. Мы сюда надолго.

Официанта звали Гурам.

— Годится,— кивнул Федор. — Значит, обедаем только у тебя.

— Всегда рад,— сказал Гурам и изобразил на лице удовольствие.

Зоя выбрала самое дешевое из вторых блюд. Федор, усмехнувшись, заказал самое дорогое — и себе и ей. Официант отошел. Девушка проговорила неуверенно:

— Но я, правда, не очень люблю цыплят.

Он отмахнулся:

— Не морочь мне голову...

Потом освоили рынок. Он был по-весеннему бедноват: еще не настала пора фруктов и не настала пора покупателей. Все же ряды не пустовали. На длинных деревянных столах лежали крупные красные яблоки с черными пятнышками червоточин, пучки редиса, плоский желтоватый сыр, тугой, как резина, другой сыр — ноздреватые шары в мокрой холстине, банки с медом, с кислым молоком... И поодаль, под навесом, главная приманка базара, первый аванс приближающегося лета — корзины черешни и клубники.

У девочки вспыхнули глаза, когда он потащил ее под навес, и погасли, когда спросил цену.

— Не надо,— сказала она решительно,— я вообще люблю яблоки. Ну, грамм двести, на пробу...

Федор полез за деньгами.

— Я же тебя прошу...

Он взял по два килограмма клубники и черешни: больше не лезло в газетные кульки. Когда с добычей выходили с базара, Зоя подавленно проговорила:

— Если ты хочешь, чтобы я была спокойна... Я верю, что ты миллионер, но никогда не надо мне это доказывать.

— Не понимаю,— удивился Федор,— я-то при чем? Пока мы живем на твои деньги.

Она не выдержала, хмыкнула. Но шагов через десять все-таки нашлась:

— Знаешь, я не могу быть ни первой твоей женщиной, ни последней, ни тем более самой лучшей. Так пусть уж я буду самой выгодной.

Федора позабавили эти ее слова, и движением ладони, лежавшей у нее на загривке, он так и показал, что юмор ценит. Но в нем уже закипало свое.

— А с ними что делать? — спросил он и потер палец о палец. — На книжку класть? Ну, а потом? Ведь я там не на заработках, это жизнь моя проходит, пойми. До шестидесяти я строитель, больше никто. Каждые пять лет новое место, все с нуля, гарнитуры заводит глупо. И ресторанов у нас там нет. Так что одиннадцать месяцев в году я эти деньги зарабатываю — и всего один, чтобы потратить. Это мне нужно, понимаешь, мне! — Он вдруг спохватился, что почти кричит, потерял запал и пробурчал мрачновато: — А для меня, может, самое большое удовольствие за весь отпуск — увидеть твою морду по уши в клубнике...

Видимо, на девочку произвел впечатление этот взрыв: уже дома, когда перемытые ягоды в двух мисках стояли на столе, Зоя спросила без осуждения, скорей даже с сочувствием:

— Ты часто кричишь на подчиненных?

Он твердо ответил:

— Никогда. Крик — признак слабости. Давлю в себе.

— А на ком отыгрываешься?

— На начальстве,— усмехнулся Федор.

Это была не шутка, а полуправда: на начальство он время от времени кричал, даже если не было нужды и не слишком хотелось. Это были типичные представления, и Федор их не любил. Но на стройке у Матвея так было принято. Уважались зубастые мужики, и приходилось хоть раз в квартал демонстрировать зубы.

За ягодами Зоя разошлась. Она всю уписывала клубнику, но самые лакомые ягоды скармливала Федору. Отмахнуться не удавалось — девушка тут же совала клубничину в раскрытый для возражения рот.

Прежде чем прибрать со стола, она со вздохом погладила себя по животу, поцеловала Федора в щеку и почти шепнула ему в ухо:
— Делай, как тебе лучше, только очень прошу: не швыряй лишнее, ладно?

И уже на пороге с мисками в руках с ухмылкой бросила через плечо:

— Я ведь твоя любовница, а не содержанка.

В первый же вечер они «прописались» — купили бутылку водки, бутылку вина и пригласили за стол хозяина. Он поблагодарил, прижав к груди обе ладони, и принес еще две бутылки своих.

Зоя немного встревожилась. Но темное вино пилось легко, оно здорово шло под черешню и солоноватый местный сыр. Бутылки пустели незаметно.

Водка осталась нетронутой.

Вечер был теплый, пили в садике перед домом.

— Ну, и как тут вообще? — спрашивал Федор. — А, Самвел?

Они уже были на «ты».

Хозяин задумался, морща лоб, его крупное лицо стало серьезным и значительным.

— Понимаешь, — сказал он, — если вообще, то ничего. Летом весело, зимой скучно. Но если вообще, — он сделал паузу и поднял палец, — то ничего.

— У вас дети есть?

Это вставила Зоя.

— Иначе зачем жениться? — удивился Самвел. — Четыре сына есть.

— Учатся? — спросила Зоя.

На вид хозяину было лет сорок.

— Один учится, — ответил Самвел. — В Туапсе. Двое в армии. Еще один со мной. Техникум кончил. Мастер по холодильникам. Лоботряс. Весь день в шахматы играет. Доску я запрю!

— Ну, а с работой тут как? — поинтересовался Федор.

— С работой неважно, — сказал хозяин. — Я, например, заведу тиром. Вон, где кипарисовая аллея. Приходи стрелять. Садик есть — тоже руки нужны... Нет, с работой неважно.

Он посмотрел в сочувственные глаза Федора и успокоил:

— Но если вообще, то ничего!

В это «вообще» он вкладывал какой-то особый, значительный смысл.

Попозже пришел сын, высокий парень с худым красивым лицом. Он выпил стакан за квартирантов, назвав их гостями, извинился, прижав к груди обе ладони, и ушел.

— Насквозь вижу! — стараясь построже, сказал Самвел. — Женщина! Черт знает, куда идет. Черт знает, когда придет. Утром встать не может. Лоботряс!

Видимо, слово ему нравилось.

— Хорошее у тебя вино, — похвалил Федор.

Он мог пить все, что надо, но чтобы с таким удовольствием, получалось редко.

Самвел поднял лицо кверху и вытянул палец:

— Вот эта лоза.

Федор вгляделся в мешанину плетей, прутьиков и листьев. Вся эта густая, тяжелая на взгляд масса зелени лежала на тонких трубах каркаса, образуя как бы крышу над их столом.

— А я думал, декорация, вьюнок.

— Лоза, — сказал Самвел. — Старая, самая сладкая. Триста литров дает.

— Ну, еще по стакашку? — предложил Федор. — Чтоб дольше давала!

Приняли еще по стакашку.

Потом, дома, они лежали рядом в темноте, в медленно остывающей комнате. Хвалили вечер, хвалили вино и хозяина.

— Нормальный мужик, — говорил Федор. — Лет сорок пять, не меньше, а хоть один седой волос заметила? Вот только чего он здесь сидит? Я бы не мог. Пульки в тире выдает. Разве работа для мужика?

Голос его был неспешен и вял от блаженной усталости.

— Зато четверых детей вырастил, — задумчиво отозвалась Зоя. — Море рядом. Нервы спокойные.

— Так-то оно так, — вслух размышлял Федор. — И вино над головой. Натуральное хозяйство... Да нет, неплохо, конечно. Но все равно странно. Не укладывается в башке. Здесь родился, здесь и умрет. Ты бы могла так?

Она ответила не сразу:

— Не знаю. Если с любимым человеком...

— А разница?

— Очень большая. Если счастлива, зачем искать что-то другое? Мне кажется, с места на место в основном ездят люди несчастливые.

— Ты уж строителей не обижай, — беззлобно усмехнулся он.

— У вас работа такая, — рассудительно возразила Зоя.

— Умница, — похвалил он девочку за покладистость и, слегка повернув голову, чмокнул в угол рта.

Но прерванная мысль Зою не отпускала, помолчав, она задумчиво произнесла:

— Раньше ведь все так жили. Крестьяне, например... Где родился, там и умрет. Наоборот, уезжать не хотели. Наверное, в этом тоже что-то есть: всю жизнь в одном месте и с одним человеком. А у них тут, может, до сих пор традиция такая.

— Армяне вообще стоящий народ, — сказал Федор. Ему было слишком хорошо, чтобы рассуждать логично. — У меня механик армянин. В группе у нас парень учился, так и звали — Армик. Интересный был малый — смуглый, красивый, девчонки висли, сил нет. Так он себе лицо бритвой изрезал. Надоело ходить в красавчиках. Он все учиться хотел, а давалось трудно. Месяц, наверное, рубцы гноились.

— А что с ним сейчас?

— Не знаю. Двенадцать лет прошло. Про ребят более-менее слышу, а вот Армик этот, как в воду...

— Страшно все же, — вздохнула она.

— Что?

— Вот так, лицо изрезать...

— Наверное, допекли.

— Ты бы смог?

Федор невесело усмехнулся:

— Необходимости не было. Я в красавцах никогда не числился. Зоя сказала:

— Нет, ты красивый. У тебя красивые глаза.

— У меня? — не поверил Федор. — Это Самвелу спасибо за вино.

Зоя зашевелилась, стараясь повернуть его лицо к окну, к лунным отсветам.

— При чем тут вино? — сказала она. — Я еще в Москве заметила. Живые и умные. Даже когда ты глупости говоришь, глаза умные... Я как-то стихи слышала, не помню чьи: «У вас такие красивые глаза, что их можно носить на пальцах».

— Нравятся — бери, — пробурчал Федор с усмешкой, кривой от смущения. — Хорошему человеку не жалко.

— Даришь?

— Дарю.

Зоя привстала, наклонилась над ним, он почувствовал на лице ее дыхание и невольно опустил веки.

— Нельзя,— произнесла она с сожалением.— В глаза нельзя — к разлуке...

И тут же, резко вздрогнув, припала к нему — из черного парка донесся жуткий, знобяще-пронзительный крик, словно бы кошачий, только грозней и громче.

Федор крепко прижал девочку к себе:

— Не бойся, это павлин. Я их в Сочи слышал...

Но она еще долго не могла успокоиться. А когда понадобилось пробежать в конец двора, попросила глуховато:

— Ты постой на крыльце, ладно?

Май уже набрал силу, стояли жаркие дни, и море теплело буквально на глазах. Теперь они плавали вдвоем. Но главной Зоинной работой по-прежнему оставался загар: под солнцем она лежала подолгу и ровно, быстро темнела.

Федор тоже втянулся в медлительный отпускной ритм, почитывал газетки на пляже, поигрывал в шахматы, ходил в тир к Самвелу пострелять. Монастырь на склоне они уже освоили, в ресторан «Эшера» съездили, часа два провели в знаменитой пещере. Упрямо лезли в глаза развалины на фоне облаков, и Федор виновато думал: на гору бы надо сходить... Но на гору не хотелось, хотелось на пляж. Хотелось полистать футбольный еженедельник, посплетничать со случайным соседом о шансах киевлян и «Торпедо», погладить Зою по загорелому плечу и, слегка оттянув резинку на узких ее трусиках, похвалить за контраст между белой и темной кожей.

Самвел, выдающий пульки в тире, выглядел теперь рядом с облевившимся Федором деловым и даже расторопным мужиком.

Приятно было после пяти, когда жара спадала, вдвоем бродить по поселку, ища пищу глазам. Оказалось, что многое вокруг стоит внимания. И не так уж глупо болтаться перед вольтером с большим неуклюжим петухом: ведь можно жизнь прожить и не увидеть непоторимого на Земле чуда — распущенного павлиньего хвоста...

Как-то они с Зоей забрели во двор маленького, со старыми корпусами, санатория. Сейчас, в не сезон, тут, видно, лечились одни пожилые. Парами и компаниями они сидели на скамейках, сложив на коленях большие банные полотенца, и вели неспешные, солидные разговоры: о процедурах, о ценах на рынке, о нервах, о гипертонии.

Скамейки под деревьями были удобны и обособлены. Федор с Зоей тоже заняли одну.

Федор слушал громко толкующих старичков, смотрел на их потерявшие форму лица, отвисшие животы и думал, что сам он таким не будет никогда. Конечно, от возраста не убежишь. Но ведь и стариться можно по-разному. Тут у Федора был четкий пример для подражания — Егор Егорович Густынин, седой крепыш, прораб без скидок, хозяин на площадке, главный человек за столом, охотник и «морж», всю зиму купавшийся в проруби. Три года назад, как раз в шестьдесят, он женился на тихой тридцатипятилетней бухгалтерше, имел теперь девочку двух лет и грозил, что на дочкиной свадьбе еще перепляшет жениха. А что, может, и перепляшет, какой жених попадется...

Зоя тронула Федора за руку.

— Смотри, как здорово...

Федор проследил за ее взглядом, но ничего особого не увидел. Просто мальчик и девочка играли в пинг-понг. Причем играли так

себе, шарик часто падал. Ребятишкам было лет по четырнадцать, оба худые и болезненные, впрочем, крепких кто бы и пустил в санаторий посреди учебы? У парня шейка была тонкая и длинная, а курчавая девочка в майке и джинсах, казалось, не имела ни бедер, ни груди. Так что Федор не ощутил ничего, кроме неловкости здорового человека перед больными детьми.

Но потом что-то в их простенькой игре стало притягивать.

Вот мальчик кинул шарик на угол, но не сильно, и девочка достала. Он ударил в другой угол — и опять так, чтобы она достала. И лишь после этого нежно положил шарик у самой сетки, так что курчавая девочка почти легла на стол с воплем азарта и отчаяния.

— Ну, Борька! — крикнула она возмущенно. А он в ответ ласково засмеялся.

Затем он стал нарочно кидать шарик ей на удар. Девочка била, а он доставал и опять давал ей легкие «свечки».

— Ну, Борька! — кричала она. А мальчик посмеивался.

— Правда, забавно, — сказал Федор Зое.

И вдруг понял, что именно притягивало его в прыжках и криках девочки, в легких, словно гладящих шарик движениях паренька.

Это был разговор о любви. Без слов, без взглядов, без прикосновений, без веками опробованных символов — объяснение с помощью случайного, только что возникшего языка, который исчезнет, как только кончится партия. Тогда они изобретут новый, другой. А пока белый шарик метался между ними, как ласковое слово, его стежки будто пришивали ребят друг к другу, и Федор, сидевший в стороне, чувствовал, что и ему важно, чтобы невидимая нитка подольше не рвалась...

От этого зрелища настроение у Федора не то чтобы испортилось, а словно осело. В чем дело, он не понимал. Лишь позже, во время ужина, пришла в голову неожиданная и довольно тоскливая мысль: что тогда в поезде, ночью, он себя здорово обокрал, прыжком, как через канаву, перемахнув через разные, давно не испытанные радости — ну, хоть поддержать девочку за руку...

В общем-то это было нелепо и просто смешно — ему же не четырнадцать! Федор понимал это прекрасно. Но настроение все не расслабывалось. И дома, когда листали перед сном пылившиеся у Самвела «Огоньки», Федор, постепенно совсем раскисший от досады, тоски и нежности, вдруг ляпнул без всякого повода:

— Слушай, я тебя вот что спросить хочу: ты на меня не обижаешься?

Она удивилась, даже журнал отложила.

— За что?

Федор понимал, что разговор этот глуп и бестактен, что затевать его нельзя. Но мучительно хотелось понять что-то и объяснить — то ли ей, то ли себе...

— Вообще... Может, веду себя не так, — глухо забурчал он. — ну... замуж вот не предлагаю... Просто...

Он отвел глаза, поискал слово и вдруг отчетливо понял, что нет таких слов, что он дурак да еще сволочь, потому что, кроме обиды и боли, вся эта говорильня ничего не принесет. Федор замолчал — но что толку было теперь в его молчании! Уже сказанное висело над ними, над ее побледневшим лицом... И неожиданно самым важным оказалось защитить ее от этой подлой, вероломной боли, — важней, чем все его планы...

Вновь, как тогда, в поезде, его обдало сквозящим холодом большой потери и, смирившись с ней как с неизбежностью, Федор твердо сказал:

— В общем. если ты хочешь...

И тут он услышал смех.

Он поднял глаза и увидел, что Зоя смотрит на него и смеется, а взгляд у нее снисходительный.

— Ты чего это вдруг? — спросила она. — Вот уж удивил! Решил выполнить свой долг? Спасибо, но ни к чему.

Она поцеловала его в щеку.

— погоди, — невольно отстранился он, путаясь в происходящем. — Ты чего смеешься?

— Спасибо, что об этом заговорил, — серьезно сказала она. — Правда, спасибо. Но это совершенно ни к чему. Ты хорошо ко мне относишься?

— Отвечать? — хмуро буркнул Федор.

— Ну, вот и слава богу. Пойми — это все, что мне нужно. И ничего больше. Я — твой отпускной роман. Девочка на две недели. Я это прекрасно знаю, знала с самого начала. И меня это полностью устраивает.

Он скривился от грубой точности ее слов, хотел запротестовать, но Зоя опять улыбнулась:

— Ты боишься за меня? Не бойся. Пить уксус я не стану. И, кстати, мне есть за кого выйти замуж. Помнишь, я тебе говорила? Это не на худой конец — я его уважаю, мы прекрасно понимаем друг друга... Ну ты же знаешь, какая тебе нужна жена? Так вот я знаю, какой мне нужен муж.

Опять улыбнулась и объяснила:

— А ты для меня, как гонконгский грипп. Пока не переболеешь, ничего другого делать нельзя.

И ладонью придавила возражение, неуверенно рождавшееся на его губах:

— Все. Не надо. Обними меня.

Федора всегда удивляло, как быстро привыкают люди к угретым местам.

Сам он был легок на подъем, бытом не дорожил. В работе это оборачивалось дополнительным козырем: Федору было почти все равно, где провести ночь или неделю — дома, в общежитии на участке, в вагончике, в балкё. И почти все равно, чем глушить аппетит: воскресным обедом у Левки Горского или цвелым сухарем у трассировщиков, застрявших в болотистом мелкоесье. Левка, избалованный семейный человек, как-то сказал ему с завистью:

— Ну, ты и приспособливаешься! Где лег, там и берлога...

А здесь, на юге, привычки создавались из ничего, из случая, из полотенца, оброненного на песок. Приехал человек из какой-нибудь Воркуты, вышел впервые на пляж, положил штаны на ржавый камень, и камень этот стал его законным местом на весь отпуск, каждый день туда же...

Как-то Федору случилось три августа подряд отдыхать в Сочи в одном и том же санатории. И все три года одна и та же четверка резалась в подкидного двое на двое на все той же расколотой бетонной плите. Уже и не привычка — традиция...

На этот раз у них с Зоей тоже появилось привычное место: песочный островок среди гальки. Именно здесь они раскидывали свою пляжную подстилку. А справа и слева, на одних и тех же местах, ежедневно выгорали на солнце одни и те же плавки и лифчики.

Повыше, под обрывом берега, было место Володи и Севы, вежливых ребят, инженеров из Саратова. Они приходили загорать с книжками и шахматами, но интеллигентные эти занятия лишь на время

и не полностью заслоняли их главную заботу и жажду. Дважды в день, утром и после обеда, парни обходили весь пляж, словно караулы проверяли. Володя держал в руке карандаш, а Сева карточную колоду, выставляя ее на вид подчеркнуто, как некий символ. Парни заглядывали в лица лежащих мужчин, и глаза их светились жалкой надеждой.

— Третьего ищут, для «пули», — усмехнувшись, объяснил Федор Зое.

— Откуда ты знаешь?

— Преферансист преферансиста сразу видит. Это как алкаш алкаша в гастрономе.

Парни и к нему подходили. Он отрицательно мотнул головой.

— Ты разве не играешь? — удивилась Зоя.

— Да правила знаю, — ответил он скромно, — игру не порчу. — И, на ее вопросительный взгляд: — Не тот настрой. Преферанс — дело серьезное...

Играть он играл и очень даже прилично.

Как-то три недели он почти не отрывался от карт. Они вчетвером гоняли «пулю» за «пулей», под запись шли и листки из блокнота, и тетрадные обложки, и даже старые газеты. Было это в маленьком, сугубо мужском поселке, в деревянном, коек на двадцать, общежитии. Вертолеты не летали, погоды не было и не ожидалось, Федор безуспешно проторчал у радиста целый день, но зато вечером четыре распасовки он прошел без взяток. В единственной столовке неделю не менялось меню — зато ревизору из района на мизере удалось всучить восьмерку с «коллективом». В округе практически не было женщин: столовские старухи в счет не шли, — но зато самого Федора посадили на девятирной без двух: ощущение было неприятное, но сильное...

Эрзац, наркотик, заменитель радостей и страстей... Однако за три недели из всего общежития, пожалуй, лишь они, четверо, не запыли и не перессорились.

А здесь, на пляже, в тепле и довольстве, хватало и подкидного. Преферанс, как спирт в тайге, Федор берег на черный день.

Но как-то после обеда он вдруг заколебался и на искательную улыбку Севы чуть было не кивнул. И устыдившись, решительно сказал Зое:

— Все. Хватит филонить. Сегодня идем на гору...

Они пошли часа в четыре, жара уже спадала. Причем поднимались гораздо легче и быстрее, чем думалось внизу. Дорога шла полого, изломами, как трасса слалома. Они срезали петли, где тропой, а где и прямым по склону. Федор шел своим темпом, в охотку, на всякий случай предупредив:

— Начнешь уставать — кричи не своим голосом.

Но Зоя не отставала и не ныла, хотя на два его шага приходились ее три. Она смотрела вокруг возбужденно и жадно и даже отвлекалась на цветы, хотя для этого приходилось давать кругалю и нагибаться. Федор был удивлен и доволен: в девочке оказалось куда больше силенки и выносливости, чем он предполагал.

На каменистой площадке они остановились. Отсюда хорошо смотрелось море. Но, хоть окоем и раздвинулся, сверху оно вовсе не казалось таким уж огромным, наверное, потому, что его подковой охватывали горы, а горам конца не было. За первым их рядом, видным и с берега, теперь открылся второй, тоже зеленый, а дальше, совсем далеко, возникли снежные сугробы большого хребта. И перед этой высотой и далью море выглядело законченным и даже компактным: довольно ровный овал, обрезанный дымчатой линией горизонта.

Они сели на длинный камень, криво вылезавший из земли, и Зоя стала читать стихи — фамилии поэтов Федор раньше не слышал, да он и знал их мало. Одно ему понравилось — там говорилось, что любовь — это не слово и не взгляд, а просто ряд прикосновений.

— Здорово ухвачено! — восхитился Федор. И правда, его все время тянуло к ней притронуться...

Зоя уставилась на море и смотрела, не отрываясь. И вдруг, смешно увлекшись, стала рассказывать, какое это море красивое, как хороши бутылочный цвет у берега и синяя полоса со снежными кудряшками там, подальше. Она перечисляла цвета от белого до чернильного с таким наслаждением, словно маленькими глотками пила редкое вино. Лицо у нее было блаженное и хмельное.

— Ты подумай,— говорила она,— ну, почему так устроено — в одном месте столько красоты, а в другом пустыня или тундра. Мне кажется, тут люди вообще добрей: ведь они каждый день видят все это....

Федор не выдержал, расхохотался.

— Ты чего? — смутилась она.

Но он только крутил головой. Потом сказал:

— Люди везде люди. Здешним, наоборот, море надоело. Вот Самвел — затащи его в воду!

— Но ведь все равно красиво!

— Тундра не хуже. Или тем более тайга.

— Там нет моря.

— Зато озера какие! — возразил он.— Вот мы вели канал мимо Белого озера. Что там море! Вода — до доньшка! Пляж — песчинка к песчинке, как сахарный, не то что эти камни. Даже сравнить нельзя...

Она немного присмирела и с уважением глядела на человека, который видел озеро красивее моря.

— Вот так,— сказал Федор и потрепал ее по загривку.

Он и сам не понимал, чего так напустился на море. Обиделся за тундру? Видно, уже прижился на Севере, всяк кулик свое болото хвалит...

Или просто сработала мужская привычка — чтобы последнее слово за ним?..

Они поднялись с камня и пошли вверх по дороге. До развалин оставалось немного — два-три излома. Уже видно было, что это руины крепости, причем довольно большой — с толстой стеной, проломом ворот, с остатками башен и каких-то зданий внутри. Там же, во дворе, помещался маленький, поздней постройки, домик, явно обитаемый — на скамье, рядом с каменным колодцем, стояло чистое, почти новое ведро.

Они полазили среди развалин, пытаясь по фундаментам и кускам каменной кладки понять, где что было — где комнаты, где переходы, где башни.

От этой экскурсии Федору стало малость не по себе.

— Смотри,— сказал он,— как строили. Камень! Веков пятнадцать прошло, а кладка держится. А кому все это нужно? Строили, строили— и вот тебе результат.

Зоя пожала плечами.

— Наверное, им было нужно.

— Что ж, они для себя только старались?

Голос Федора звучал глуховато: ему больно было за древних соотечественников по ремеслу. Добросовестно молотили мужики — каждый камень облюбовывали. А раствор какой! И возить все это на гору. Ведь самосвалов да бульдозеров у них не было... А все равно — что осталось?

Зоя проговорила негромко:

— Каждое поколение прежде всего работает для себя, потом уж для других. Откуда они могли знать, что понадобится людям через триста лет? Или через пятьсот?

— Значит, и мы не знаем? — сдержанно поинтересовался Федор. Его задела эта логика.

— А разве знаем? Сейчас ведь все меняется еще быстрее. Моя подруга говорит: «Пока туфли из магазина несла, они из моды вышли».

Но Федора волновали не туфли. Он спросил:

— Ну, а допустим, дома, которые мы сейчас строим, сколько они, по-твоему, будут нужны?

Зоя подумала немного:

— Да лет двадцать будут. Может, даже тридцать.

Федор кривовато усмехнулся.

— Ну ладно, я человек свой. А вообще строителям такой глупости не говори — уши оборвут...

Из домика вышел старик, маленький, сморщенный и кривой. Он выплеснул на камни остатки воды и опустил ведро в колодезь.

— Давай помогу, отец, — сказал Федор и взял у старика веревку. — Источник? Дождевая?

— Из горы, — ответил старик.

Ведро шло вниз долго, удар о воду был дальний и глухой.

Тут же, на лавке у колодца, стояла алюминиевая кружка. Федор и Зоя напились — не из жажды, а из любопытства. Вода была чистая, холодная, с приятным и странным привкусом — камня, что ли?

Зоя поинтересовалась:

— Дедушка, сколько вам лет?

Старик распустил свои морщины.

— Мужчина спросит — девяносто шесть, женщина спросит — семьдесят шесть.

Федор автоматически отметил, что фраза хороша, не хуже болтовни чистильщика на вокзале. Но здесь, на горе, среди развалин, ему было все равно, что он станет трепать зимой о лете. Куски кладки валялись на земле, как разбитые надгробья. Говорят, стены переживают людей. Но вот они, стены, обрушенные и выщербленные. Немного же осталось от безвестно сгинувших мастеров!

Вниз шли по дороге. На первом же повороте постояли еще немного: жаль было расставаться с высотой. Красное солнце краем уже ушло в море, как монета в копилку, и поселок внизу покрылся густыми синими тенями.

Вид был красив, очень красив. И оттого Федор сказал еще упрямее:

— Нет. Белое озеро не хуже было. Круглое-круглое, и песок кругом. Про него какой-то писатель писал: «Серебряное блюдце с золотой каймой». Такое было озеро...

— Почему было? — не поняла Зоя.

Об этом вспоминать Федор хотел меньше всего, но вот попался на оговорке. Соврать? И врать девчонке не хотелось...

А озеро в самом деле было удивительное. Им хвастался весь район. На берегу его стояла большая чистая деревня, на лето туда вывозили пионерские лагеря.

Канал шел в стороне, мимо деревни и мимо озера. Причем участок там был сложный, с огромным объемом земляных работ. Канал вообще штука грязная: надо куда-то сбрасывать вынутый грунт, неизбежны временные, сопливые дороги, используют на трассе и взрывы... Даже Федору, начальнику, приходилось топить в глине резиновые сапоги. А если работают землесосы, тут уж ничего не подела-

ещь — по бокам канала остаются уродливые, ржавого цвета болота, остается мертвый кустарник с коричневой, склеившейся, закаменевшей листвой. Со временем земля втягивает в себя всю эту нечисть, сквозь глинистый пластырь пробивается новая растительность. Но строители, как правило, уходят раньше...

Пульпу от землесосов желательно отбрасывать подальше и в низины, чтобы рыжая жижа не подмыла береговые насыпи и не прорвалась обратно в русло. Бедой Белого озера оказалось, что оно лежало как раз в двухстах метрах от трассы — идеальный отстойник...

Когда к озеру потянулись толстые плети первых пульповодов, забегала общественность. Полетели письма в разные адреса. В районной газетке появилась заметка «В защиту Белого озера». Средне ответственный товарищ из райисполкома лично съездил к Матвею. Тот лишь развел руками: «Проект утвержден...» Он уезжал в отпуск и не без ехидства отослал ходока к Федору — пусть молодой перспективный руководитель разберется на месте.

Дальше так и шло: в газетке появилась еще одна заметка, а к озеру протянулся еще один пульповод.

Тогда на трассе появился корреспондент поопасней, уже из областного органа, молодой, бородатый и хитрый. Он все петлял вокруг Федора, одно и то же заставлял повторять по пять раз — видно, вытягивал какие-то нужные для статейки фразы. Но Федор этого печальника родных пейзажей видел насквозь. Видел, что плевать ему и на озеро и на пионерлагеря, а важна только собственная статейка и шум вокруг нее. А так как в статейку все же не хотелось, Федор старался вообще ничего не говорить, только кивал, поддакивал да сообщал технические данные. Тут уж старался: цифр побольше и вразброд, пусть бородатый поломает голову! Вообще прикинулся честным, но туповатым хозяйственником: мол, все сознаю, но прав не имею — есть команда. Уж очень его злили эти мудрецы, начиная с Матвея, норотившие кто поразвлечься, кто прославиться за его счет.

Газетчика он все же обошел. В конце концов тот настолько потерял бдительность, что даже спросил благодушно, не отрывая ручки от блокнотика:

— Ну, и когда же начнется осквернение озера?

Федор с дубоватой решимостью возразил:

— Озеро осквернять не будем!

— То есть как? А пульпу куда же? — Бородатый опешил и даже побледнел. Все его замыслы летели.

— Изыщем возможности.

— Но ведь четыре плети уже смонтированы...

— Вы печать, — сказал Федор. — Огромное влияние. Если в течение двух дней пробьетесь в министерство — дадут команду. А возможности изыщем.

— А-а, — успокоился тот. — Ну, это уж я все силы приложу. Все, что зависит... А так, значит, через два дня?..

Потом Федор видел его в столовой. Малый уписывал гуляш, пил компот, но время от времени вилка в его руке застывала, губы шевелились впустую, а глаза хищно вспыхивали — видно, придумывал гневные фразы.

Неожиданно тронул Федора старик учитель, который долго сидел в конторе, пережидая посетителей, а потом не напирал, не скандалил — говорил, как бы даже стесняясь:

— Вы знаете, ведь и деревня наша ставилась когда-то только из-за озера. Ну, лагеря, допустим, переведут — хоть такого места в районе больше нету. А нам как жить?

И спросил не столько с укором, сколько со странным, почти сочувственным интересом:

— Ну, а вам-то самому неужели не жалко озера?

Федору жаль было озера, еще больше жаль старика, но он знал и другую правоту. Да, озеро красиво. Но и канал будет красив. И красиво оптимальное инженерное решение. И даже итоговая смета, из которой, словно усилением богатырской ладони, отжато все не-обязательное.

— Завтра вызову главк,— сказал Федор старику просто потому, что в тот момент хотелось его хоть чем-то обнадежить. Но он уже знал, что главк вызывать ни к чему, что перемотировать пульповоды долго и хлопотно и что заниматься этим никто не станет. Знал, что послезавтра утром пульпа хлынет в озеро, и желтая примесь начнет быстро расплываться по чистой воде, все увеличиваясь в объеме, пока чистая вода сама не станет казаться примесью в вязкой жиже...

Так вышло, что на этот участок Федор попал лишь недели через три. К тому времени все кончилось. Озера больше не было— была огромная жижистая лужа, густая и бурая, как свежая коровья лепешка. Берег, ближний к каналу, тоже был загажен, на траве, на песке темнели липкие потеки. А деревня, стоявшая лицом к этому отстойнику, казалась нежной, брошенной...

— Вот так и вышло, — невесело выговорил Федор. Конечно, рассказывал он покороче, без лишних подробностей, но в памяти-то подымалось все...

— И ничего нельзя было сделать? — спросила Зоя сочувственно и тихо.

Федор вздохнул с досадой.

— Ну, чего тут сделаешь? Это же десятки тысяч! А главное, время — озеро нам неделю сэкономило, не меньше. Утвержденный проект — почти закон. На любую мелочь визы собирать. Кто станет бегать? Была бы стройка помельче, областная... А каналы, знаешь, где утверждают? На тех картах Белого озера вообще нет.

— Но на твоей-то карте оно было?

Федор посмотрел на Зою спокойно — уж смотреть-то спокойно он в любых ситуациях умел. Вот и опять его сбила невозмутимая реплика, неожиданная, как подножка. И опять, прежде чем ответить, Федор пытался понять: зачем ей это? Ищет истину? Отстаивает право на самостоятельную мысль? Просто кусает за палец, как играющий щенок? Или по коварной женской потребности испытывает на прочность?

— На моей карте было, — согласился Федор и медленно, почти лениво, кивнул. — Но знаешь: есть такое понятие — масштаб. Вот ты, например, варвар, убийца. Не веришь? Смотри, вот ты сделала шаг...

Он поймал глазами ее исцарапанную босоножку. Зоя тоже посмотрела под ноги и остановилась.

— Сделала шаг, — повторил Федор, — и миллион микробов отдал концы. Тоже живые существа! А ведь не остановишься, как шла, так и дальше пойдешь. И убийцей себя не считаешь. Масштаб в твою пользу!

Она слушала с неуверенной полуулыбкой.

— Когда ведут канал, — сказал он веско, — страдающих полно. Там пахотные земли заболотили. Там поселок отрубили от фабрики. Там у уважаемых товарищей дачи — нельзя ли их как-нибудь обойти... Приходится решать сразу — или идти, или микробов жалеть. Будем добрыми или построим канал. Я строитель, поэтому я строю. А добрые пишат на меня жалобы.

Все это прозвучало слишком серьезно, и Федор добавил напористей и веселей:

— Ну, вот представь: идет поезд, а гражданин курит у окна, и кепку у него ветром вытянуло. Что же, поезд останавливать? Конечно, кепку жаль. Но, увы, масштаб!

Федор уверенно улыбнулся, и девочка поступила так, как ей и положено было поступать: послушно, будто замороженная, улыбнулась в ответ.

Порядок был восстановлен. Они вновь двинулись вниз. Федор обнимал Зою за плечи, и ее легкое тельце бездумно подчинялось любому движению его руки.

Но внутренне Федор все не мог успокоиться: царапала душу непроизвольно вывернувшаяся издалека ассоциация с улетевшей кепкой. Только тогда был не поезд, а грузовик, обшарпанный «газик», дребезжавший из поселка на станцию. Сидели на узлах и корзинах бабы в ватниках и жакетах, дремал на лучшем месте, спиной к кабине, инвалид войны Пашка, однорукий, вечно пьяный, то и дело отлучавшийся из поселка — по слухам, он пел и побирался в пригородных поездах. А у заднего борта, рядом с чужой бабкой, обещавшей за ним присмотреть, тряся на досках восьмилетний Федор.

Когда у него то ли сдуло, то ли стяхнуло кепку, бабка робко ахнула.

— Да как же ты так, держать надо! Что мамка-то...

Она причитала почти шепотом: ее шофер взял бесплатно.

Инвалид Пашка вдруг вскинулся:

— Чего?

— Да я мальчику, мальчику, — засуетилась бабка.

— Кепку у парнишки унесло, — сказала одна из женщин.

И вдруг Пашка единственным кулаком задубасил в фанерную крышу кабины.

— Стой! — кричал он пронзительно. — Стой, мать твою...

Шофер тормознул, высунулся.

— Ну, чего там?

— Стой! — все орал Пашка, хотя грузовик и так стоял. Прямо по узлам инвалид пробрался к борту, соскочил на землю, качнулся и нескладно, смешно побежал назад по дороге.

— Уеду! — пригрозил вслед шофер.

— Я те уеду, мать твою!

Пашка вернулся с кепкой, сам надел ее на Федора и провозглашил, вздымая руку:

— За товарища душу отдам! Нас, мужиков, мало осталось, и должны мы друг друга понимать. — После чего вновь привалился к кабине и дремал до самой станции...

Зоя вдруг спросила:

— А если бы канал шел вдоль моря?

Это уж была просто фраза. И Федор, не раздумывая, ответил на нее тоже просто фразой:

— Это какое море и какой канал. Ты вот для интереса поспрошай у местных — куда у них канализацию сбрасывают...

А инвалид Пашка через год умер. Упал на улице перед поселковым магазином и, пока бегали за фельдшером... Фельдшер, сам фронтовик, объяснил его смерть непонятно: осколок пошел...

— Чего мрачный? — спросила Зоя.

— Я-то? Да нет, на облака загляделся, — сказал Федор. — Интересные облака. Вон то, например...

Он ткнул пальцем в небо, и Зоя, задрав голову, стала разглядывать облака. При этом они продолжали спускаться. Кончилось тем, что она споткнулась и рассадила колено. Федор сел на камень, девочку поставил перед собой и, сплевывая, высосал грязь из ранки. При этом он держал Зою крепко, чтоб не раскачивалась, ворчал, что вот

послал бог альпиниста, и несильно шлепал, когда переступала с ноги на ногу. Никогда прежде он не думал, что это так здорово — когда девчонка поранит ногу...

Он уже знал про себя, что с Белым озером тогда промелочились, угробили зря. Ну, какая там вышла экономия? Тысяч пятнадцать—семнадцать. В масштабах канала — крошки. И за эти копейки Белое озеро заплатило собой.

А сколько оно стоило, Белое озеро?..

Колено девочке он перетянул носовым платком. Она протестовала — подумаешь, царапина, стоит пачкать платок.

— Все-то ты меня учишь жить,— сказал Федор.

За ночь сменилась погода.

Ложались при чистых звездах, и уже совсем перед сном Зоя сквозь окно выискивала для Федора угластую Кассиопею. Ему созвездие понравилось — оно походило на кусок лестничного марша. Уснул Федор, улыбаясь, и спалось ему легко — мерещилось что-то ровное, прохладное, успокаивающее, вроде дождя за форточкой.

А утром он увидел, что и вправду дождь: за ночь ветер-«моряк» привел непогоду. Тучи были не страшные, бледные и не очень большие. Но пришло их много, они тянулись медленно, как плоты по равнинной реке, и просветы между ними были не синие, а молочные.

Надолго, подумал Федор.

Он в плавках вышел на крыльцо, глянул на горы и увидел, что на склонах уже осела облачная масса, плотная и серая, как ватин.

Когда он вернулся, Зоя лежала, натянув одеяло до губ, и смотрела в окно.

— Ну, проснулась? — сказал Федор. — С дождичком тебя.

Она молчала и не двигалась. Только взгляд шевельнулся: на Федора и снова к окну.

— Странно все-таки,— проговорил он, вновь забираясь под одеяло.— Ведь отличное место. А пошел дождь — и все. Разве что в кабак пойти.

— У меня идея,— сказала Зоя, закончив фразу то ли вздохом, то ли зевком.

— Ну?

— Давай вообще не вставать.

— Как так?

— Лежать — и все. Тебе горячий завтрак обязательно?

— Перебьюсь.

— Тогда поедем дома и будем лежать, пока дождь не пройдет.

— Лежачая забастовка? — спросил Федор благодушно. Чем больше угревался он под одеялом, тем привлекательней казалась Зоина идея.

— Ага.

— А чего будем делать?

— Разговаривать.

— Это можно,— согласился Федор.

Он немало думал над жизнью и в принципе любил поговорить. Любил поспорить, честно, от души — проверить свои мысли чужим придирчивым взглядом.

Но такие случаи выпадали редко. То времени не было, то голова забита другим, то собеседник неподходящий. Для настоящего разговора нужно что? Чтобы никто ни от кого не зависел. Просто человек и человек — иначе не разговор, а дипломатия. А диспуты в компаниях — их Федор вообще всерьез не принимал: там не говорят откровенно, а выступают, каждый старается себя показать.

Раньше Федору казалось, что и женщины для серьезного разговора не годятся никак. Но с этой, не знающей о жизни почти ничего, как ни странно, получалось...

На подоконнике стояла миска с яблоками. Федор переставил ее на табурет между кроватями. Зоя взяла самое большое и чистое яблоко, покрутила за ножку, любуясь, но есть не стала — протянула ему. Из-под одеяла на секунду выскользнула маленькая грудь со смешным коротким соском.

— Ешь, — проговорил Федор, мягко оттолкнув руку с яблоком, — это твое.

Зоя заупрямилась, и в конце концов он ребром ладони расколол яблоко пополам.

— Ну, и о чем будем говорить? Что тебя на свете интересует?

— Так слишком далеко, — сказала Зоя. — Я к тебе сяду, ладно?

Он кивнул, а потом стал смотреть, как она тянется за его рубашкой — она любила носить его вещи, хоть и тонула в них, как взглядом спрашивает разрешения надеть, как вылезает из-под одеяла, бочком, неловко, будто невзначай полуприкрыв то, что ей хотелось прикрыть. Федору нравилось, что она по-прежнему стесняется его, и нравилось, что стесняется стесняться.

Зоя влезла в рубашку чуть не с коленями, завернулась поплотней, закатала рукава и села у него в ногах, сунув ступни под одеяло.

— Знаешь что, — попросила она, — расскажи о женщинах, которых ты любил.

— Вон чего захотела! — попробовал отшутиться Федор. — Это долго рассказывать.

— Пусть долго, — храбро согласилась она.

— А зачем тебе?

— Хочу тебя знать.

— М-да, поставила задачу... — протянул он. — Ты бы хоть накормила сначала.

Она встала — его рубахи хватило до колен — и принесла из кухонки тарелки и свертки с едой.

— С чего ж тебе начать, а?

Но Федор решал не эту проблему — все было проще.

Что рассказывать-то? Про первую свою женщину? Второй курс, вечеринка, за парнями — вино, за девушками — закуска, пять человек и шестой он, позванный для комплекта в последний момент. Еще когда звали, ясно было, что они с незнакомой девушкой должны друг другу понравиться, более того — пара, иначе все разладится, вечеринка пойдет вперекос...

Про жену? Ножом бы выскоблил память о ней!

Про теперешнюю, в Мостках, заведующую почтой, молчаливую, осторожную разведенку, у которой Федор иногда при опущенных шторах пьет чай и остается просто потому, что люди они взрослые и свободные?

Зоя накрывала на стол аккуратно и красиво, как для гостей, даже пристроила среди тарелок два крупных белых цветка в молочной бутылке.

— Понимаешь, — сказал Федор будто нехотя, — ну, вот был, например, один случай...

Да, пожалуй, всего один случай и был.

Федор смотрел, как из-под Зоиних рук ложится на тарелки крупно резанная редиска, узкие ломтики белого тугого сыра, хлеб, густо намазанный маслом, с жаркими пятнами аджики, — и видел другой стол, другие тарелки, другую, не южную еду: большие соленые огурцы, тертая редька, колбаса, жесткая, дешевая, но порезанная и разложенная так же красиво, и суп, неотразимо пахнущий грибами на всю

избу... Изба была большая, старая, под той же крышей клеть, сеновал и хлев — ночами в тишине слышалось, как шевелится, как вздыхает корова. Хозяйка, старуха, уехала куда-то лечиться, доить корову прибегала ее невестка, сама уже немолодая. А в избе квартировали две учительницы, подружки, молодые специалистки — сразу после института.

Одна из них любила Федора.

Он был тогда молод, двадцать четыре года, первая зима на первой стройке. В деревню, большую, но дальнюю, Федора послали строить базу — склады, общежитие, мастерские. Он поехал с двумя мужиками осмотреться и забить жилье для остальных — на неделе обещали забросить бригаду, а там и вторую.

Но что-то на стройке перекрутилось, рабочих задержали, и чуть не месяц Федору пришлось кантоваться в странной роли полковника без полка. Он так и жил у учительниц — девчонки были гордые, языков не боялись. Да и кто в деревне знал толком: как эти трое городских размещаются и ладят между собой в большой разошедшей избе?

Деревня была небогатая, перед полками сельпо охватывала тоска. Но как же старались девчонки, как вспоминали и придумывали разные блюда, как всерьез обсуждали, у кого из соседок творог свежей, а редька слаще.

— Мужчину надо ублажать, — говорили они, и огурчики всегда были только что из рассола, а щи непременно со сметаной, а кислая капуста — с клюквой и крошеными яблоками, а если Федор притаскивал бутылку, то ее не ставили на стол без миски соленых груздей.

Где доставали? Доставали...

Утром звонил будильник, и та, что любила Федора, нехотя отрывала теплую щеку от его плеча, приподнималась, и рука ее, плавно выныривая из-под одеяла, прерывала слабеющий звон. Потом девушка вновь закрывала глаза и минут пять лежала неподвижно, словно привыкая к мысли, что уже утро и надо вставать.

— Как неохота идти, — жаловалась она шепотом, чтобы не тревожить подругу, спавшую за стеной. И принималась мечтать, рассказывать себе утреннюю сказку: вдруг из-за морозов занятия отменены, и можно еще поспать. Но потом все же поднималась, наскоро пила чай... Она любила ребят, школу, но не любила рано вставать.

Наклонившись, она целовала Федора и убегала. Он засыпал снова: ему торопиться было некуда. А часа через два просыпался окончательно и потягивался так, что хрустело в груди. До чего же здорово спалось тогда! До чего же здорово вставалось!..

Подруга вела английский, уходила обычно к одиннадцати. Она и кормила Федора завтраком. И, глядя, как он ест, рассказывала, какой Танька замечательный человек, какая добрая, какая стойкая, если надо. Не затем старалась, чтобы взял замуж, а затем, чтобы ценил...

Подруга была спокойная, ровно веселая, в разговоре сильно «окала». Она росла в большой семье, к хозяйственным обязанностям привыкла и несла их легко. Вот только приукрашивать себя опыта не было. Татьяна сама придумала ей прическу, сама постригла по тогдашней моде «под мальчика» и сама выкрасила короткие волосенки в мягкий медовый цвет. В общем-то симпатичная была девчонка, а главное, свойская, и к Федору относилась хорошо — только ревниво следила, чтоб Таньку любил.

Но он и вправду любил — за ее к нему любовь, за легкий характер, за теплую щеку на плече, за такую свойскую, такую славную подружку, за весь удивительный уклад их жизни, за крохотную республику в рассыхающейся старухиной избе.

Он и сам втянулся в этот быт, проникся его значительностью и охотно гонял в соседнюю деревню за рыбой к бакенщику, и еще дальше, к леснику, местному любителю, за медом, слежавшимся в тяжелые рыжие комки. И растапливать печь было удовольствием, и колоть дрова — радостью. Водку Федор приносил редко — не тянуло. Но если уж она возникала, то пилось легко — как все было легко в то неповторимое время.

Иногда вечерами смотрели в клубе кино. И девчонки перед выходом внушали Федору, что вести их надо не в обнимку, а под руки: они ведь учительницы, и если дети увидят... Учеников они называли детьми: «Представляешь, ребенок отвечает правильно, и вдруг...»

Бригаду наконец прислали, потом подъехала и вторая. Теперь Федор поднимался вместе с Татьяной, а домой приходил последним, уже в темноте: упущенное время надо было наверстывать, и они с парнями регулярно прихватывали сумерки.

Возвращение Федора с работы обставлялось как маленькое событие. Девчонки с непроницаемыми лицами разыгрывали целую сцену, и если Татьяна, например, валялась с книгой, подруга кидалась к ней с громким испуганным шепотом:

— А ну, вставай быстро, лентяйка несчастная! Ты что, не видишь — мужчина пришел?

Девчонки любили читать вслух стихи. Им нравились слова смутные, нежные, дымчатые. Федор стихами не увлекался, но кое-какое представление все же имел.

— Есенина «Письмо к женщине» случайно не помните?

— Мужчину надо улаживать, — говорила Татьяна, разводя руками, и взглядывала на подругу. И та, тоже разведя руками, начинала нараспев:

— Вы помните, вы все, конечно, помните...

Еще у них был черный рижский транзистор, чудесная машинка, и поздним вечером, когда в деревне отключали движок, так здорово было в темноте крутить тугое колесико, изредка нажимая кнопку подсветки — не для того, чтобы разглядеть цифры на шкале, а просто чтобы порадовать глаз слабым, лунным светом цивилизации. Шумело, хрюкало, булькало... Сидя втроем на широкой кровати, слушали музыку, легкую, как вечер в красивом большом городе, или литературную передачу, или любую другую — лишь бы не прерывалась цепочка гладких, разумно связанных слов... Хорошая штука — транзистор!

В деревне укладывались рано, в восемь она уже пустела, стихала, лишь некоторые окна светились допоздна — ребятишки готовили уроки. По субботам на задворках возникали малые столбики дыма — топились баньки. По слухам, мылись больше семьями, все вместе — места были староверские. Хотя скорей всего обычай давно выдохся, оставив по себе полулегенду.

У старухи бани не было, девчонок пускала в свою невестка. Смех смехом — как-то пошли в баньку втроем. Местным можно, а мы что, хуже? Федор треп этот всерьез не принимал, чесал языком, как все, — но не ему же первому отступить?.. В тесном предбаннике хитрил — шарил по карманам расческу, перекадывал с места на место сигареты и, разуваясь, долго путался в шнурках, поставив ногу на порожек, лицом к низкой двери. Он все-таки застеснялся, остался в трусах. А когда обернулся — в желтоватом масляном свете, на широкой выскобленной лавке уже жили, уже двигались две белые фигурки...

От раскаленной каменки несло стойким сухим жаром. Плавно взлетал веник, и березовые листки падали на пол, в котел, в ведра с холодной водой. Татьяна полулежала на лавке как-то боком, длинные волосы были отброшены вперед, в шайку с водой. На подругу Федор

старался не смотреть — ее взгляд был неподвижен, а лицо горело кирпичным румянцем почти непереносимого стыда.

— А пар-то где? — немного осмелев, спросил Федор.

— Мужчину надо ублажать, — говорила подруга. Тон был невозмутимый, но плотное ее тело было напряжено, словно удара ждало. Она выплескивала на камни ковш холодной воды, и с минуту у очага нельзя было стоять, пока пар, смягчаясь, не восходил к потолку.

Постепенно Федор освоился, деловито таскал из предбанника ведра с холодной водой и только чувствовал, как горячо сердцу от любви к этим, таким родным девчонкам, от тревоги за них — хоть бы жилось им как следует...

В бане стало чутко холодной. Федор решил показать девчонкам настоящий пар — плеснул в каменку два ковша кипятку. Показалось мало — тут же плеснул третий.

Секунду погодя стало нечем дышать, жар сдавил легкие и еще прибывал. Татьяна приникла к щелочке в крохотном окне. Подруга зашла на вдохе, схватилась за грудь.

Федор бросился в предбанник, сдернув крюк, толкнул дверь. В глаза ударила темнота, чуть проступил сквозь нее снег, и в баньку стал втягиваться спасительный холод. Девчонки бросились к этой живой волне, жадно дышали. Федор, дурачась, стал выталкивать их наружу, на снег — а ну, как деды парились... Девчонки, приглушенно смеясь, отбивались:

— С ума сошел, мы же учительницы!..

А ночью, лежа на его руке, Татьяна шептала с тревогой и болью:

— Слышишь, Ленка плачет. Ты знаешь, она уже несколько раз плакала. Сейчас, рядом с нами, ей особенно тяжело. Ну, скажи, разве это справедливо? Ведь хорошенькая, а человек какой! И еще никто ее не любил. Двадцать два года — и ни намек. У меня есть ты, а у нее никого. И ведь ничем не хуже меня, наоборот, лучше... Ты понимаешь, она нам не завидует, она не такая, но ей так плохо!..

И они говорили, говорили о Ленке, о том, что по сдаче мастерской Федора отзовут, но в мае он непременно напросится сюда снова, и не один, а с товарищем, хорошим парнем, мечтали, как им вчетвером будет здорово, как летом на выходной станут уходить в тайгу...

Федор уехал в конце января. Девчонки просили прислать цветной бумаги для учебных стендов, шампунь для сухих волос и две книжечки модных поэтов. Бумагу и шампунь Федор выслал сразу, стихов не нашел. Зато письма писал довольно регулярно, всегда передавал привет Ленке и обещал приехать, если не в апреле, то уж в мае-то наверняка.

Но выбраться к лету он не смог: его рывком, через ступеньку подняли в должности, к строящейся базе он теперь отношения не имел, а заикаться об отпуске в горячке навалившихся дел было бы просто по-детски...

...Федор рассказывал все это довольно сбивчиво, куце. А тут вздохнул и вовсе замолчал.

Зоя сидела, уткнув колени в подбородок, — ждала. Но он развел руками — все.

— Она красивая была? — спросила Зоя.

— Тогда казалось — красивая. Если объективно, пожалуй, обыкновенная. Просто было что-то...

Поискал слово — и не нашел.

— А почему потом не встретились?

Федор пожал плечами. Почему не встретились?.. Он уже не помнил, по какой причине высохла переписка. Да что там причина! Мо-

лод был и дурак, вот и все. Казалось, жизнь только еще разворачивает перед ним свою бесконечную скатерть-самобранку. Если бы знать тогда, что и на ней блюда считанные...

— Так уж повернулось,— невесело сказал Федор.— Фортуна.

И тут же вскинулся — в памяти сразу возникло тело, почти лежащее на банной скамье, волосы, упавшие вперед, желтые блики на плечах, на лопатках...

— Смотри! — удивился он.— Все вспоминал, на кого она похожа. Знаешь, на кого? Я картину видел, не помню, чья,—Фортуна, богиня судьбы. Летит, в чем мать родила, и волосы такие золотистые. У нее, правда, были потемней, и летать — не летала, но что-то общее есть.

Зоя слушала, задумавшись.

— Интересная картина,— сказал Федор.— Представляешь — волосы должно бы ветром назад относить, как в жизни, а у нее вперед. Впереди нее летят.

— Это, наверное, символ такой. Чтобы люди были смелей. Она ведь богиня удачи. Пролетела мимо — и все, за волосы уже не схватишь.

— Хорошо, хоть у тебя волосы назад,— сказал Федор.— Все-таки успел ухватиться...

Фраза показалась ему слишком обязывающей — разговор наклонился к опасной черте. И Федор быстро, почти без паузы, перевел на другое:

— Вот что у нас с тобой здорово: что друг от друга не зависим. Свободны. Вместе не потому, что должны, а потому, что хотим. Самое лучшее!

Это прозвучало вымученно и довольно фальшиво. Но девочка даже бровью не повела:

— Конечно, лучше свободы ничего нет.

Непогода не продержалась и суток. За ночь тучи разбросало, утром над горами истаивали последние. Песок во дворе перед домом высох и посветлел, день обещал быть вполне пляжным.

Но Зоя неожиданно затеяла стирку.

— Давай все несеное,— приказала она,— рубашки, плавки, носки — все давай.

— А может, не стоит?— заикнулся было Федор.— С кем-нибудь из соседок договоримся. Да и хозяйка на днях приезжает.

— Еще не хватало! — возмутилась Зоя.— У тебя что, своей женщины нет?! Ты уж меня, пожалуйста, не позорь.

Она быстро собрала грязное, покидала в таз, поставила на плитку ведро с водой, и стирка стала для Федора неизбежностью.

— А ты иди на пляж,— сказала Зоя,— на наше место. Я приду через час. У тебя есть пять рублей?

— Есть,— засмеялся он и дал ей десятку.

Она появилась на пляже через час с небольшим и отдала Федору четыре рубля с мелочью.

— С тобой не разоришься,— ухмыльнулся он.

Они долго плавали в уже прогретой, почти летней воде. Повезло с весной, думал Федор, да и вообще повезло.

Потом он прошелся по пляжу, а Зоя тем временем загорала, старательно, как всегда, даже, пожалуй, с еще большей тщательностью, словно сегодня выполняла особо кропотливую работу, не терпящую легкомыслия и суеты.

Когда Федор подошел, спросила:

— У меня хороший загар?

Он уже привычным движением оттянул резинку на трусиках:

— Люкс! Знак качества. Как мороженое-ассорти: снизу белое, сверху шоколадное. Теперь тебя хоть всему пляжу показывать.

Может, эта высокая оценка привела ее в совсем уж хорошее настроение, но, когда обедали в «поплавке», Федор даже удивился Зоной покладистости: ему без борьбы удалось скормить ей самое дорогое, что было в меню,— порцию икры и цыпленка-табака, которого она обглодала до косточки. А с официантом она кокетничала так, что Гурам, причмокивая, закатывал глаза, топорщил усы и даже при волок им с уже накрытого банкетного стола вазу с огромным букетом. Правда, недоверчивый Федор, уже совсем было выйдя из ресторана, обернулся и увидел, как Гурам торопливо тащит букет обратно...

Позже, когда на пляже заканчивалась вторая смена, Зоя попросила:

— Давай поужинаем, как я хочу, ладно?

— А как ты хочешь?

От объяснений она уклонилась:

— Ну давай!

Федор благодушно улыбнулся ее настойчивости:

— Не смею спорить.

Было смешно и приятно, что им, взрослым и не слишком привыкшим подчиняться, сегодня командует девчонка.

Они вернулись домой. На спинках кроватей, на стульях висело уже высохшее белье. Зоя включила утюг и принялась гладить.

В общей атмосфере комнаты и прихожей Федор уловил некую праздничность и, приглядевшись, понял, в чем дело.

— Ты что, полы вымыла?

Она объяснила, не отрывая глаз от утюга:

— От стирки вода теплая осталась, не пропадать же добру.

«У тебя что, своей женщины нет?» — вспомнил он ее утреннюю фразу. Почему же нет? Есть. Маленькая, но женщина...

— Ты чего смеешься? — спросила она.

— Да так, — ответил Федор.

Погладив, она аккуратно сложила вещи: свои — на один стул, его — на другой. Потом сходила на кухню и принесла с десятков пакетов и пакетиков, которые принялась укладывать в хозяйственную сумку из толстого пластика.

— А ты отвернись, — сказала она Федору. — Ну, пожалуйста.

Он отвернулся и сидел так минуты три, пока не услышал:

— Все.

— Собрала котомку?

— Ага. Пойдем.

— Куда?

— Ну пойдем. Ты же обещал.

Федор поймал ее, обнял, поцеловал в губы, в грудь, в жилку на горле. Потом поставил на ноги, отпустил и сказал:

— Ну, пошли. Командуй.

Небо было еще светлое, и горы светлы. Но в саду между деревьями уже накапливались сумерки.

Зоя повела его не к центру поселка, а к окраине — мимо рынка, большого сада на склоне горы и деревушки чуть подальше. Котомка была объемиста и тяжела даже на вид, Федор отобрал ее и понес сам.

— Ты на меня ни за что не сердись? — вдруг спросила Зоя.

— Я на тебя? — изумился он.

— Ну, ладно, это я так спросила... Здорово, что мы именно сюда поехали, правда?

— Отличное место, даже не думал никогда.

— Ты любишь Гогена?

— Я его плохо знаю,— сказал Федор. В музее, в залах импрессионистов, он был лет пять назад, и от Гогена в памяти осталось немного: какие-то деревья, кажется, пальмы, и на желтом песке женщины с грубоватыми коричневыми телами.

— А я очень люблю,— призналась Зоя.— И картины и дневники. Всегда мечтала попасть на остров Таити. Море, пальмы, и люди никогда не ссорятся. Остров любви. А теперь мне кажется, Афон не хуже.

— Наш советский Таити,— сказал Федор.

Они прошли деревню и двигались вдоль дороги по узкой ровной полосе между берегом и близко подступившими горами.

— Ты меня не в Москву ведешь?

Она засмеялась:

— Нет, уже рядом. Помнишь, с горы смотрели?

Впереди виднелось нагромождение камней, обрывающееся прямо в воду.

— Где-нибудь здесь,— сказала Зоя.

Между двумя нависающими выступами она углядела что-то вроде пещеры и там расстелила, достав из котомки, все ту же пляжную простыню.

— Только выстирала и опять испачкаешь?

— А пусть! — ответила она.

Было уже темно. Но ночь угадывалась светлая: взошла большая, почти полная луна, и проступали в постепенно густеющей мгле многочисленные звезды.

Котомка совсем отошла. Зато на простыне, как на скатерти, уже лежали кружком бутерброды, яблоки, все тот же местный сыр, зелень и маленькие грудки черешни и клубники. Появилась и бутылка вина.

— Ах ты алкоголик! — сказал Федор.

— Это Самвела вино,— объяснила Зоя.— Все-таки до чего хороший человек! Я хотела купить, а он деньги — ни в какую.

— А стаканы? — спросил Федор.— Послал бог собутыльника.

Зоя ответила спокойно:

— Они не нужны. Нас же только двое.

— А ты умница,— не сразу, тихо проговорил Федор.

В него вдруг проникло все происходящее: этот вечер, уже перешедший в ночь, большая луна, одинокая груда камней на пустом берегу, экономное пиршество на пятерку с копейками, бутылка вина только для двоих...

Слишком хорошо все это было, слишком трогательна была девочка, хлопочущая над простыней. И, садясь на гальку рядом, Федор буркнул, чтобы не распускаться:

— Остался сегодня наш Гурам без чаевых...

Они ели бутерброды, сыр, зелень, по очереди пили из горлышка вино, почти черное в темноте. И так было здорово, что Федора даже не тянуло к ее губам,— хватало их тепла на горлышке бутылки.

— Никогда еще не купалась ночью,— сказала Зоя,— даже в реке.

— Не замерзнешь потом?

— Я взяла полотенца.

— А купальник, плавки?

— Нас же только двое,— ответила она...

Фары проезжающего грузовика на повороте потеряли дорогу и провели у них над головами дымчатую полосу — словно длинная метла подняла светлую пыль.

Девочка скинула одежду и первая пошла к воде.

Федор сказал ей в спину:

— Ты сейчас, как таитянка в белом купальнике.

Она засмеялась, ступила в прибой и сказала, обернувшись:

— Знаешь, а сейчас оно действительно черное.

Входить в воду было нелегко из-за камней. Но они не стали искать дна поровней и не стали уплывать подальше от берега. Как большие смуглые рыбы, они петляли среди огромных глыб, поросших водорослями и лишь слегка прикрытых сверху морем, а то и вовсе выпирающих наружу при спаде волны. Они сцеплялись руками и вновь расходились, негромко окликавая друг друга. Иногда Федор брал ее на руки, проводил губами по затылку, плечу или щеке и вновь мягко опускал в мягкую воду.

Потом Федор все же отплыл подальше, но оказалось, что там не глубже, а мельче,— в море лежала целая скала, поднимаясь почти вровень с поверхностью. Камень был гладкий и скользкий от длинных водорослей, покрывающих его, словно густая и нежная шерсть.

Он лег животом на камень, и море сперва, качнувшись к берегу, повернуло Федора чуть набок, а потом, откатываясь, вновь положило на грудь.

Девочка окликнула его. Федор разглядел в воде светлое длинное пятнышко и очень тихо то ли позвал, то ли попросил:

— Иди сюда...

Потом, уже дома, в темноте, Зоя спросила:

— Тебе сегодня весь день было хорошо? Только честно.

— Честно? — переспросил Федор.

— Ага.

Он сказал:

— Теперь и умереть не обидно.

А утром, за завтраком, затеялся довольно напряженный разговор. Федор спросил, собирается ли она учиться дальше, Зоя отвечала что-то беззаботное, и он, сам толком не понимая, зачем, стал сурово выговаривать ей за легкомыслие.

— Нельзя жить минутой,— убеждал он,— даже самой лучшей минутой. Завтра техникум или институт будут минимумом, как вчера таблица умножения, а сегодня десятилетка. Век профессионалов! Мужа можешь сменить через год, или сам уйдет — пожалуйста! А профессия,— он с силой потряс перед грудью кулаком,— это на всю жизнь.

Зоя слушала благодушно, не переставая снимать влажные клубничины с черенков. И так же благодушно высказалась в том смысле, что человек, не умеющий жить счастливой минутой, вообще не будет счастлив, потому что жизнь вся складывается из минут.

Федор почувствовал раздражение. Задевала даже не суть ее слов, а именно это благодушие, поза, выражавшая довольство и лень, губы в клубнике и, главное, интонация, в которой сквозили снисходительность и тайная подначка. Федор резко, почти грубо прервал ее разглагольствования:

— Да чушь все это! Детский бред!

Зоя засмеялась и поцеловала его в щеку, отчего Федор еще больше разозлился и, пока шли на пляж, весьма едко объяснял ей, как надо молотить, чтобы чего-нибудь в жизни добиться или хотя бы не зависеть от фокусов судьбы.

Видимо, Зоя почувствовала себя виноватой, потому что стала подлизываться.

— Почему ты не играешь в преферанс? — спросила она, едва они разлеглись на своем песчаном островке.— Я же вижу — хочется. И пе-

ред ребятами неудобно. Им скучно, смотрят на тебя, как собака на кость.

— «Пуля» — дело долгое, — сказал Федор, — часа три, а то и четыре. Она дернула плечом:

— Ну и что? Я буду за тебя болеть.

Большой рыхлый Володя и черненький поджарый Сева расчертили лист мгновенно, и пальцы у них дрожали от возбуждения, как у алкоголиков перед первым стопарем. Условились по копейке — парням было все равно, хоть на щелчки, лишь бы играть. Азартный Сева, сдавая карты, не закрывал рта — он был весь набит преферансными поговорками, одинаковыми по всей огромной стране, от Бреста до Магадана. Он сразу же остался без взятки на семерной, но утешил себя тем, что первый ремиз — золото.

Федор быстро понял, что парни — любители средней руки, и, значит, играть можно без напряжения, рисковать, а при случае и похулиганить. Он взял почти безнадежный мизер и чудом вылез.

— Везет в карты — не везет в любви, — тут же пригрозил Сева.

— Да, уж тут хвастаться нечем, — вздохнул Федор и потрепал Зою по загривку. Она засмеялась. Толстый Володя взъерошил свои белесые волосенки и объявил шесть пик.

— Под игрока — с семака, — проговорил Сева и пошел с семерки.

Федору везло, настроение совсем выправилось.

— На шашлык выиграли, — сказал он Зое, — теперь надо на пиво.

Семь бубновых!

— Кто играет семь бубен, тот бывает побежден, — подхватил Сева, на ходу приспосабливая сугубо мужскую поговорку для нежных ушей. И, повернувшись к нерешительно причмокивающему Володе, произнес назидательно и веско: — Под вистуза ходят с туза. А нет хода — не вистуй!

Зоя поцеловала Федора в висок и шепнула:

— Я домой сбегая — и назад.

— Ага, — кивнул Федор, — давай.

Карта была так себе, но он сделал хитрый снос и надеялся выкрутиться.

— По Малинину и Буренину, — задумчиво пробормотал Сева, — товарищ без унции. Точно, как в аптеке...

— Будем играть, — возразил Федор.

Он обернулся и увидел Зою, идущую по пляжу с платицем через плечо. Она тоже оглянулась и, махнув ему, чмокнула воздух. Он шевельнул губами в ответ и тут же покосился на ребят. Но те были прочно заняты картами. Сева морщил лоб и бурчал:

— Если играть по-игроцки...

«Пуля» оказалась неожиданно длинной. Карта изменила, и пришлось повозиться. Зоя так и не появилась, и, кончив играть, Федор пошел домой.

Настроение было что надо. Выигрыш оказался копеечным, рубль двенадцать, но преферансные копейки идут по особой цене. Не заработал и не выпросил — загадочная богиня удачи сегодня мимоходом поцеловала его в лоб или, как говорил в таких случаях Левка Горский, отсыпала семечек. Федору было жалко парней, особенно Севу, — ему все время не везло, к концу он совсем скис и даже поговорки отставил. Но что делать! Фортуна. За волосы не поймаешь...

Хозяин возился в саду. Федор махнул ему рукой.

— Уже? — сказал Самвел.

Что именно «уже», Федор не понял и на всякий случай ответил универсально:

— Долго ли умеючи...

В комнате никого не было. Федор вышел на крыльцо и крикнул:

— Зою не видел?

Самвел отложил грабли и разогнулся.

— Как не видел, — сказал он, — видел. Попрощались.

— Почему попрощались? — вновь не понял Федор. Но тревога уже вспыхнула в нем.

— Ты разве не провожал?

Федор бросился в комнату и теперь сразу заметил у себя на подушке тетрадный листок, придавленный маленьким плотным букетиком не то тюльпанов, не то нарциссов — Федор не разбирался в цветах. Он схватил записку и пробежал глазами через три строки на четвертую. Потом, отвернув свисающее одеяло, заглянул под ее кровать — еще была надежда, что все это не всерьез. Но нет, оказалось всерьез — Зоино чмоданчика не было.

Федор сел на свою кровать и сказал сам себе:

— Своеобразно...

Потом снова вышел во двор и уже спокойно спросил Самвела:

— Давно уехала?

— Два часа, — сказал тот, — полтора часа... Ничего не сказала?

Федор подумал, что, пожалуй, в глазах хозяина выглядит глупо: мужик, от которого сбежала девчонка. Такое впечатление надо было ликвидировать, и Федор решил эту задачу — ответил неторопливо:

— У нее отпуск кончился. Вот, устроила сюрприз. Завидная женщина — провожать не надо.

Самвелу фраза понравилась или сделал вид, что понравилась. Он подхватил со смехом:

— Это ты правильно! Хорошая девушка! Москвичка! Провожать не надо!

— Ладно, — сказал Федор, — прошвырнусь. Парни вроде «пую» затевали.

Но от калитки он свернул не к пляжу, а к шоссе и там махнул первой же легковушке в сторону вокзала. Затея была глупая, Федор сам знал, что глупая, и, пройдя пустым вокзалом на пустой перрон, не испытал особого разочарования. На всякий случай еще выспросил в кассе, что поезд ушел вовремя и что билеты были — просто чтобы поставить точку.

Ну что ж, подумал Федор, красиво развязала, молодец. Ни слез, ни пустых обещаний, ни жалких слов. Записка, придавленная букетиком. Красиво развязала!

Он вспомнил, что записка так и валяется на кровати. Но это его не встревожило: Самвел без надобности в комнату не заходил, а зайдет, читать не станет.

От мысли, что все закончилось так красиво, Федор почувствовал некоторое облегчение. Конечно, все было здорово, и ничего не хотелось кончать. Но ведь все равно пришлось бы. Федор представил себе возможную сцену — и скулы свело от слов, которые он, наверное, вынужден был бы произнести. Умница, милая девчонка. И белье перестирала напоследок, и полы вымыла, и эту тяжесть взяла на себя. Записка и букетик...

Он подумал, что на обратном пути в Москве обязательно надо будет ее найти. Адреса не помнил, но неужели не найдет? Зайдет вечером, попросит вызвать — тоже будет сюрприз. Бульвар, переулок, еще переулок... Хм... Бульвар-то какой? Ходили вместе, за дорогой не следил... Хотя у него где-то телефон записан, проще всего позвонить...

Ладно, сказал себе Федор, все. Кончили. Надо вперед глядеть. Девочка уехала — зато появилась свобода.

Он перекусил в шашлычной-стоячке и снова пошел на пляж. Володя и Сева ждали его жадно.

— Мы думали, ты с выигрышем в Москву драпанул,— сказал Сева. Он уже отошел после утреннего невезения и вновь был полон азарта и надежд.

Расчертили новую «пулю». И опять Федору везло, так что настроение быстро поднялось, хотя и не до прежней, утренней точки. Он стал «звонить» не хуже Севы, стал хулиганить, в конце пошел на совсем уж нахальный мизер, хапанул четыре взятки и при расчете оказался в минусе. Но такой проигрыш не огорчил: ощущение риска стоит денег.

Да и вообще Федор был доволен, что проиграл: эти парни из Саратова тоже люди и тоже хотят уходить после игры с поднятым носом и улыбкой от уха до уха. Вот как сейчас Сева — все зубы наружу, глаза горят, в десятый раз хвалится, что последний мизер разыграл, как в лучших домах Филадельфии...

— А вечером что, мужики? — спросил Федор.

Парни рассеянно пожали плечами: их еще не отпустила та счастливая игра.

— Не везет в картах, везет в любви,— утешил партнера Сева... Поужинал Федор в «поплавке».

— А где дама? — скособолил голову Гурам.

— Отпуск кончился,— сказал Федор,— в Москву уехала.

— Ах жалко,— искренне огорчился Гурам.— Красивая девушка.

Позавидовать можно.

— Конечно, жалко,— ответил Федор.— А что делать? — И прикрыл тему словами какой-то песенки: — Потерял одну, так пять найдем!

— Десять найдем! — тут же согласился Гурам, но голос был прежний, огорченный. Чувствовалось, как ему жаль, что Зоя уехала, как понимает он Федора, но еще понимает, что не к лицу мужчине убиваться о женщине, даже такой хорошей, как эта.

Выйдя из ресторана, Федор задумался и автоматически, привычным плавным движением поднял правую руку — и уронил, потому что под ней не оказалось Зоиногo плеча.

Надо бы чего-нибудь сообразить, подумал Федор. Теперь, после ресторана ему захотелось побыстрее с кем-нибудь познакомиться, чтобы не ощущать одиночества за столом и вот этой пустоты под правой рукой.

Он вернулся домой, надел свой новый костюм с матовыми пуговицами и вышел. Записка так и лежала на кровати, перечитывать ее Федору не хотелось. Он прошелся по парку и по набережной, впервые в Афоне внимательно вглядываясь в женские лица.

Кадры надо изучать, подумал Федор и усмехнулся.

Толпа была жиденькая и в основном возрастная. Тем не менее попадались и молодые женщины. Но вдохновения у Федора не вызвала ни одна. Ни одной не хотелось не только положить руку на плечо — даже заговорить желания не возникло.

Он услышал музыку и пошел на нее. В маленьком санатории были танцы. Федор постоял за скамейками. Справа, сразу за кругом, виднелся стол для пинг-понга — тот самый, по которому тогда ребята гоняли шарик. А между Федором и столом, передвигаясь крупными шагами, танцевала танго немолодая пара: он был в черном двубортном пиджаке и соломенной шляпе, у нее на локте покачивалась сумка, выходная, но большая, как хозяйственная.

Федор снова вышел на набережную и сразу натолкнулся на Володю с Севой. Большой Володя рыхлым кулем сидел на парапете, Сева стоял рядом, постукивая ботинком об асфальт — словно бил копытом.

— Ну что, мужики, клюет? — спросил Федор, останавливаясь рядом.

Сева только махнул рукой.

— А там как? — спросил Володя, кивнув в сторону музыки.

— Бодяга, — скривился Федор.

— А девочка твоя где?

— Отпуск кончился, — объяснил он, — уехала.

«Отпуск кончился» — это была хорошая формулировка...

— Может, в дом отдыха сгоняем на танцы? — предложил Сева и повел взглядом наверх, в сторону бывшего монастыря.

— Скука там, — отозвался Володя.

— А где веселей? — спросил Сева раздраженно. Видимо, разговоры эти велись у них не в первый раз.

— Ну салют, мужики, — сказал Федор, — спать пойду. До завтрашней «пули»!

— Оно бы и сейчас неплохо, — вслед ему намекнул Сева.

Но Федор не остановился. Картежничать вечерами на юге — это уж последняя стадия.

Вот тебе и Таити, подумал он. В Сочи хоть в цирк сходить можно...

По дороге он заглянул к Гураму, взял две бутылки водки и дома прилично набрался с Самвелом. Тот вновь притащил своего вина. Но сейчас Федору хотелось именно водки.

Он обычно не хмелел. Да и сейчас опьянение было странное: мысли в голове не путались, а, наоборот, становились определенной и резче. Он вдруг отчетливо понял, что завидует Самвелу, и так и сказал:

— Завидую тебе — четырех мужиков вырастил.

— Ты тоже вырастишь, — утешил тот. Пил он немного и без особой охоты, больше из уважения к гостю.

— Пока мои дети народятся, твои внуки в школу пойдут, — проговорил Федор с горечью, вполне реально представив, что может получиться именно так.

Тут же понял, что жалуется, устыдился и, чтобы не томить хозяина, сказал:

— Ну, ладно, давай по последнему, по полному — за Зойку. Чтобы ей ехалось легко.

— Это правильно, — охотно поддержал Самвел. — Хорошая девушка. Москвичка.

Они приняли по последнему, и Федор пошел к себе. В комнате он сел на свою кровать. Никаких дел больше не было, и заслониться от тоски было нечем.

Ровная стопка его белья, выглаженного Зоей, все еще лежала на стуле. Федор хотел спрятать белье в чемодан, но передумал, не стал. Стоит ли затеваться с делом, которое все равно кончится через минуту...

Он вдруг вспомнил и, рывком вытащив свой чемодан, разбросав вещи, с надеждой бросился шарить по всем своим карманам: искал тот киношный билет с оторванным контролем, на котором когда-то в Москве нацарапал ее телефон.

Он искал, но синей бумажки не было. Выбросил? У Лобарева оставил? Да нет, ведь тогда ей из автомата звонил...

Он перетряхнул бумажник — и тут наткнулся на обособленную пачечку денег. Четыре десятки и пятерка. Федор разом сник — словно каркас вынули.

— Так, — произнес он вслух, — вот и разбогател...

К глазам подошли слезы. Федор сдержал их без труда, одним напряжением бровей. Но потом подумал: а какая, собственно, разница? Он расслабил брови, и комната в глазах задрожала и поплыла.

В нем словно сорвались какие-то замки и крючья, и все, что сдерживалось, разом полилось и покатилося, захлестывая, сбивая, круша. Все перепугалось — что он понял сейчас и что думал раньше.

Теперь Федору казалось, что он любит ее с первого вечера, со взгляда, с прикосновения пальцев к щеке. И не просто любит, а так жаростно, преданно и нежно, как только может любить мужчина женщину.

Теперь казалось диким, что они могут больше не встретиться, и будет тянуться жизнь без нее, пресная и нищая. Схема собственной судьбы, продуманная и просчитанная, казалась теперь необязательной и неважной — зато острую значимость приобрели вещи непривычные и странные: например, чтобы им когда-нибудь посчастливилось умереть одновременно, потому, что холодно оставаться на земле без нее и страшно оставить ее одну, среди чужих людей...

Надо же, удивился Федор, ловя трезвую мысль, вон ведь как повело...

Но его вело, его тащило, не отпуская и не щадя. Грубость тогда, в поезде, расчетливые и осторожные слова потом — все обиды, причиненные девочке, сейчас болели и орали в нем. Хотелось сказать, что все не так, что любит ее и будет любить, но сказать было некому.

Федор больше не сдерживал себя. Ему было все равно, как он выглядит перед собой. Он сжимал в пальцах, мял и терзал оставленный ею букетик и раз за разом перечитывал тетрадный листок, исписанный без единой помарки, красиво и чисто, будто надпись на подарке:

«Родной мой мальчик!

Вот и пригодилась двадцатка, которую ты так неосторожно мне оставил. Женщина проявила независимость. Не хмурься и не сердись за внезапное бегство — я просто боялась официального прощания, тех слов, которые ты, как порядочный мужчина, должен будешь сказать: про планы на будущее и т. д. У нас с тобой нет никаких общих планов и никакого будущего. Что ж, зато есть прошлое. Я где-то читала, что некоторым больным зашивают под кожу маленький моторчик, чтобы сердце неожиданно не остановилось. Теперь и у меня есть такой моторчик — эти четырнадцать дней.

Я почти сразу поняла, что для жизни ты ищешь совсем другую женщину — более умную, спокойную или просто более взрослую, чем я. А может, тебе вообще не нужен никто. Хорошо это или плохо, не знаю и не хочу думать. Ты так хочешь — значит, пусть будет так.

За меня не беспокойся — по рукам не пойду и в монастырь не постригусь. Хотя сейчас не могу даже представить, что меня трогают не твои руки и что у моего ребенка будут не твои брови и глаза.

Этим летом поступлю в институт, на вечернее или на заочное. Ты так хотел, и я поступлю. Это не обет влюбленной девочки — просто пончла, что действительно нужно.

А тебе желаю здоровья, радости и женщину, от которой ты бы захотел детей.

Прикасаюсь к тебе.

Твоя девочка на две недели».

Федор читал, пока вконец не измочалил букетик. Потом выпитое все же сказалося. Он кое-как — покрывало на пол — разбросал постель и уснул. Но сон был тяжелый, рваный. Федор то и дело выпадал из забытья, и в мозгу возникали какие-то подобию мысли: например, что водка не вино, свое берет, или что время неясное, то ли начало ночи, то ли конец. При этом сновидения почему-то не преры-

вались, они перебирались через полосы сознания, не теряя связности.

И во сне и в полуяви Федор видел больше всего себя, но не обычным, а странным: обтрепанным, тонким, почти прозрачным и, главное, пожилым. Вот таким себя видел Федор — худющим мужиком с измученными глазами и легкой птичьей походкой, нелепой, но быстрой, похожей и на семенящий бег и на начало полета. Тонконогим он видел себя, тонкоруким и длинным, плавно и безостановочно кружащим по бульварам, по переулкам и переулочкам, по песку и гальке, по сквозным и тупиковым дворам.

Толпа в сновидениях была негустая, Федор почти всю ее охватывал взглядом, но все равно что-то упустил — то среди множества спин терялась одна, похожая, то за углом бесследно пропадала рука со знакомой сумочкой...

Сердце там, во сне, вздрагивало и болело.

Утром оказалось, что оно болит и в яви, сжимается и как бы постанывает. Сильно или нет, Федор толком не знал, ибо сравнивать было не с чем: в груди слева сжималось впервые. Но эта новая боль не пугала и даже чем-то была хороша: болит — значит есть...



Иван Белоусов

ПЕРВАЯ ПРОСЕКА

Ну, брат, и холод!
Воздуха глоток —
Он, как свинец, тягучий и тяжелый.
Он жгучий, как вокзальный кипяток.
Он, как булыжник, стужей обожженный.

Вдохнуть его — как льдинку проглотить:
Занеет грудь от тяжести и боли.
Но дышим мы, чтоб небо укротить
И эту землю обогреть собою.

Живем и дышим!
Мнем колючий наст.
Пускаем в дело топоры и пилы.
А стужа обволакивает нас
И в сотый раз выматывает силы.

Трещат, как взрывы, на озерах льды.
Деревья разрываются со стоном.
А мы живем.
Мнем первые следы
По этим мертвым вековым просторам.

Дымятся плечи под овчиной шуб.
Давно сошли «водянки» с рук: работа!
Теперь мы знаем: славен лесоруб
Своим кипящим на морозе потом.

Мы будем помнить каждую версту,
Что пройдена по гибельным отрогам.
И — что мороз?
Он тоже на посту,
Несет свой крест, когда-то данный богом.

Старик давно, наверное, устал.
Его б сменить и отогреть неплохо.
Вот и лютует, потому как стар,
А миром правит новая эпоха.



ДВА РАССКАЗА

Дитя века

1

Позвонили из Кустаная. Сообщили, что внук наш Миша очень соскучился по бабушке. Бабушка прослезилась от умиления и закричала в телефонную трубку:

— Где он там, мой милый? Позовите его скорее!

— Милый твой в детсадике,— ответил ей сын, посмеиваясь.— Ты, очевидно, забыла, что у нас уже трудовой день начался. Это вы там, в Москве, еще в постелях нежитесь, а у нас давно все на ногах — и взрослые и дети.

— Тогда вот что,— тут же решила бабушка в порыве своего умиления,— передай Мишутке, что я непременно приеду к нему на день рождения.

Сын опять засмеялся и тут же объяснил причину:

— Плохо ты знаешь своего внука. Скучать столько времени он не пожелает. Ведь до дня рождения почти два месяца.

Бабушкины глаза вновь увлажнились. На этот раз от досады на неотложность некоторых дел по дому.

— Как же быть? — залепетала она растерянно.— Выехать раньше я, кажется, не сумею.

— И не надо,— успокоил ее сын.— Мишка сам сегодня прилетит к тебе.

— Каким образом?

— Обычным. На самолете. Рейс пятьсот десять.

— С кем?

— Самостоятельно. Конечно, под надзором бортпроводницы...

Тут было от чего ужаснуться не только бабушке, а и дедушке.

— Ты что, рехнулся? — спросил я сына.— Мальчонке четырех лет нет. Как можно отпускать его в такую даль одного?

— Ничего страшного,— возразил сын.— Не такая уж и даль — два с небольшим часа лета. Он человек привычный. Летал и подольше и подальше.

— Так то ж с папой или мамой.

— А теперь с бортпроводницей. Только встретить его, пожалуйста, в Домодедове.

— В котором часу?

— По расписанию самолет должен прибыть туда в двадцать один час двадцать пять минут. Но я еще позвоню, как только он вылетит от нас. Тогда и условимся окончательно о сроке и месте встречи...

Весь день прошел в непредвиденных хлопотах. Невелик гость, а все же гость и притом желанный.

Такси для поездки в аэропорт было заказано на двадцать часов. Прибыло оно досрочно — минут на пятнадцать раньше, а повторного звонка из Кустаная все нет.

Не однажды изведав строптивость московских таксистов, я забеспокоился, как бы вызванная машина не повернула обратно. Нет, этого не произошло. Симпатичный молодой человек, сидевший за рулем, терпеливо выслушал мои излишне подробные объяснения сути происходящего, корректно напомнил, в каком размере я должен буду оплатить вынужденный простой и выразительно кивнул на рубиновый прямоугольник, красовавшийся в его кабине. Там было написано: «Гарантирую отличное обслуживание». Еще один приятный сюрприз!..

Долгожданный телефонный звонок из Кустаная раздался ровно в двадцать часов.

— Все в порядке, Мишка уже в пути,— доложил сын.— Расписание выдерживается точно. Внука ты получишь с рук на руки от борпроводницы. Дожидайся их у входа в комнату матери и ребенка.

2

В Домодедово мы приехали слишком рано. Больше часа пришлось провести в обычной вокзальной суетлоке.

Наконец появился наш путешественник. Вон он сосредоточенно пробирается между двух баррикад из чужих чемоданов и тюков. Свой багаж у него невелик — весь поместился в мамином портфельчике. Мишка сам тащит его без малейшей натуги.

Ни меня, ни бабушку он пока не видит, и мы первыми кидаемся к нему. Бабушка, конечно, впереди. Я подхожу, когда она уже тискает внука в своих объятиях.

Мишкина провожатая, обращаясь ко мне, уточняет:

— Дедушка?

— Да, да. Спасибо вам.

— И другие официальные лица? — кивает она с улыбкой в сторону Мишкиной бабушки.

— Так точно. Не хватает только почетного караула.

На улыбчивом девичьем лице появляется маска напускного недовольства.

— В таком случае внука вы не получите. Без почетного караула никак нельзя.

Мишка, не поняв шутки, судорожно хватается одной рукой за бабушку, другой за меня.

Тут же, однако, мистификация прекращается. Доброй воздушной фее некогда заниматься пустословием. Она протягивает Мише руку.

— Всего вам доброго, товарищ пассажир.

— До свидания, тетя Света,— отвечает он и, по-родственному чмокнув ее в щеку, не то обещает ей, не то уговаривает: — Обратно опять полетим вместе...

Мишке долго не удавалось сладить с буквой «р». Совсем недавно преодолел он этот звуковой барьер и теперь, как бы щеголяя достигнутым, произносит «р» с особым нажимом. Иногда прямо-таки рычит. Впрочем, случается, что и картавит по-прежнему. Или вдруг говорит: «козр-р-рятушки-лебятюшки».

...Из аэропорта мы выезжаем почти впотьмах. Только на западе догорает поздняя июньская заря. Но набирающий высоту очередной рейсовый лайнер виден отчетливее, чем днем,— он будто подсвечен

лучом прожектора. Мишка провожает его внимательным взглядом и заключает глубокомысленно:

— Там еще день.

— Правильно,— подтверждаю я и, сам не ведая для чего, добавляю: — Это тетя Света возвращается в Кустанай.

Внук поворачивается ко мне со снисходительной усмешкой и, чуть помедлив, изрекает тоном человека, достаточно умудренного жизнью:

— Деда, не гололи глупостев.

Мне тоже хочется усмехнуться, но я должен воспитывать внука и потому стараюсь изобразить недовольство его фривольностью.

Мишка спохватывается:

— Прости, деда.

— Хорошо, прощаю. Однако ты объясни, почему не согласен со мной?

Он с удивлением таращит на меня свои и без того широко распахнутые глазенки.

— Ты что, деда, совсем в самолетах не разбираешься? Это ж «ИЛ», а тетя Света летает на «ТУ».

3

Себя самого я отчетливо помню лет с пяти. Утверждаю это наверняка, потому что самые ранние мои воспоминания о детстве так или иначе связаны с моей бабушкой, которую я любил не меньше, чем Мишка свою. А моя бабушка умерла, когда мне только-только подходил к концу шестой год от роду.

Как сейчас вижу на ее комоде круглый никелированный будильник. Он долго тревожил мое воображение непрерывным своим тиканьем. И однажды бабушка поведала мне, что внутри будильника сидит крохотный мальчик с молоточком и кует серебряные подковки для моего игрушечного коня. В тот же миг мной овладело непреодолимое желание познакомиться с загадочным кузнецом. Напрасно бабушка старалась убедить меня, что это невозможно. В конце концов я решился осуществить знакомство без ее помощи.

В длинные летние дни бабушка имела обыкновение вздремнуть часок после обеда. Именно в такой час я и пробрался к ней в комнату, окутанную розовым полумраком,— перед тем, как лечь отдохнуть, она всегда затеняла окно плотной кумачовой шторой. Однако и в полумраке будильник четко вырисовывался на обычном своем месте.

Я осторожно влез на стул, снял часы с высокого комода, вынес на крыльцо и принялся гвоздить тяжелой половинкой кирпича. Невидимый кузнец не сразу прекратил свою работу, а когда наконец и будильник и кирпич были разбиты вдребезги, вдруг улизнул куда-то. Вместо знакомства с ним я, кажется, впервые близко познакомился тогда с отцовским ремнем...

Теперь это давнее происшествие толкнуло меня на новый эксперимент. Рискуя очень дорогим для меня подарком — отличными настольными часами, я поманил к ним своего внука и спросил таинственным полусшепотом:

— Слышишь, что там происходит?

Мишка прислушался, с явным недоумением взглянул на меня и тоже перешел на шепоток:

— Ничего не слышу, деда.

— Неужто не слышишь, как часы выговаривают: «тик-так», «тик-так»?

— «Тик-так» слышу.

— А знаешь, что это такое?

- Нет.
- Объяснить?)
- Объясни...

Я тут же пересказал забавную сказочку о мальчике, кующем серебряные подковки. Мишка слушал меня с очевидной заинтересованностью, но едва моя сказка закончилась, он хитровато прищурился и погрозил мне пальцем:

— Опять ты, деда, обманываешь меня. Никакого там мальчика нет. Это колесико такое в часах вертится. От пружины, как вот здесь.— Мишка протянул мне одну из своих бесчисленных заводных игрушек и, чуть подумав, уточнил: — А может быть, от батарейки, как в луноходе, который ты привез мне в Калинин. Помнишь?..

4

Свою недлинную жизнь Миша делит на два строго разграниченные периода: калининский и кустанайский. Москва не в счет: здесь он не живет, а гостит.

Точно так же гостил он однажды и на Дальнем Востоке, когда папа находился там в длительной командировке. Слетал туда вместе с мамой, погостил с недельку и вернулся обратно к себе в Калинин. Это тоже не в счет.

Постепенно Калинин все дальше уходит в прошлое. Все больше и больше заслоняет его Кустанай.

За завтраком бабушка спросила:

— Тебе, Мишенька, какого хлебца дать: черного или белого?

— Дай нашенского,— ответил внук с мужской солидностью.

Я лукавил, подсказал бабушке:

— Черного, черного ребенок просит.

Мишку рассмешила моя непонятливость:

— Да что ты, деда?! Черный — это вашенский. А нашенский — целинный. Целинный — значит, белый.

— Ишь ты, разговорился! — повысила голос бабушка.— Сидит тут, перебирает: «нашенский», «вашенский». На вот, ешь да помалкивай. Наговоришься после завтрака.

Мишка послушно принялся за еду, но, сделав два-три глотка, про бурчал хмуро, не поднимая глаз от тарелки:

— Мама на меня не кричит.

Бабушка виновато улыбнулась:

— А разве я на тебя кричу?

— Ты кричишь,— обиженно сказал внук и еще ниже наклонился над своей тарелкой.

Окриков он не переносит. В этом я окончательно убедился, когда по поручению бабушки отправился с ним вместе в магазин за картошкой. Там как на грех произошла какая-то заминка в фасовочном отделении: пакеты с картошкой поступали в торговый зал с перебоем. Образовалась очередь, начался ропот. Кто-то стал требовать книгу жалоб. Кто-то попросил вызвать директора. Вместо директора из фасовочной выскочили две замурзанные, крикливые особы, и Мишка решительно потянул меня вон из магазина.

— Ты что, испугался? — спросил я внука.

— Нет.

— Надоело толкаться в очереди?

— Нет.

— Так в чем дело? Пойдем обратно в магазин. Что мы скажем бабушке, вернувшись без картошки?

— Скажем, что картошку продают плохие тети.

- Почему плохие?
- Потому что кричат.
- Они же не на тебя кричали.
- Все равно... Кричать ни на кого нельзя...

5

Кажется, еще на пути из Домодедова в Москву внук доложил, что мама отпустила его к нам на две недели. Впрочем, ему позволено погостить и месяц, если он не надоест дедушке и бабушке.

Мишка недостаточно хорошо ориентировался во времени. Две недели, а тем более месяц представлялись ему сроком громадным. Но бабушка придерживалась противоположного мнения. И потому уже на следующий день у нас состоялся затяжной семейный совет, дотошное обсуждение, куда бы следовало сводить или свозить нашего гостя, что показать ему из столичных достопримечательностей, что обязательно надо успеть сделать до его возвращения в Кустанай. Сам гость участвовал в этом совете с правом совещательного голоса, однако то и дело выходил за свои правовые рамки и подчас заглушал голоса решающие.

Прежде всего Мишке хотелось побывать в Центральном парке культуры и отдыха. Туда в прошлом году его возила мама, и ему очень понравились тамошние аттракционы.

С энтузиазмом было принято мое предложение об экскурсии в зоопарк. Внуку давно хотелось посмотреть в натуре главных героев мультфильма «Ну, заяц, погоди!..».

А вот бабушкино намерение сфотографировать Мишу в хорошем детском фотоателье поддержки с его стороны не встретило. Больше того, он воспротивился этой идее, потому что осуществление ее было связано с предварительным визитом в парикмахерскую.

— Стричься я не хочу,— заупрямился внук.

— Обязательно нужно постричься,— настаивала бабушка.— Зарос, как хипарь.

Мишка моментально уцепился за словцо, услышанное впервые.

— Как кто я зарос?

Бабушка пустилась в разъяснения:

— Есть такие неопрятные молодые бездельники. Не стригутся, не моются, оборвышами щеголяют и называют себя «хиппи». Ты что, хочешь выглядеть на фотографии таким, как они?

Гость наш чуть заколебался, но тут же нашелся и воскликнул обрадованно:

— А знаешь что, бабуня?! Давай не будем фотографироваться. На что тебе мое фото? Я сам прилечу, когда ты захочешь взглянуть на меня.

— Ты что, боишься идти в парикмахерскую? — догадалась бабушка.

— Да-а,— нехотя признался Мишка.

— Что же тебя пугает там?

— Жужжалка... Ну, которая волосы обрывает...

Долго пришлось втолковывать ему, что электрическая машинка для стрижки мало чем отличается от папиной электробритвы, что она не «обрывает» волосы, а срезает их так же безболезненно, как это делают мамины ножницы.

Отважившись наконец подставить под «жужжалку» свою белобрысую голову и получив за столь мужественный поступок заслуженную награду от доброй парикмахерши — две конфетки «Снежок», — Мишка, вероятно, почувствовал, что теперь ему все нипочем. Он сам заторопил меня в фотоателье и бесстрашно шагнул через порог тем-

ной конуры, едва подсвеченной с одного угла таинственным красным фонариком. Его не испугал прозвучавший из той зловещей, почти кровавой полумглы незнакомый голос, повелевавший «пройти налево». Лишь слегка вздрогнул, когда тьма взорвалась вдруг ослепительно ярким светом, в котором, будто по воздуху, плыла на него громоздкая фотокамера, сверкая своим фиолетовым стеклянным зраком.

Возле камеры возникла суетливая тетя, чем-то смутно напоминающая бабу-ягу. Приплясывая и цокая языком, она стала уверять, что из-под черного покрывала, нависавшего над камерой, «сейчас выпорхнет птичка». Мишка взглянул на странную тетю с таким сожалением и отвернулся в сторону.

Я поспешил объяснить его поведение: птичками, мол, этого клиента не удивишь — у нас они дома есть. Безобидная моя реплика вызвала совершенно неожиданную реакцию:

— Прошу не мешать! — прикрикнула фото-яга. — Я умею работать с детьми.

Окриком этим дело было испорчено окончательно. Мишка замкнулся наглухо. И хотя неистовая особа, продолжая свое шаманство, повторила еще раз десять, что она умеет работать с детьми, ей не удалось вывести мальчонку из состояния угрюмой отрешенности. Он обрел свою обычную жизнерадостность только после того, как мы вышли на залитую солнцем улицу, и сказал с достоинством победителя:

— Нет, совсем не умеет эта тетя работать с детьми.

6

Несколько курьезно завершилась и наша экскурсия в зоопарк. Пришли мы туда пораньше. Посетителей было относительно немного. В середине лета здесь, кажется, никогда не бывает слишком людно. Так что гость наш располагал счастливой возможностью не спеша осмотреть всех здешних обитателей и сполна получить свою долю радостей от близкого общения с ними.

Перед Мишей предстал во всем своем естестве мир его любимых сказок.

Сразу же за входными воротами он увидел на середине пруда и узнал с первого взгляда царевну Лебедь. А у берега плескались гуси и среди них давний Мишкин знакомец — «защипанный гусенок», выручивший из беды сказочного Терешечку. Тут же хороводила большая утиная стая, и при обостренном детском воображении не стоило большого труда обнаружить в ней «гадкого утенка».

Но, пожалуй, больше всего добрых Мишиных друзей из самых разных сказок оказалось на «площадке молодняка». В этом зверином детском садике с расписными качалками, лесенками, горками, мячами и даже кегельбаном соединились в трогательной дружбе «козррятушки-лебятюшки» и волчата, три поросенка и львенок, бурые и белые медвежата, тигрята, лисята, щенки дикой собаки Динго. Налюбовавшись вдоволь их веселой возней, Миша выразил недоумение:

— А почему нет зайки? Где он?

В поисках зайки мы мыкались по всему зоопарку, но так и не нашли его. Волков было сколько угодно, а зайцев — ни одного. Лобастые лесные разбойники в натуре выглядели куда симпатичнее, чем в мультфильме. Однако Мишка не изменил своего неприязненного отношения к ним и угрожающе прохрипел, явно подражая Папанову:

— Ну, волки, погодите!..

А вот у лисицы-огневки оказался совершенно жалкий вид. Изнемогая от жары, потная и взъерошенная, она валялась на деревянном полу своей просторной клетки, будто выброшенная за ненадобностью, давно вышедшая из моды, изрядно поношенная горжетка. В этой ее

растрепанности и расслабленности Миша усмотрел, очевидно, обычное лисье притворство и с неумолимой твердостью потребовал:

— Отдай пегушка!..

К менее знакомым слонам внук проявил почти полное безразличие. Зато совсем неведомые ему пони вызвали бурный восторг. Он готов был без конца кататься на тройке этих мини-лошадок, гарцевал на одной из них верхом, охотно позировал перед аппаратом фотографа, держа пони в поводу.

Но когда тот же фотограф пригласил его к довольно забавной копии телевизионного волка, вылепленного, кажется, из папье-маше и принаряженного в щегольскую курточку канареечного цвета, бесстрашный мой Мишка позорно струсил. Тщетно мы с фотографом пытались внушить ему, что это совершенно безобидная игрушка.

— Все равно боюсь!— твердил он упрямо, шарахаясь прочь от чучела.

Давно укатил от нас внук в свой далекий Кустанай. Не улетел, а именно укатил. На скором поезде. С подвернувшимся невзначай путчиком из многочисленных приятелей его папы.

И в нечастых письмах из Кустаная с некоторых пор стала появляться собственноручная подпись Миши. Правда, в этой подписи буква «и» непременно перевернута вверх тормашками: поперечная перекладина в ней не поднимается слева направо, а круто падает в том же направлении. Не беда! Всему свой срок. Одолеет же он неподатливый звук «р». Сладит и с непослушной перекладиной в букве «и»: со временем она займет подобающее ей положение.

Все приходит в свое время.

Только Мишкиной бабушке, как видно, не терпится. Она сует мне газету.

— Прочти-ка вот здесь.

Читаю:

«В поселке Подгороднее, неподалеку от Днепропетровска, есть средняя школа № 1. Школа как школа. Однако... учится в ней один необыкновенный ученик. Первокласснику Славе Ульяновскому четыре года. Полтора лет от роду он уже знал азбуку, а в три года свободно читал и считал... — Тут же сказано «необыкновенный ученик»,— отмечаю я.— А наш Михон — дитя обыкновенное.

— Дитя века,— уточняет моя оппонентка. И добавляет убежденно: — Обыкновенное дитя необыкновенного века. Внучатое поколение Октября.

Лесные угодники

— **Х**апуги проклятые! — зло выругался Фролов, старательно сгребая резиновым сапогом разрытую и разметанную во все стороны старую муравьиную кучу.

Вот уже больше часа идем мы с ним лесом по обочине шоссе, и все это время на нашем пути попадаются разоренные муравейники. Великое множество муравейников, и в каждом зияет посередине дыра — от верхушки до самого дна, — очень похожая на кратер вулкана. Сходство это дополняется уцелевшими покуда муравьями: они, как кипящая лава, переливаются через оплывшие края круглых воронок.

Но чем ближе к деревне, тем меньше вулканов действующих и все чаще воронкообразные окаменелости, раздавшиеся вширь, почти сравнявшиеся с земной поверхностью и совершенно лишенные признаков жизни. Прямо-таки какой-то лунный ландшафт.

— Для цыплят повыгребли,— скупо комментирует зловещее это видение мой все более мрачнейший спутник.

Я отлично понимаю, что творится в его душе,— во мне самом происходит то же самое. У охотников — ружейных и безружейных — души если не одного покроя, то уж, во всяком случае, одинакового настроения.

Лес без муравьев — это большой лес, скопище бесчисленного множества других, часто почти невидимых насекомых, пожирающих его зеленый наряд, истачивающих стволы деревьев, паразитирующих на корневой системе. Две-три сильные муравьиные семьи способны очистить от этой скверны до гектара леса.

На ходу пытаюсь решить несложную арифметическую задачу. Цыплят в Подмоскowie — тысячи, наверное, даже десятки тысяч. Далеко не везде, конечно, их выкармливают муравьиными куколками. Но даже если это позволит себе одна хозяйка из десяти, сколько будет разорено муравейников?!

С некоторых пор появился у подмосковных муравьев и еще один лютый враг — кабаны, которых год от года становится все больше. Зимой кабан греется на муравьиных кучах, весной раскапывает их, добывая личинки майского жука, а заодно пожирая и куколки муравья. Опять-таки в астрономическом исчислении!

Пафос же борьбы за сохранность муравейников часто направляется мимо цели, бьет по пустому, в сущности, месту — несколько десяткам, ну, может быть, одной-двум сотням тонких знатоков и ревностных ценителей природы, в квартирах которых знатных круглый год живут и весело распевают одна-две насекомоядных птички.

— Из пушки по соловьям,— горестно скаламбурил Фролов и вслух стал восхищаться тем милым нашему сердцу и не столь уж далеким прошлым, когда на московском птичьем рынке без хлопот можно было приобрести потребное количество муравьиного яйца в каком угодно виде: свежего, замороженного, высушенного впрок.

Поставщиков этого драгоценного для птичников товара мы не только знали в лицо, а и называли каждого по имени-отчеству. Потому что во всем Подмоскowie нелегким этим промыслом занимались всего человек двадцать, и были они вполне добропорядочными людьми: не грабителями лесных богатств, а рачительными их хозяевами, по сути, такими же, как все прочие истинные охотники.

Долгие годы и я и Фролов дружили с двумя муравьятниками из под Шатуры — Яковом Егоровичем и Иваном Егоровичем — родными братьями. Какие же это были артисты своего дела! Говорю о них в прошедшем времени неспроста: Якова Егоровича уже нет в живых, а Иван Егорович хоть и здравствует, да свой промысел, унаследованный от отца и деда, забросил совсем. Теперь он и в лес-то ходить остерегается: «Оговорят еще. К браконьерам приравняют».

— А помнишь, как Яков Егорович дома у себя царицу обнаружил? — несколько неожиданно спрашивает Фролов.

Я не сразу соображаю, что он имеет в виду. Какая царица? И как она могла оказаться в лесной глуши, в избе бульдозериста с торфоразработок? Но потом все-таки вспомнилась эта довольно любопытная и по-своему трогательная история, рассказанная нам однажды Яковом Егоровичем.

«Царица» в муравейнике — то же, что матка в пчелином улье. Собственно, это и есть такая же матка — родоначальница и повелительница огромной муравьиной семьи. С исчезновением «царицы» в муравейнике сразу же нарушается привычная, размеренная жизнь:

некому откладывать яйца, не выводится молодежь, нечего делать рабочим муравьям.

Опытный муравьятник всегда отличит «царицу» от ее бесчисленных подданных и, конечно, не унесет ее из муравейника. По крайней мере с Яковом Егоровичем никогда не случалось такого. А тут пошел он за первым весенним взятком и оскандалился.

Заря выдалась холодная, муравьи еле-еле ворочались, а Якову Егоровичу нужно было поторапливаться: рассчитывал вернуться домой до семи утра, с тем чтобы к восьми часам поспеть на работу. Управился-то он в срок, только вопреки обыкновению яйцо принес «неотделанным» до конца — сильно замусоренным. В спешке раскинул его на мосту — так в тамошних местах именуются незастекленные веранды — и айда к своему бульдозеру.

Как нарочно, работы в тот день было невпроворот. Устал до последней степени. Видно, сказался и недосып — в лес-то Яков Егорович ушел еще затемно.

Сдав машину сменщику, он с удовольствием подумал, как войдет сейчас в прохладную избу, скинет с себя пропотевшую робу, разует-ся, умоется водичей, только что вынутой из колодца, и, перекусив, потопает босиком в сад, под черемуховый куст, на раскладушку. Поначалу все так и было: он и переоделся, и умылся, и перекусил в меру. Оставалось только дотянуть до раскладушки. Сладко позевывая, он уже направился в свой садик, да дернул черт задержаться на мосту. Придирчивым взглядом знатока осмотрел Яков Егорович свою утреннюю добычу и вдруг решил сейчас же отвести ее. Не любил он откладывать недоделанные дела.

Стал пересыпать яйцо с холстинки в грохот и ахнул — в мелком древесном крошеве ползала неповоротливая «царица».

Первая мысль: из какой же она кучи? По всему выходило, что из той, какая вскрывалась последней. Напоследок Яков Егорович особенно торопился.

Осторожно взял «царицу» с холстинки, посадил в спичечный коробок, сыпанул туда же щепоть лесной трухи и задумался: как быть дальше? Оставить «царицу» в этом узилище до завтра? Рискованно — может с голода помереть: «царицы» ведь и поесть самостоятельно не способны, им и для этого непременно требуются служащие, а служащие-то остались в лесу, в той окаянной куче, до которой надо шкандыбать добрых пять-шесть километров.

Попросить брата Ивана доставить «царицу» в ее чертоги? Он не откажется, пойдет, хотя тоже только что отработал свою смену на ткацкой фабрике. Но разыщет ли Иван именно ту кучу, из которой прихвачена «царица»?..

Плюнул с досады Яков Егорович, затолкал натруженные ноги в волглые еще от пота сапоги и поплелся к лесу по непросохшей глинистой тропе, запрыгал с кочки на кочку через болотную трясику. Почти два часа тащился туда. А на обратный путь затратил без малого три.

В деревню вернулся, когда из-за крыш уже выкатилась багровая, в два обхвата луна. Но в саду под черемуховым кустом было совсем темно. Ощупью нашарил Яков Егорович заветную раскладушку, плюхнулся на нее не раздеваясь, даже не скинул сапог, и сразу будто умер. Утром его едва растолкали.

Вот каковы они, настоящие-то муравьятники!

Нет, недаром Яков Егорович и меньшей его брат Иван Егорович получили прозвище «Лесные угодники». Лесу они поклонялись, как язычники. И из всех лесных божеств главным их идолом оказался муравей. Он был по-своему щедр к ним, но за эту щедрость полагалось платить трудом.

Мне довелось наблюдать, как обихаживали братья свои фамильные сокровища. На зиму каждая муравьиная куча укрывалась сухими, палыми листьями, а то и соломой, чтобы мураши не вымерзли, чтобы пораньше созрело самое драгоценное яйцо первого съема. С наступлением же весны, едва начинало припекать апрельское солнышко, по глубоченным еще сугробам, по полой воде пробирались «Лесные угодники» к тем же кучам, чтобы вовремя убрать с них зимнее покрывало — пустить мурашам тепла и света. И каждый из трех за сезон съемов поспевшего яйца проводился с умом: не жадуя и в свою пору. Оттого и оставались в силе все муравьиные семьи.

А какая при этом требовалась затрата сил! Какое терпение! Надо переворочить вручную тонны земли. И непременно под палящим солнцем: в тени муравей «не работает», не таскает яйцо под выстеленную на току холстинку. А над добытчиком в это время вьется туча комаров, жалящая немилосердно. Да и сами муравьи ласковостью не отличаются — кусают побольнее, чем комары.

Потом взваливай тяжеленную корзину на плечи и попроворнее топай домой: промешкаешь — яйцо «задохнется». Топать же приходится не по асфальту, а по болотным хлябям, по лесной целине — через гущину подлеска, через завалы бурелома. Да и на асфальте, когда до него доберешься, не очень обрадуешься — там солнце печет жарче.

Но вот добытчик наконец дома, а дух перевести некогда. Здесь на него обрушиваются новые заботы: сырое яйцо нужно проветрить, а если оно чуть переспелое, тут же «заморить», то есть выдержать в жарко натопленной печи ровно столько, сколько необходимо, чтобы убить в нем зарождающуюся жизнь и при том сохранить его молочную сочность — не пережарить, не поджечь.

Тонкую эту работу ни Яков Егорович, ни Иван Егорович не передавали никому. Зато уж и продукция их пользовалась среди птичников особым спросом. Другие муравьятники могли выстаивать на рынке по несколько часов, а возле «Лесных угодников» сразу выстраивалась очередь, и корзины их пустели моментально. Это всеобщее доверие, эта дань уважения к их труду воспринимались братьями как наивысшее вознаграждение.

Тем несноснее показался Ивану Егоровичу последующий удар, совершенно неожиданный и на диво несообразный.

Было воскресенье. Было роскошное летнее утро — яркое, теплое, но не душное. На деревенской улице зацвели липы, а в палисадниках роняли свои восковые лепестки отцветавшие уже жасмины. Иван Егорович вышел на крыльцо и как будто окупился в медовое облако.

Это облако витало над ним все время, пока он шагал неторопливо по не проснувшейся еще деревне. А после того, как свернул на тропу, бежавшую через луга и молодой березняк прямо к железнодорожной станции, его стали захлестывать невидимые волны новых запахов, удивительной силы и свежести.

В лугах, еще не тронутых косою, усердно били перепела. В слегка заболоченном березняке продолжали звенеть серебряные колокольчики пеночек-весничек, но соловья уже не слышать.

«Троицын день, считай, позади», — с легкой грустью подумал Иван Егорович. Этот давно уже забытый всеми праздник для муравьятников — красный день: троичкий взятки яйца всегда обилен, и яйцо троичкое, как рис, чистое, увесистое, лежкое. Вот и в тот раз Иван Егорович тащил за плечами полную корзину «троичкого яйца»: на дне, в белой наволочке — сухое, сработанное на заказ; повыше, в холстинке — добрый куш заморенного; а с самого верха, чтобы не смять, — вчерашний свежак.

Как всегда, Иван Егорович поспел к первой московской электричке в аккурат — без опоздания, но и не слишком рано. Как всегда, в половине восьмого он появился на птичьем рынке, приветливо поздоровался с поджидавшими его на заветном месте постоянными своими клиентами и неспешно, блюдя достоинство, стал выкладывать из корзины результаты недельного труда. Бережно высыпал на рушничок белоснежные, с едва приметной голубизной яички вчерашнего съема. Посмелее обошелся с замороженными: энергично подергал холстинку за углы, над прилавком поднялся чуть розоватый, правильной формы конус. За высушенным яйцом заказчик еще не явился, этот товар Иван Егорович отправил под прилавок, но предварительно распахнул наволочку для всеобщего обозрения, пошуршал в ней рукой.

Покупатели терпеливо наблюдали за его священнодействием, уважительно помалкивали — мастера негоже понукать. Но вот он наконец протер концом рушника граненый стаканчик, стукнул доньшком по гладкой доске прилавка и, еще раз улыбнувшись всем, весело спросил:

— Итак, кому что и в каком количестве?

Ответить никто не успел. Бесцеремонно растолкав очередь, перед Иваном Егоровичем возникла одутловатая физиономия представителя рыночной администрации. Физиономия эта дыхла густым винным перегаром, окатила чесночной вонью и прохрипела повелительно:

— Собирай свой шушер-мушер и давай за мной!

Уже в этой одной неуклюжей фразе заключалось непереносимое для Ивана Егоровича оскорбление. У него — бесценный дар летнего березового леса, а не шушер-мушер!

Но рыночный деятель не склонен был вникать в такие тонкости и от хамских слов перешел к еще более хамским действиям: самолично ссыпал в одну кучу свежее и замороженное яйцо, потянул из-под прилавка корзину.

— Други мои, да что же такое деется?! — с мольбой обратился Иван Егорович уже не к обидчику своему, а к тем, кого столько лет обеспечивал безупречным птичьим кормом.

Они, конечно, попытались вступиться за него, однако безрезультатно. Одутловатый субъект не удостоил их даже взглядом.

— Бери, бери корзину! — хрипел он в лицо Ивану Егоровичу.

У того не очень-то послушной была левая рука — на фронте осколком немецкой мины ему перешибло ключицу, а при вторичном ранении — пулевом — пострадал локоть. Иван Егорович неловко поддел этой негнущейся рукой брезентовую лямку, корзина сорвалась с плеча, и яйцо посыпалось на землю.

— А-а, сухорукий! — зло ощерилась одутловатая физиономия.

Пинком ноги корзина была возвращена в вертикальное положение. Просыпанное яйцо та же нога старательно притоптала. И опять Иван Егорович услышал свирепый хрип:

— Тащи!..

Как развивались события дальше, Иван Егорович помнит смутно. В памяти, как после кошмарного сна, остались лишь какие-то несурзные клочья. Кто-то долго внушал ему, что он браконьер. Кому-то он безропотно уплатил штраф, не понимая толком за что. Потом в сопровождении все того же одутловатого субъекта нес свою корзину в неопрятный рыночный нужник и сам вываливал все ее содержимое в зловонное очко.

От всех этих несурзностей, от обид и поношений Иван Егорович даже захворал. А поднявшись с постели, собрал добытческую свою снасть — грохоты, решета, холстяные подстилки, корзинку с

брезентовой лямкой — снес все на чердак и больше уже не дотрагивается до них.

Теперь на задах птичьего рынка воровато орудует вкупе с тем одутловатым субъектом некий Вася. Когда-то, говорят, он тоже был вполне добропорядочным муравьятником, но сейчас от былой его добропорядочности не осталось и следа. Он выгребает из муравейников все до дна, нимало не заботясь об очистке добытого яйца, о его сохранности. Возит корзинами полунавоз, расфасованный в пакеты, и прикидывается благодетелем.

По субботам и воскресеньям десятки людей почтенного вида, почтенных профессий, а нередко и почтенного возраста усердно разыскивают Васю по темным подъездам и подворотням. Он обдирает каждого как липку, куражится, и почтенные люди все это сносят молчаливо. Чего не стерпишь ради своих пернатых любимцев?

А кто поостроптивее, сами ринулись на муравейники и, по неопытности, тоже начисто разоряют их, оставляя после себя мрачные окаменелости, похожие на кратеры потухших вулканов. До поры до времени такие опустошительные набеги считались всего лишь «неблаговидными поступками». Теперь, когда вступило в силу новое лесное законодательство, они расцениваются как преступление. Это очень важно, но совсем немаловажно и другое: устранение побудительных причин к преступлениям такого рода.

И тут, наверное, не обойтись без помощи «Лесных угодников» вроде бывшего бульдозериста с шатурских торфоразработок Якова Егоровича и бывшего наладчика ткацких станков Ивана Егоровича. Давно доказано, что исконные народные промыслы неразумно уничтожать. Гораздо разумнее хорошенько организовать их. Разумный промысел и хищничество — явления несовместимые: одно взаимно исключается другим.



Горизонты Нечерноземья

Александр Нежный

ТРИ СТУПЕНИ ВВЕРХ

Депутат Гиталов А. В. — бригадир тракторной бригады из Кировоградской области — внес предложение четко и ясно сказать в Конституции о том, что колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно относиться к ней, повышать ее плодородие. Думаю, что это предложение прославленного украинского хлебороба нужно поддержать. Земля — наше ценнейшее богатство, но это богатство надо умело использовать.

Из Сообщения Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР
товарища Л. И. Брежнева
на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР
об итогах работы Редакционной комиссии.

У

1

знал, что среди колхозов и совхозов Литвы в последние годы не было ни одного убыточного.

Тут вроде бы самое место восклицательному знаку с трепещущим на нем тысячевольтным зарядом эмоций. Но начнем с вопросительного: что там у них, райские кущи, что ли? Непохоже: больше половины всей территории республики — три миллиона шестьсот тысяч гектаров — занимают земли переувлажненные, болотистые, поросшие кустарником, усыпанные камнями... Плюс к тому — сорок пять процентов подзола. Нет, совершенно очевидно, что в дни сотворения мира далеко не лучшая доля досталась Литве! А урожаи зерновых меж тем во многих хозяйствах переваливают за пятьдесят центнеров — кубанские высоты.

Каждый отвечает на вопрос по-своему. Министр мелиорации и водного хозяйства Литовской ССР И. И. Величко сказал уверенно: «Основа — мелиорация».

Как условились накануне на девять утра, так он и принял меня и встретил у дверей своего кабинета в недавно построенном здании министерства, — минута в минуту. Точность — вежливость деловых людей.

В ранней юности своей немало выходил министр за плугом, помогая отцу пахать скудную литовскую землю. С тех пор и усвоил, что осушение — один из главных рычагов, которым можно повернуть и поднять крестьянскую жизнь. С чувством, в котором, наверное, поровну было любви и печали, вспоминал министр не столь уж давнее прошлое: и отцовский хутор, и сеть узких, полных темной воды каналов, и единственную на всю Литву мелиоративную школу в Кедайняе... Бедное счастье земледельца: до войны, в буржуазной Литве, сказал Величко, если две тысячи га закрытым дренажем сделают — рекорд. За двадцать лет, отмечает статистика, с 1918 по 1939-й, осушили всего около двенадцати тысяч гектаров.

Ионас Ионович качает головой, на мягком лице его — едва заметная улыбка. Взгляд в прошлое отраден ему тем, что, в считанные мгновения перебрав в памяти долгий ряд лет, можно сразу же перенестись в сегодняшний день, в это вот «модерновое» здание, во славу мелиорации поставленное умелыми вильнюсскими зодчими неподалеку от берега Нерис; можно сравнить день нынешний и день минувший и оценить сделанное, в том числе и лично им, уже десять лет министром, а когда-то, после кедайняй-

ской школы и Каунасского университета, прорабом на строительстве дренажной системы в Аникшяйском районе. Достав из ящика стола средних размеров книгу в светло-сером переплете, он протягивает ее мне.

«Итоги мелиоративных работ в Литовской ССР». Я листаю, переношу в свой блокнот: на сегодняшний день закрытым дренажем осушено миллион восемьсот двадцать тысяч гектаров!

— Миллион восемьсот двадцать тысяч, — вслух повторяет Величко.

Он хочет, должно быть, чтобы я накрепко, как хрестоматийный стих, запомнил: двенадцать тысяч и миллион восемьсот тысяч. И дальше: до сорок четвертого года в Литве было подготовлено триста шестьдесят пять специалистов-мелиораторов с высшим и средним образованием. С сорок шестого года — более тысячи с высшим и около четырех тысяч со средним специальным образованием.

Разница в масштабах — повод для размышлений. Мелиорация — дело древнее, и суть, разумеется, не в том, что Величко и его коллеги изобрели какие-то принципиально новые методы осушения. Здесь, как и в других сферах человеческой деятельности, суть — в отношении к делу. Не все ведь ведут осушение с необходимой капитальностью — вот почему во многих случаях несколько лет спустя приходится начинать заново.

Ну, а в Литве? Сорок четыре района — сорок четыре строительно-мелиоративных управления. Вот начальник одного из них — Кедайняйского — Антанас Вансис. Университетское образование, двадцать лет работы в одном и том же районе, начинал, когда было дренировано около четырех тысяч гектаров. Сейчас, со скромной гордостью отметил Вансис, семьдесят четыре тысячи... Конечно, между двумя этими точками в пространстве и времени не все совершалось без ошибок. В сорок восьмом году еще много оставалось в районе хуторов, и каждый хозяин в поте лица устраивал свою мелиорацию: прокладывал до ближайшей реки каналчик, отводил со своей пашни поверхностную воду... Коллективизация дала технику, которой тесны были маленькие участки, — не долго размышляя, пустили тракторы перепаживать кустарную сеть.

Вансис покачал головой: поспешили! На следующий год вся вода осталась на полях и погубила урожай: всего по пять центнеров зерна удалось собрать с гектара. Машинно-тракторные станции получили потом канавокопатели. И сказал Вансис: «Немножко старались осушать»... Но все это в памяти, в прошлом, все это было и былшем поросло, и, когда промозглым ноябрьским днем ехали по району, начальник СМУ показывал с нескрываемым удовольствием:

— Здесь работали... Здесь. И здесь тоже... Этот вот канал уберем в коллектор, спрячем под землю. Вон тот хутор — видите? — будем сносить.

Ухоженные поля лежали вокруг — мелиорация выровняла их, убрала с земли глубокие и частые морщины прежних открытых каналов и каналчиков, дала простор современной технике. Взгляд, может быть, несколько тоскует на обширных пространствах, экономика же довольна: чем крупнее участок, тем меньше затраты труда, ниже себестоимость сельскохозяйственной продукции.

Были с Вансисом на полях колхоза имени Снечкуса: мелиораторы укладывали в только что отрытые экскаватором аккуратные каналы темно-оранжевые гончарные трубы — дренажи; поехали во владения соседнего колхоза «Риту Аушра», причем по дорогам, немалая часть которых проложена мелиораторами, мимо огороженных пастбищ — опять-таки дело рук работников СМУ! — и оказались на берегах речки Барупе, где мелиораторы заканчивали сооружение водохранилища. Плотина была уже возведена, и подошедший прораб, как водится, дал ей полную характеристику: сколько работ грунтовых, сколько бетонных, во что стала она, во что — весь комплекс. Почти девятьсот тысяч рублей. Солидно!

Двумя днями спустя в другом районе Литвы — Капсукском, в колхозе «Сангруда» увидел я только что построенное водохранилище и плоти-

ну: была она чуть меньше, но так же радовала глаз своей аккуратностью — признак добросовестного труда. Торжественное открытие было недавно, и вместо красной ленты разрезали здесь сплетенные в нитку полевые цветы... Раньше, сказали мне, лежало на этом месте болото.

Итак, качество.

Низкое качество мелиоративных работ — это, почти буквально, деньги, зарытые в землю. Все, наверное, помнят, какие поистине огромные средства вкладывает страна в мелиорацию в нынешнем пятилетии — сорок с лишним миллиардов рублей! Что говорить, посев щедрый. Но немало труда надо еще приложить, чтобы обильной была жатва, чтобы каждый рубль этих миллиардов надежно лег в основу будущих высоких урожаев.

Спросил у многоопытного Генрикаса Кретавичуса, председателя «Риту Аушра»:

— Довольны?

Он усмехнулся:

— Не то слово. Растем на мелиорации! Боремся за нее... Это ведь и зерно и кормовая база... У нас на немелиорированных землях даже картошка не идет — вот как! Я помню, были годы — мы сев начать не могли. Земли такие, что поделаешь... У соседа получше, он отсеялся, а мы ходим, смотрим, сердце надрываем. Да ведь и сейчас не все просто: хозяйств много, все сразу не охватишь... Чтобы проект тебе сделали, в план поставили, из кожи вылезешь! Я уж и автобус им дам — рабочих в Вильнюс на экскурсию свозить, поросенка зарежу, молока вволю — только бы они у меня поработали!

Спросил у молодого председателя колхоза «Сангруда» Станисловаса Куткявичуса. Тот в ответ сердито сдвинул черные брови:

— Довольны-то довольны... Мы на осушенных землях уже тридцать центнеров с гектара берем, а там, где еще дренажа нет, в лучшем случае — четырнадцать... Но вот вы спрашиваете, а я вам другое скажу: для мелиорации дают нередко больше туда, где скорая отдача. А где, как у нас, не сразу, туда еще подумают: стоит ли.

Ясно, по-моему: успех своего хозяйства Куткявичус напрямую связывает с осушением.

И вот, наконец, мнение человека, всей Литве известного тем, что нет таких обстоятельств, которые бы заставили его высказаться не так, как он думает, — мнение Антанаса Будвитиса, директора Литовского научно-исследовательского института земледелия, лауреата Государственной премии СССР, члена ЦК КП Литвы.

— Очень хорошо работают, — сказал он, и я думаю, его оценкой литовские мелиораторы могут гордиться, как Знаком качества.

В прошлом году сто тридцать пять тысяч гектаров приплюсовала республика к фонду земель, осушенных закрытым дренажем. Двести пятьдесят семь миллионов гончарных труб, состыкованных в линии, приняли избыточную воду с полей, понесли ее в реки... Дренаж закладывается на десятилетия. Отсюда требования: дрены должны принимать воду, но не выпускать ее, должны следовать точно выверенному уклону, должны соединяться так, чтобы торец был строго перпендикулярен оси, чтобы подземные капилляры не забивались тромбами, — масса профессиональных тонкостей складывается в эту самую капиталность, на которой, как на прочном фундаменте, строит свою экономику сельское хозяйство Литвы.

Дренаж закрыт, зарыт, убран под землю, и вместе с ним с глаз долой скрываются все изъяны его, — словно мины замедленного действия, они могут взорваться и год, и два, и три спустя... Отсюда последнее, решающее требование к мелиорации: надежность.

Надежность и качество достигаются порядком, порядок устанавливается системой. Система предусматривает поголовную учебу для всех двадцати восьми тысяч рабочих, ставит оплату в прямую зависимость от

качества труда. С позапрошлого года, например, введено жесткое правило: выполненная работа оценивается по пятибалльной шкале. «Пятерка» дает двадцатипроцентную прибавку к заработной плате, «четверка» оставляет ее на тарифном уровне, «тройка» несколько уменьшает, а уж за ней лежит граница, резко прочерченная понятием «недопустимо»! Недопустимо — значит, непременно придется переделывать, и даже если со второго захода работа выполнена будет на «отлично», конечная оплата не поднимется выше потолка, определенного «тройкой».

Ну, а как быть, если все-таки?.. Быть так: дефекты, обнаруженные в первый год, строители устраниют за свой счет. Последующие работы оплачивают районные управления осушительных систем. Еще вопрос: много ли их бывает, дефектов? В Министерстве мелиорации и водного хозяйства Литовской ССР получил точный ответ: в 1974-м, очень дождливом году, из-за неисправностей дренажной сети не использовали около четырех тысяч гектаров. Двадцать пять сотых процента общего фонда осушенных земель! В минувшем году и того меньше — две тысячи двести гектаров.

Но только осушить землю — мало; надо создать все условия, чтобы вложенные в мелиорацию средства работали с максимальным коэффициентом полезного действия. Что толку дренировать поле, которое потом будет отрезано бездорожьем? За примером недалевидного хозяйствования далеко ходить не надо: почти половину осушенных земель в некоторых областях используют под естественные сенокосы и выгоны или вообще не используют.

Комплексность — вот итоговая черта, которую подводят литовские мелиораторы, завершая свои работы. Они строят внутрихозяйственные дороги (до тысячи километров в год), мосты, засевают и огораживают пастбища, очищают поля от кустарников и камней, выкорчевывают пни, сселяют хутора; именем государства они передают хозяйствам бесценный капитал осушенной земли, который можно немедленно пустить в оборот. И, может быть, мелочь, может, не стоит упоминать, но показалось мне, что в этой мелочи, будто в капле воды, видно бог знает как много... Они не только убирают с полей камни, не только свозят их на специальные полигоны и там взрывают (раньше взрывали где-нибудь поблизости, потом решили — нельзя, осколки засоряют землю), и не только продают щебенку — они непременно оставят на месте, не тронут какой-нибудь очень уж красивый гранитный валун. Это в каждом проекте, всегда тщательно разработанном и утверждаемом раз и навсегда: какие камни, деревья, рожицы, хутора обойти стороной. Диктуют районные комиссии по охране окружающей среды и ландшафта; мелиораторы подчиняются.

Земля пребывает вовеки — так пусть пребывает не только плодородной, но и прекрасной!

Но сколько это все стоит — комплексная мелиорация с кусочком красоты? Что ж, давайте прикинем — в расчете на один гектар. Итак, устройство дренажа — 406 рублей, водопроводящей сети — 172, дорог — 64, снесение хуторов — 164, плюс расходы, связанные с проектно-изыскательскими работами, строительством временных сооружений, а в итоге — 1030 рублей. Это средняя стоимость, есть и дороже. Заметим: недешево. Заметим еще, что в некоторых областях на дренирование гектара земли тратят значительно меньше. Но это не экономия — убыток. Ведь, я думаю, и сверхзвуковой пассажирский ТУ стоит несколько дороже аэропланов, на которых блистал Уточкин. Зато и летит современный лайнер раз в тридцать, наверное, быстрее, а перевозит... И потому считать надо, как подчеркивалось на XXV съезде партии, по конечному результату. По отдаче.

Генрикас Кретавичус рассказывал, какие были урожаи у ныне знаменитого его колхоза пятнадцать лет назад. Зерно — едва по 9 центнеров с гектара, сахарная свекла — 23 центнера... А кукурузу пришлось скор-

мать скоту, так как в дождливое лето уборочный комбайн увязал в поле. Было! И стало: пятьдесят восемь центнеров озимой пшеницы с гектара на площади 170 гектаров. Нравится вам такой намолот? И в 1976 году на круг — сорок пять центнеров!

Но по порядку. Вот первое — осушение закрытым дренажем увеличивает размеры полей. В совхозе «Даукшяй», Скуодасского района, на площади 630 гектаров до устройства дренажа было 1937 участков, после — всего 15. Есть где развернуться технике, она теперь работает значительно эффективнее. На осушенных землях в среднем на две недели раньше можно начинать сев. Значит, выигрыш в главном — в урожае, ибо есть данные (Литовского научно-исследовательского института земледелия), что каждый день опоздания с севом приводит к потерям: яровой пшеницы — до 54, картофеля — до 465, сахарной свеклы — до 320 килограммов с гектара...

Перечисление плюсов мелиорации можно продолжить: прибавка к урожаю, повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции, но хватит, пожалуй. Скажу теперь, что все это, взятое вместе, на весах экономики весит столько, что за шесть — восемь лет окупает все затраты. Иными словами, почти половина осушенных земель приносит теперь чистый доход с вложенного в них капитала. Причем стратегия видится тут такая: мелиорированный гектар должен получить полную норму удобрения, должен быть максимально обеспечен основными и оборотными фондами. Ибо только у м н о ж е н и е капитала на капитал приносит в итоге ту высокую эффективность, на которую нацеливают сельское хозяйство решения XXV съезда партии.

За двадцать лет — с 1956 года — Литовская ССР вложила в мелиорацию два миллиарда рублей. Два десятилетия на полях республики шла и продолжается сейчас истинно великая стройка. Два десятилетия упорной и терпеливой работы, включающей и составление первого и пока единственного в стране кадастра избыточно увлажненных земель (карта, по которой прокладывают свой путь мелиораторы!), и многостороннюю деятельность Литовского НИИ гидротехники и мелиорации с его точно выверенными научными рекомендациями, и переход к следующему этапу, когда к осушению прибавляется орошение... И архаичной и грустной подробностью недалекого, всем в Литве памятного прошлого смотрится в музее НИИ мелиорации экспонат: обрезок широкой доски с дужкой поверху — «башмак» для лошади, чтобы не топла она в сырой, вязкой земле. Этому экспонату нет цены: глядя на него, с особенной силой ощущаешь весомость и значение почти двух миллионов осушенных в республике гектаров.

2

Итак, среди колхозов и совхозов Литвы в последние годы не было ни одного убыточного. Точнее, в последние девять лет. Что ж, поклон и вся признательность — мелиорации?

Разумно ведущемуся хозяйству она непременно поможет подняться ступенью выше, но даже самый лучший, самый тщательный дренаж не уравнивает подзол с черноземом. Природа — кому мать, кому мачеха, и то, что достижимо на хороших землях или, точнее, при оптимальных природно-экономических условиях, не по силам тем, кому выпало растить скот и пахать на бедных полях. Плодородные земли — и по Марксу, и по нашей жизни — позволяют хозяйству с теми же затратами труда получать больше и жить лучше. Иными словами, получать дифференциальный доход. О дифференциальном доходе можно сказать, как о таланте, который, опять же, как деньги: у кого есть — есть, а у кого нет — нет.

Вот «Риту Аушра», колхоз, где двадцать лет председательствует Генрикас Кретавичус. Деревенские улицы — картинка с выставки: кир-

пичные двухэтажные дома, широкие окна, асфальт... Пошли смотреть новые, только что отстроенные дома — два этажа, соединенные деревянной прелестной лестницей, просторные, светлые комнаты, в подвале — гараж и сияющая белыми эмалированными плоскостями какая-то чудо-печь для отопления. «Березка»... Взглянув на нее, тяжело вздохнул председатель и сразу же объяснил мне свою заботу:

— Еще одну «Березку» надо доставать... Доярке. Знаете, какая хорошая женщина, ей обязательно помочь надо!

Назад возвращались под дождем, мокро блестел асфальт, и, ткнув пальцем себе под ноги, сказал Кретавичус:

— Вот чего городские боятся — грязи... Раз деревня — значит, грязь. А нам она тоже ни к чему.

Несколько лет подряд в копилке основных фондов колхоза прибывает по миллиону: на двести тысяч рублей приобретают технику, семьсот тысяч идет на строительство. С прекрасным постоянством стремится вверх линия, по которой восходит «Риту Аушра», или по-русски «Заря Востока». Три года назад основных фондов было в расчете на гектар сельхозугодий — 1390, год спустя — 1730 и в прошлом году — 2040 рублей. Само собой, росла и оплата: 1848 рублей заработал колхозник в 1973 году, 1900 — в прошлом.

Этот ряд цифр можно продолжить, и «Риту Аушра», как в зеркале, отразилась бы в нем показателями здоровой рентабельности, весомого валового дохода, высокой производительности. Но никогда в жизни не взял бы я грех на душу, не сказал бы, что все им, вроде манны небесной, дано от бога, то есть от природно-экономических условий. Условия были, однако же и труд в эти двадцать лет вложен был колоссальный! Отсюда и перемены, разительные перемены во всем: и в продуктивности гектара, и в оснащенности хозяйства, и в главном, ради чего, собственно, ведется дело, — в уровне жизни.

Дом культуры, торговый центр, школа, детский сад, комплекс свинарников, коровник (второй сооружают), пять телятников, 32 автомашины, почти 60 тракторов — знающий человек поймет, какого пота стоило колхозу, и председателю особенно, нажать это богатство. А для незнающего можно сказать, что вот, например, светильники, которые вечерами так кстати на улицах Лабунавы — центральной усадьбы колхоза, — по всем снабженческим инструкциям в деревню отпускать не положено. Но инструкции — одно, жизнь — другое, и Генрикас рассказывал:

— Мы как раз поселок оканчивали строить... Торжественное открытие вот-вот, а светильников не дают. Не положено! Я человек спокойный, но тут совсем взорвался: почему, говорю, не положено? Что вам деревня, так всегда и будет второй сорт, да? Мы одни грани стираем, а вы нам, значит, новые? Или давайте мне светильники, или я сейчас в ЦК писать буду!

Я оставляю до поры рассказ о деятельности председателя «Риту Аушра», ибо это тема отдельная. Но как раз к месту и к теме да будет замечено, что для того, чтобы руководить — заводом ли, главком, или колхозом, — нужен особый дар, нужен талант. Бездарный человек в два счета может поставить на грань разорения даже самое процветающее хозяйство, примеры тому есть и в литературе и в жизни, да и сам Кретавичус с невеселой усмешкой рассказал однажды, как в соседний крепкий колхоз пришел председателем некто хотя и с ученой степенью, но через три года все там трещало по швам.

Экономику надо творить! — так выразил бы я любимую мысль Кретавичуса, которая как нельзя кстати отвечает главной мысли этого очерка.

Послушаем теперь другого председателя, Станислосаса Куткявичуса. Восемь лет руководит он колхозом «Сангруда», а когда принимал его, то об экономическом состоянии хозяйства можно было сказать коротко, но ясно: «В долгах, как в шелках».

— Что купили на первую прибыль? — спросил я.

— Стыдно признаться, — вздохнул Куткявичус. — Навозоразбрасыватель... А то ведь лопатой раскидывали.

С тех пор произошли в «Сангруда» большие перемены, о которых рассказывал мне молодой председатель и которые видел я сам своими глазами — видел прекрасное здание школы, видел старую мельницу, где расположился колхозный этнографический музей (раз дошли руки до музея — значит, в самом деле изменилась жизнь!), видел новые мастерские и еще раз понял, что, как говорил Станисловас, «для себя люди работать не лезия». Важно соединить два интереса, личный и общественный, важно спать их неразрывно и прочно — вот залог здоровой и сильной экономики. Прибыли «Сангруда» получает теперь примерно полмиллиона в год, деньги всегда в обороте — Куткявичус строит, улучшает жизнь, спешит сделать то, что оказалось не по силам его предшественникам. Мне он внушал:

— Где, в чем, ты думаешь, основа прогресса? Очень просто: все хорошо работают — вот основа! И быстрее надо, быстрее! — взмахивал он крепкой рукой. — Каждое поколение должно успевать сделать свое — не передавать дальше, не растягивать!

Замечу теперь: как не все решают хорошие природно-экономические условия, так даже отчаянная энергия сама по себе не намного поднимет хозяйство, волею судьбы оказавшееся в обделенном матерью-природой углу.

Разница между «Риту Аушра» и «Сангруда», типичная для Литвы, — и не только для Литвы, — это разница между колхозом, получающим дифференциальный доход, и колхозом, мечтающим о хороших землях. Два полюса сельской жизни! 1969 год, например, дал для изучения и выводов такие данные: сильные хозяйства (их меньшинство) превосходят слабое большинство в 1,6 раза по оплате труда и в 3,4 раза по капиталовложениям. Этот разрыв предопределил другие контрасты: чтобы произвести валовой продукции на 100 рублей, одни тратят 6,4 человеко-дня, другие — все 10; в полтора раза различается себестоимость...

И, наконец: по неписаному, но извечному закону деньги шли к деньгам, и сильные продолжали тучнеть. Одни увязли в банковских кредитах так, что без тоски не могли и помыслить о завтрашнем дне, другие отдавали в потребление больше, чем требует того разумное, рачительное хозяйствование. Лишний жир между тем так же вреден, как чрезмерная худоба, — человек и экономик в данном случае заботятся об одном и том же.

И все это, выраженное сейчас мною в словах и цифрах, сплелось на деле в сложный узел социальных, хозяйственных, нравственных проблем; все это год от года болело сильнее, ибо при всей очевидной простоте общего круга вопросов в конце концов выяснялся и требовал ответа один простой, но, может быть, самый главный вопрос, общий знаменатель этой сверхзапутанной дроби: почему за равный труд одни получают больше, а другие меньше? Почему мозоли одних дороже, чем точно такие же мозоли других?

— Мы поняли, — сказал мне директор Литовского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства Болюс Пошкус, — что разрыв будет расти, и ликвидировать его будет все трудней. У богатого всегда земля лучше, а бедный — он всю жизнь на песке... А чем больше интенсификация, тем сильнее разница.

Первый шаг, основа эксперимента — оценить землю! Ее плодородие (с поправкой на каменистость и заболоченность), рельеф, размеры полей, местоположение хозяйств, расстояние от рынков сбыта и снабжения, число дорог, их покрытие... Далее, учесть влияние остальных решающих факторов: обеспеченность основными и оборотными средствами, трудовыми ресурсами. И в соответствии со всем этим установить комплексный показатель, в котором бы объективно отражались производственные условия. Огромное количество данных, добытых при составлении кадастра (а он

теперь есть, полный кадастр земель Литовской ССР), с научной точностью позволило определить далеко отстоящие друг от друга полюсы плодородия — от 15 до 69 баллов!

«Риту Аушра» получила 53 балла, «Сангруда» — 26. А надобно знать, что каждый балл улучшения качества почвы на весах экономики равноценен увеличению валовой продукции — с гектара — растениеводства на два рубля и животноводства — на три рубля пятнадцать копеек. Что ни балл, то пятерка с лишним в колхозную казну! И сколько таких дифференциальных рублей прибавилось к доходам «Риту Аушра» и скольких не получила «Сангруда»!..

Уравнение было составлено, дело теперь заключалось в том, чтобы его решить.

Государственные закупочные цены учитывают средние общественно необходимые затраты труда и капитала на производство той или иной продукции. Но по обе стороны от средних — срединных — затрат, тяготея одни к плюсу, другие к минусу, расположились затраты находящихся в разных условиях хозяйств. Цена может выравнять эти условия, сократить разрыв между передовыми и не по своей вине отставшими, может стать инструментом, перераспределяющим дифференциальный доход.

Так появилась черта, разделившая колхозы и совхозы Литвы на две различные — по закупочным сначала ценам на скот — зоны. Для второй, худшей по своим условиям, цены были определены на двенадцать процентов выше.

Но в рамки двух зон невозможно было втиснуть все разнообразие природно-экономических условий хозяйствования. Вот почему не всегда точно перераспределялся дифференциальный доход.

Угадываю вопрос: неужто сразу нельзя было предвидеть, что только в две зоны не вместить всю сельскую Литву? Думаю, можно. И думаю, отчетливо представлял себе это Болюс Пошкус. Однако надо понять принципиальную новизну эксперимента, его масштабность и, следовательно, силу инерции, которая сопротивлялась новшеству...

Но — помните? — творить экономику! Экономическая мысль не имеет права, не должна превращаться в догму — вот залог успешного ее развития. Тем и сильны оказались Болюс Пошкус и его сотрудники, что, критически оценив предложенный ими вариант, нашли новый и двинули эксперимент дальше. Черта усложнилась: теперь она делила районы республики на четыре ценовые группы.

В четвертой — худшей по своим природно-экономическим условиям — группе районов закупочные цены на крупный рогатый скот установлены были на двадцать пять, а на свиней — на тридцать процентов выше, чем в первой. С гораздо большей точностью стало теперь совершаться перераспределение, и уже иные цифры появились в годовых отчетах хозяйств четвертой группы районов. Но прихотлив сюжет экономического эксперимента. Все, казалось бы, учтено, каждой сестре, как говорится, досталось по сережке, однако проходит время и выясняется, что предусмотрено не все и довольны далеко не все. Больше того, некоторым хозяйствам от нововведений с закупочными ценами стало совсем не сладко!

Нет, нет, совсем не тем, которым пришлось поделиться частью своего дифференциального дохода, хотя и сказал мне Пошкус, что именно их председатели в сердцах прозвали его Тадас Блинда.

— А это еще кто? — спросил я и услышал в ответ: литовский Робин Гуд, облегчавший в пользу бедных тугую кошину богачей.

В административных рамках одного района оказались колхозы и совхозы с разными природно-экономическими условиями — вот в чем было дело! Хозяйство, и без того ущемленное природой и прочими невзгодами материальной жизни, получало за свою продукцию столько, сколько диктовала цена, установленная по возможностям его более сильного соседа.

Административные границы явно не совпадали с природно-экономическими, и эксперимент тогда пошел вглубь: вместо четырех ценовых групп районы были созданы четыре группы хозяйств. Цены в них: за тонну живого веса крупного рогатого скота высшего качества хозяйство первой группы получит 1473 рубля, второй — 1571, третьей — 1679, четвертой — 1766 рублей; за тонну бекона первой группе заплатят 1808 рублей, четвертой — 2266, за тонну молока первого сорта соответственно — 215 и 249 рублей.

Дифференциация цен, брошенная в переплав экономической жизни, в конечном итоге позволяет сблизить уровни хозяйствования. Оплата человеко-дня (по группам): 7,14—6,31—5,32—5,23 рубля (а ведь не так давно было в колхозе «Сангруд» всего-то два рублика!). Рентабельность производства (в 1975, тяжелом для села году): 39—37—32—30 процентов. Чистый доход с гектара: 163—129—112—104 рубля.

Как видите, уравниловки нет, есть сокращение прежнего разрыва во всех показателях, есть выравнивание. Если бы дифференциальный доход не перераспределялся, экономическая инерция разводила бы хозяйства крайних групп все дальше и дальше друг от друга и в этом случае понадобились бы дополнительные миллионные вложения государства, чтобы хоть как-то уравновесить два конца колеблющегося коромысла. И как далеко было бы тогда сельское хозяйство Литвы от одной из главных своих целей: равная оплата за равный труд!

Но нет ли тут все-таки несправедливости к сильным? И, быть может, не зря подавали они поначалу свой голос «против» (а голос сильного громок... Не слышно, что говорит председатель слабого хозяйства — он все больше оправдывается, просит войти в положение, объясняет... А сильный — с трибуны! В Верховном Совете! На авторитетном совещании! И — на всю республику...) В конце концов отстающий — только ли по милости природы отстал? А если тут неумение организовать дело, если нерадивость, если прямое незнание производства?

Я так и сказал Пошкусу:

— Слушайте, Болюс, мне кажется, есть в вашей системе уязвимое место. Вы, по-моему, вместе с доходами перераспределяете и самую инициативу! Вторую диффенту, если по Марксу... Возьмите Кретавичуса. Он пилораму, например, доставал — так это же эпопея! Или те же светильники... Или вот трактор — знаете?

Ответ директора был таким:

— Для Кретавичуса отдельных машин не производят. Специально для него даже лампочку не сделают! Если он получил — значит, не получил другой. Пока желание купить ограничено возможностями производства, до тех пор такая инициатива будет выступать как фактор прежде всего экономического.

— И стало быть, перераспределяться?

— Выходит, что так. Но вы поймите, Генрикасу легче, чем другим, — он сильный! Ему не будут давать — возьмет!

Суть, конечно, не только и не столько в этом. Не весь дополнительный доход хозяйства первой группы получают по милости природы, пример «Риту Аушра» и ее председателя тут как нельзя более кстати. Тринадцать рублей с одного гектара — вот наглядный результат толковой организации. И напротив: в четвертой группе из-за худшей постановки дела гектар приносит двенадцать рублей убытка. Вот почему в Литве перераспределяют только две трети дифференциального дохода; вот почему хозяйства первой группы оставляют у себя то, что заработано мозолями и потом, и вот почему колхозам четвертой группы не восполняют ту часть ими недобранного, которая целиком лежит на их совести. И в том и в другом случае открывается преобширное поле деятельности: работать, чтобы увеличить свои доходы, и работать, чтобы наверстать упущенное.

Для совершенствования предела нет.

Как нет его, должно быть, для совершенствования экономического эксперимента. Творить экономику! Пошкус делится планами:

— Пересматривать группы каждую пятилетку. Сделана мелиорация—менять балл! Обязательно. Вводить дифференцированные цены на зерно — около миллиона в год можно перераспределять... Увеличить «вилку» цен по говядине и свинине... И—мы уже начали—подводить итоги соцсоревнования именно с учетом группы, в которой находится хозяйство. При такой оценке вполне может победить тот, у кого земля хуже... Большая работа.

Конечно, большая работа. Но вот осилили ее и во Владимирской области. Секретарь обкома КПСС Ю. Тесленко и заместитель председателя облплана А. Кононов сообщают, что шесть лет эксперимента (сначала разбили область на зоны, затем, как в Литве, на группы хозяйств) укрепили экономику низкорентабельных колхозов и совхозов, улучшили их финансовое положение, сократили разрыв в оплате труда... Значит, стоит, надо браться за дело, и есть прямой смысл взять на вооружение уже накопленный опыт.

Мне рассказывали в институте, что экономический эксперимент на всех его этапах подробно и всесторонне обсуждался в ЦК КП Литвы. В Центральном Комитете республики прекрасно понимали всю важность этого опыта и многое сделали для того, чтобы он прошел успешно. И в тех спорах, которые вызвал эксперимент среди практиков и теоретиков экономики, его инициаторы всегда находили поддержку в Центральном Комитете Коммунистической партии Литвы.

Такова вторая ступень, на которую шагнуло и поднялось вверх сельское хозяйство республики. А третья...

— Ум на земле. Любовь к труду, ибо не землю, как принято говорить, а собственный труд любит земледелец, — сказал мне директор Литовского НИИ земледелия, лауреат Государственной премии СССР Антанас Будвитис.

3

Несколько слов о научно-исследовательском институте земледелия. В нынешнем году он отметил свое тридцатилетие, но корни его уходят дальше—в 1910 год, когда в Дотнуве открыта была сельскохозяйственная школа для западных районов России. Прошла первая мировая война, и школа превратилась в техникум, в составе которого в 1922 году появилась селекционная станция. Основал ее один из пионеров отечественной селекции, профессор Д. Л. Рудзинский—он в свое время заложил Московскую селекционную станцию.

В 1925 году в Дотнуве была организована сельскохозяйственная академия—давно уже работает она в Каунасе, но название городку оставила: Дотнува-Академия. А в 1947 году появился научно-исследовательский институт земледелия, первым директором которого был Витаутас Вазалинскас.

Сейчас он заместитель председателя Совета Министров республики.

Люди, особенно те, кому доверено руководить, не должны в угоду обстоятельствам изменять истине своего дела—вот урок, преподанный Вазалинскасом и крепко усвоенный нынешним директором института Антанасом Будвитисом. Но, пожалуй, выразился я не совсем точно, ибо все, что я узнал о Будвитисе, все, что услышал от него самого, все дает мне право утверждать: он сам в себе взрастил убеждение, что истина—дороже всего. Потому, наверное, двенадцать лет назад на него, еще не достигшего сорока лет, пал выбор, и он стал руководителем коллектива в двести восемьдесят научных сотрудников (двести восемьдесят личностей, характеров, точек зрения, двести восемьдесят острых углов, уязвимых са-

молубий и больших надежд), стал директором института, одно лишь сохранение традиций которого можно было бы поставить в заслугу, — а он и сохранил и привнес свои... Что именно? Многое можно назвать в ответ: от институтского интерьера (помню, я ходил по кабинетам и коридорам с неослабным удивлением: как это все просто и как здорово! Удивление мое стало сильнее, когда узнал, что все — и деревянный занавес в кабинете Будвитиса и деревянные же потолки и панели, кое-где с металлом, кое-где с пластиком, все буквально сделано из отходов!) до чудных, тенистых, бережно сохраняемых парков Дотнувы... Это, разумеется, не та мера, которой можно оценивать работу научного учреждения; но здесь, если хотите, черта стиля, уклада, нормы, которую последовательно утверждает Будвитис: ко всякому делу должны быть приложены усилия ума, искренняя любовь и упорное прилежание.

Он сел за руль, распахнул дверцу машины:

— Пожалуйста. Я покажу вам наше хозяйство.

Экспериментальное хозяйство НИИ земледелия — семь с половиной тысяч гектаров земли. Будвитис рассказывал и показывал, я отмечал: к каждому севооборотному полю ведет хорошая дорога, можно хоть на «Волге» подъехать... Гаражи для комбайнов устроены так, что в них можно сушить зерно — пока комбайн в поле. Вокруг свинофермы — чистота, порядок и мощные тропинки.

Все это само по себе было превосходно, но ведь немало в стране колхозов и совхозов, вряд ли уступающих Дотнуве аккуратностью своих ферм. Да и не в том, вероятно, цель научно-исследовательского института, чтобы довести, пусть даже до совершенства, частности. Цель, я полагаю, в больших и малых открытиях, в поисках пути, по которому завтра двинутся все.

Будвитис кивнул:

— Так.

И, помолчав, добавил:

— Есть две проблемы, они между собой связаны. Первая — концентрация и специализация сельскохозяйственного производства. Вторая — удержать на земле ум.

Скажу коротко о сути работы, которую ведет институт. Ну, если совсем коротко, то все, наверное, можно уместить в два любимых Будвитисом слова: гипотеза и модель.

Сельскохозяйственное производство, как и любое производство вообще, имеет свою технологию, и в Дотнуве разрабатывают модели этой технологии — для животноводства, овощеводства, производства кормов, льноводства... Вместе с директором заезжали на институтскую пасеку: пчелы исправно собирают мед, ученые — создают модель организации пчеловодческого хозяйства. Понятно, должно быть, что во всех случаях идет поиск оптимизации производства, основанной на более узком и, стало быть, более эффективном разделении труда. Валинавское отделение экспериментального хозяйства института, привел в пример Будвитис, разработало технологию, которая позволяет получить в среднем более четырех тысяч килограммов молока от каждой коровы.

— Наверное, и условия подходящие? — вспомнив рекорды опытно-показательных хозяйств, о которых и мечтать не смеют обыкновенные колхозы, не без иронии спросил я.

— Каждая модель строится в расчете на условия рядового хозяйства, — был ответ директора, привыкшего, должно быть, к подобным вопросам. — Нет смысла создавать образец, который так и останется образцом. У нас не музей.

На рубль, вложенный в разработки института земледелия, сельское хозяйство республики получает шесть — не много найдется в стране учреждений науки с таким высоким коэффициентом полезного действия.

Но, пожалуй, главная на сегодняшний день работа — создание модели межхозяйственного объединения. Причем это не столько точный проект, сколько его идея — идея, достаточно отличающаяся от привычного представления о том, что есть и чем должно быть межхозяйственное объединение. По мысли — по гипотезе! — Будвитиса, объединение такого типа — это единое хозяйство с крупными, глубоко специализированными подразделениями на месте теперешних колхозов. Например, одно подразделение занято исключительно производством молока, в другом — выращивается молодой скот, в третьем — откармливают крупный рогатый скот. Разделение труда сочетается в межхозяйственном объединении с централизацией многих работ — это уборка хлеба, подготовка семян, производство сенажа, травяной муки, ремонт сложной техники, строительство и т. д.

И — вопрос социальный — условия жизни! Мысль Будвитиса: будущее — за крупными поселками, поднимающими быт до городского уровня и сохраняющими в то же время привлекательные стороны сельской жизни, среди которых главная — близость к природе, возможность постоянного общения с ней. Стало ясно: все, что рассказал и показал мне директор, подчинено решению проблемы, которую Будвитис считает важнейшей: удерживать ум на земле. Это понятие — ум на земле — он толкует широко: умелый механизатор, знающий полевод, толковый организатор — все они представляют собой тот коллективный разум, чьи огромные возможности раскроются до конца при соответствующих условиях труда и быта.

Директор подводит черту:

— Наука остановится, если она признает окончательным даже самое разумное на первый взгляд решение. Всегда надо иметь гипотезу, резко отличающуюся от существующих концепций. Надо быть готовым решать проблемы, о которых сегодня мало кто думает, но которые завтра встанут со всей остротой.

Немало размышлял я над тем, какими словами — хотя бы в самых общих чертах — передать читателю мое понимание натуры Будвитиса. Все какие-то затертые обороты приходили в голову: поиск новых путей... постоянная и напряженная работа мысли... высокая требовательность прежде всего к самому себе... страстная увлеченность своим делом... И, чувствуя, с одной стороны, неоспоримую правоту этих слов, а с другой — удивительную их скудость, я подумал: надо написать, что знакомство с ним стало для меня, вдоль и поперек изъездившего всю страну и повидавшего самых разных людей, большой личной удачей. Разумеется, я не считаю себя вправе в качестве последней инстанции давать оценку деятельности института — я рассказал о ней достаточно бегло. Но стремления искать, находить и внедрять у Будвитиса и его коллег не отнимешь — не случайно именно об этом сказано было в постановлении ЦК КПСС «О работе Литовского научно-исследовательского института земледелия по повышению эффективности исследований и внедрению научно-технических достижений в сельскохозяйственное производство». Рассказать же немного о личности директора, о его убеждениях, склонностях, привычках, мнениях я должен.

Помню, я спросил у него:

— Мне сказали, завтра утром вы в Вильнюс едете — верно?

Пришло время собираться в обратный путь, и я рассудил, что недурно было бы прокатиться до Вильнюса в директорской машине — и удобней, и быстрее.

— Да, — сказал Будвитис, — завтра. В одиннадцать утра рейсовым автобусом.

Директор большого института... Видный ученый, известный человек — автобусом? Да что у них, в Дотнуве, машины для руководства, что ли, нет? Выяснилось: есть машина, но есть и установленный Будвитисом порядок — если в Вильнюс едет один человек, то ему, кто бы он ни был,

придется воспользоваться общественным транспортом. Выяснилось, кроме того: все те, кому по каким-либо делам надо быть в Вильнюсе, накануне записываются у секретаря. Наберется людей на машину — отправляется машина; если больше — микроавтобус. И не дай бог опоздать хоть на минуту — не ждут никого!

Когда он стал директором, то на общем собрании института объявил о своих принципах.

Уважать субординацию — в том смысле, что каждый должен быть на своем месте: со своими правами и со своей долей ответственности.

Ни в коем случае не злоупотреблять служебным положением.

Ценить людей исключительно за их труд.

Принципы прекрасные, но я все-таки не удержался и спросил:

— Слушайте, Антанас, а зачем было так — публично? Держались бы вы их — и все, к чему объявлять?

Он улыбнулся мягкой своей улыбкой:

— Знаете, когда бросаешь курить и даешь слово себе — это одно, когда обещаешь перед многими — это совсем другое. Я тогда сам себя связал и, думаю, был прав.

Вот чем, например, связал себя Будвитис.

Он никогда не поставит своей подписи под статьей, в работе над которой не принимал участия. Авторитет его в научном мире высок, и, случается, идут к нему сотрудники, просят: «Другас Антанас, с вашей подписью напечатают наверняка...». «Единственное, чем я могу помочь, — неизменно отвечает в таких случаях он, — это направить в редакцию соответствующее письмо».

Он никогда не вмешается в дела месткома. Распределение жилья, путевок, огородов — директор считает, что эти вопросы профсоюз знает лучше, чем он.

Он никогда не побоится признать свою ошибку. Авторитет ученого, авторитет руководителя, считает он, — это честность, честность и еще раз честность.

Он никогда не прервет открытого обсуждения, никогда не попытается смягчить остроту спора. Он считает, что нечему радоваться, если в коллективе нет борьбы мнений: такой коллектив может загнить, как непротекающее болото.

Он никогда не потребует для себя удобств больших, чем те, которые могут быть у каждого, — лучшей квартиры, лучшей палаты в больнице...

Будвитис — человек, безусловно, коммунистический, вот почему, мне кажется, стоит познакомиться с его отношением ко многим проблемам нашей жизни. И вот почему с таким неослабным вниманием читал я опубликованные в литовской газете «Литература и искусство» отрывки из записок Будвитиса, которые начал он лет десять — двенадцать назад и которые ведет по сей день.

Я читал (перевод с литовского Лаймы Мечёните):

«Скопилось много работы. В ближайшие дни — три выступления! Послезавтра — перед хлеборобами республики. Эта речь будет самой короткой, однако нервнрует больше всего. Уж десять дней назад просили дать ее текст... Текста не дал. Как всегда, так и на этот раз: буду говорить, но не читать».

«На совещании руководителей хозяйств Радвилашского района рассматривали вопрос о межколхозной кооперации, оговорили проект развития производства до 1990 года. Размах не ахти какой, революция небольшая, а все-таки — сильная реакция старых председателей. Интересно будет вспомнить их контрречи лет через десять — пятнадцать. Не сомневаюсь, что уже тогда будут сведены на нет границы между хозяйствами, входящими в одно объединение. Будут созданы хозяйства по 15 — 20 тысяч гектаров. А сегодня некоторые председатели кричат, что достаточно и двух тысяч.

...Но в конечном итоге будущее определяют не председатели, а те земледельцы, которые сегодня бегают в джинсах. Они не захотят грязной работы. Они захотят нажимать на кнопки... А для этого понадобится значительно укрупнить фермы, все производства. И, значит, нынешние пессимистические речи мы в свое время вспомним так, как вспоминаем высказывания бывших авторитетов, которые смыло неудержимое течение жизненной реки. Кстати, те, кто теперь сомневается в будущем, знакомы с уроками истории. Они не выступают резко против, не упираются лбом — нет! Они предлагают свою программу, рассчитанную, правда, не на один год: окультурить поля, укрупнить бригады до нескольких сот га и т. д. За это время они незаметно настроили бы множество мелких ферм и поселков. Не зря ведь каждый хлев обладает способностью вырастить себе пристройку...»

«Говорил по телевидению о проблемах культуры нашего села. Рассказывал о великой зевоте окраин полей, о сентиментальном отношении писателей к хуторской жизни... Рассказывал, ничего не прибавляя, о том, что видим вокруг. Меня поздравляли с выступлением, но вместе с тем и пророчили, что теперь на телевидение меня пригласят не скоро.

Прошла неделя, другая — эту мою речь забудут. Она только расшевелила умы, как брошенный в затынутый ряской пруд жернов. Единичные выступления не разрушают жизненный ритм, но люди могут выговориться. Это полезно. Еще полезней, когда их высказывания проникнуты мыслью о благе общества. Мне кажется, я говорил именно так».

«Посетил только что присоединенные к Дотнувскому экспериментальному хозяйству производственные центры Дотнувелле, Пиленяй, Монтвилишкис. Жуткий беспорядок, нечеловеческие условия труда. Не вытерпел и пишу письмо председателю исполнительного комитета Кедайнского района.

До холодов даже в высоких резиновых сапогах вокруг ферм и мастерских не пройти. Увязает в грязи техника. Если надо было бы снимать беспорядок для киноленты, то и самый изобретательный режиссер не придумал бы столько... И кстати: все фермы на берегу Дотнувелле, и навозная жижа стекает вниз, в реку. Конечно — вдруг ничего не изменишь. Но наш коллектив трудности не испугали. Нас только очень удивило, почему всего этого не видели вышестоящие товарищи. Ведь сколько молодых мечтаний разбилось об эту грязь! Думаю, что следовало бы посвятить специальную сессию Совета депутатов трудящихся оценке культуры одного или нескольких таких колхозных производственных центров. И сделать это надо не тогда, когда ударят морозы и ляжет и все скроет снег, а в конце марта — начале апреля: когда возле ферм и мастерских колхозники принимают грязевые ванны, когда ржавеет техника. И, может быть, именно в эту пору молодой механизатор решает оставить колхоз».

«Каждый год — шаг к финишу. Что угнетает? Наверное — небытие. То, что приближается время, когда не смогу заглянуть вперед... Тут есть что-то общее с желанием лесничего посадить дуб, с желанием каждого оставить детей, чтобы они выросли хорошими людьми. Человек цепляется за вечность, стремится хоть немного присоединиться к ней, но она сбрасывает нас, как осенью сбрасывают листья деревья. Как хорошо листьям, они не умеют думать...»

«На протяжении многих лет создавалась литовская агробиология. Но перед первыми учеными мужами организационные проблемы не возникали. Рабочей силы было столько, сколько требовалось. Важно было одно: чтобы прирост урожая соответствовал затраченным средствам и еще оставалось хозяину.

Сейчас — другое. Рабочей силы на селе столько, сколько осталось ее от города. Да и те, кто работает сейчас в сельском хозяйстве, давно уже не лошади: тянут, сколько сами захотят. Возникает много организацион-

ных вопросительных знаков. Назревают мысли о специализации и кооперации производства. И решать это должна, конечно, наука.

Организационные решения с неба не сыплются. Их надо найти — и не в комнате, не на небольшом подопытном поле: необходимо крупное хозяйство со всеми новшествами, с узкоспециализированными подразделениями средней величины, с централизованными работами, с единым поселком. Такая модель будущего создается в Дотнуве.

Однако этого не хотят понять старые агробиологи».

Я читал дневники Антанаса Будвитиса и думал, что он принадлежит к тем людям, которые могут сказать о себе словами замечательного мыслителя и гуманиста доктора Альберта Швейцера: «Мой аргумент — моя жизнь».

В ту поездку по Литве мне довелось прочесть страницы еще одного дневника.

«Сегодня я стал председателем колхоза. Голова гудит от нахлынувшего, от круговерти мыслей. Не знаю, почему, но мне кажется, что я сегодня распрощался с молодостью. Прощай, моя молодость! А бесштантные дети, что сидели у матерей на руках во время собрания, — мои будущие механизаторы. А встреча со стариками — разве такое забудешь: надежды, упреки, наставления. Я не должен их подвести... Я смотрел на плохо одетых людей сквозь завесу табачного дыма, смотрел на уставших, на усаженных и заросших щетиной людей в кожаных и шапках. Смеются, улыбаются — ничего, будем друзьями! И все члены бюро райкома пожалы мне руки — действуй!

И вот они уехали. Я остался в Лабунаве. Один. Куда идти, к кому, где ночевать?»

Несколько лет спустя после войны ранним утром седьмого февраля Генрикасу Кретавичусу, учителю литовского языка и литературы и директору деревенской школы, позвонили из райкома: «Приезжай на бюро. Захвати полотенце, смену белья». Удивившись: зачем это являться на бюро, словно в баню, Генрикас положил вещички в портфель, поехал... И когда в кабинете первого секретаря услышал, что на повестке сегодня один вопрос: кандидатура председателя в отстающий колхоз, поднял руку:

— Меня пошлите.

В Лабунаве, куда нужен был председатель, прошло его детство, там бегал он пастушкой за крестьянским стадом...

В тот же день вместе с ним отправилось в колхоз все бюро — представить Кретавичуса людям. И в переполненном, прокуренном, тесном зале старенькой школы отчаянная какая-то женщина, пробравшись к сцене, положила на стол, за которым сидел президиум, плачущего младенца.

— Этого-то колхозничка, — перекрывая плач ребенка, закричала она, — чем кормить будете?!

Предшественник Кретавичуса, Пошкус, опустил глаза.

Перед собранием Генрикас прошел по хозяйству. Увидел тощих, грязных, орущих от голода свиней, коров, которые не столько держались на ногах, сколько висели на обхвативших их веревках; сквозь дырявую кровлю ферм увидел серое зимнее небо.

— Вот... Предлагаем вам нового председателя, — сказал в зал секретарь райкома.

Оттуда крикнули:

— Знаем его! Он у нас тут коров пас!

И еще крикнули — женский голос:

— А что он нам даст?

Кретавичус поднялся, и, ссутулив широкие плечи, опершись на стол обеими, сжатыми в тяжелые кулаки руками, сказал глухо:

— Жизнь... Лес продадим... деньги будут, — помолчав, сказал он, услышал одобрительный гул в зале и вздохнул с облегчением: приняли!

Вечером разошлись, разъехались — он остался. Сидел в опустевшем зале, писал в дневник, чем начался этот день и чем кончился... Потом встал и отправился искать ночлег. Зашел в один дом, хозяин которого был ему немного знаком, — но там и без него полным-полно оказалось народу. Стукнул в другую дверь, к учителю, — тот, не сходя с порога, проговорил:

— Дети у меня. Не могу.

Не говоря ни слова, круто повернулся и пошел прочь Кретавичус, но услышал еще:

— Придут бандиты — детей ты защитишь?

Словно кто-то в спину толкнул его — сбился с шага, но сразу же пошел быстрее и очутился вскоре возле конюшни, в которой за дощатым столом сидели вокруг бутылки самогона и куска сала три старика.

— Заночевать пустите? — спросил он, и старики покладисто кивнули:

— Заходи!

Налили себе — поднесли и ему. Он взял стакан, спросил:

— По какому случаю пьете?

— Председателя нового нам поставили! Стро-огий, говорят! При нем, может, и не выпьешь, так мы сейчас! — ответил один из них и, стиснув стакан черными, негнущимися пальцами, потянулся к Генрикасу — чокаться.

Кретавичус выпил, бросил в рот кусочек сала, пожевал. Сказал:

— Вы это, старики, зря. Не бойтесь. Председатель — ничего мужик. Я его знаю.

Так они сидели и говорили, когда открылась дверь и вошел Пошкус.

— Жеребца запрягите. Домой еду. — И, заметив Кретавичуса, спросил хмуро: — Ты чего здесь?

— Гостиница тут у меня. Вот и постель, — показал Генрикас на охапку соломы в углу.

— Ну, ну, — качнул головой Пошкус. — Хочешь — поедем ко мне. Дом большой.

Дом у него и в самом деле был большой — два этажа, просторный. И в комнате на втором этаже уже готов был торжественный ужин — двадцать мест насчитал за столом Генрикас и понял, что ожидал Пошкус успешных для себя выборов и хотел, как водится, отметить это событие с приехавшим из района начальством.

— Садись, — сказал Пошкус. — Что стоишь? Праздновать будем.

— Вдвоем?

— Садись, — настойчиво повторил Пошкус, и что-то нехорошее в голосе бывшего председателя послышалось Генрикасу. Зря приехал — с запоздалым раскаянием решил он.

Сели друг против друга на разных концах стола. Пошкус поднял рюмку:

— Ну... желаю тебе... — И выпил залпом.

Незаметно для него выплеснул свою рюмку Кретавичус в стоявший позади, на подоконнике, фикус. Без всякого перерыва налил Пошкус вторую, выпил, сразу же потянулся налить еще, но сильный стук потряс в эту минуту дверь, и Пошкус, с грохотом отбросив стул, кинулся в спальню. «Зачем?» — всего только и успел подумать Генрикас, как с топором в руках выскочил оттуда Пошкус.

— погоди! — жестом остановил его Кретавичус и, осторожно спустившись на первый этаж, встал возле двери.

— Открывай! — кричали с улицы. — Где председатель?

Кретавичус вытащил пистолет, спустил предохранитель. Мигнул же не Пошкуса: «Открой!» Трясущимися руками она сбросила засов.

— Сколько их было? — спросил я Кретавичуса.

— Человек пять, наверно... Агроном, два бригадира, еще кто-то...

Они после собрания спохватились: председателя нет... Вот и кинулись по деревне меня искать.

Так он начинал.

И с той поры два с лишним десятилетия бесменно председательствует в «Риту Аушра». Каким стал колхоз, вы знаете. И знаете теперь — каким он был. Быстрым взглядом окинув эти десятилетия, можно представить себе вместившуюся в них судьбу Кретавичуса: от тех февральских дней до нынешних — дней крепкой экономики, больших планов и уверенных надежд. И можно понять, что в этой земле, в этих улицах, носящих названия старых, навек ушедших в прошлое хуторов, в этом асфальте на мостовых и светильниках над ними — вся жизнь Кретавичуса, вся его преданность и любовь.

И когда, выступая на внеочередной сессии Верховного Совета СССР, утвердившей Конституцию СССР, Первый секретарь ЦК КП Литвы П. П. Гришкявичус говорил о том огромном пути развития, который за тридцать восемь советских лет прошла республика, он говорил и о колхозе «Риту Аушра» и о председателе его Генрикасе Кретавичусе.



Соратники В. И. Ленина

С. Цвигун

НАШ ФЕЛИКС

Тероический советский народ и все прогрессивное человечество широко, как самый большой праздник, отметили 60-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.

На совместном торжественном заседании Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Верховного Совета Союза ССР и Верховного Совета РСФСР, посвященном этому главному событию XX века, с глубоким и содержательным докладом выступил Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Леонид Ильич Брежнев. Он подвел итоги громадной работы нашего народа во всех сферах коммунистического строительства: в экономике, науке, культуре, в подъеме материального благосостояния советских людей, укреплении оборонного могущества Родины, развитии социалистической демократии, упрочении дружбы народов СССР, воспитании советского человека. Ярко и убедительно были раскрыты значение и влияние Великого Октября на весь ход мирового революционного процесса, успехи ленинской внешней политики — политики укрепления союза социалистических стран, разрядки международной напряженности.

Все грандиозные свершения советского народа достигнуты под руководством созданной нашим великим вождем Лениным Коммунистической партии. КПСС уверенно вела и ведет ленинским путем наш народ к новым вершинам коммунистического созидания. Большой вклад в разработку и претворение в жизнь политики партии и правительства вносит выдающийся деятель современности товарищ Л. И. Брежнев.

В эти праздничные дни советские люди с большой любовью и теплотой вспоминали о революционном прошлом нашего народа, о подвигах борцов за народное счастье в период гражданской и Великой Отечественной войн, о героях труда. Их мужество, бесстрашие, преданность делу социализма служат для нашего народа вдохновляющим примером, вечно зовущим и ведущим вперед.

В славной когорте соратников В. И. Ленина одним из выдающихся революционеров и государственных деятелей, всецело посвятивших свою жизнь победе революции, созданию и защите первого в мире государства рабочих и крестьян, был Ф. Э. Дзержинский. Выступая с докладом на торжественном заседании, посвященном 100-летию со дня рождения Ф. Э. Дзержинского, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Комитета государственной безопасности товарищ Ю. В. Андропов сказал: «В труде и в бою, во всей нашей жизни нас вдохновляют бессмертные ленинские идеи. Страстной и самоотверженной борьбе за претворение в жизнь великих идей мы учимся у большевиков-ленинцев, к которым принадлежал и Феликс Эдмундович Дзержинский. Для нас они были и остаются образ-

цом коммунистической убежденности и революционного горения. Они навечно с нами в борьбе за торжество коммунизма».

«Рыцарь революции», «Гроза буржуазии», «Наш Феликс», «Железный Феликс» — так с любовью называли и называют в народе Ф. Э. Дзержинского, весь жизненный путь которого органически сливается с самим дыханием революции, с созиданием социалистического общества.

Недолгой была жизнь Дзержинского, но она сверкнула подобно молнии на небосклоне истории, оставив в памяти человеческой неизгладимый след.

Родился Феликс Эдмундович 11 сентября 1877 года.

Еще в годы учебы в Виленской гимназии он начал проявлять живой интерес к революционной литературе. С глубоким вниманием следил за классовыми выступлениями трудящихся. Участь в седьмом классе, Ф. Э. Дзержинский стал активным членом нелегального кружка, который всецело находился под влиянием социал-демократов. В эту пору он жадно изучал произведения Маркса и Энгельса, книгу Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Молодого Дзержинского увлекла работа «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» и другие ранние произведения В. И. Ленина.

Изучая марксистскую литературу и внимательно следя за революционными выступлениями пролетариата, Ф. Э. Дзержинский в самом начале своего жизненного пути пришел к твердому выводу, что добиться свободы для народа можно только революционным путем.

Вспоминая период своего становления как революционера, Ф. Э. Дзержинский писал: «Каждое насилие, о котором я узнавал.., было как бы насилием надо мной лично. И тогда-то я вместе с кучкой моих ровесников дал (в 1894 году) клятву бороться со злом до последнего дыхания. Уже тогда мое сердце и жизнь чутко воспринимали всякую несправедливость, всякую обиду, испытываемую людьми, и я возненавидел зло».

Вступив в 1895 году в Вильно в Литовскую социал-демократическую организацию, восемнадцатилетний юноша сразу же примкнул к ее левому крылу. В 1896 году он ушел из гимназии и стал профессиональным революционером, сознательно выбрав путь постоянных лишений и опасностей. Пройдут годы, и Дзержинский в автобиографии так напишет о мотивах этого своего решительного шага: «За верой должны следовать дела, и надо быть ближе к массе и с ней самому учиться».

В 1896—1897 годах под влиянием революционных событий в России происходит подъем рабочего движения в Литве и в Польше. Ф. Э. Дзержинский в этот период ведет активную революционно-пропагандистскую деятельность: он создает рабочий социал-демократический кружок и руководит им, выпускает прокламации и нелегальную газету «Ковенский рабочий», выступает на рабочих собраниях. Благодаря своей кипучей энергии и неутомимой деятельности он становится одним из видных руководителей революционного крыла литовской социал-демократии.

Революционная деятельность Ф. Э. Дзержинского не осталась незамеченной царской охранкой. В июле 1897 года он был арестован, а в августе следующего года без суда выслан на три года в город Нолинск Вятской губернии. Ровно через год — побег из ссылки, возвращение на родину и вновь подпольная работа, участие в восстановлении Варшавской социал-демократической организации, которая перед тем была жестоко разгромлена полицией.

В январе 1900 года — новый арест, затем два года пребывания в тюрьмах России и новая ссылка, на этот раз на пять лет в Восточную Сибирь, в Вилюйск. Но в июне 1902 года Ф. Э. Дзержинский бежал из Сибири, вернулся в Варшаву, а оттуда с помощью товарищей по партии перебрался в Берлин.

В эмиграции Ф. Э. Дзержинский продолжает активную политическую деятельность. Огромное впечатление производит на него книга В. И. Ле-

нина «Что делать?», все с большим вниманием следит он теперь за всем, что связано с именем В. И. Ленина. Стремится не пропустить ни одного номера ленинской «Искры», тщательно ее изучает.

Весть о начале революции 1905 года в России Ф. Э. Дзержинский встретил с огромной радостью. Как член Главного правления социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ) он посещал важнейшие центры революционного движения Польши, где выступал с разоблачением политики царизма, призывал к активным выступлениям в помощь рабочим и крестьянам России. Рабочие Кракова, Варшавы, Лодзи, Белостока, Ченстохова слушали проникновенные речи пламенного революционера.

В мае 1905 года он возглавил многотысячную демонстрацию трудящихся Варшавы. Он работал в Варшавской военно-революционной организации РСДРП, организовывал стачки польских рабочих... В июле 1905 года царские ищейки выследили Ф. Э. Дзержинского, арестовали его на Варшавской партийной конференции и бросили в тюрьму, откуда вместе с другими политическими заключенными он был освобожден в октябре по амнистии. Оказавшись на свободе, Дзержинский без промедления вновь включился в кипучую революционную борьбу.

В апреле 1906 года произошло одно из самых значительных событий жизни Ф. Э. Дзержинского: в качестве делегата IV Объединительного съезда РСДРП от СДКПиЛ он в Стокгольме впервые встретился с В. И. Лениным, познакомился с верными последователями и соратниками В. И. Ленина, которые впоследствии возглавили первую победоносную социалистическую революцию и вошли в состав первого правительства первого в мире государства рабочих и крестьян. Начиная с этого времени он стал ближайшим соратником вождя мирового пролетариата, твердым ленинцем.

На IV съезде РСДРП Ф. Э. Дзержинского ввели в редакцию Центрального органа партии. В 1906 году он вел партийную работу в Петербурге, Варшаве, участвовал в работе 2-й (1-й Всероссийской) конференции РСДРП...

Поражение революции 1905 года и последовавшая за ней реакция нанесли серьезный урон большевистским организациям. Многие профессиональные революционеры и активисты партии были арестованы, высланы в Сибирь. Оставшимся на свободе приходилось действовать в глубоком подполье, вести работу по подготовке рабочего класса к новым боям в самых тяжелых условиях. Ф. Э. Дзержинский был арестован в декабре 1906-го, но в мае 1907 года ему удалось ненадолго выйти из тюрьмы под залог. V съезд РСДРП избрал его (заочно) членом ЦК партии. Мenee года Ф. Э. Дзержинский был на свободе. В апреле 1908 года охранка опять схватила его; это был уже пятый арест. Приговор—вечное поселение в Сибири, куда его отправили в августе 1909 года. В конце того же года Ф. Э. Дзержинский бежал из далекой Енисейской губернии и после короткого отдыха и лечения за границей вернулся в Краков. Это было в марте 1910 года. Объявленный «опасным государственным преступником», Ф. Э. Дзержинский стал объектом усиленного розыска. Только в сентябре 1912 года полиция снова напала на его след. Шестой арест! Его держат в Варшавской цитадели, затем в Орловском каторжном центре... В феврале 1917-го революционные рабочие Москвы освободили Дзержинского уже из Бутырской тюрьмы.

К этому моменту за плечами Ф. Э. Дзержинского было двадцать два года революционной борьбы, из них половину он провел в тюрьмах, ссылках, на каторге. Закаленный, мужественный борец за свободу рабочего класса снова бросился в бой, с удесятенной энергией, и не удивительно, что в революционные дни 1917 года он был в центре исторических событий, определивших будущее страны.

24—29 апреля 1917 года Ф. Э. Дзержинский—делегат от Московской организации РСДРП(б)—принял участие в работе знаменитой 7-й (Апрельской) конференции РСДРП(б), вооружившей партию и рабочий класс планом перерастания буржуазной демократической революции в социалистическую.

В июле 1917 года Московская партийная организация направила Ф. Э. Дзержинского своим делегатом на VI съезд партии, взявший курс на вооруженное восстание. В. И. Ленин, как известно, не присутствовал на этом съезде, но руководил его работой, находясь в подполье. Владимир Ильич скрывался от преследований Временного правительства. Одним из вопросов, который обсуждали на съезде, был вопрос о его явке на суд. Ф. Э. Дзержинский со свойственной ему страстностью и убежденностью обрушился на тех, кто высказывался за явку вождя. «Мы должны ясно и определенно сказать,—заявил Феликс Эдмундович,—что хорошо сделали те товарищи, которые посоветовали Ленину не арестовываться. Мы должны ясно ответить на травлю буржуазной прессы, которая хочет расстроить ряды рабочих... Мы должны разъяснить товарищам, что мы не доверяем временному правительству и буржуазии, что мы не выдадим Ленина».

На VI съезде Ф. Э. Дзержинского избрали членом ЦК партии.

Неизмеримы заслуги Ф. Э. Дзержинского в подготовке и проведении вооруженного восстания в октябре 1917 года в Петрограде.

10 октября 1917 года Ф. Э. Дзержинский в числе видных руководителей партии участвовал в заседании ЦК, которым руководил В. И. Ленин и которое приняло решение о вооруженном восстании.

12 октября 1917 года он выдвинут в состав военно-революционного комитета при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов.

16 октября 1917 года на заседании ЦК был создан Военно-революционный партийный центр по руководству восстанием. В него вошли Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, А. С. Бубнов, М. С. Урицкий и Ф. Э. Дзержинский. Этот центр—руководящее партийное ядро военно-революционного комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов—действовал под непосредственным руководством В. И. Ленина.

В день вооруженного восстания в Петрограде Ф. Э. Дзержинский лично руководил захватом почты и телеграфа, организовывал связь Смольного с отрядами восставших, отвечал за охрану Смольного и безопасность В. И. Ленина.

Ф. Э. Дзержинский находился в президиуме исторического II съезда Советов, утвердившего ленинские декреты о мире и земле, об образовании первого в мире рабоче-крестьянского правительства—Совета Народных Комиссаров во главе с В. И. Лениным. На съезде Ф. Э. Дзержинский был избран во ВЦИК, а ВЦИК ввел его в состав своего Президиума.

Ф. Э. Дзержинский пользовался огромным авторитетом в партии, в годы гражданской войны выполнял ряд ответственных поручений ЦК партии и Советского правительства, был делегатом всех съездов партии после Великой Октябрьской социалистической революции.

5 апреля 1920 года Пленум ЦК РКП(б), созванный после XI съезда партии, избрал Ф. Э. Дзержинского кандидатом в члены Оргбюро ЦК РКП(б). С июня 1924 года он также кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б), а с января 1926 года—кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б).

Важное место в героической биографии Феликса Эдмундовича Дзержинского заняла его работа народным комиссаром путей сообщения. Возглавляя НКПС с 14 апреля 1921 года, Дзержинский приложил огромные усилия, чтобы, следуя указаниям Ленина, восстановить деятельность по существу парализованного железнодорожного и водного транспорта. В короткий срок Дзержинский, опираясь на революционный энтузиазм рабочих-железнодорожников и водников, сумел добиться коренного изменения работы железнодорожных и водных путей и вывести транспорт из состоя-

ния разрухи, превратив его в четко действующий механизм. Восстановление транспорта помогло молодому Советскому государству успешно справиться с народнохозяйственными задачами того периода.

В феврале 1924 года Дзержинский был назначен Председателем Высшего Совета Народного Хозяйства. В этом главном хозяйственном штабе страны во всем многообразии раскрылся организаторский талант Дзержинского. Следуя заветам Ленина, он не жалел сил и энергии для осуществления хозяйственной политики партии, для развития новой, социалистической индустрии. Проведение в жизнь ленинского плана электрификации страны, заботы о подъеме производительности труда, о снижении себестоимости промышленной продукции, об укреплении трудовой дисциплины, о росте творческой активности рабочего класса входили в сферу постоянных дел и интересов Ф. Э. Дзержинского.

Где бы ни работал Дзержинский, какое бы задание ни выполнял, он был весь в творческом горении. «Человек исключительной энергии и целиком преданный делу революции, он горел деятельным огнем на своих ответственных постах», — писала о нем «Правда».

Отличительная черта Ф. Э. Дзержинского как политического деятеля — его непоколебимая вера в силу интернационального единства трудящихся всех стран. Он был глубоко убежден, что победить буржуазию рабочий класс сможет только в том случае, если обеспечит интернациональную сплоченность своих рядов. «Я был самым резким врагом национализма, — говорил Дзержинский, — и считал величайшим грехом, что в 1898 году, когда я сидел в тюрьме, литовская социал-демократия не вошла в единую Российскую социал-демократическую рабочую партию».

Ф. Э. Дзержинский — стойкий большевик, верный ленинец — решительно выступал против всего, что могло нанести ущерб единству партии, нарушить сплоченность ее рядов. «Мы должны сохранить во что бы то ни стало единство нашей партии. И единство партии должно быть сохранено, оно должно быть свято для всех нас, не формально.., а по существу», — говорил Ф. Э. Дзержинский.

Высокие качества государственного деятеля нового типа нашли свое яркое выражение в таких замечательных чертах Ф. Э. Дзержинского, как его безупречная честность, непреклонная воля и личное мужество. Ненависть и беспощадность к врагам революции, к врагам народа Ф. Э. Дзержинский сочетал с величайшим гуманизмом, особой чуткостью к человеку труда. Эти черты проявились еще в дни, когда Феликс Эдмундович, член военно-революционного комитета при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов, возглавил следственно-юридическую комиссию, призванную защитить завоевания революции от посягательства контрреволюционных сил. Эта комиссия успешно работала и в первые дни после Октябрьского восстания.

Один из самых важных периодов жизни и деятельности Ф. Э. Дзержинского — в глазах народа поистине рыцаря революции — годы, когда он возглавлял Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).

Победа Великой Октябрьской социалистической революции и первые шаги молодого государства рабочих и крестьян вызывали злобу и яростное сопротивление эксплуататорских классов России и находившихся у них на службе соглашательских партий. Опираясь на помощь международного империализма, враги повели атаку на Советскую власть. Республика нуждалась в органе защиты, который был бы способен беспощадно подавить внутреннюю контрреволюцию. По предложению Владимира Ильича была создана ВЧК. По инициативе Ленина тогда же, 7 (20) декабря 1917 года, председателем ВЧК был назначен Ф. Э. Дзержинский, обладавший всеми лучшими качествами революционного якобинца — решительностью, последовательностью, непримиримостью к врагам революции и кристальной честностью.

Деятельность на посту председателя ВЧК снискала Ф. Э. Дзержинскому величайшее уважение и любовь трудящихся масс и вместе с тем злобу и ненависть со стороны контрреволюции и международного империализма. Иначе и быть не могло. Он был беспощаден к врагам и неистов в бою, за что народ и назвал его «грозою буржуазии».

С первых же дней своего существования ВЧК столкнулась с самыми острыми и изощренными формами подрывной деятельности внутренних и внешних врагов первого в мире государства рабочих и крестьян. «В грозные дни, когда на молодую Советскую республику обрушились полчища контрреволюции и интервентов, в обстановке блокады, саботажа, кулацких мятежей, революционная Россия держала свой самый ответственный экзамен», — говорил Л. И. Брежнев в докладе о 50-лети Великой Октябрьской социалистической революции о том трудном и тяжелом периоде истории Советского государства, когда ВЧК возглавлял Ф. Э. Дзержинский.

Органы безопасности, призванные защищать новое государство трудящихся, только-только были созданы, а им уже пришлось схватиться в бою с разведками главных капиталистических держав, имевших вековой опыт подрывной деятельности. На вооружении этих разведок были самые изощренные, самые острые формы и методы борьбы — заговоры, мятежи, восстания, диверсии, террор. И международный империализм щедро финансировал их усилия против Республики Советов.

Тяжелая была обстановка, но ВЧК сумела успешно решить поставленные перед ней задачи.

В январе 1918 года под руководством Ф. Э. Дзержинского и при его непосредственном участии был раскрыт и ликвидирован контрреволюционный «Союз защиты Учредительного собрания», созданный кадетами, меньшевиками и эсерами, была уничтожена «Организация борьбы с большевиками и отправки войск Каледину», состоявшая из царских офицеров и юнкеров... В начале 1918 года были разгромлены банды анархистов в Москве. Летом 1918 года органы ЧК раскрыли одну из самых коварных организаций объединенных сил разведок империалистических государств — так называемый «заговор послов», — его возглавляли официальные представители дипломатических служб США, Англии и Франции... Осенью 1919 года после основательной подготовки ВЧК нанесла новый удар по контрреволюции: раскрыла и ликвидировала заговоры «национального центра» и «тактического центра». Эти контрреволюционные «центры» направляли деятельность многих заговорщических подпольных сборищ вроде «Совета общественных деятелей», «Союза возрождения», «Добровольческих армий Московского района» и других.

Блестящей чекистской операцией, которую разработал и возглавил лично Дзержинский, было раскрытие в мае 1918 года контрреволюционного «Союза защиты родины и свободы». Рабочий московского завода «Каучук» Нифонов обратился в ВЧК с сообщением о том, что в частную лечебницу дома № 1 по Молочному переулку часто заходят под видом больных подозрительные люди с явной офицерской выправкой. Примерно в то же время командир латышского полка сообщил заместителю председателя ВЧК Петерсу, что, как ему рассказала сестра милосердия Иверской больницы, в Москве подготавливается вооруженное восстание. Ей же об этом стало известно от юнкера Иванова (в действительности его фамилия была Мешков). Дзержинский дал указание установить наблюдение за лечебницей в Молочном переулке, за Иверской больницей.

В ночь на 29 мая чекисты во главе с Петерсом окружили дом Иверской больницы и обнаружили там сборище заговорщиков. При обыске были изъяты документы и печать «Союза защиты родины и свободы», записные книжки с адресами и телефонами. Дзержинский и другие руководители ВЧК в ходе следствия выяснили, что «Союз защиты» — разветвленная, хорошо законспирированная военно-заговорщическая организация.

Основной целью участников этой организации было свергнуть Советскую власть, установить военную диктатуру во главе с Б. В. Савинковым, возобновить войну с Германией. Только в Москве боевая группа «Союза» насчитывала четыреста человек. Участники «Союза» пролезли в некоторые советские органы, воинские части и военные учреждения. На допросе у Дзержинского арестованный Пинка (Пинкус) назвал явки и пароли участников этой организации в Казани. По заданию Дзержинского под видом офицера, члена «Союза защиты», в казанское отделение контрреволюционной организации проник комиссар ВЧК, он выяснил состав отделения, планы враждебных действий. После этого казанская губчека арестовала заговорщиков.

Организация была разгромлена. Ее участники понесли заслуженное наказание.

Однако руководитель «Союза защиты», ярый враг Советской власти Савинков сумел скрыться и бежал за границу, где возобновил активную антисоветскую деятельность. Во Франции он создал так называемый «Народный союз защиты родины и свободы», в котором объединились все враждебные Советской власти элементы — от крайних монархистов до меньшевиков включительно. Цели этой организации были, в сущности, те же: свергнуть Советскую власть и реставрировать в нашей стране буржуазно-помещичьи порядки. Новоявленный «Союз защиты» планировал организацию широкого подполья на территории СССР, бандитские восстания, террор, разрушения. Определяя тактику борьбы с антисоветской деятельностью этого «Союза», Дзержинский и его коллеги решили провести операцию по выводу Савинкова в Советский Союз. Для этого до Савинкова была доведена информация о якобы существующей в России антисоветской организации под названием «Либеральные демократы». Савинкову предложили возглавить эту «контрреволюционную» организацию. Участники операции — чекисты А. П. Федоров, Н. И. Демиденко, Р. А. Пиляр, С. В. Пузицкий и другие — получили много ценных советов Дзержинского. Чтобы Савинков поверил в силы «либеральных демократов», его убедили в том, что он заочно избран председателем ЦК этой организации, и попросили приехать в СССР для быстрейшего наведения порядка в ней. Савинкова информировали, что среди «либеральных демократов» якобы произошел раскол на две группировки, которые разошлись во взглядах на формы борьбы против Советской власти. Савинков, поверив в реальность «либеральных демократов», решил активизировать их антисоветскую деятельность и 15 января 1924 года вместе с несколькими своими ближайшими единомышленниками «нелегально перешел» советско-польскую границу. На следующий день он был арестован в Минске. Таким образом ЧК нанесла окончательный удар так называемому «Народному союзу защиты родины и свободы».

Характеризуя деятельность органов ВЧК в те годы, В. И. Ленин на IX съезде Советов говорил: «ВЧК — это то учреждение, которое было нашим разящим орудием против бесчисленных заговоров, бесчисленных покушений на Советскую власть со стороны людей, которые были бесконечно сильнее нас... Вы знаете, что иначе как репрессией беспощадной, быстрой, немедленной, опирающейся на сочувствие рабочих и крестьян, отвечать на них нельзя было».

Оценка деятельности ВЧК, данная В. И. Лениным, была самой высокой наградой из всех, которых когда-либо удостоивались чекисты. В организации и укреплении ВЧК, в успехах ее упреждающих ударов по врагам революции огромная личная заслуга Ф. Э. Дзержинского.

Руководствуясь решениями партии и личными указаниями В. И. Ленина, Ф. Э. Дзержинский шаг за шагом закладывал основы чекистского мастерства.

Вот что вспоминает об этом его ближайший соратник В. Р. Менжинский: «Безоговорочно принимая партийное руководство, Дзержинский су-

мел в чекистской работе опереться на рабочий класс, и контрреволюция, несмотря на технику, старые связи, деньги и помощь иностранных государств, оказалась разбитой наголову... У Дзержинского был свой талант, который ставит его особняком, на свое, совершенно особенное место. Это — моральный талант, талант непреклонного революционного действия и делового творчества, не останавливающегося ни перед какими препятствиями, не руководимого никакими побочными целями, кроме одной — т о р ж е с т в а пролетарской революции. Его личность внушала непреодолимое доверие... Любовь и доверие рабочих к нему были беспредельны».

Высокая оценка заслуг Ф. Э. Дзержинского на посту председателя ВЧК в период военной интервенции и гражданской войны нашла свое выражение и в решении ВЦИК о награждении его орденом Красного Знамени.

Говоря о чекистах тех легендарных лет, член Политбюро ЦК КПСС, председатель Комитета государственной безопасности товарищ Ю. В. Андропов в докладе «О 50-летию советских органов государственной безопасности» отмечал: «В борьбе с врагами Советской власти выросли и закалялись замечательные кадры чекистов, воодушевленные идеалами Октября. Именно с деятельностью этих людей связан живущий в народе образ чекиста — страстного революционера, человека кристальной честности и огромного личного мужества, непримиримого в борьбе с врагами, сурового во имя долга и гуманного, готового к самопожертвованию ради народного дела, которому он посвятил свою жизнь».

Провал открытых попыток свергнуть Советскую власть силой вынудил мировую буржуазию изменить формы борьбы против социалистического государства. Теперь на первый план выдвинулись экономическая блокада, тайная подрывная деятельность империалистических разведок, расчеты на внутренних врагов.

Окончилась гражданская война, наступила мирная передышка. Партия поставила вопрос о реорганизации ВЧК. Декретом от 6 февраля 1922 года ВЦИК упразднил Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию, а вместо нее образовал Государственное политическое управление (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР. После того, как в декабре 1922 года был создан Союз Советских Социалистических Республик, ГПУ было преобразовано в Объединенное Государственное Политическое Управление (ОГПУ) при Совете Народных Комиссаров СССР. Председателем ОГПУ был назначен Ф. Э. Дзержинский, и на этом посту он находился до последних дней своей жизни.

Борьба с врагами Советского государства в период восстановления народного хозяйства была не менее трудной, чем во времена гражданской войны и интервенции. Мирные условия развития Советского государства потребовали разработки и использования новых приемов, форм и методов защиты от противника. Если ранее враг во многих случаях действовал открыто, то теперь, в новой обстановке, его атаки стали скрытыми. Перекрашиваясь в «защитные цвета», теперь враги действовали против Советской власти исподтишка. И необходимо было поднять искусство борьбы с происками противника до самого высокого уровня, используя уже накопленный опыт. Надо сказать, что с этими важными задачами советские органы госбезопасности во главе с Ф. Э. Дзержинским справились блестяще. Такие операции, как «Крах» и «Трест», о содержании которых советским людям известно из произведений литературы и кино, могут служить примерами несомненных побед над изощренным противником. В результате этих операций были обезврежены яркие враги Советского государства — Борис Савинков, английский шпион Рейли, а кроме них, арестованы и преданы суду сотни агентов английских, французских, немецких и других империалистических разведок, нескольких белоэмигрантских центров и организаций.

В годы мирного строительства органы государственной безопасности

вели борьбу с вредительством, диверсиями, саботажем, спекуляцией, нарушением правил о валютных операциях, контрабандой, фальшивомонетничеством и другими преступлениями, которые подрывали экономическую основу нового общественного строя, мешали утверждению социалистической экономики.

В эти же годы чекистам пришлось сразиться и в открытых боях. Враги не мирились с поражением. То там, то здесь при первой же возможности они поднимали голову. Мятеж в Кронштадте, антоновщина на Тамбовщине, махновщина на Украине, басмачество в Средней Азии — вот далеко не полный перечень открытых выступлений против Советской власти.

Советские органы государственной безопасности во главе со своим испытанным руководителем Ф. Э. Дзержинским, опираясь на помощь и поддержку трудящихся, вместе с подразделениями Красной Армии подавили эти выступления.

Но в тот период чекисты, руководимые Ф. Э. Дзержинским, вели не только оперативную и боевую работу. Деятельность органов государственной безопасности была многогранной, и рассказ о ней необходимо дополнить, остановившись на еще одной области дел и забот чекистов двадцатых годов. По инициативе и при личном участии Ф. Э. Дзержинского чекисты взялись за ликвидацию детской беспризорности.

После гражданской войны в стране осталось пять с половиной миллионов бездомных, голодных, лишенных родителей детей. Собрать их, накормить, одеть, обуть и дать им воспитание, сообразующееся с новой жизнью, было задачей не только чрезвычайно важной, но и чрезвычайно трудной. «Забота о детях, — говорилось в одной из директив ВЧК, — есть лучшее средство истребления контрреволюции. Поставив на должную высоту дело обеспечения и снабжения детей, Советская власть приобретает в каждой рабочей и крестьянской семье своих сторонников и защитников, а вместе с тем широкую опору в борьбе с контрреволюцией».

Многие и многие тысячи детей были спасены чекистами от голодной смерти и безрадостной жизни. В сотнях детских домов и трудовых лагерей, созданных по инициативе органов государственной безопасности, воспитывались и превращались в сознательных граждан бывшие беспризорники.

О работе чекистов по воспитанию и перевоспитанию бывших беспризорников А. М. Горький писал: «За 15 лет из среды бывших беспризорников и «правонарушителей» у нас в колониях и комиссиях ОГПУ воспитаны тысячи высококвалифицированных рабочих и, вероятно, не одна сотня агрономов, врачей, инженеров, техников. В буржуазных государствах факты такого рода невозможны».

Ф. Э. Дзержинский относился к числу революционеров и государственных деятелей, которые умели отдавать себя людям без остатка и считали за величайшее счастье посвятить свою жизнь до последнего дыхания делу освобождения трудящихся.

20 июля 1926 года Ф. Э. Дзержинского не стало. Он скончался скоропостижно от сердечного приступа, спустя несколько часов после страстного, проникнутого партийностью выступления на Объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), где он разоблачал враждебную деятельность троцкистско-зиновьевского блока.

Народы Советского Союза, все прогрессивные люди земли встретили со скорбью весть о кончине Ф. Э. Дзержинского. В обращении ЦК и ЦКК ВКП(б) «Ко всем членам партии. Ко всем рабочим. Ко всем трудящимся. К Красной армии и флоту» говорилось: «Наша партия в лице Дзержинского теряет одного из самых выдающихся и самых героических своих вождей. В застенках царской России, в сибирских ссылках, в нескончаемые долгие годы каторжной тюрьмы, в кандалах и на свободе, в подполье и на государственном посту, в ЧК и на строительной работе —

всегда, везде, всюду Ф. Э. Дзержинский был на передовой линии огня... Его рыцарская фигура, его личная отвага, его глубочайшая принципиальность, его прямота, его исключительное благородство создали ему громадный авторитет. Его заслуги громадны. Переоценить их нельзя».

Деятельность Ф. Э. Дзержинского — это начальный период славной истории органов госбезопасности первого в мире социалистического государства.

С именем Дзержинского связано становление чекистских органов, формирование и развитие основных принципов их деятельности: руководящей роли Коммунистической партии, постоянной связи с трудящимися массами, пролетарского интернационализма и строгого соблюдения социалистической законности.

Продолжая стоять на страже безопасности нашей Родины, чекистские органы в предвоенный период основное внимание уделяли борьбе с происками разведок буржуазных государств и прежде всего гитлеровской Германии и милитаристской Японии, которые, готовясь к агрессивной войне, пытались собрать исчерпывающие данные о военном, промышленном и морально-политическом потенциале СССР.

В годы Великой Отечественной войны органы государственной безопасности столкнулись с огромной по своему размаху шпионской, диверсионно-террористической и иной подрывной деятельностью разведывательных служб гитлеровской Германии. Противник использовал против нашей страны свыше ста тридцати разведывательных, диверсионных и контрразведывательных команд и групп. Более шестидесяти специальных школ готовили шпионов для действий в тылу Красной Армии. Потребовалось соответственно перестроить работу чекистских органов. Чекисты отдали все свои силы, знания и мастерство решительному выявлению и пресечению подрывной деятельности противника. За годы войны при активной помощи советских патриотов разоблачено большое количество агентов врага, и усилия гитлеровского командования, направленные на создание в нашей стране массовой агентурной сети, были сорваны. Вот только один из примеров разоблачения вражеских лазутчиков.

В июле 1941 года жители одной из деревень Украины Желудько и Кимкин сообщили в органы госбезопасности о том, что четверо появившихся в деревне военнослужащих Красной Армии кажутся им подозрительными. Было замечено, что, сменяя друг друга, они наблюдают за шоссе, по которому передвигаются наши воинские части, притом наблюдение ведут из специально оборудованного укрытия. Ни к одному из подразделений, расположенных поблизости, они, по всей видимости, не имели никакого отношения. И ко всему прочему, кое-что в их снаряжении (ремни, сапоги) было непохоже на обмундирование советских солдат... Вскоре одного из «наблюдателей» — в форме старшего лейтенанта — задержали в укрытии. Он предъявил документы на имя заместителя командира роты старшего лейтенанта Подсухина. Тщательное изучение показало, что эти документы фальшивые. При обыске у мнимого Подсухина изъяли условные записи о передвижении воинских частей. Запутавшись в объяснениях, лазутчик сознался, что вместе с тремя другими шпионами выполняет в советском тылу поручение германской разведки. Немедленно были арестованы и его соучастники. В тот же день выяснилось, что тогда же немецко-фашистская разведка перебросила в тыл Красной Армии еще четыре такие же группы по четыре человека в форме советских военнослужащих. Задание этих групп: разъезжая по близлежащим тыловым районам, собирать и передавать по радио сведения о частях Красной Армии, о мероприятиях местных партийных и советских органов, связанных с перестройкой работы на военный лад. Органы государственной безопасности немедленно приступили к розыску остальных агентов противника. В розыске участвовали воинские подразделения, истребительные батальоны, местное население. В течение двух суток все четыре группы шпионов были

задержаны. Одну из них захватили несколько советских военнослужащих и колхозников; колхозники Завизалов и Посахо обнаружили шпионов в момент, когда те готовились работать на рации, и, разыскав ближайшую воинскую поисковую команду, помогли ей обезвредить вражеских агентов.

Большую полезную работу вели чекисты, выявляя военные замыслы, планы противника, обеспечивая Советское Верховное Главнокомандование своевременной информацией об этих замыслах и планах. Неувядаемой славой покрыли себя чекисты в тылу врага. Опираясь на помощь местного населения, руководимого подпольными партийными органами, взаимодействуя с партизанами, чекисты организовывали и совершали диверсии на важных объектах и коммуникациях противника, разведывали группировки фашистских войск, не говоря о том, что систематически оказывали всевозможную помощь партизанским отрядам и группам.

За подвиги в тылу противника многие чекисты были удостоены звания Героев Советского Союза.

После Отечественной войны у советских органов государственной безопасности открылся новый противник — разведки США, Англии и других империалистических государств. В годы «холодной войны» и активных военных приготовлений они, выполняя волю своих хозяев, развернули широкую шпионскую и иную подрывную деятельность против Советского Союза и всех социалистических стран. Следуя указаниям партии, чекисты зорко следили за происками иностранных разведок и успешно срывали попытки массовой заброски агентуры в нашу страну.

Вместе с тем, к сожалению, были годы, когда органы госбезопасности в условиях культа личности допускали нарушения социалистической законности и необоснованные репрессии. Как известно, Коммунистическая партия приняла все необходимые меры для ликвидации нарушений законности и создала обстановку, исключаящую их повторение. С подобными явлениями партия покончила раз и навсегда.

В результате огромных экономических и социальных достижений советского народа и народов стран социалистического содружества соотношение сил на мировой арене решительно изменилось. Новыми значительными успехами отмечено международное рабочее и национально-освободительное движение, обостряется общий кризис капитализма. Определяющая черта современности — переход от «холодной войны» к мирному сосуществованию государств с различными социальными системами, успехи провозглашенного Коммунистической партией и Правительством СССР курса на разрядку международной напряженности. Огромная заслуга в этом принадлежит Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР товарищу Л. И. Брежневу.

Однако противоборство двух социально-экономических систем остается ведущей тенденцией мирового развития.

И партия указывает, что, как бы ни были велики позитивные сдвиги в международных отношениях, нынешний этап развития характеризуется усилением классовой борьбы на мировой арене. Продолжают активную деятельность агрессивные силы империализма; противники разрядки — они занимают влиятельные позиции в капиталистических странах — ведут политику усиления гонки вооружений, создания новых видов оружия, не хотят отказаться от военных авантур при решении спорных вопросов международной жизни. Угроза возникновения новой мировой войны пока еще не изжита.

Империалистические круги, несмотря на разрядку, активизируют и открытые военные приготовления и тайную войну против Советского Союза и всех социалистических стран. Приспосабливаясь к новым условиям, они используют в подрывных целях не только разведывательные и другие специальные службы, но и бесчисленные антисоветские, националистические, сионистские центры и организации. Весь этот мощный аппарат разведки и идеологических диверсий нацелен на то, чтобы подорвать сплочен-

ность и сотрудничество социалистических стран, ослабить их влияние на ход мировой истории, дискредитировать Советский Союз, его внешнюю политику и бескорыстную помощь, которую он оказывает национально-освободительному движению.

Штабы разведок пытаются собрать в широком масштабе сведения о нашем военном, промышленном и морально-политическом потенциале для планирования военных действий, для подготовки тех или иных внешнеполитических акций, для активизации всей антисоветской деятельности. Идеологические центры и организации координируют и непосредственно осуществляют непрерывные клеветнические кампании против СССР, пытаются опорочить социалистический образ жизни, скомпрометировать колоссальные достижения советского народа во всех областях коммунистического строительства, пытаются вмешиваться во внутренние дела социалистических стран. Их цель — расшатать общественно-политические устои социалистических стран, дезорганизовать политическую и экономическую жизнь в них, подтолкнуть отдельные враждебно настроенные элементы к действию против Советского государства.

Шпионские службы и диверсионно-идеологические организации, приспособившаяся к условиям разрядки, совершенствуют свой аппарат, изменяют его структуру, привлекают новые кадры, добиваются увеличения бюджетов, модернизируют формы и методы подрывной деятельности, создавая с новой обстановкой. В частности, например, они пытаются засылать в нашу страну разведчиков и агентов под видом сотрудников дипломатических и иных официальных представительств, туристов, ученых, коммерсантов, творческих работников, спортсменов.

Так, например, американский разведчик, который прикрывался должностью сотрудника посольства США в Москве, Дюмейн прилагал большие усилия к тому, чтобы найти среди советских людей подходящего человека для привлечения к шпионской работе. Таким оказался некий Калинин, техник с одного из оборонных предприятий. Калинин работал спустя рукава, нарушал дисциплину, морально опустился; он систематически слушал антисоветские передачи буржуазных радиостанций, искал контактов с иностранцами и постепенно скатился на враждебные нашей стране позиции. Как только он оказался в поле зрения американской разведки, Дюмейн привлек его к сотрудничеству. Вновь испеченный шпион получил задание расширить знакомства среди военных и собирать информацию по оборонным вопросам. Его снабдили средствами тайнописи, секретные сведения он передавал через тайники, оборудованные американским разведчиком в заранее обусловленных местах. Так же осуществлялась и обратная связь от шпионского центра. Однако этот шпионский канал вскоре был выявлен органами КГБ. Калинина разоблачили, он понес заслуженное наказание.

Для сбора шпионской информации враждебные разведки все шире используют новейшие технические средства — спутники-шпионы, станции радиоперехвата и т. д. В антисоветской пропаганде важнейшая роль отведена находящимся на содержании ЦРУ радиостанциям «Свобода» и «Свободная Европа», — они круглые сутки отравляют эфир враждебными, клеветническими передачами. Интенсивность передач особенно возросла в юбилейный год Советского государства. Вашингтонские власти недавно решили увеличить бюджет этих радиостанций с пятидесяти восьми до ста пятидесяти миллионов долларов. Радиоврали из кожи лезут вон, чтобы всячески очернить успехи советского народа. И все больше становится попыток засылать в нашу страну по различным каналам антисоветскую литературу. Вот один из примеров.

В августе 1977 года на контрольно-пропускном пункте автотуристы из Канады и США пытались на микроавтобусе марки «Форд» в специально оборудованных — заводским способом! — тайниках завезти в нашу страну для распространения более двух тысяч экземпляров антисоветской и

религиозной литературы. Однако при досмотре таможенные власти и пограничный наряд обнаружили эти тайники. Незадачливым распространителям антисоветской стряпни пришлось возвратиться восвояси, как говорят, не солоно хлебавши.

В последнее время в идеологическо-диверсионной кампании империалисты значительное место уделяют рассуждениям о правах человека. И это не случайно. В мире капитала самые элементарные, самые основные права человека попираются ежедневно и ежеминутно, на каждом шагу. В то же время во все уголки земного шара проникает правда о жизни советского народа, о широких правах советских граждан, об их подлинной свободе, о развитии социалистической демократии, о всех социальных, политических и экономических достижениях нашего великого советского народа. Эти выдающиеся достижения отражены в новой Конституции СССР, которая, как образно сказал Л. И. Брежнев в заключительном слове на внеочередной сессии Верховного Совета СССР, начала действовать, жить и работать с 7 октября нынешнего года. Она закрепила новый исторический рубеж в нашем наступательном продвижении к коммунизму — построение развитого социалистического общества.

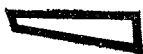
Враги социализма не желают смириться с этим. Пытаюсь противостоять распространению правды и опорочить достижения советского народа, зарубежные пропагандистские центры изо дня в день проводят массивные кампании клеветы на советское общество.

Опыт 60-летней истории нашего государства показывает, что расчеты наших противников на успех тайной подрывной деятельности против СССР обречены на провал и ожидаемых результатов не приносят. Нерушимы единство советских людей, их сплоченность вокруг родной партии, дружба всех наций и народностей нашей страны, высокий советский патриотизм, готовность везде и всюду защитить свою Родину. Наши противники, ослепленные классово-ненавистью, забывают, что советское общество — самое демократическое в мире и что только социализм обеспечивает человеку реальные права и свободы. Они законодательно закрепили в новой Конституции СССР.

Империалистические специальные службы и антисоветские центры идеологических диверсий продолжают и активизируют подрывную работу против СССР. В этих условиях Коммунистическая партия постоянно призывает всех советских людей повышать политическую бдительность, срывать замыслы противника.

Современное поколение советских чекистов, неизменно руководимых ленинской партией, продолжая и развивая традиции, заложенные Ф. Э. Дзержинским, бдительно охраняет безопасность нашей великой Родины. На XXV съезде партии Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев сказал: «Надежно ограждают советское общество от подрывных действий разведок империалистических государств, разного рода зарубежных антисоветских центров и иных враждебных элементов органы государственной безопасности. Их деятельность строится в соответствии с требованиями, вытекающими из международной обстановки и развития советского общества. Наши чекисты берегут и развивают традиции, заложенные рыцарем революции Феликсом Дзержинским.

Всю свою работу, которая протекает под руководством и неослабным контролем партии, органы госбезопасности ведут исходя из интересов народа и государства, при поддержке широких масс трудящихся, на основе строгого соблюдения конституционных норм, социалистической законности. В этом, прежде всего, заключается их сила, главный залог успешного осуществления возложенных на них функций».



180 лет со дня рождения Г. Гейне

Мариэтта Шагинян

НАЕДИНЕ С ПОЭТОМ

В биографиях Гейне, особенно ранних, когда память о нем, живом и современном, еще не отодвинулась в прошлое, постоянно упоминается о противоречиях, двойственности, верней, раздвоенности поэта: его удивительной природной мягкости, нежности, доброте к людям — и озлобленной колкости, беспощадных сарказмах, какими он осыпал в стихах и прозе своих противников.

Двойственность появилась у него как будто с самого начала жизни. Он родился в Дюссельдорфе 13 декабря 1797 года в зажиточной еврейской семье и был назван именем Гарри. Именно Гарри Гейне был студентом в Бонне и в Геттингене, а Генрихом он стал после крещения, приняв лютеранство¹. И нам сейчас как-то странно представить себе бесмертного Генриха Гейне озорным Гарри в студенческой шапочке, высмеивавшим геттингенское мещанство и тупую университетскую профессию.

Двойственно было и его физическое бытие. Родившись хрупким, он и в юности не отличался крепким здоровьем. Но паразителен конец его жизни. В длинном деловом письме Энгельса Брюссельскому коммунистическому комитету из Парижа от 16 сентября 1846 года он сообщает:

«...Гейне опять здесь... третьего дня я был у него вместе с Э(вербекком). Бедняга в ужасном состоянии. Он исхудал и похож на скелет. Размягчение мозга распространяется дальше, паралич лица также. Э(вербек) говорит, что Гейне может внезапно умереть от отека легких или от удара; но может также протянуть еще года три или четыре, чувствуя себя то лучше, то хуже. Настроение у него, конечно, несколько подавленное, грустное и, что самое характерное, он очень благожелателен (вполне серьезно) в своих суждениях. Только по поводу Мейрера он непрерывно острит. В общем, он сохранил всю свою духовную энергию, но его облик, еще более странный благодаря седой бородке, которую он отпустил (ему нельзя больше брить подбородок), способен привести в глубочайшее уныние всякого, кто его видит. Страшно мучительно наблюдать, как такой славный малый постепенно умирает»². А через неполных полтора года, 14 января 1848-го, уже непосредственно Марксу, Энгельс пишет:

«Гейне при смерти. Две недели тому назад я был у него, он лежал в постели, с ним случился нервный припадок. Вчера он встал, но нахо-

¹ 28 июня 1825 года, в 27-летнем возрасте.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. М., Госполитиздат. 1962. Том 27. Стр. 44. На обороте письма: «Г-ну Карлу Марксу».

дится в крайне жалком состоянии. Он с трудом может сделать три шага, опираясь о стены, пробирается от кресла к постели и *vice versa*³. И вот этот «умирающий», «находящийся при смерти», — таким видят и описывают его друзья, — живет и живет, — в страшных муках, но не думая умирать, — живет еще восемь долгих лет, восемь лет «при смерти», до 17 февраля 1856 года. И не только живет — продолжает творить, создает свои пленительные «Романцеры», свое мудрое послесловие к ним, последние лирические стихотворения, прозу. Он острит, когда смерть сидит у его изголовья; влюбляется в последний раз в милую девушку, Камиллу Сельден: за день до смерти шесть часов подряд пишет свои мемуары; произносит прощальную просьбу, звучащую, как приказание: «Бумаги и карандаш!» — и это, по рассказам биографов, были его «последние слова», а на следующий день смерть, наконец, настигает его. Таким он встает, умирая, во весь рост, если верить воспоминаниям Мейснера и французской книжке предмета его предсмертной влюбленности Камиллы Сельден, — «Мушки», *Mouche*, как он ее звал. Болезненность, слабость, мягкость — и бурная, неиссякаемая творческая сила духа, заставляющая даже Смерть присесть и подождать у постели...

Противоречие. Но что такое «противоречие»?

Есть страничка у Ленина, где он, один на один с книгой, как бы вслух с собой говорит, конспектируя чужой текст. «Книга», — кстати сказать, одна из самых «сильно действующих» в истории печатного слова, — это гегелевская «Наука логики». Конспект Ленина — это двадцать девятый том его полного собрания сочинений. «Одна страничка» — это страница 89, где все, каждое слово без исключения, имеет огромную важность, хотя, казалось бы, тут только выписки из Гегеля. Но Ленин отзывается о том, что он выписывает из Гегеля: «О ч е н ь в а ж н о !!»⁴. Он по-своему объясняет «два основных требования», поставленных Гегелем («Необходимость связей» и «имманентное происхождение различий»), и опять же по-своему приходит к выводу на конце странички. Я не ставлю, выписывая это место, в кавычки слова самого Ленина, чтоб перед читателем не перепутались тексты Гегеля, поставленные в кавычки Лениным, с его собственными. Я переносу также переводы гегелевских текстов, сделанные редакцией издания, из сносок — рядом с немецким текстом, опять же для удобства читателя. Итак:

Две важные вещи:

(1) Die Objektivität des Scheins

(редакция в сноске переводит это место «объективность кажимости»).

(2) Die Notwendigkeit des Widerspruchs

(редакция переводит это место «необходимость противоречия»).

Дальше у Ленина идут не менее важные выписки из Гегеля, взятые им в кавычки, — сперва без кавычек:

Selbstbewegende Seele

(опять же переведенная редакцией в сноске, как «самодвижущаяся душа», хотя точнее, по-гегелевски, было бы «себя движущая душа»).

Потом в кавычках: («внутренняя негативность») ... «принцип всякой природной и духовной жизненности»...

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. М., Госполитиздат, 1962. Том 27, стр. 107. *Vice versa* — обратно.

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Издание пятое. М., Госполитиздат, 1963. Том 29, стр. 89. Философские тетради.

То есть Ленин, выписывая отдельные слова и фразы из гегелевской «Науки логики», как бы сам для себя поясняет внутренний принцип диалектики, лежащий в основе развития природы и духовной жизни человека, — себя самое движущей души.

Думайте, читатель, над этой страничкой Ленина, где он как бы сам себе поясняет глубочайший урок Гегеля! Где он двумя восклицательными знаками подчеркивает его важность! **Необходимость противоречия для себя — движущей души**, потому что это «принцип всякой природной и духовной жизненности».

Спустя много, много лет советский ученый, ленинградец Б. П. Токин, воскрешая мысль покойного советского биолога Бауэра, создал учение (а точнее, бросил гениальную мысль) о необходимости «устойчивого неравновесия» как принципа жизненности, длительного поддержания и воспроизведения энергии человека. Устойчивое неравновесие — что это? Не то же ли самое, о чем Ленин написал с двумя восклицательными знаками в начале своей странички: «Очень важно!!» Необходимость противоречия (неравновесие, — механика вечного двигателя), но и вечный стержень этого неравновесия, — **связь**, происхождение противоречий из одного корня, «имманентность» различий. Вечные противоречия, терзавшие душу великого поэта-лирика, создателя лирической прозы, — не они ли растянули долгую жизненность его предсмертия, огромную длительность его неугасающей энергии, — «устойчивое неравновесие» его слабеющего тела, разлагающейся материи? Но это — между прочим, вопрос — наедине с поэтом, для себя. А насчет противоречия: вся эпоха, весь тот отрезок времени, когда прожил Гейне свою половину века, были полны ими, буквально кишели ими, как корзинка фокусника-факира, наполненная клубком змей.

Гейне пережил множество «переходов» явлений из количеств в качества. На его глазах прошло и закатилось огромное по размаху бытие Наполеона, закованного англичанами в граниты Святой Елены. Он видел, как изжившие себя тени средневековья шарахнулись от шагов этого гиганта человеческой энергии, начали изгоняться из европейского юридического права, из затхлых уголков лоскутного одеяла немецких княжеств, из невежества, меццанского филистерства. Но тут же на плечи двинувшегося было вперед человечества опустилась тяжелая рука Тройственного Союза, русского царизма, растущей Пруссии, нового «сговора», нового «вождизма», но уже попятного движения «вождей», отступающего океанского вала истории. А вместе с отступающей пеной океанского вала поползли от берега легковесные человечки, те, кто так легко участвовал в борьбе человечества за свободу, поднимаясь вверх вместе с валом, и так легко, — по легкости веса, — отхлынули вместе с ним назад — в пене отступающей волны истории. Гейне видел — и пережил — утро «Молодой Германии», казавшееся смелым вызовом всему, что устарело, — и ее вечер, когда утренняя свежесть превратилась в гнилые испарения фальши, в перерождение борьбы, в приспособленчество. Друзья, становившиеся врагами, фальшь остающихся фасадов без содержания за ними, как нарисованные на сцене декорации, все эти «превращения» истории проделывались живыми людьми, знакомыми «актерами» театра жизни. У них были имена, известные в то время. И Гейне, перекраивая имена, но так, что можно было сразу узнать и указать пальцем, кто под ними, высмеивал, колол островами, осыпал их отравленными стрелами в своих стихах, поэмах, путевых очерках. Изменившиеся обстоятельства, — и люди, изменявшиеся вместе с ними, вставляли в образы «Атта Троллей», «Крапулинских», «Вашлапских», индусских королей, ведших войну из-за коровы («Висвамитра») Кобеса Первого, — и многих, многих других — во множестве «Anspielungen», — намеков, дразнений, высмеиваний, тончайших «шпилек», уколов, наигрываний. ка-

ними беспощадно разил их Гейне, разил той типично немецкой сатирой, заставлявшей хохотать каждого немца, хватавшегося от хохота за живот, — сатирой, основанной на интонации, — когда смешное преподносится серьезным тоном. В переводе оно теряет свою силу. Ну, например:

Zu Aachen, im alten Dome, liegt
 Karolus Magnus begraben,—
 Man muß ihn nicht verwechseln mit Karl
 Mayer, der lebt in Schwaben⁵.

«В Аахене, старом соборе, — лежит погребен Карл Великий, — не надо смешивать его с Карлом Мейером, тот живет в Швабии». Нашему уху это серьезное предупреждение — не смешивать Каролуса Магнуса с Карлом Мейером, живущим в Швабии, — уже не кажется смешным, но я уверена, что и сейчас немцы хохочут над этим четверостишием из «Зимней сказки», — тут сцеплено много всего, смешное под видом серьезного, — Карл Мейер, бездарный швабский поэт-романтик, со Швабией, особо известной наивной глуповатостью некоторых своих жителей. Для нас это исторически уже отжило. А Гейне жалит и жалит издевательской серьезностью своей интонации, разделяется с врагами, с отступниками, с сентиментальностью, переходящей в пошлость, со смелостью, соскользнувшей в мистику и реакцию, с борцами, ставшими приспособленцами, с «Молодой Германией» и ее романтиками, когда-то близкими, но перебежавшими в поповство; с прусским солдафонством во всех его видах. Две шутки-шпильки из этой бессмертной кладовой политического юмора Гейне:

Das Fräulein stand am Meere
 Und seufzte lang und bang,
 Es rührte sie so sehre
 Der Sonnenuntergang.

Mein Fräulein! sei'n Sie munter,
 Das ist ein altes Stück;
 Hier vorne geht sie unter
 Und kehrt von hinten zurück⁶.

(Барышня, — не вообще барышня — **ein**, а барышня определенная — **das** — стояла на берегу моря и долго и тяжело вздыхала: уж очень ее трогал закат солнца. Моя барышня, подбодритесь, это старая штука: здесь, спереди, оно заходит, а там, сзади, возвращается обратно.)

Или еще одно, с очень яркой, почти актерской переменной интонации, явным баритоном первого куплета и визгливым сопрано второго:

O, mein gnädiges Fräulein, erlaubt
 Mir, kranken Sohn der Musen,
 Daß schlummernd ruhe mein Sängerkönig
 Auf Eurem Schwanenbusen!

„Mein Herr! Wie können Sie es wagen,
 Mir so was in Gesellschaft zu sagen?“⁷.

(О, моя милостивая барышня, позвольте мне, больному сыну муз, чтоб моя голова певца отдохнула, дремля на вашей лебединой груди! — Милостивый государь, как смеете вы говорить мне нечто подобное — в обществе!)

Я уже заметила выше, что под всеми вымышленными именами и событиями осмеивались поэтом реальные исторические лица и происшествия.

⁵ Heinrich Heine. Собрание сочинений в 12 томах. Берлин. Издание Weichert'a. Том 2. Зимняя Сказка. Стр. 205 (глава III).

⁶ Там же. Том 2, стр. 26, Verschiedene. Разное. (1832—1839).

⁷ Там же. Том 1. «Добавление к «Песням любви», 23-я песня, стр. 194.

Читающее человечество давно бы забыло их, перестало понимать заключенный в них смысл, если бы они не сделались оружием в политической борьбе. На вооружение их взял Маркс. Если прочесть несколько томов писем Маркса и Энгельса, изданных у нас в «Собрании Сочинений» Институтом марксизма-ленинизма, — примерно с 27-го по 35-й том, то увидишь, насколько пронизаны письма Карла Маркса (а также — в меньшей степени — и письма Энгельса) цитатами из Гейне. Маски имен спадают с лиц, вы узнаете в «Крапюлинском» ничтожного Луи Бонапарта, в Атта Тролле — Арнольда Руге, в Вашлапском — Августа Виллаха, отколовшегося от Союза коммунистов в 1850 году, — и т. д. Исторические персонажи, друзья, ставшие врагами (как Руге), сектанты, мешавшие созданию коммунистического союза, соглашатели всякого рода — все они оживают, и замечательно, что на всех них находит Маркс острое оружие в поэзии Генриха Гейне. Это оружие становится для него таким обычным и «сподручным», тут же, под рукой (в памяти) оказывающимся в нужную минуту, что даже имя самого поэта не произносится, цитата сразу угадывается, откуда ее берет Маркс, и вы испытываете огромное, почти личное, удовлетворение от того, насколько художественная литература может помочь политику-борцу. Временами над чтением писем Маркса я невольно вспоминала свое чувство «нужности писателя — политику», когда работала над взаимоотношением, а точнее — отношением Ленина к Горькому.

Маркс цитировал Гейне из поэмы «Атта Тролле», из «Путевых картин» («Зимняя сказка»), из стихотворений «Два рыцаря», «Рыцарь Олаф», из больших циклов «Романцеры», «Возвращение на родину», «Северное море» — причем роль политического оружия иногда играли у него строки чисто поэтические, по-своему неожиданно остро повернутые Марксом в сторону публицистическую. Не один раз использовалась в переписке Маркса — Энгельса стихотворная строка из «Атта Тrolля», со страшной силой бросавшаяся ими на головы бездарных своих противников в качестве их характеристики:

Не талант, зато характер!⁸.

Маркс, как правило, не отличался в своих письмах особой сентиментальностью и был очень целомудрен в открытом проявлении своих чувств. Резкий и беспощадный в борьбе, умевший рвать отношения с теми, кто переставал быть его единомышленником, — он никогда не порывал с Гейне и только к нему в своей переписке вдруг проявил какую-то особенную теплоту, почти нежность. Известно его письмо к Гейне от 12 января 1845 года перед отъездом Маркса в Брюссель:

«Дорогой друг!

Я надеюсь, что завтра у меня еще будет время увидеться с Вами. Я уезжаю в понедельник. Только что у меня был издатель Леске. Он издает в Дармштадте выходящий без цензуры трехмесячный журнал. Я, Энгельс, Гесс, Гервег, Юнг и другие сотрудничаем. Он просил меня переговорить с Вами о Вашем сотрудничестве в области поэзии или прозы. Я уверен, что Вы от этого не откажетесь, нам ведь нужно использовать каждый случай, чтобы обосноваться в самой Германии.

Из всех людей, с которыми мне здесь приходится расставаться, разлука с Гейне для меня тяжелее всего. Мне очень хотелось бы взять Вас с собой. Передайте привет Вашей супруге от меня и моей жены.

Ваш К. Маркс»⁹.

⁸ Heinrich Heine, Издание Weichert'a, Berlin. Том 2, стр. 188. В сноске русского издания Маркса — Энгельса неправильно указывается 24-я глава «Атта Тrolля». На самом деле она помещена в 25-й главе, заканчивает эту главу.

⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. М., Госполитиздат, 1962. Том 27, стр. 386—387.

Так необычно, не по-марксовски, почти по-женски звучат последние строки письма — и это употребление в третьем лице фамилии Гейне, словно стесняется Маркс написать прямо «разлука с Вами». Но при всей уникальности такого письма в переписке Маркса я считаю еще более ярким выражением дружбы и такта — и даже нежности — другое письмо Маркса к Гейне, — уже из Брюсселя (около 5 апреля 1846 года). Гейне, измученный своей страшной болезнью, лежит в Париже. Людвиг Берне, с которым он когда-то дружил и о котором издал правдивую, честную и политически нужную книгу, отомстил ему «из-за гроба», в посмертном издании своих писем, где он злобно оклеветал Гейне. В такую минуту — лучшая поддержка для писателя — это умное понимание того, что произошло. Маркс пишет ему:

«Дорогой Гейне!

...Несколько дней тому назад мне случайно попался небольшой пасквиль против Вас — посмертное издание писем Берне. Я бы никогда не поверил, что Берне так безвкусен, мелочен и пошл, если бы не эти черным по белому написанные строки. А послесловие Гуцкова и т. д. — что за жалкая мазня! В одном из немецких журналов я дам подробный разбор Вашей книги о Берне. Вряд ли в какой-либо период истории литературы какая-нибудь книга встречала более тупоумный прием, чем тот, какой оказали Вашей книге христианско-германские ослы, а между тем ни в какой исторический период в Германии не ощущалось недостатка в тупоумии.

Может быть, Вы хотели бы сообщить мне еще что-нибудь «специальное» относительно Вашей книги, — в таком случае сделайте это поскорее.

Ваш К. Маркс»¹⁰.

Замечательно, что даже в первом томе «Капитала» Маркс не обходится без Гейне. В одном месте он цитирует его, не называя по имени, а в другом, говоря о Бентаме, пишет: «Если б я обладал смелостью моего друга Г. Гейне...»¹¹.

И все-таки даже такие большие проявления настоящей дружбы, как эти высказывания, мне кажется, уступают выражению глубокой и настоящей идейно-политической близости Маркса к Генриху Гейне несколькими словам Маркса в официальном документе. Надо держать в памяти, что Маркс был моложе Гейне на 21 год. Предыдущие его письма, как и цитирование, как и теплое чувство к Гейне, были отношением двадцативосьмилетнего, еще не полностью раскрывшего свои силы, еще молодого Маркса к уже больному, зрелому, широко известному поэту. Но вот перед нами официальный документ — огромное информационное письмо сорокадвухлетнего Маркса, признанного вождя коммунистического движения во всем мире, адресованное 3 марта 1860 года из Манчестера в Берлин юстицирату (советнику юстиции) Веберу, взявшемуся вести процесс Маркса против берлинской газеты «National-Zeitung». В этом письме Маркс со скрупулезной точностью сообщает Веберу обо всем, что тот должен знать из его политической деятельности и между прочими сведениями, на одной из последних страниц, дает справку: «В Париже вместе с Фридрихом Энгельсом, Георгом Гервегом, Генрихом Гейне и Арнольдом Руге (с Гервегом и Руге я впоследствии порвал) я издавал «Deutsch-Französische Jahrbücher»¹².

Ничего как будто особенного. Но с Гервегом и Руге Маркс «впоследствии порвал». А Генрих Гейне остался в списке рядом с самым близ-

¹⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. Том 27, стр. 393.

¹¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. Том 23, стр. 624.

¹² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. Том 30, стр. 419. «Немецко-французские ежегодники».

ким Марксу человеком — с Фридрихом Энгельсом. Эта справка писалась спустя четыре года после смерти Генриха Гейне. Маркс никогда не порывал с ним. Не переставал цитировать его до конца собственной жизни. А значит, не переставал и читать. И читать не только «публициста», не только великого **революционного** поэта Гейне, как сообщается нам во всех наших биографических справочниках, но как великого лирика, давшего человечеству бессмертные песни о любви... За одиннадцать месяцев до своей смерти, лечась в Алжире от плеврита, Маркс пишет Энгельсу в Лондон 18 апреля 1882 года шутливо-ироническое письмо о себе, о своем сложном лечении, о болях, бессоннице и о том, что он хорошим сном «должен вознаградить себя за бессонные ночи». Он обращается сам к себе с наполненной горечью шуткой и заканчивает ее, перефразируя горькую лирическую строку из Гейне:

«В самом деле, спи, «чего ж тебе больше желать»

Mein Liebchen, was willst du mehr? ¹³.

(Моя милочка, чего ж тебе больше желать?).

II

Нельзя ставить точку, не сказав ни слова о главном. А главное, разумеется, в тайне очарования самой поэзии Генриха Гейне, в том, что живет, живет и продолжает жить в каждом сердце, прикоснувшемся к ней.

Есть слова... И есть музыка. И было в древнее время, на заре человечества, у греков, слитное звучание двух этих слов в одном-единственном понятии: «Мелос». Очень, очень редко у величайших лирических поэтов попадают образцы такого слитного звучания музыки и слова, когда композитору легко найти свою музыку в словах поэтического текста, а читателю, когда он глазами видит перед собой стихотворение, оно безмолвно поет ему голосом извлеченной из него композитором мелодии. Словно неразрывны они. Словно родились одновременно. Так случилось, например, с одним из лучших произведений мировой лирики — стихотворением Генриха Гейне. Самим поэтом оно оставлено без названия. Но композитор окрестил его словом «Двойник», взятым из того же текста. По-немецки «Doppelgänger».

Думаю, что многие мои читатели знают дивную музыку, извлеченную из него Шубертом ¹⁴. Когда читаешь про себя только слова, даже просто видишь их перед глазами, — вам кажется, что в ваших глазах стоит видимая музыка. Есть такое выражение «мурашки по коже». Спокойно слушать эти слова-звуки невозможно — волосы шевелятся у вас на голове, холодный трепет проходит по позвоночнику. А все так просто и даже обыкновенно как будто. Приведу первое четверостишие в оригинале:

Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen,
In diesem Hause wohnte mein Schatz;
Sie hat schon längst die Stadt verlassen,
Doch steht noch das Haus auf demselben Platz ¹⁵.

Тихая ночь, покоятся переулки, поэт видит дом, где жила его возлюбленная. Она давно покинула город, но дом стоит там же, на том же

¹³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. М. Госполитиздат. 1964, том 35, стр. 46.

¹⁴ Heinrich Heine. Издание Weichert'a. Том 1, стр. 41—112. Из «Возвращения на родину». Франц Шуберт, кстати сказать, тоже «празднует» в этом году свое 180-летие. Он, как и Гейне, родился в 1797 году.

¹⁵ Heinrich Heine. Собрание сочинений в 12 томах. Берлин. Издание Weichert'a. Том 1, стр. 95—96. Цикл «Возвращение на родину». Стихи 1823—1824 годов.

месте, где он раньше стоял.. И еще — стоит человек перед домом, он смотрит вверх, на окно, и ломает руки в порыве любовной тоски. Поэту страшно: он в лунном свете узнает в человеке себя самого. «Ты, мой двойник, ты, бледный малый, зачем обезьянишь муку мою, терзавшую меня многие ночи на этом же месте в старое время!» Таким возгласом кончается все стихотворение, если пытаться передать его «сухой прозой». Но что тут страшного, необычного? Почему волосы дыбом, мурашки по коже? Музыка начинается глухо, повествовательно, на низких нотах, ничего мягкого. В слове «*gühen*» (покоятся) мерещится что-то трубное, духовой инструмент. Слово в темноте вы проходите мимо клавишника. А ведь поэт мог бы сказать другое слово, *schlumpfen*, дремлют — и не *Gassen* (переулки), а *Strassen* (улицы), и запела бы виолончель, грудное контральто, и ни размер, ни рифма не нарушились бы. Но у Гейне не улицы, у него — переулки, пространства суживаются, темнота густеет, квартал делается «старой частью города», где еще сохранилась угловатая готика средневековья. Но что же все-таки потрясает, страшит? Вдумываясь, вживаясь в холод поднимающейся снизу глухой мелодии, в слова, так точно подобранные по движению смысла к образу, начинаешь вдруг нащупывать нечто. Как всегда, у Гейне потрясает напряженность внутри, когда ритм речи, как живое существо в мешке, рвется и содрогается от крепких оков метра; и то, что я написала выше, движение смысла к образу, или, наоборот, образа к смыслу в повествовательной картине обрушивается на ваше восприятие огромной силы противоречием, **противостоянием** двух разных вещей: **жизни** и **памяти** — одновременно, сразу, друг против друга. В жизни все течет, все проходит. В памяти все останавливается, все стоит. И вдруг они — вместе, и это переживается. Так остро переживается в самом поэте, что он раздваивается и кричит, кричит на самого себя.

Не знаю, чувствуют ли то же самое другие читатели Гейне, разбираясь в остроте восприятия его лирики. Но вот еще одно стихотворение, и опять по-немецки, потому что оно тоже дышит музыкой, а музыка не нуждается в переводчице, она сама говорит на всех языках мира:

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ewig verlornes Lieb! Ich grolle nicht.
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich sah dich ja im Traum,
Und sah die Nacht in deines Herzens Raum,
Und sah die Schlang', die dir am Herzen frißt,
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist¹⁶.

Слово «*grolle*» — злобствую, гневаюсь, сержусь, ворчу — здесь имеет свой какой-то звуковой смысл, выражающий нечто от звуков роко-та, заимствованных от природы. Обыкновенные словари никогда не пускаются в долгие объяснения наподобие «толковых». Но вот неожиданно старый немецко-русский словарь Павловского, изданный в 1902 году в Лейпциге, обнаружил какую-то звуковую заинтересованность и, приведя этот глагол, прибавил к нему от себя в скобках: «глухо катящиеся тона; от грома; от волн». Это значит глагол в первом своем смысле родился из звукоподражания грозным явлениям природы. И Гейне выбрал этот глагол (хотя мог бы взять вместо него *ich klage nicht*, *ich weine nicht* — «я не жалуясь», «я не плачу») — опять, может быть, по признаку низкого, грудного тона его звучания:

«Я не гневаюсь (не гремлю, нарастая, не бушую, не веду себя бурно), — хотя у меня разрывается сердце... Навеки потерянная любовь.

¹⁶ То же. Том 1, стр. 66. Из «Лирического интермеццо» (1822—1823).

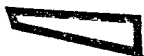
я не злобствую. Хоть ты и сияешь в роскоши своих бриллиантов, — ни один луч не падает в ночь твоего сердца. Я давно это знаю. Ведь я видел тебя во сне. И видел ночь в камерке твоего сердца. И видел змею, пожирающую твое сердце. И видел, любовь моя, до чего ты несчастна».

По-немецки это стихотворение тоже потрясает и тоже страшно. Оно достигло такой вершины поэтического лаконизма, что кажется прозой. Прозой, хотя это непереводаемо, неопределимо, до боли, до отчаяния прекрасно. В каком-то странном, словно предсмертном преображении при взгляде на змею, обвиняющую сердце изменницы, змею, пожирающую ее сердце, у поэта из его собственного обманутого, разбитого ею сердца внезапно на ваших глазах вырастает цветок божественного милосердия. По страшной силе чистоты переживания этот лирический перл Гейне поднимается до лермонтовского «По небу полуночи»...

А может быть, и выше.

Сентябрь 1977.

Переделкин



Страницы героической летописи

Полковник С. Борзунов

На пути к победе

1943 год шел к своему победному завершению. Он ознаменовался крупнейшим военно-политическим событием — коренным переломом не только на советско-германском фронте, но и во всей второй мировой войне в пользу антигитлеровской коалиции. Главными вехами этого года были исторические победы советского народа и его Вооруженных Сил над войсками фашистской Германии, достигнутые в величайших битвах под Сталинградом, на Курской дуге, на Днестре и в успешных операциях на других участках огромного советско-германского фронта. Наша армия вступила на территорию Белоруссии и Правобережной Украины, значительно приблизилась к западным границам СССР.

Результатом этих выдающихся военных успехов явилось крушение наступательной стратегии стран фашистского блока, войска которого вынуждены были на всех направлениях перейти к стратегической обороне. Надо при этом отметить, что военные победы 1943 года были достигнуты в условиях отсутствия второго фронта, при упорном единоборстве Советской Армии с основными силами фашистской Германии и ее партнерами в Европе.

В результате блистательных побед 1943 года державы антигитлеровской коалиции прочно овладели инициативой ведения военных действий. Намного возросло их военно-экономическое превосходство над противником. Создались объективные условия для его окончательного разгрома — в пер-

вую очередь Германии и ее союзников в Европе.

Потерпев сокрушительное поражение под Сталинградом, Курском и на Днестре, фашистская Германия и милитаристская Япония в 1944 году поставили перед собой цель: стратегической обороной затянуть войну и «выиграть время», удержать захваченные территории, укрепить военно-экономический потенциал и затем снова перехватить инициативу ведения боевых действий. При этом большие надежды руководители стран фашистского блока возлагали на раскол антифашистской коалиции. Но все эти расчеты были опрокинуты зимне-весенним наступлением Советских Вооруженных Сил в 1944 году. Следует сказать, что этот важный этап войны до сего времени оставался недостаточно освещен. С одной стороны, его заслонили такие выдающиеся наши победы, как битва за Сталинград, Курскую дугу и днепровская эпопея, с другой — события, связанные с изгнанием врага из пределов СССР и освобождением стран Европы.

Авторы вышедшего восьмого тома «Истории второй мировой войны 1939—1945»¹ восполняют этот пробел. В книге освещается небольшой по времени (с декабря 1943 г. по май 1944 г.), но богатый по содержанию период войны, когда происходили крупные события, оказавшие громадное влияние на

¹ История второй мировой войны 1939—1945. В двенадцати томах. Председатель Главной редакционной комиссии Д. Ф. Устинов. Том восьмой. Крушение оборонительной стратегии фашистского блока. Главный редактор Е. П. Егоров. М., Воениздат, 1977 г.

политику и стратегию воюющих государств. Авторы тома дают глубокое, комплексное исследование основных проблем, которые связаны с решением задач первого этапа завершающего периода второй мировой войны. Они убедительно показывают, что и на этом историческом этапе наша страна шла в авангарде борьбы с фашистскими агрессорами и несла основное бремя войны. Советско-германский фронт по-прежнему оставался главным и решающим фронтом второй мировой войны, а крупнейшим и решающим событием первой половины 1944 года было зимне-весеннее наступление наших войск, которое предопределило провал оборонительной стратегии фашистского блока.

Советские Вооруженные Силы, опираясь на слаженную работу советского тыла, неуклонно возраставшее военно-экономическое могущество страны, достигнутое благодаря героическому труду рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, развернули в начале 1944 года наступление на широком фронте. Они разгромили крупнейшие стратегические группировки врага под Ленинградом и Новгородом, на Правобережной Украине и в Крыму, освободили значительную часть советской территории, вышли к границе с Польшей и Чехословакией, вступили на территорию Румынии и начали освобождение румынского народа от фашизма.

В восьмом томе «Истории второй мировой войны» освещаются и такие важнейшие проблемы, как дальнейшее развитие под влиянием Советского Союза освободительного движения народов Европы, Азии и Африки. Показано решающее значение нашего зимне-весеннего наступления для успешной подготовки высадки англо-американских союзников на европейском континенте.

Начинается восьмой том «Истории» с подробного рассказа об обстановке, создавшейся после коренного перелома в войне: о военно-политическом положении в мире к концу 1943 года, о планах сторон дальнейшего ведения войны и об итогах Тегеранской конференции глав трех держав (СССР, США и Англии), на которой было принято решение о согласованных действиях в борьбе против Германии и прежде всего об открытии союзниками второго фронта в Западной Европе в мае 1944 года. В книге освещается ход подготовки к сражениям

1944 года на советско-германском фронте, разгром фашистских войск на юге, освобождение Правобережной Украины и Крыма, наступление советских войск на северо-западном и западном стратегических направлениях, о борьбе советского военного флота на морских коммуникациях, о развертывании всенародной борьбы на временно оккупированной территории.

Участники событий тех лет помнят, что сразу же после осенних сражений 1943 года Советские Вооруженные Силы в трудных условиях многоснежной зимы развернули наступление на фронте от Балтийского до Черного моря. Главная цель этого нового мощного наступления состояла в том, чтобы сильнейшим ударом разгромить вражеские войска на стратегических флангах огромного советско-германского фронта и освободить значительную часть оккупированной врагом территории. Первый удар был нанесен на юге страны. Он перерос в мощное наступление всех Украинских фронтов, в результате которого наши войска вышли на государственную границу, раскололи оборону врага в районе Карпат на две части и положили начало освобождению Румынии. Противник лишился важнейшей стратегической оборонительной позиции на Черном море и на юге Украины, а наши войска и флот вновь получили свою главную морскую базу — Севастополь. Тем самым были улучшены условия для наступления на Балканы и освобождения от фашизма Юго-Восточной Европы.

Авторы отмечают, что наиболее крупной по размаху и результатам была стратегическая операция, которая проводилась на Правобережной Украине. В ходе ее было осуществлено десять фронтовых операций и операций групп фронтов, объединенных общим замыслом. Боевые действия на Правобережной Украине проводились в тесном взаимодействии с Крымской операцией. Они охватили обширную территорию от Днепра до Карпат и от Полесья до Черного моря. В ходе этого грандиозного наступления наши войска осуществили знаменитую Корсунь-Шевченковскую операцию и впервые за годы Великой Отечественной войны вышли на государственную границу СССР. Боевые действия в этом районе были перенесены за пределы Советского Союза.

Полное освобождение от вражеской блокады Ленинграда, ставшего символом негибаемой стойкости и мужества советских людей, явилось выдающимся военно-политическим событием тех лет. Лопнули

бредовые планы Гитлера, который говорил, что «Ленинграду суждено умереть голодной смертью». В специальном документе «О блокаде Ленинграда» предписывалось, что город следует «окружить по возможности проволочным забором, пустив по нему электрический ток и простреливая его из пулеметов... Сравнием Ленинград с землей...» В другой директиве значилось: «С нашей стороны... нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города».

Успешным боевым операциям на фронтах способствовали активные действия партизанских отрядов, соединений и подпольных групп. Авторы главы «Борьба Советского народа в тылу врага» показали многосторонность деятельности Коммунистической партии по развитию активной борьбы на оккупированной территории, ее подлинный размах. «Всенародная партизанская война населения Украины и Белоруссии, Смоленщины и Брянщины, всех временно оккупированных областей,— отмечал Л. И. Брежнев,— повергла в прах надежды наших врагов на то, что Советская власть не выдержит обрушившихся на нее испытаний. Эта борьба показала, как дорожат советские люди своей народной властью»².

В ожесточенных сражениях зимой и весной 1944 года Вооруженные Силы СССР сокрушили оборону противника почти на всем протяжении советско-германского фронта и продвинулись в юго-западном направлении на 250—450 километров. От врага были освобождены вся Правобережная Украина и Крым, часть Белоруссии, Ленинградская и ряд районов Калининской области. Наши войска вступили на территорию Молдавской и Эстонской ССР. Эти победы Советской Армии привели к дальнейшему изменению обстановки в пользу антифашистской коалиции. Сорвав военные планы врага, Советская Армия заняла выгодное стратегическое положение для развертывания и осуществления новых крупных наступательных операций.

При рассмотрении каждой операции зимне-весенней кампании 1944 года авторы подробно характеризуют расстановку сил, планы воюющих сторон, директивные указания Ставки Верховного Главнокомандования и решения командующих фронтами, дают оперативно-стратегический обзор боевых действий. В ряде случаев приводятся новые или уточненные данные о численно-

сти Вооруженных Сил СССР и их техническом оснащении, а также не публиковавшиеся в нашей печати данные о численности вооруженных сил других стран.

Авторами подробно проанализированы характерные черты советского военного искусства на данном этапе войны, показана роль Ставки Верховного Главнокомандования в подготовке и достижении военно-политических целей проводимых операций, изложены мероприятия Коммунистической партии и Советского правительства по организационному, политическому и материальному обеспечению военных действий.

Показывая ход боевых действий, авторы приводят примеры творческого применения командованием фронтов и армий основных положений советской военной стратегии, оперативного искусства и тактики, показывающих, с одной стороны, взаимосвязь в решении политических и военных задач, с другой — возросшее мастерство наших командных кадров и штабов.

Авторы восьмого тома большое внимание уделяют повседневной, многогранной и исключительно напряженной деятельности Коммунистической партии и ее Центрального Комитета, направленной на мобилизацию сил советского народа на разгром фашистского блока государств. Партия делала все, чтобы рациональнее использовать людские и материальные ресурсы страны, поднимать производительные силы общества, продолжать быстрый рост военно-экономической мощи СССР. Укрепление Вооруженных Сил, подготовка резервов для фронта, обеспечение его всей необходимой боевой техникой и оружием было важнейшей задачей партии и правительства. Постоянное внимание уделялось совершенствованию системы партийного руководства тылом страны, повышению ответственности государственных и общественных организаций за обеспечение потребностей фронта.

В главе «Дальнейшее укрепление экономического могущества СССР» авторы дают научный анализ развития советской военной экономики. Благодаря преимуществам социалистического общественного и государственного строя, политическому и трудовому энтузиазму народа и научно обоснованной политике Коммунистической партии наша страна в первом полугодии 1944 года добилась значительных успехов в области внутреннего развития. Укреплялась материально-техническая база сельского хозяйства. Дальнейшее развитие получили все

² Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. М., Политиздат, 1970 г. Том 1, стр. 238.

виды транспорта. Расширились металлургия, топливно-энергетические возможности и другие отрасли народного хозяйства. Всенародный размах приобрели восстановительные работы на освобожденных от врага территориях.

С полным напряжением сил, указывают авторы, работала военная промышленность, руководителями которой были наркомы: вооружения — Д. Ф. Устинов, минометного вооружения — П. И. Паршин, танковой промышленности — В. А. Малышев, авиационной промышленности — А. И. Шахурин, боеприпасов — Б. Л. Ванников. «Улучшение технологии производства и сокращение сроков освоения новых конструкций, — отмечал в 1944 г. Д. Ф. Устинов, — позволило быстро увеличивать производство вооружения на базе значительного повышения производительности труда».

Увеличение выпуска военной продукции обеспечило Советскую Армию и Военно-Морской Флот всем необходимым для разгрома фашистских агрессоров.

В общевойсковых частях увеличилось количество стрелкового оружия, что повысило их огневую мощь. Появились новые, более мощные минометы и полевые орудия. На фронт прибывало все больше и больше средних танков (Т-34 с 85-мм пушкой), новых тяжелых танков ИС-2, а также самоходно-артиллерийских установок ИСУ-122 и ИСУ-152. Все это увеличивало возможности и ударную силу наших войск, обеспечивало развитее операций на большую глубину. Намного возросло производство боевых самолетов, главным образом истребителей и штурмовиков. Новой, более совершенной техникой пополнялись и другие виды войск. По-прежнему основным поставщиком оружия и техники для фронта был Урал.

Созданное в ходе войны слаженное военное хозяйство, отмечают авторы, в 1944 году вступило в полосу наивысшего подъема. Коммунистическая партия и Советское государство решили широкий круг экономических задач в интересах фронта и тыла. В декабре 1943 года, обсуждая планы дальнейшего ведения войны, Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО и Ставка исходили из того, что в области экономического и социально-политического развития Советская страна вышла на новые рубежи. Был сделан главный вывод о том, что советский народ под руководством партии добился военно-экономического перевеса над врагом и превосходство СССР теперь определяло последую-

щий ход войны. Перед страной вставали задачи огромной важности: с одной стороны, предстояло закрепить достигнутые экономические успехи и увеличить материально-технические возможности победы над врагом, с другой — привести страну к концу войны экономически сильной, готовой к быстрому переходу на рельсы мирного строительства, новому подъему народного хозяйства.

Обстоятельная глава книги посвящена военным действиям американско-английских вооруженных сил в Европе, и в частности подготовке к открытию второго фронта. Английское и американское правительства, убедившись в способности Советского Союза своими силами завершить разгром гитлеровской Германии и освободить страны Европы, а также учитывая усиление освободительного движения народов колониальных и зависимых стран и боясь опоздать, пришли к выводу, что нельзя дальше откладывать вторжение в Западную Европу, что необходимо отказаться от «периферийной стратегии». Подготовка к плану «Оверлорд», то есть к высадке десанта на северо-западном побережье Франции, проводилась в тот момент, когда инициатива военных действий на всех театрах войны — на суше, в воздухе и на море — находилась на стороне антигитлеровской коалиции. Определенные успехи были достигнуты в борьбе против Японии на территории Бирмы и на Тихом океане. К тому же росло и ширилось национально-освободительное движение народов не только Европы, но и в колониальных и зависимых странах Азии и Африки, усиливались освободительная борьба народов оккупированных государств и движение Сопротивления.

Активной героической борьбой на фронтах Великой Отечественной войны, растущей военно-экономической и морально-политической мощью, честным выполнением союзнических обязательств Советский Союз решительным образом способствовал дальнейшей консолидации антифашистского фронта народов и государств, подъему национально-освободительной борьбы, вселяя в миллионы людей на всех континентах веру в близость грядущей победы.

К лету 1944 года уже 38 государств находились в состоянии войны со странами агрессивного блока, а 8 порвали с ними дипломатические отношения.

В этой исключительно благоприятной обстановке англо-американское командование

не торопясь готовилось к открытию второго фронта в Европе.

Оценивая военную экономику и внутриполитическое положение основных капиталистических стран антигитлеровской коалиции, авторы с помощью конкретных цифровых данных и сравнительных таблиц подробно анализируют производство основных видов промышленной продукции, вооружения, боевой техники и боеприпасов в первой половине 1944 года в Соединенных Штатах Америки и в Англии. Материально-технические возможности этих стран увеличились. Этому способствовало и то обстоятельство, что их армии и флоты не вели в этот период военных действий большого масштаба и поэтому не несли значительных потерь в людях и боевой технике. Вооруженная борьба с их стороны против Германии в это время сводилась лишь к воздушным бомбардировкам тыла и к проведению наступательной операции в Италии. На Дальневосточном и Тихоокеанском театрах военных действий весной 1944 года союзники перешли к стратегии так называемых «лягушечьих прыжков», обходя отдельные островные районы.

Что же касается государств фашистско-милитаристского блока, и прежде всего Германии, то их расчеты на укрепление своего военно-экономического потенциала и накопление сил не оправдались. Производство важнейших видов сырья и материалов в Германии с весны 1944 года начало падать. Не удалось ей и существенно улучшить техническое оснащение вермахта, так как почти вся продукция военной промышленности шла на покрытие огромных потерь в технике на советско-германском фронте. Не были восполнены потери в людях. С начала 1944 года пошло на убыль и производство основных отраслей тяжелой промышленности Японии.

Крушение военных планов стран фашистско-милитаристского блока в конце 1943 года и в первой половине 1944 года, и прежде всего тяжелые поражения гитлеровской Германии на советско-германском фронте, усугубляло трудности их внутреннего положения. Оно осложнялось еще и тем, что Италия — главная союзница Германии в Европе — вышла из фашистского блока. Авторы тома отмечают, что отчаянные попытки руководства Германии и Японии сконцентрировать промышленное производство в руках крупных монополий, переключить все хозяйство на дальнейшее развертывание военной промышленности, усилить

эксплуатацию трудящихся не только своих, но и оккупированных и зависимых стран не дали желаемых результатов. Уменьшился уровень производства основных материалов и сырья. Снизился выпуск вооружения и боевой техники. Падал моральный дух населения. Все более наглядно проявлялся авантюризм политики агрессивных государств, несоответствие военно-политических целей и возможностей для их достижения.

Марксизм-ленинизм рассматривает войну как сложное общественное явление. Оно включает в себя не только вооруженную борьбу, но и экономические, политические и идеологические факторы. На большом фактическом материале авторы показывают, как, осуществляя грандиозные экономические и военные мероприятия, Коммунистическая партия всемерно повышала роль идеологической работы в массах, и в первую очередь среди воинов армии и флота. При этом учитывались размах и напряженность предстоящих операций по окончательному разгрому фашистского блока на территории нашей страны и подготовка войск к боевым действиям за рубежами Родины. В этой связи большую, чем раньше, остроту получили вопросы борьбы с империалистической идеологией и ее самым чудовищным и мрачным порождением — фашизмом. Авторы показывают специфику и сложности этой работы, ее разнообразные формы и методы в условиях войны.

В идейно-политическом воспитании трудящихся большое место Коммунистическая партия отводила литературе и искусству. В лучших произведениях советских писателей, композиторов, деятелей театра и кино впечатляюще рассказывалось о создателе партии и Советского государства В. И. Ленине, о славном прошлом нашей Родины, прославлялись героические подвиги воинов и самоотверженность тружеников тыла. Этому во многом способствовали Постановление ЦК партии о литературно-художественных журналах, принятое в декабре 1943 года, а также решения IX пленума правления Союза писателей СССР, на котором обсуждались состояние и задачи литературы в дни войны. В начале 1944 года, отмечается в томе, в журнале «Знамя» были напечатаны повесть А. Бека «Волоколамское шоссе», окончание романа К. Симона «Дни и ночи». В журнале «Октябрь» опубликованы повести Ф. Гладкова о тружениках тыла «Клятва» и С. Сергеева-Цен-

ского «Вице-адмирал Нахимов», в «Звезде» — роман В. Саянова «Небо Ленинграда» и начало третьей книги романа А. Толстого «Петр I». В других журналах и издательствах, в газетах «Правда» и «Красная звезда» появились новые произведения, проникнутые высоким гуманизмом и гражданственностью, глубокой правдивостью, непримиримостью к фашистской идеологии, показывающие славные традиции русского народа — стойкость, мужество, моральную силу и убежденность.

Именно в те дни советские люди познакомились с отрывками из романа М. Шолохова «Они сражались за Родину» и третьей частью поэмы А. Твардовского «Василий Теркин», стихотворением Д. Бедного «Ленин с нами!», пьесой А. Крона «Офицер флота», кинолентами «Небо Москвы», «Радуга», «Март — апрель», «Кутузов», «Битва за нашу Советскую Украину», новыми театральными постановками, полотнами художников, яркими выступлениями журналистов. Продолжали публиковать свои рассказы, очерки и статьи Н. Тихонов, Л. Соколов, Б. Горбатов, И. Эренбург, В. Кочетов, П. Павленко. Героической теме посвящали свое творчество ученые-историки, художники-плакатисты, сатирики, скульпторы и другие работники культурного фронта.

Предметом особого внимания партии и народа продолжало оставаться развитие науки. Советские ученые делали многое для решения важных проблем, вытекающих из основных политических и народнохозяйственных задач, которые стояли перед страной в тот период. Важное место, в частности, занимали работы, связанные с восстановлением разрушенного врагом хозяйства в освобожденных районах страны, дальнейшим поиском новых производственных ресурсов Урала, Казахстана, Северо-Востока, а также европейской части страны.

Продолжались фундаментальные исследования в области реактивно-космической техники, изучения свойств полупроводников и полимеров, по кинетике и механике цепных реакций и другие. Разрабатывались крупные теоретические проблемы. Специальная лаборатория, возглавляемая академиком И. В. Курчатовым, сообщают авторы, успешно занималась проблемами ядерной энергии.

Много внимания партия уделяла дальнейшему развитию общественных наук, повышению их роли в формировании социалистического сознания народа. Развертывалась сеть политического просвещения — ве-

черных университетов марксизма-ленинизма, вечерних партийных школ, политшкол и кружков. Был сделан упор на самостоятельную учебу партийно-политических и хозяйственных кадров. Изучение марксистско-ленинской теории и истории партии, важнейших вопросов внутренней и внешней политики СССР, крупнейших событий войны, истоков героизма народа на фронте и в тылу было положено в основу всех форм учебы.

Партия постоянно заботилась о подготовке офицерских кадров. В книге сообщается, что к началу 1944 года их готовили более чем в 30 высших военно-учебных заведениях, 220 военных училищах и на 200 различных курсах. Это дало возможность не только удовлетворять потребности фронта, но и накапливать необходимый резерв офицерских кадров.

В своей практической деятельности партия и правительство всегда опирались на союз рабочего класса и колхозного крестьянства. В этой незыблемой политической основе социалистического строя они видели главное условие мобилизации масс на окончательное сокрушение фашизма, подъема производительных сил страны, укрепления государства и его славных Вооруженных Сил. Вот почему на фронте и в тылу партия выступала как единая руководящая и направляющая сила, как организатор и вдохновитель всех наших побед. Она укрепляла Советские Вооруженные Силы, вдохновляла советских воинов, рабочий класс, колхозное крестьянство и советскую интеллигенцию на боевые и трудовые подвиги.

С особым вниманием авторы на страницах «Истории» говорят о чувстве интернационального долга советских воинов. Существование этой проблемы они видят в защите и сохранении первого в мире социалистического государства — СССР как базы нового общественного строя, рожденного Великой Октябрьской социалистической революцией. Борьба советского народа против фашизма была не только патриотична, но и интернациональна. Главной задачей сейчас стало освобождение народов европейских стран, оккупированных фашистской Германией. Среди населения зарубежных стран необходимо было расширить пропаганду интернациональной освободительной миссии Советских Вооруженных Сил. В составе Совинформбюро создается специальное Бюро по пропаганде на зарубежные страны, проводятся другие мероприятия.

Партия и правительство оказывали большую помощь создававшимся на территории нашей страны иностранным воинским формированиям. Уже в марте 1943 года близ Харькова у села Соколово вместе с нашими частями участвовал в боях батальон чехословаков. В ноябре 1943 года в боях за Киев участвовала 1-я чехословацкая отдельная бригада под командованием полковника Л. Свободы. В 1943 году была сформирована 1-я польская дивизия имени Тадеуша Костюшко. 12 октября 1943 года ее воины приняли участие в наступательных боях в районе села Ленино Могилевской области Белоруссии. В военно-учебных заведениях готовились квалифицированные кадры для чехословацких, польских и других соединений. В апреле 1944 года был создан штаб Уполномоченного СНК СССР и Ставки ВГК по иностранным формированиям. Все иностранные части и соединения были обеспечены необходимым автотранспортом и вооружением. В это же время разворачивались другие чехословацкие, румынские и югославские воинские формирования.

В томе дана достойная отповедь тем реакционным историкам, которые всячески принижают значение зимне-весеннего наступления Советских Вооруженных Сил в 1944 году. В современной буржуазной историографии второй мировой войны существует несколько направлений. Одни из них действуют с позиции воинствующего антикоммунизма и реваншизма. Другие выступают в роли якобы объективных исследователей, но фактически защищают империализм и борются против социализма. Эта группа фальсификаторов наиболее опасна: полуправда и ложь она припудривает наукообразной фразеологией. Если некоторые из этой группы и говорят об успехах Советской Армии, то объясняют это помощью союзников в снабжении, а поражение врага — ошибками Гитлера.

Известно, что между исследователями-марксистами и буржуазными историками идет напряженная и постоянная борьба по многим принципиальным вопросам истории второй мировой войны: о ее сущности, характере и причинах; о роли Советского Союза в разгроме фашистской Германии и милитаристской Японии; об оценке итогов и последствий второй мировой войны. И вот что обращает на себя внимание. Чем больше обнаруживается документальных свидетельств и первоисточников, тем авторитет-

нее становится марксистская точка зрения и тем легче рушатся хитроумные «ходы» буржуазных историков. Читатель помнит, как в ранее вышедших томах «Истории второй мировой войны» авторы разоблачили ряд концепций буржуазных фальсификаторов: их потуги оправдать предвоенную политику «умиротворения», проводимую Англией, Францией и США, ложные утверждения о причинах войны, легенду о «превентивном» нападении фашистской Германии на нашу страну и другие. Исторические, неопровержимые факты опрокидывают одну ложь за другой. В рецензируемом томе разоблачается концепция отрицания основного вклада СССР в разгром стран фашистского блока. Идеологи империализма всячески скрывают от своих народов, особенно от молодежи, правду о решающей роли Советского Союза в победе над фашистскими агрессорами и тем самым стремятся умалить неуклонно растущий международный авторитет СССР. В специальном разделе «Решающая роль Советского Союза в крушении оборонительной стратегии фашистского блока» авторы убедительно показывают, что в зимне-весенний период 1943—1944 годов, как и в другие более ранние периоды, наибольшим размахом, напряженностью и военно-политическими результатами отличались боевые действия на советско-германском фронте, где Советская Армия продолжала единоборство с самыми боеспособными силами фашистского блока. Об этом красноречиво говорят данные, приведенные на страницах книги. На 1 января 1944 года на советско-германском фронте находилось 245 дивизий из 362 имевшихся в действующих армиях вермахта и сателлитов Германии. С нашей стороны в наступлении зимой 1944 года участвовало свыше 65 армий, в том числе 6 танковых и 11 воздушных, а также Краснознаменный Балтийский и Черноморский флоты и несколько флотилий. Наступательные действия продолжались непрерывно более четырех с половиной месяцев и велись на северо-западном, западном и юго-западном — от Финского залива до Керченского полуострова — стратегических направлениях протяженностью более двух с половиной тысяч километров. Командование вермахта в ходе боев непрерывно перебрасывало из Германии и других стран Европы значительное подкрепление. Таковы были масштабы сражений. Уже тогда этот неоспоримый факт признавало само фашистское командова-

ние. В директиве ОКВ³ № 51 от 3 ноября 1943 года отмечалось: «Ожесточенные и кровопролитные бои последних двух с половиной лет против большевизма потребовали от нас исключительного напряжения. На Восток была брошена основная масса наших военных сил».

«Восточный фронт,— отмечал генерал Б. Циммерман,— настойчиво выкачивал из немецких армий, находившихся на Западе, всю боеспособную живую силу и боевую технику». Гитлер вынужден был признать, что на Западе, как правило, оставались только учебные дивизии, а танковые направлялись туда лишь для перекомплектования. На Восточный фронт перебрасывались не только германские стратегические резервы, но и войска с других театров военных действий, в том числе и с Западно-европейского, а также вновь формировавшиеся соединения. «Пожалуй, за всю войну еще не было большей опасности оголить в угоду обороны на Восточном фронте все прочие театры военных действий, чем опасность, которая нависла в данный период»,— отмечалось в дневнике штаба германского верховного главного командования весной 1944 года. За зимне-весеннюю кампанию для восстановления фронта на Востоке немецко-фашистское командование вынуждено было отправить сюда 40 дивизий и 4 бригады из Германии и других стран Западной Европы. Из этого и других неопровержимых фактов, приведенных на страницах тома, авторы делают справедливый вывод о том, что наступление Советской Армии сорвало планы вермахта укрепить оборону на Западе, где ожидалось вторжение англо-американских войск на побережье Северо-Западной Франции, и облегчило союзникам подготовку к десантной операции.

В томе анализируются международные отношения и внешняя политика основных государств — участников войны. Раскрывается деятельность Коммунистической партии и Советского правительства по сплочению народов и стран, боровшихся против фашизма, показывается решающее значение исторических побед советского народа и его Вооруженных Сил в упорении антифашистской коалиции. В главе «Международные отношения и внешняя политика основных стран — участниц войны» раскрывается прежде всего советская программа послевоенного устройства Европы

и борьба за ее осуществление, анализируется политика государств антигитлеровской коалиции в деле послевоенного устройства мира и углубление кризиса внешней политики стран фашистского блока.

В 1944 году в результате побед Советской Армии, одержанных в ряде успешных операций, освобождение европейских стран от фашистской оккупации стало делом ближайшего будущего. В этой обстановке необходимо было выработать правильную и четкую программу послевоенного устройства Европы, которая отвечала бы освободительному характеру войны, интересам демократии и свободы народов. Такая программа была разработана Центральным Комитетом Коммунистической партии и Советским правительством. Она заключалась в том, чтобы вместе с союзниками по антигитлеровской коалиции освободить от фашистских захватчиков европейские народы и оказать им содействие в воссоздании национальных государств; предоставить полное право и свободу освобожденным народам самим решать вопрос об их государственном устройстве; сурово наказать фашистских преступников, виновников войны и страданий народов; создать условия для предотвращения новой агрессии со стороны Германии; установить длительное экономическое, политическое и культурное сотрудничество европейских народов.

Эта весьма гуманная программа, провозглашенная Советским Союзом, дала ясную и реальную перспективу скорого освобождения и возрождения суверенных национальных государств, мобилизовала и объединила усилия народов на разгром врага

Таким образом, делают вывод авторы, к лету 1944 года благодаря победам Вооруженных Сил СССР на советско-германском фронте военная мощь гитлеровского государства оказалась значительно подорванной, а изменения, которые произошли в военно-политической обстановке в Европе, в совокупности предопределили неизбежность краха всей системы фашистского «нового порядка». Были созданы необходимые условия для развернутого наступления союзных армий с целью окончательного освобождения территории СССР и европейских стран от фашистских агрессоров. Прогрессивное человечество сделало еще один важный шаг на пути к победе. Приблизился день полного раз-

³ ОКВ — сокращенное обозначение верховного командования вермахта.

грома врага и его безоговорочной капитуляции.

Тридцать три года прошло с тех пор, когда советские полки, набирая силу ударов, безостановочно шли на запад, грома врага. На исходе юбилейный 1977 год — год шестидесятилетия Октября. Приближается 60-летний рубеж наших славных Советских Вооруженных Сил. Самоотверженным трудом и замечательными свершениями советского народа в строительстве нового мира были заполнены все эти годы. Наша Родина — детище Великого Октября — первой в мире построила общество развитого социализма. Об этом красноречиво говорили участники торжественного заседания, посвященного 60-летию Октябрьской социалистической революции. В своем докладе «Великий Октябрь и прогресс человечества» Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев с законной гордостью заявил:

«Мы были первыми. И пришлось нам нелегко. Надо было выстоять в кольце враждебного окружения. Надо было вырваться из вековой отсталости. Надо было преодолеть огромную силу исторической инерции и научиться жить по новым законам — законам коллективизма.

И теперь, подводя главный решающий итог шести десятилетиям борьбы и труда, можно с гордостью сказать: мы выстояли, мы выдержали, мы победили.

Мы победили в грозные тревожные годы гражданской войны и вооруженной интервенции, когда решался вопрос — быть или не быть Советской власти.

Мы победили в стремительные, бурлящие годы первых пятилеток, когда решался вопрос — смогут ли рабочие и крестьяне нашей страны в отведенный им историей кратчайший срок заложить основы социализма, превратить Родину в могучую индустриальную державу.

Мы победили в суровые, огненные годы Великой Отечественной войны, когда решался вопрос — сможет ли социализм устоять под натиском ударных сил мирового

империализма, спасти человечество от фашистского порабощения.

Мы победили и в сложные, напряженные послевоенные годы. В обстановке «холодной войны» и атомного шантажа было быстро восстановлено разрушенное хозяйство, завоеваны передовые рубежи экономического и научно-технического прогресса.

Вместе со страной росла и крепла оборонительная мощь нашего государства. В боевой армейский строй становились все новые и новые поколения советских людей — сыновья и внуки участников минувшей войны. Не напрасными были принесенные во имя Отечества жертвы, не зря отдали жизни их фронтовые побратимы. Глубокое удовлетворение у каждого фронтовика, каждого советского человека вызвали исполненные большого политического смысла слова новой нашей Конституции: «СССР неуклонно проводит ленинскую политику мира, выступает за упрочение безопасности народов и широкое международное сотрудничество».

Всенародное обсуждение и принятие новой Конституции СССР, празднование славного юбилея Советской власти, замечательные трудовые успехи — все это вылилось в величественный смотр грандиозных завоеваний советского народа, достигнутых советским народом под мудрым руководством славной ленинской партии коммунистов. Ныне, как никогда, прочна обороноспособность нашей страны, и, как отмечалось на XXV съезде КПСС, советские люди могут быть уверены в том, что плоды их созидательного труда находятся под надежной защитой. Внешняя политика СССР направлена на укрепление позиций мирового социализма, на предотвращение агрессивных войн, достижение всеобщего и полного разоружения и последовательное осуществление принципа мирного существования государства с различным социальным строем. Разрядка международной политической и военной напряженности и борьба за мир отвечают кровным интересам всех народов земного шара. Прочный мир — самая гуманная общечеловеческая задача.



Яркий, самобытный талант

«**У**наковальни своей эпохи стоит народный писатель... Пусть пылает огонь. Пусть взвиваются искры. Смело вздымать молот! Выковать новые культурные ценности, сверкающие и звонкие, как стальное лезвие!» — Эти слова латышского писателя Андрея Упита стали девизом его собственной жизни. Народный писатель Латвийской ССР, Герой Социалистического Труда, академик, коммунист с 1940 года, Упит за выдающийся вклад в литературу и общественно-политическую деятельность был награжден пятью орденами Ленина, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени... Произведения и переводы великолепного мастера слова являют собой пример последовательной и целеустремленной борьбы за великие эстетические ценности, за демократические и гуманистические идеалы, за коммунизм.

Александр Фадеев, большой друг Андрея Упита, в одном из писем к нему писал: «Своими романами Вы точно сказали читателю всех наций: «Не глядите на то, что народ мой численно не так уж велик, жизнь его так же значительна, полна такого же великого содержания, как и жизнь любой из наций».

«Во дни торжеств и бед» он всегда был со своим народом, и именно в единении с народом — истоки и корни многогранного таланта писателя.

Выходец из народа (А. Упит родился 5 декабря 1877 года в бедной крестьянской семье), с детских лет познавший тяжкую

нужду и лишения, он поднялся на голову выше многих современных ему писателей, иными глазами, глазами защитника прав эксплуатируемых и угнетенных, взглянул на события, происходившие в то время в Латвии.

Произведения А. Упита стали отражением живой истории латышского народа.

Поразительна целеустремленность, работоспособность и мужество писателя. Он начал пробовать свои силы в литературе с двенадцати лет. Уже в 1899 году в печати появляется его первый рассказ «В бурю». А. Упит выступает в разных жанрах: пишет рассказы и новеллы, стихи и фельетоны. В это время он много читает. «Русские писатели,— вспоминал А. Упит,— были моими любимейшими авторами с ранней юности... Достоевского я прочел два раза, Тургенева и Чехова — четыре, чрезвычайно высоко ценю Лермонтова, Пушкина, Гоголя, Щедрина, но выше всех — Максима Горького».

Своими рассказами «Угри», «Шутки», «В стужу», «Охота», «На вырубке», появившимися в печати в начале девятисотых годов, А. Упит заявил о себе, как о сложившемся писателе с ярким и самобытным дарованием.

До А. Упита многие латышские писатели чаще всего ограничивались в своем творчестве лишь описанием индивидуальных переживаний героев, не отображая в своих произведениях классовую борьбу в деревне.

А. Упит ясно видел, как под влиянием усиливающихся капиталистических противоречий в латышской деревне происходит

процесс «раскрестьянивания» деревни. Безземельные крестьяне и батраки в поисках работы уходят в город. Именно этот процесс пролетаризации деревни и созревания революционного самосознания рабочего класса отображен писателем в первых частях трилогии «Робежниеки» — романах «Новые истоки» и «В шелковой паутине».

Революция 1905 года оказала большое влияние на идейный рост и формирование мировоззрения А. Упита. В годы столяшинской реакции иные писатели Латвии отошли от революционной борьбы. А. Упит остается верен идеалам рабочего класса. Он вчитывается в произведения Чернышевского и Плеханова, пристально изучает труд В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

В те трудные годы он занимается литературной критикой, отстаивает принципы реалистического искусства, составляет альманах «Слово».

В своих публицистических выступлениях он обрушивается на либеральную буржуазию и лживое политиканство.

В романах «Женщина», «Последний латыш», «Золото», «Ренегаты» писатель зло высмеивает реакционную латышскую буржуазию, разоблачает мещанство, ведет борьбу с декадентами. В своей работе «История новейшей латышской литературы» он сделал попытку систематически изложить развитие национальной словесности с точки зрения марксизма. В период подготовки Октябрьской социалистической революции А. Упит как писатель, публицист и общественный деятель избирается членом Исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов, ведет большую агитационную работу за свержение Временного правительства, пропагандирует большевистский лозунг о перерастании буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. В печати появляются его статьи «Латышские сельские рабочие», «Советы безземельных», «Сильная власть». Он руководит периодическими изданиями, вокруг которых объединяются демократические писатели.

В августе 1917 года войска империалистической Германии захватили Ригу, вскоре А. Упита арестовывают. В письмах, петициях, заявлениях передовая общественность требует освободить писателя, и реакционное правительство вынуждено было выпустить его из заключения.

В трудных условиях немецкой оккупации А. Упит не прекращает работу над последней частью трилогии «Робежниеки» — ро-

маном «Северный ветер» — о событиях 1905 года.

В начале 1919 года в Латвии была провозглашена Советская власть. Весь свой талант, все свои силы писатель теперь отдает делу строительства советской культуры. Он руководит отделом искусства в Наркомпросе.

Летом 1919 года латышской реакции, подержанной империализмом, удается подавить молодую власть рабочих и крестьян. Начинается кровавая расправа с народом, с советскими работниками, расстреляны тысячи людей. А. Упит вынужден покинуть Ригу. Через год он снова возвращается на родину.

Как только он переступает границу Латвии, его снова заключают в тюрьму.

Латышские реакционеры угрожали писателю военным судом и смертной казнью. Трудящиеся Латвии поднялись на его защиту, и А. Упит во второй раз был вырван из рук палачей.

В тридцатые годы А. Упит в рассказах, комедиях, в романах, продолжающих трилогию «Робежниеки» — «Возвращение Яна Робежниека» и «Смерть Яна Робежниека» — высмеивает мораль хозяев буржуазной Латвии. Время фашистского режима в Латвии было самым тяжелым периодом в жизни А. Упита. Его книги не печатались. Даже упоминать его имя в печати было строго запрещено. Но Упит продолжает работать, продолжает бороться, печатает свои произведения под вымышленными именами: ему удается опубликовать большой исторический роман «Первая ночь», романы «Улыбающийся лист», «Тайна сестры Гертруды» и другие произведения.

В 1940 году в Латвии восстанавливается Советская власть. А. Упита избирают заместителем председателя Верховного Совета Латвийской ССР. А с 1941 года он бессменный председатель Союза советских писателей Латвии.

Публицистические статьи А. Упита, написанные им во время Великой Отечественной войны, проникнуты глубокой ненавистью к фашизму: в них пламенный призыв к латышским гвардейцам громить ненавистных фашистских захватчиков. В эти же годы выходит книга «Новеллы» о борьбе с гитлеровскими захватчиками, трагедия «Спартак».

Сквозь пепел и развалины 1944 года поднималась на освобожденных землях новая жизнь. Уже в декабре 1944 года А. Упит читает вступительную лекцию в Рижском университете. К высказываниям Упита при-

слушиваются люди разных поколений. Имя писателя приобретает известность не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Его произведения переводятся на все языки народов СССР, а также на многие языки зарубежных стран. По инициативе Луи Арагона издаются произведения А. Упита во Франции.

А. Упит познакомил латышских читателей с лучшими произведениями русской и мировой литературы. Он перевел на латышский язык «Горе от ума» А. Грибоедова, «Ревизора» Н. Гоголя, многие произведения М. Горького, А. Толстого, В. Шекспира, Г. Гейне, Б. Шоу, Г. Флобера, Г. Манна...

В 1957 году на торжествах по случаю 80-летия писателя Н. Тихонов сказал: «...Андрей Упит принадлежит к той замечательной писательской семье, которая включает в себя такие имена, как Франко на Украине, как Купала и Колас в Белоруссии, Горький и Серафимович в литературе русского народа».

В развитии латышской литературы творчество Андрея Упита занимает ведущее место.

На протяжении всей своей жизни он шел в ногу с народом, он создавал произведения глубоко идейные, отмеченные высоким ху-

дожественным мастерством. В творчестве писателя воплощено все лучшее, что на протяжении ряда поколений подготовлялось и созревало в духовной жизни латышского народа. Не случайно поэтому латышские советские читатели называют А. Упита своим учителем, латышским Горьким.

В послевоенные годы из-под пера А. Упита вышли такие монументальные произведения социалистического реализма, как роман-эпопея «Земля зеленая» и «Просвет в тучах». В них отображена целая эпоха развития революционного движения в Латвии. Писатель рисует латышский пролетариат в борьбе с самодержавием плечом к плечу с русским рабочим классом, с русским народом.

В дни юности Упит писал: «Искусство есть борьба не на жизнь, а на смерть. Мы не зовем созерцать, разгонять долгую послеобеденную скуку. Мы зовем на борьбу...» Этому принципу писатель оставался верен всю свою жизнь (он скончался в 1970 году в возрасте 93 лет).

Страстное стремление к совершенству, неуемная жажда познания помогли А. Упиту в героическом самоотверженном труде до конца его дней, помогли писателю, чье творчество было всегда неразрывно связано с жизнью и интересами народа социалистической Родины.



У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Надежный помощник партии

Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи в будущем году исполняется 60 лет.

Ценным изданием пополнилась библиотека книг о комсомоле и советской молодежи. Вышел из печати обращенный к широкой читательской аудитории труд Е. М. Тяжельникова «Союз молодых ленинцев».

В этой книге автору удалось сконцентрировать богатейший материал. Здесь многогранно освещены аспекты коммунистического воспитания юного поколения, раскрываются сформулированные В. И. Лениным принципы руководства комсомолом, исследована роль КПСС в его становлении и определяются задачи, которые ставятся перед советской молодежью на нынешнем этапе, прослеживаются история и ударные направления современной деятельности ВЛКСМ. Во многих главах Е. М. Тяжельников показывает те безграничные возможности, которые созданы в стране для удовлетворения запросов молодежи. Книга творчески сочетает обильный фактический материал и личные наблюдения автора, научную обстоятельность и новизну выводов с живостью публицистического изложения. Издание выразительно иллюстрировано редкими или малоизвестными фотографиями и далекими и наших дней.

Предыстории и первым шагам комсомола посвящена специальная глава рецензии.

Е. М. Тяжельников. Союз молодых ленинцев. М. Политиздат, 1977 г.

руемой книги. В. И. Ленин, основатель и вождь нашей партии, еще задолго до революции уделял огромное внимание молодежи. «Внимательно относясь к революционному движению молодежи вообще,— писала Н. К. Крупская,— Владимир Ильич совершенно особое значение придавал революционному движению рабочей молодежи».

Эта тема на страницах книги развивается последовательно на ярких фактах и примерах. Второй съезд РСДРП. В. И. Ленин пишет «Проект резолюции об отношении к учащейся молодежи». На протяжении всей своей жизни он находил возможности для глубокой разработки принципов отношения партии к молодежи и к ее организациям. В книге названа впечатляющая цифра — более ста статей, выступлений, писем, что были посвящены Владимиром Ильичем этой теме. Автор внимательно прослеживает неустанную организаторскую, практическую работу В. И. Ленина по воспитанию и сплочению юных единомышленников. Золотая страница истории ВЛКСМ — ленинская речь на III съезде РКСМ. Она определила роль и место молодых коммунистов в строительстве социализма, стала компасом в их идейно-политическом, трудовом и нравственном воспитании. На первый план, как подчеркивается Е. М. Тяжельниковым, была выдвинута идея непосредственного участия каждого комсомольца на любом посту, на любом участке труда «в утверждении коммунизма: «...вести дело так,

чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее дело... Только в такой работе превращается молодой человек или девушка в настоящего коммуниста»¹.

За этим нестарующим ленинским призывом, высказанным в 1922 году,— Магнитка, Метрострой и Сталинградский тракторный, первые колхозы, поход за ликбез, участие в Великой Отечественной войне, целина и БАМ, шефство над развитием Нечерноземья, ударный труд на стройках пятилетки...

Книга «Союз молодых ленинцев» проводит нас по дорогам революционной, боевой и трудовой славы комсомола. Шесть наград Родины на знамени ВЛКСМ — убедительное свидетельство вклада поколений комсомольцев в общее дело строительства коммунизма. Рассказывая о героической истории ВЛКСМ, автор размышляет об истоках побед, одержанных комсомолом. А истоки эти — в неизменном внимании партии, в ее постоянной помощи и мудром руководстве.

Думается, что анализ теоретических основ и практики партийной работы, обращенной к ВЛКСМ,— главное в книге Е. М. Тяжельникова. Читателю становится понятной и объективной закономерность для комсомола организующей и направляющей роли КПСС. Основы, характер и содержание этих принципов были основополагающе разработаны В. И. Лениным. Он подчеркивал, что Союз молодежи должен намечать свои главные цели в соответствии с «общими директивами Коммунистической партии, если действительно хочет быть коммунистическим»².

Решения съездов КПСС, прошедших в последнее десятилетие, работы Л. И. Брежнева и его неоднократные выступления перед молодежью обогатили ленинскую науку партийного руководства комсомолом. «Комсомол,— говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев,— всегда и во всем должен чувствовать направляющую руку, помощь и поддержку партии, всех ее кадров. Это завещал нам великий Ленин, этого требуют высшие законы нашей Коммунистической партии»³.

Жизнь постоянно подтверждает эти программные слова. В то же время коммуни-

сты, что убедительно подтверждается в книге Е. М. Тяжельникова, никогда не сводили свою заботу о комсомоле к мелкому опекунству. Общеизвестен самостоятельный характер комсомольских организаций. Их инициатива и поиск ничуть не ограничиваются, а, напротив, всемерно поддерживаются партией, всячески поощряются специфические для юношества интересы и увлечения.

Доверие КПСС комсомолу выражается в поистине грандиозных заданиях. Вспомним об ударных комсомольских стройках (только в прошлой пятилетке более 3000 объектов, включая всесоюзные) и о студенческих строительных отрядах (в 1976 г. 700 тыс. бойцов ССО освоили более 1 млрд. 300 млн. рублей). ВЛКСМ шефствует над целыми отраслями народного хозяйства и, к примеру, над развитием профессионально-технического образования молодежи, организует смотры научно-технического творчества рабочих, инженеров, студенчества. Комсомол — инициатор движения «Пятилетке эффективности и качества — энтузиазм и творчество молодых!».

Советская молодежь осознает свою высокую ответственность перед народом, перед будущим. Вот почему она и ее боевая организация — ВЛКСМ по-сыновьи верны партии, благодарны ей за доверие, добровольно идут на выполнение самых ответственных поручений. Содержание глав — «В труде вместе с рабочими и крестьянами...», «Молодежь, научно-технический прогресс и социалистическое соревнование», «Коммунистическую идейность, активную жизненную позицию — каждому комсомольцу», «Комсомольской работе — эффективность и качество», «Мы — патриоты, интернационалисты» — широко и полно подтверждает этот тезис.

Молодежи предоставлены поистине большие и только при социализме реально гарантированные возможности для удовлетворения самых различных потребностей. В недавно принятой новой Конституции СССР есть такие слова: «Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, кооперативные и другие массовые общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов». Партия направляет работу госу-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. Соч., т. 41, стр. 318.

² Там же, стр. 532.

³ Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, М. Политиздат, 1976 г., т. 5, стр. 52.

дарственных и общественных организаций в создании максимальных условий для всестороннего развития и совершенствования молодой личности. Учеба, труд и приобретение современных профессий, овладение культурой, раскрытие талантов, целеустремленный досуг, отдых, физическая культура и спорт...

Суммируя многообразный материал, Е. М. Тяжельников делает важный вывод: «С возрастом роль его боевого помощника, надежного резерва — ВЛКСМ. Комсомол помогает партии обеспечить участие каждого молодого человека в коммунистическом строительстве, наиболее полно использовать в интересах торжества дела коммунизма энергию, знания, способности советской молодежи».

«Мы партия будущего, — писал В. И. Ленин еще до революции, — а будущее принадлежит молодежи. Мы партия новаторов, а за новаторами всегда охотнее идет молодежь... Мы всегда будем партией молодежи передового класса»¹. История доказала, что советская молодежь всегда шла за своей партией. Комсомол стал не только надежным помощником партии, но и ее надежным резервом. Хочется привести лишь один факт из обширнейшего материала, приведенного в книге «Союз молодых ленинцев». За годы своей работы комсомол подготовил и рекомендовал в члены партии 12 миллионов своих воспитанников, не считая тех, кто вступил в ряды коммунистов уже после пребывания в ВЛКСМ. «Живая связь партии с комсомолом, — говорил на XVII съезде ВЛКСМ Л. И. Брежнев, — выражается и в том, что десятки тысяч вожakov молодежи избраны в руководящие органы партии — от бюро и комитетов первичных организаций до Центрального Комитета КПСС».

Особое место в партийной сокровищнице научных положений и практических дел, обращенных к молодым, занимает завет В. И. Ленина «учиться коммунизму». На этапе развитого социалистического общества он обогащен трудами Л. И. Брежнева. В его сборнике «Молодым — строить коммунизм», как пишет Е. М. Тяжельников, «дан глубокий марксистско-ленинский анализ деятельности комсомола как помощника и резерва партии, четко и ясно, применительно к нынешнему периоду общест-

венного развития определены задачи комсомола, раскрыто содержание ленинского завета «учиться коммунизму».

Главы труда Е. М. Тяжельникова «Главная задача — учиться коммунизму», «К новым свершениям во имя коммунизма» и другие аргументируют и иллюстрируют то, как выполняются эти важнейшие задачи. Комсомол принял на свое вооружение подказанный партией метод комплексного подхода к коммунистическому воспитанию молодежи. Ценность книги, несомненно, видится в том, что она успешно охватывает всю панораму основных дел ВЛКСМ, анализирует их, исследуя новое. И, утверждая это новое, пропагандирует опыт лучших комсомольских организаций. В то же время автор не оставляет без внимания еще не решенные проблемы, говорит о дальнейшем повышении эффективности работы комсомола в выполнении наказов партии, определенных на ее XXV съезде.

Рассказывая о том, что внес XXV съезд КПСС в жизнь ВЛКСМ, Е. М. Тяжельников пишет: «Особое значение имеет вывод о необходимости значительного улучшения всей идеологической работы, неуклонного повышения социальной активности, идейно-нравственных качеств, культурного уровня, духовного потенциала всех советских людей и особенно молодежи».

Одна из глав рецензируемой книги носит название «Комсомол и культура». Право же, еще далеко не часто появляются обобщающие исследования по этой теме. Это несомненно возбуждает особо повышенный интерес к накопленному Е. М. Тяжельниковым материалу и к выводам, рожденным пристальным его изучением. Проблема использования достижений советской культуры в коммунистическом воспитании молодежи всегда в центре внимания ВЛКСМ. Содружество с выдающимися деятелями литературы и искусства начало развиваться едва ли не с самых первых дней существования комсомола. До сих пор происходит, все более совершенствуясь, как подмечает Е. М. Тяжельников, этот процесс творческого и духовного взаимообогащения. ВЛКСМ ныне «владелец» своих миллионотиражных газет и журналов, издательств. Ему помогают молодежные радиостанции, телестудии и театры. Он устроитель совместно с государственными и творческими организациями совещаний и семинаров молодых писателей, кинематографистов, журналистов, юнкоров. Доброй славой поль-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. Соч., т. 14, стр. 163.

зуются молодежные фестивали театральных постановок, фильмов, песни, выставки. Авторитетны премии Ленинского комсомола, конкурсы имени А. Фадеева и Н. Островского, массовые смотры художественной самодеятельности. В этой многообразной работе комсомола автор справедливо видит часть общепартийной заботы о духовном совершенстве советских людей.

...Необычайно тепло заканчивается книга Е. М. Тяжельникова «Союз молодых ленинцев». Комсомол имеет мудрого наставника в лице Коммунистической партии и ее руководящего штаба — Центрального Комитета и Политбюро. Здесь приводятся замечательные штрихи биографии Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева. Рабочий-подросток, комсомолец-членовец, студент-коммунист, директор рабфака, молодой командир производства... Вся его жизнь — поучительный пример для нынешних комсомольских поколений.

14 апреля этого года Л. И. Брежневу был вручен комсомольский билет и Золотой Почетный знак ВЛКСМ. Этим высоким актом была выражена воля 35-миллионного ныне комсомола. Принимая билет и награду, Л. И. Брежнев сказал: «Для меня, ком-

сомольца двадцатых годов, этот торжественный акт является особо волнующим... Это вручение я воспринимаю как символ неразрывных уз, связывающих нашу ленинскую партию и комсомол. Я вижу в нем знак уважения, которое питает наша молодежь к партии как своему вождю и учителю, символ ее преданности нашей социалистической Родине и великому делу строительства коммунизма. Комсомол всегда был и, я уверен, всегда будет верным, надежным помощником и опорой партии в ее борьбе за счастье народа, за претворение в жизнь наших светлых идеалов».

Нет никаких сомнений, что советская молодежь достойно оправдывает эту высокую оценку. Ударный труд, верность идеям строительства коммунизма, активность в выборе жизненных позиций ради общего дела — надежная гарантия ее боеспособности в выполнении задач, поставленных перед комсомолом партией. Таков вывод, который подсказан книгой Е. М. Тяжельникова «Союз молодых ленинцев». Она достойный подарок советскому читателю в преддверии 60-летия Ленинского комсомола.

В. Осипов

За добрые контакты

Разрядка международной напряженности стала реальной силой. В этом убеждаешься даже при взгляде на такую сложную сферу, какой являются советско-американские отношения. Несмотря на многие трудности, создаваемые отнюдь не нашей стороной, эти отношения развиваются по многим линиям. Я имел возможность видеть Соединенные Штаты до XXIV съезда КПСС, принявшего Программу мира, до визита Л. И. Брежнева в США в 1973 году и уже не раз ездил по Америке после этого исторического визита. За неполных пять лет там многое изменилось к лучшему по отношению к нашей стране. Достаточно сказать, что сейчас действует немало договоров, заключенных между СССР и США и направленных на развитие сотрудничества между нашими странами. В их числе — «Основы вза-

имоотношений между СССР и США», Соглашение о предотвращении ядерной войны, договор о сотрудничестве в сфере науки и другие.

Каждый знает о совместной плодотворной работе советских и американских космонавтов. Дважды бывал я в Хьюстоне, центре американской космонавтики, и убеждался в том, с какой большой заинтересованностью относятся там к сотрудничеству с нами. Достаточно сказать, что американские космонавты вполне освоили нелегкий наш язык. В Батавии, неподалеку от Чикаго, я несколько дней жил в научном городке, созданном при мощном ускорителе, на котором работают вместе советские и американские физики. Не меньшей активностью отличается советско-американское сотрудничество в медицине, главным образом в области сердечно-сосудистых и раковых заболеваний. Этот перечень можно продолжать и продолжать...

В. Сырокомский. Что они знают о нас. М. «Советская Россия», 1977 г.

Но путь разрядки сложен. Враждебные ей и пока еще могущественные силы выступают как против разоружения, так и против сотрудничества. Но, поскольку разрядка обрела реальную силу, овладела международным общественным мнением, ее противники вынуждены всячески изощряться в своих попытках опорочить идеи мирного сосуществования и международного сотрудничества. Вот один на первый взгляд частный пример, но при внимательном рассмотрении он позволяет сделать немаловажные обобщения.

Недавно проводилось совместное испытание нового американского лекарства для лечения инфаркта миокарда. Вначале препарат испытывался в США, а затем американский доктор Джеймс Мюллер прибыл для этой цели в Москву. Приехал так, как теперь часто приезжают друг к другу советские и американские специалисты, то есть всерьез и надолго, с женой и двумя детьми. Мюллер работал вместе с группой наших медиков. Исследования прошли успешно. И вот в ведущей американской газете появилась статья об этом эксперименте. Из нее был искусно выхолощен дух сотрудничества, в статье искажались взаимоотношения американского врача и советских медиков, имевшие место события были освещены таким образом, что добрых чувств по отношению к разрядке не вызывали. Начать с заголовка, который гласил: «Американский врач экспериментирует на советских пациентах». То есть читатель может понимать так: «тоталитарный советский режим» поставляет русских «подопытных кроликов» (в данном случае живых людей!) для опытов, которые в «свободной и демократической Америке» не могут быть осуществлены.

«Этот заголовок,— говорит доктор Мюллер,— заставлял забыть о фактах, упоминавшихся в статье, а именно, что наше лекарство было сначала испытано на американских больных и что испытания в Москве проходили быстрее благодаря тому, что там легко было создать единый комплекс, объединивший несколько больниц, а также благодаря отлично поставленной службе скорой помощи. Намек, заключающийся в заголовке, был тем более несправедлив, что члены советского Фармакомитета проявили большую заботу о безопасности советских пациентов, задержав начало эксперимента до тех пор, пока мы не представили доказательства безвредности нашего лекарства».

Джеймс Мюллер решил донести до аме-

риканцев правду о своей работе в Москве. Он написал большую статью на эту тему и предлагал ее таким солидным периодическим изданиям, как «Нью-Йорк таймс», «Пэрийд», «Атлантик», «Харперс». И ни одно из них статью не опубликовало! Комментарии, как говорится в таких случаях, излишни.

Этот пример мы взяли из книги «Что они знают о нас», написанной известным советским публицистом В. Сырокомским. Она состоит из четырех международных очерков, самый большой из них посвящен США и советско-американским отношениям. В нем автор рассказывает о своей прошлогодней поездке по Соединенным Штатам.

В. Сырокомский пишет, что задавал американцам самые элементарные вопросы о нашей стране: сколько союзных республик входит в состав СССР? Назовите четырех советских писателей. Какие советские кинофильмы вы видели? И т. п. Его собеседниками были люди образованные, именитые: политики, издатели, банкиры... А их ответы отличались вопиющей невежественностью. Так, число советских республик, по их мнению, варьировалось от 9 до 40, никто из них не смог вспомнить больше чем одного советского писателя, наши фильмы смотрели только двое... Мало этого, В. Сырокомский вспоминает о том, как крупный американский чиновник интересовался, есть ли в нашей стране... железные дороги. Вспоминает автор и о том, как в ресторане одна дама спросила советского моряка, ел ли он когда-нибудь цыпленка...

Автор задумывается над причиной такого, мягко говоря, незнания. И выходит, что отнюдь не леность американского характера является причиной невежественности. Мы-то знаем, что американцы — народ умный и деятельный. Тут нельзя согласиться и с мнением известного французского политика Жоржа Клемансо, бывшего в свое время премьер-министром, утверждавшего, что Америка — это развитие от варварства к декадансу, минуя культуру. В чем же дело? В. Сырокомский пишет:

«Несколько упрощая, можно сказать: деловитость, практицизм, целеустремленность американца сплошь и рядом оборачиваются узостью кругозора и рядом интересов, духовной бедностью, а отсюда — один шаг до невежества. Поистине человеческие недостатки суть продолжение человеческих достоинств. Американца, как правило, интересует то — и только то! — что непосредственно касается его бизнеса, его привычного круга, в

лучшем случае — ближайших соседей. Все остальное ему «без разницы», как любил говорить сопровождавший нашу делегацию переводчик государственного департамента: он охотно щеголял такими выражениями.

Само собой разумеется, что корни этого явления надо искать в социальных условиях. Жестокая борьба за существование, вечный страх перед завтрашним днем, вечная погоня за деньгами отбивают у «среднего американца» всякую охоту узнавать что-то «постороннее», не насыщающее важное для его дела, не сулящее дохода».

И вот результат: по данным опроса, проведенного американским научно-исследовательским институтом Гэллага, половина американцев «вообще никогда не брала в руки книгу». Что же касается познаний американца в отношении нашей страны, то тут дело обстоит еще катастрофичнее. Помимо социальных условий, здесь в силу вступают намеренная дезинформация, демагогия и клевета, распространяемые в одном случае с прямолинейной грубостью, в другом — с вполне профессиональной ловкостью.

Случай первый. В Сырокомский пересказывает содержание листовки, которую он увидел в церкви при одном американском коллежде:

Листовка называется «Это может случиться в нашей стране». Что вещает она?

«Коммунизм все еще надеется покорить мир и настойчиво стремится к этой цели». Эти русские заявляют: «Когда мы покорим Соединенные Штаты, 60 миллионов американцев будут подлежать уничтожению...»

Коммунисты, оказывается, всех духовных лиц и прихожан уже взяли на учет. Далее расписываются ужасы, которые ожидают церковь и верующих, если коммунисты захватят контроль над США. «Да, это может случиться в нашей стране, если все мы, американцы, не возьмемся за дело и не воспрепятствуем этому», — страшат автор листовки.

Случай второй. Демагогия более изощренная. В Русском исследовательском центре при Гарвардском университете, одном из самых ведущих в США, президент США Кеннеди набрал для своего кабинета четырех выпускников, а президент Форд — пятерых бывших питомцев Гарварда, больше десятка научных сотрудников занимаются советской литературой. Чем конкретно они интересуются или чем их побуждают интересоваться? Темы работ — явно надуман-

ные, обращенные в прошлое, малозначимые изыскания, ни одного исследования о творчестве кого-либо из современных советских писателей, о советской многонациональной литературе. И это в научном центре! Гарвардский университет не исключение. Известно, что на славянских отделениях американских университетов и в тех школах, где поставлено изучение русского языка, курс советской литературы заканчивается, по существу, 1930 годом.

К сожалению, такого рода примеры встречаются в США весьма часто, причем в сферах, которые, казалось бы, далеко отстоят от политики. Ну, скажем, лингвистика. В Сырокомский рассказывает об американском учебнике русского языка. Пером его авторов водило отнюдь не желание заинтересовать американца нашей страной, скорее наоборот! А без такой заинтересованности, прямо скажем, нелегко учить чужой язык. Тексты учебника рисуют картину унылую, мрачную, жизнь в Советском Союзе, по представлениям авторов учебника, скучна и сера. При освоении глагола «ходить» в упражнениях предлагаются фразы, смысл которых сводится к следующему: ходить на работу, собрания (никак не в театр, поход и т. п.). То же самое и с глаголом «начинать»: начинать собрания и т. п. (а не новую книгу, например). А в «Русской хрестоматии» американский студент найдет сочинения... Керенского, который, как известно, никакого вклада в нашу литературу не сделал. Большинство отрывков в хрестоматии дают искаженное представление о нашей стране, при этом явно видно намерение ее авторов создать именно такое представление.

Что уж там говорить о средствах массовой информации, если и сугубо научные издания готовятся таким образом?! В Сырокомский вспоминает о посещении редакции газеты «Чикаго трибюн», одной из самых влиятельных в США. Ее издатели в беседе с нашими журналистами так определили кредо газеты: «Мы призваны дать читателю наиболее полную, широкую и объективную картину жизни, а уж читатель сам будет делать выводы...» Тут же В. Сырокомский поинтересовался, что дает газета в последнем номере о Советском Союзе. И оказалось, что идет в номер только один материал: пересказ сатирической заметки из «Комсомольской правды» о том, что в Караганде служащие местного зоопарка воровали продукты, предназначенные для зве-

рей. Примечательно, что вести из неведомой в США Караганды в тот же самый день заинтересовали и другие американские издания. Так, газета «Нью-Йорк таймс» поместила свое сообщение под заголовком: «Московская газета рассказывает о жестокости в советском зоопарке».

Вполне уместно вспомнить, говорит В. Сырокомский, чем на самом деле жила наша страна в тот самый день, который в «Чикаго трибюн» и «Нью-Йорк таймс» отразился только заметкой о карагандинском зоопарке. Тут и полет нашей орбитальной станции «Салют-5» с двумя космонавтами на борту, и успехи земледельцев Кубани и Украины (в Чикаго, кстати, действует самая крупная в США зерновая биржа), и открытие в Москве Международного географического конгресса, и начало работы художественной выставки «Молодость России», и многое-многое другое из жизни нашей страны, а также статья ведущего политического обозревателя «Правды» «Год после встречи в Хельсинки» и другие материалы на международные темы... Кстати, в том самом номере «Комсомольской правды», в котором писалось о зоопарке, есть большая статья об исследовании Марса американской автоматической станцией «Викинг-1». «Чикаго трибюн» вполне могла бы сообщить своим читателям об этом факте. Но она его замолчала, так же, как и мнение «Правды» о прошедшем после Хельсинки годе, зато не забыла поведать страшную историю о зоопарке в Караганде. Частный случай? Нет! Один из множества характерных примеров того, как строится пропаганда в расчете на массового американского читателя.

В том же Чикаго, пишет автор, есть всемирно известный музей науки и промышленности. Среди его экспонатов — информационное табло «Важнейшие события истории», которое, по идее, должно называть всем интересующимся важные вехи развития нашей цивилизации. И как ни странно, в этот «исторический перечень» не вошли ни Великая Октябрьская социалистическая революция, ни образование СССР, ни Великая Отечественная война...

Организовав тем самым «незнание» нашей страны, о котором говорилось выше, определенным американским политическим силам легче устроить затем пропагандистскую шумиху о «наращивании советской военной мощи», чтобы с помощью этой кампании выколотить новые средства на вооружение и еще раз оболгать социализм

и Советский Союз. Так замыкается порочный круг...

В другом своем очерке, «Новые горизонты», В. Сырокомский рассказывает о поездке в Испанию. Автор попал туда в волнующий период истории этой страны. Пробужденная после нескольких десятилетий франкистской диктатуры Испания становилась на ноги, расправляла плечи. Свидетельства очевидца тех дней представляют несомненную ценность.

Автор знакомит читателя с положением в Испании, обращая особое внимание на ее связи с нашей страной. Это познавательно и интересно. Если в 1973 году советско-испанский товарооборот составил 40,6 миллиона рублей, то в 1976-м — уже 226 миллионов! Весьма показательно, что наше объединение «Техснабэкспорт» подписало с испанской стороной соглашение о сотрудничестве до 2000 года(!). В этой дате — надежда на мир, вера в будущее. Такова поступь разрядки!

В том же очерке читатель найдет и другие любопытные штрихи из жизни Испании, которая, кстати, издавна привлекала к себе всеобщее внимание. Испания занимает первое место в мире по объему чистой прибыли, получаемой от туризма. При населении страны в 35 миллионов ее ежегодно посещает до 34 миллионов туристов.

Автор пишет о тех чувствах симпатии к нашей стране, которые сохранились в испанском народе, несмотря на сорокалетнюю франкистскую диктатуру. В то же время В. Сырокомский отмечает не очень-то объективное отношение к Советскому Союзу со стороны, скажем, испанской прессы. В то время как наша печать рассказывает о сегодняшней Испании много, подробно и доброжелательно, в испанских периодических изданиях днем с огнем не найдешь объективной информации о Советском Союзе. А как она остро необходима именно теперь, после падения режима Франко, при котором испанский народ вообще был лишен правдивой информации о нашей стране!

Продолжением разговора на эту тему служит следующий раздел рецензируемой книги — «Попробуем разобраться!». В. Сырокомский сообщает, что он написал эту статью по просьбе директора крупнейшего испанского еженедельника «Камбио-16». Статье этой автор дал подзаголовок: «Разговор на чистоту с коллегой-редактором о «диссидентах».

Скажем сразу: на страницах «Камбио-16»

статья эта не появилась и по сей день. В этом сборнике В. Сырокомского она продолжает его основную тему, затронутую в предыдущих очерках,— причины пресловутого «незнания» нашей страны на Западе, скрытые пружины буржуазной пропаганды (точнее, дезинформации). И хотя статья «Попробуем разобраться!» адресована испанскому изданию, ее положения вполне применимы ко всей буржуазной прессе.

Более чем выразительной иллюстрацией существующих на Западе порядков и положения с «правами» является очерк В. Сырокомского «Бьют детей... Калечат детей... Убивают детей...». Автор собрал обширный материал. Неопровержимые факты вызывают ужас, не верится, что подобное происходит в наши дни, в самых развитых капиталистических странах: в Западной Германии, Франции, Италии, США...

В. Сырокомский не просто свидетельствует, он анализирует, выясняет причины создавшегося положения, приводит вынужденные признания буржуазной прессы.

В. Сырокомский приводит слова итальянского профессора Таубера: «Мы растим поколение бездушных, холодных, жестоких детей. Тот, кого не любили в детстве, сам никого не любит. Тот, кто был жертвой насилия, сам очень легко может стать насильником». Так и в данном случае до конца прорисовывается портрет так называемой западной цивилизации.

В. Сырокомский завершает очерк такими словами:

«Известно, что на Западе есть влиятельные круги, которые хотели бы навязать Белградской встрече дискуссию о соблюдении прав человека в качестве основной.

Мы не боимся никаких дискуссий. Мы только против искусственного выпячивания одних вопросов в ущерб другим. И мы не хотим превращать Белград в трибуну взаимных обвинений.

Но если бы я имел полномочия, то обязательно предложил бы внести в повестку дня Белградской встречи — при обсуждении вопросов «третьей корзины» — один дополнительный пункт: как обеспечить всем детям право на безопасное существование, на жизнь без мучений, без истязаний. Право на саму жизнь — основное право Человека».

В этой концовке еще и еще раз убедительно звучит мысль автора о праве человека на достойную жизнь, одна из тех тем, которые проходят через его очерки, составившие рецензируемый сборник. За правду — против дезинформации, за гуманизм — против насилия, за человеческое достоинство — против унижения и оглушения личности, за контакты без заднего умысла — вот к чему призывает эта острая и нужная сегодня книга.

Владимир Николаев

Преемственность идеалов

Не стану скрывать, что считаю себя другом Рождественского и с дружеской привязанностью отношусь к его творчеству. Искренне радуюсь его удачам и огорчаюсь, когда появляются стихи слабые: ведь неудача друга не дает права ни на снисхождение, ни на замалчивание, ни на равнодушие. С поэзией, по-моему, всегда так: либо ты любишь стихи этого поэта, и тогда он твой поэт со всеми слабостями и грехами, либо его поэзия не «забирает» тебя, и тогда ничего в тебе не откликается даже на са-

мые сокровенные его строки. Так вот Рождественский — мой поэт.

И как человек, любящий его поэзию, я не могу не порадоваться тому, что в нынешнем году вышли две его книжки — «Все начинается с любви» и «Голос города»...

Первую из них, включающую стихи ранних лет, можно было бы назвать тематическим сборником, не будь сама любовь для поэта столь многозвучной, многообъемной: «Трагедия, тоска и подвиг — все начинается с любви».

А в небольшой сборник «Голос города» вошли стихи последнего времени. В лучших из них поэт закрепил, приумножил то, что было присуще ему с молодых лет и что давно привязало меня к нему и к его

Роберт Рождественский. Голос города. М. «Московский рабочий», 1977 г. Все начинается с любви. М. «Молодая гвардия», 1977 г.

стихотворении, эта ответственность и это напоминание сливаются воедино в его поэзии, утверждая преемственность исторической жизни народа, преемственность идеалов. «Мы помним о том, что любое Сегодня — всего лишь завтрашнее Вчера», — восклицает он в стихотворении «Оглянувшись...», «Так неужто малюсенький про черк — не простое тире, а итог?!» — ужасается в стихотворении «Неожиданный и благодатный...», задумавшись над неотвратимым для каждого человека сочетанием даты рождения и даты смерти.

И эти два вывода — один опять-таки в публицистической, другой в лирической тональности — свидетельствуют, насколько глубоким и органичным стало для поэта ощущение себя, каждого из нас звеном в цепи исторического бытия народа.

Долгое время Рождественский чувствовал себя молодежным поэтом, и я, признаюсь, опасался, что это превратится в роль, в позу: такие молодящиеся старички-бодрячки в нашей поэзии бывали. Но ему удалось-таки избежать искушения отработанных приемов, накатанных интонаций — всего того, что приводит к преждевременному одряхлению таланта.

Глубинная трансформация его поэзии заметна даже в традиционной для Рождественского любовной лирике. Видно, как от темпераментно-молодежных стихов, вошедших в сборник «Все начинается с любви», — «Королева пляжа», «Ревность», «Хочешь — милуй, хочешь — казни...», — он переходит к стихам не менее сильным по чувству, но

более плавным по его выражению — как то обычно происходит и в жизни с возрастом. И здесь прежде всего хочется выделить в новом сборнике два (снова два!) стихотворения. «День рождения женщины» и «Сладка ягода». Завершают их двустихные афоризмы: «Есть только дни рождения у женщины. Годов рождения у женщин нет!» и «Сладку ягоду рвали вместе, горьку ягоду — я одна». Первое из них опять-таки в большей мере восклицательное по своей тональности, а второе песенно-проникновенное. Но оба они своим лиризмом, своей грустью, своей способностью вживаться в настроение придают необходимую полноту, мягкость несколько холодноватому голосу Рождественского. Казалось бы, что мне до этой покинутой девушки, но каждый раз, услышав песню, я вспоминаю многое, чему был в своей жизни свидетелем, и долго хожу растревоженный: «Сладку ягоду рвали вместе, горьку ягоду — я одна!»..

Будучи и по пафосу и по жанрам органичным продолжением предыдущих книг, «Голос города» все же таит в себе некоторое внутреннее напряжение. Напряжение, связанное с тем, что поэт сопротивляется успокоительной возможности идти по уже протоптанной им дороге, накапливает энергию для нового рывка или, скажем осторожнее, нового поворота.

Как критик, я предощущаю этот поворот, а как друг желаю, чтоб он свершился скорее.

А. Бочаров

Вписать свою строку...

«У героических страниц человеческой памяти нет конца, каждый может вписать в нее свои строки, и они будут той вечной данью, которую мы должны постоянно платить тем, кто отстоял и сберег нашу свободную Родину, подарил нам счастье жить, работать, учиться... возможность быть гражданином великой Страны Советов.

Эти слова Вл. Еременко могли бы послужить эпиграфом к двум новым сборникам

Владимир Еременко. За синими ночами. М. «Молодая гвардия». 1976 г. Свой хлеб. Повести. М. «Московский рабочий». 1977 г.

его повестей «За синими ночами» и «Свой хлеб». События, происходящие в них, разделены тридцатью годами, но, рассказывая и о Великой Отечественной войне и о нашем времени, автор стремится раскрыть перед читателем героическую сущность советского человека, будь то защитник города на Волге или строитель газопровода в Сибири.

Три повести Вл. Еременко, составившие книгу «Свой хлеб», автобиографичны. Они переносят нас в неповторимое по проявленному советским народом патриотизму и неимоверное по трудности время: Сталинград 1942—1943 годов. Автору их пришлось

подростком пережить одну из величайших битв второй мировой войны. Как и тогда, ярко и зримо видит он день 29 августа 1942 года — «черный день», когда фашистская авиация жгла и разрушала город, уничтожая его население. Вместе с автором мы становимся очевидцами ожесточенных боев за город, когда, казалось, сама израненная, измученная земля, задыхаясь, боролась за свою свободу: «На вой сирен берег Волги отвечает мощным грохотом. Видно, как рыжей пеной пузырится земля, и потом все заволакивает пыльной тучей, и она даже закрывает многоцветные дымы, вот уже несколько суток висащие над городом».

Глубокая эмоциональная сила и образность первой повести «Дождаться утра» обусловлена во многом и тем, что все дикое по своей бесчеловечности, что несет с собой война, увидено ребенком с его обостренной восприимчивостью ко всему несправедливому: «...в тот день я понял, что идет какая-то иная война, чем та, про которую я так любил читать книги и смотреть фильмы... Моя — нестрашная, победная война, а эта... совсем не то, о чем я думал, не то, чего я мог ожидать... Я вдруг понял, что на этой войне убивают людей, которых я знаю».

Постепенно и мучительно больно начинает подросток осознавать сущность войны, видеть мир до времени повзрослевшими глазами. Война для него становится бытом и непосильным, каждодневным трудом... И дни мирной жизни, когда заставляли есть, спать, учиться, кажутся далеким, счастливым сном. Мальчик смотрит, как «юнкерсы» бомбят его город, его поселок, его родной дом, и потрясающей бессмыслицей в этом крошечном аду кажется ему, что светит яркое солнце и откуда-то залетела паутина: «Смотреть на нее страшно, она из другого мира».

Что может быть прекраснее и неповторимее детства?.. И что может быть больнее и несправедливее военного детства! Мальчишки, герои военных повестей Владимира Еременко, выросли, работая, выращивая хлеб для фронта, для израненной, истекающей кровью Родины (повесть «Свой хлеб»).

И как же сладок хлеб, выращенный в самых тяжелых условиях на не полностью разминированных полях недоедающими и недосыпающими детьми! Работа без конца и края встает в памяти как один длинный день, «забитый оглушительным грохотом тракторов...».

Третья повесть сборника — «Завещание

сыну» включила документальные материалы, собранные автором книги и посвященные героическим участникам Великой Отечественной войны.

Среди них есть пожелтевшие и совсем свежие письма. У их авторов разные судьбы, разный возраст. Но в словах каждого из них — желание, чтобы в сердцах тех, кто родился уже после войны, осталась добрая память о воинах-героях, заслонивших нашу Родину и народ от фашизма. Не случайно повесть названа «Завещание сыну».

Естественность изложения, разговорность и простота описания — характерные приемы стилистики автора, ярко выразившиеся в военных повестях. Именно эти качества и придают особую привлекательность, образность и достоверность характерам и событиям. На первый взгляд незамысловато, но зримо выписывает автор детали быта военного времени. Так, взглядыывая в прошлое, видим мы горе людей, уж глаза, наполненные болью ожидания и страхом за судьбу своих родных, слушаем, как сама природа говорит скупым языком войны: «Удивительно, как они похожи друг на друга, прифронтовые села, словно стаи общипанных птиц! С домов сорваны ставни, обшивки, и ни единого деревца, ни кустика...»

Книга повестей «Свой хлеб» о людях, щедрых сердцем, выживших и борющихся за жизнь в предельно сложных условиях. Она словно обращение к молодым. «Без прошлого нет настоящего», — говорит автор. — Как и без настоящего нет будущего.

И как бы в подтверждение этих слов — повесть Вл. Еременко «За синими ночами». Герои ее своим трудом «постоянно платят тем, кто отстоял и сберег нашу свободную Родину». Повесть рассказывает о сегодняшнем дне, но вся она пронизана и отголосками военных времен и устремленностью в будущее, как пронизаны ею все военные повести Вл. Еременко.

Самолот, Уренгой, Кюнда — вот те места, известные сейчас всем, где прокладывают свой уже не первый газопровод герои повести «За синими ночами». Для многих героев повести строительство газопровода стало переломным, решающим поворотом в судьбе. Для Васи Плотникова, с виду крупного, слабого парнишки, — это становление, своеобразный экзамен на зрелость, испытание на звание человека. Для умудренного жизненным опытом кержака Арсентия — привычная рабочая жизнь. Для главного героя повести Олега Лозневого, опытного ин-

женера,— проверка на стойкость, на зрелость, еще одно трудное испытание.

«Север, Север, что он делает с людьми? Чем труднее, тем сильнее прикипаешь к нему душой. Непостижимо, что гонит в эти дикие, необжитые края человека? Неужели трудности? Неужели желание проверить в этих трудностях себя?» Именно это чувство заставило поехать на стройку Васю Плотникова, решившего доказать родителям, что он не слабее других. Для Олега Лозневого стройки — его призвание, любимое дело, которому отдает он все свои силы. И здесь появляется еще одна жизненная позиция. «Жизнь одна,— говорил Арсентий.— И тот, кто живет не для себя, а для других,— или дурак, или притворяется. У нас и тех и других не любят. Это в городе можно обмануть, а у нас такие штучки не проходят. Здесь каждый человек перед другим голый».

Прав по-своему Арсентий: Север и его трудности выверяют людей, здесь проверяется человек на мужество. Так, не выдержав испытаний, убегает со стройки Грач со своей компанией. Неправ Арсентий в другом — что люди едут сюда только за копейкой. И вот еще одна точка зрения: «Неужели прав Суханов, когда говорит, что во всех людях, проживших год-другой в этих краях, обязательно вселяется вирус бродяжничества? Они не могут долго жить в благоустроенных, уютных квартирах, вкусно и сыт-

но питаться, их тянет сюда. Что их заставляет делать это?»

Несомненно, в словах Суханова есть доля истины. Действительно, человек привыкает к определенному образу жизни, привязывается к своеобразной северной природе. Но не это главное. Здесь сразу видно, на что человек способен и зачем приехал. Приезжают разные люди, а вот остаются здесь самые целеустремленные, самоотверженные и сильные духом. По-разному складываются затем их судьбы, а Север остается в них на всю жизнь, ибо здесь человек познал и поверил в себя...

Казалось бы, совсем разные эти две книги Вл. Еременко. Читая одну, мы попадаем в кипучий поток современной могучей стройки. В другой — возвращаемся в годы Великой Отечественной войны. Но в обеих автор старается донести до читателя пережитое, передуманное, наболевшее. Книги Вл. Еременко объединяет одна мысль: передать молодому поколению свой опыт, передать достигнутое в борьбе в твердые, уверенные руки.

«В человеке неистребимо желание героического, в нем всегда живет порыв, стремление к подвигу. Даже если в жизни ему и не пришлось совершить ничего исключительного, героическое всегда в его душе». Таков итог размышлений автора.

Н. Петренко

Достижения и поиски

На непроглядно-черном фоне переплета золотом нарисован старик в опушенной мехом казахской шапке «берик», с чашкой кумыса в руке. Скрестив ноги и поглаживая длинную бороду, он сидит на земле, а за его спиной уходит вдаль цепочка верблюжьего каравана.

Очень точно сделан рисунок и выбрано заглавие для сборника казахских рассказов. О «Белой аруане» Сатимжана Санбаева уже немало писали. Любопытные соображения о ней высказаны и автором предисловия к сборнику И. Крамовым. Психологически сложное и глубоко лиричное произведение

Белая аруана. Казахские рассказы. Перевод с казахского. М. «Художественная литература». 1976 г.

это не поддается однозначному раскрытию. Заглавная поэтическая мысль, воплощенная в образе прекрасной белой верблюдицы, упорно стремящейся возвратиться на родную землю,— образ патриотизма, любви к Родине, определяет общую атмосферу сборника. Именно отношение человека к родной земле, к природе, истории, традициям, современному стилю отчетливо звучит лейтмотивом всей книги.

Читая ее, мы словно слышим поступь истории, воочию убеждаемся, как за короткий, немногим более чем полувековой период меняется внутренний мир человека: вчера простодушный бедняк Туткыш щеголяет перед земляками в жалованной «белым царем» байской шубе (Баймбет Майлин «Рыжая полосатая шуба»), городской

интеллигент и литератор Аян ведет горячие споры о поэзии, мучительно решает вопросы бытия: о диалектике развития личности, о пути, на котором можно стать «настоящим человеком, идущим по земле» (Калихан Исхаков «Запах молока»). Читатель увидит одновременно и другое: как выкристаллизовывается и развивается жанр новеллы. Этот жанр наиболее трудно принимается на почве казахской прозы, растущей от корня большого эпоса преимущественно и наиболее успешно в больших повествовательных формах.

Отдавая должное обстоятельному предисловию составителя сборника И. Крамова, вряд ли можно согласиться с ним в том, будто, «постепенно отходя от этнографизма и описательности, он (казахский рассказ.— З. К.) приобретает проблемность, приближающую его к потребностям современного читателя».

Уже под пером зачинателей казахской литературы рассказ тем и отличался, что, будучи у разных авторов и в разные времена то очерковым (Сакен Сейфуллин, Габит Мусрепов), то углубленно-психологичным (Мухтар Ауэзов, Баймбет Майлин), то остросюжетным (Сабит Муканов), а порой даже схематичным, он никогда не страдал этнографизмом. Реалии же быта, которые делают рисуемые авторами картины народной жизни столь достоверными, не имеют никакого отношения к этнографизму. Они нужны художникам не сами по себе, а лишь как средство реалистического воплощения типических характеров и обстоятельств своей эпохи. Уже самые первые казахские рассказы («Хамит встречает бандита» С. Сейфуллина, «Памятник Шуге» Б. Майлина, «Сиротская доля» М. Ауэзова, а также и созданный позже «Этнографический рассказ» Г. Мусрепова) очень точно, реалистически изображают характер и глубоко драматические жизненные конфликты своего народа, который непосредственно переходит от феодально-патриархального строя к социалистическому. И «легендарное» повествование о гибели главы ныне захудалого рода батыра Кушикпая в «Сиротской доле» у М. Ауэзова и описание обветшалой утвари в гостевой юрте обнищавшего «аула торе» (аристократов) у Г. Мусрепова служат не самоцельному изучению быта, а утверждению мысли об окончательной деградации и гибели изжившего себя феодально-байского уклада.

Молодые писатели совсем еще юной тог-

да советской литературы провожали в небытие своих вчерашних угнетателей с их дикими нравами, невежеством, спесью и злобой. Повествование старика из наивного, во многом очеркового рассказа И. Джансугурова («Рассказ старика») о том, как бай заставлял своих батраков палкой по проводам «отбивать телеграмму» Советской власти, чтобы из степи немедленно убрали негодную баю железную дорогу, воспринимается сегодня читателем как сознательное преувеличение сатирика. В этом рассказе правдиво и точно показано писателем прошлое казахского народа, из которого поднялся он к историческому творчеству.

Созданный Мухтаром Ауэзовым в 1928 году шедевр советской многонациональной новеллистики «Серый лютый», хотя и навеян рассказом Джека Лондона «Белый клык», уже как бы предвосхищает будущие проблемы взаимоотношений человека и природы.

Свершено четкая и зримая социальная направленность казахской новеллистики двадцатых годов (старый мир и его институты должны быть уничтожены) нередко придает образам рассказов значение символов времени.

В тридцатые годы казахская новеллика переживает трудности роста. Она начинает терять свою непосредственность. Литература нелегко постигает сложность конфликтов нового типа, в которых преобладают не мотивы всеобъемлющей борьбы с классовым врагом, а борьба за перестройку сознания вчерашнего кочевника, который становится гражданином социалистического общества. Появляется очерк (в том числе и газетный).

Произведения послевоенного периода отмечены своеобразным возрождением новеллистического жанра. К сожалению, в книге нет рассказов, написанных во время войны. А между тем подвиги советского народа, его борьба с фашизмом нашли свое отражение и в творчестве Саина Муратбекова и особенно Баурджана Момыш-улы. В сборнике эти писатели представлены только «мирной» тематикой. А жалы Мы знаем немало примеров того, как казахи доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Сугубо мирный рассказ Б. Момыш-улы «Музей-апа» вместе с «Троном Рудаки» Ануара Алимжанова и «Кумысом» Дукенбая Досжанова выступают как бы флагманом послевоенной новеллы, где основной мотив — патриотизм, любовь к социалистической Родине, к человеку.

«Музей-апа» — старая женщина, она свято блюдет древние традиции казахского этикета, и маленький городской внучек принимает свою бабушку за фигуру, виденную им в музее. Обращаясь к ней, он называет ее «Музей-апа» (то есть тетенька-музей). Но именно «Музей-апа», правда, не без внутренней борьбы, но решительно поддерживает другого своего внука, когда он приводит в дом русскую невестку. Идея этого рассказа — бережная перестройка культурных традиций предков для того, чтобы все светлое, человеческое и живое в них вошло в основу нового социалистического бытия.

Ануар Алимжанов в «Троне Рудаки» рассказывает о свято хранимой таджиками усыпальнице великого поэта. Здесь тема высокого значения национального культурного достояния приобретает широкое обобщенное интернациональное звучание. У Дукенбая Досжанова в новелле «Кумыс» та же тема строго локализована. Кумыс, приготовленный чистыми руками прекрасной, сильной и мудрой женщины не может, конечно, исцелить от смертного недуга умирающего солдата Отечественной войны и заблудившего руководителя колхоза. Но атмосфера верности добру, изящества и внутреннего благородства отражается во всем: от процесса приготовления кумыса до узоров, украшающих посуду, в которой должно его употреблять и хранить, — возвышает мысли и чувства людей, смягчает их горести и страдания. Автор не идеализирует прошлое, а, напротив, выводит здесь и комическую фигуру незадачливого супруга прекрасной Актате, тщетно пытающегося поддержать традиционный в казахской семье приоритет мужа и хозяина дома.

Обновленный содержанием новой жизни образ женщины-родоначальницы, определяющей жизнь семьи и добрые черты в характерах окружающей молодежи, выступает и в рассказе Сафуана Шаймерденова «Мезгиль». В центре рассказа женщина, воспитавшая неродного ребенка достойным человеком. У Калихана Исхакова («Запах молока») героиня — добрая, работающая бабушка, всегда окруженная малышами. Она на всю жизнь остается их нравственным наставником. В рассказе «Лунная ночь» Кабдеш Жумадилов повествует о невесте солдата, овдовевшей еще до свадьбы. Мужественная женщина Макпал создает семью с невидным, но преданно любящим ее Дюсембаем, терпеливо заботится о нем и

с пониманием нового времени и нравов воспитывает дочь.

Женский образ — главный и в «Песне цикады» Шерхана Муртазаева. Это трогательная и грустная песня о солдатке. До старости она хранит верность погибшему мужу, с которым не успела даже сфотографироваться после свадьбы.

Самоотверженная любовь, верность, мудрое терпение, бескорыстная отдача себя семье, неутомимое трудолюбие — таким выступает женский национальный характер в новеллах сборника «Белая аруана». Свое концентрированное выражение он находит в рассказе Абиша Кекильбаева «Самый счастливый день», день ослепительного счастья героини, которая наконец-то дождалась мужа с войны и с утра до ночи трудится по хозяйству, не смея даже, согласно этикету, подойти к мужу, общающемуся со старшими сородичами.

У произведения глубокий подтекст. В нем ощущаешь осуждение этих людей старшего поколения, не захотевших за своей радостью увидеть и признать человеческие права преданной мужу Торгун.

Интересен и многообразен в молодой казахской прозе и характер мужчины. В нем неизменно слитно проступают черты советского бытия и тех лучших традиций, что заслуживают уважения в человеке. Писатели не творят при этом идеальных героев — они пишут живых людей, которым ничто человеческое не чуждо. Добряк Кусен-Кусеке из одноименного рассказа Саина Муратбекова не жалея сил трудится вместе со своей женой в колхозе. Но тот же Кусен, отослав щедрую толику заработанных им денег детям в город, где они учатся, никак не может удержаться и пускается в разгул, раздает деньги друзьям и собутыльникам и с удовольствием внимают льстивым похвалам. В то же время автор любит своего героя за его щедрость, бескорыстие и доброту, с которой степь искони привечала гостя, пусть даже и незнакомого человека.

Не идеален и герой «Белой аруаны», искалеченный войной, нелюдимый и угрюмый Мырзагали. Семейный покой которого нарушен изменой жены. Но душевная доброта, с какой Мырзагали прощает жену, его нежная привязанность к выращенной им прекрасной белой аруане, присущее Мырзагали понимание красоты и чувство справедливости делают его образ привлекательным и достоверным, несмотря на то, что герой

не умеет действительно противостоять злу. Шойынкулак из рассказа Дулата Исабекова, Тарбан, герой произведения Такена Алимкулова, — немного смешные в своей наивности, но честные, простодушные, как и Мырзагали, каждый по-своему переживают жестокие утраты и «нечто такое, что могло примирить» их с этими утратами: для одного это любовь к животным, для другого — бескорыстная дружба...

Особое место в художественном исследовании образа современника занимает маленький рассказ Оразбека Серсенбаева «Спи спокойно, ревизор». В этом рассказе национальный характер дан в движении. «Маленький» человек — ревизор райфинотдела Каугабаев нравственно вырастает в процессе расследования хищений, которые совершил влиятельный в районе хозяйственник Дуйсеков. В мучительном борении с обывательским «здравым смыслом», несмотря на нажим непосредственного начальства, Каугабаев все-таки доводит до конца разоблачение наглого стяжателя. Эта вера в справедливость, борьба за нее и делают незаметного, «скучного» человека героем рассказа. Неожиданно для всех он проявил железную волю: восстал не только против нарушения законности, но и против многовекового, еще живучего, опасного пережитка прошлого — круговой поруки. Художественный успех рассказа обеспечен в этом случае наличием социального конфликта, в иных новеллах нередко ослабленного, а то и попросту перенесенного в сферу «чистой» морали.

Если говорить о достоинствах современного казахского рассказа, то необходимо отметить ту свободу от заданности в изображении действительности, которая присуща и лучшим рассказам, написанным ранее. Рассказывая о сиротской доле бедняков или

жестокости участи Курмаша и его воспитанника Серого Лютого, Мухтар Ауэзов не навязывал читателю своих выводов, а, показывая как бы естественное течение жизни, приводил читателя к необходимым обобщениям. То же можно сказать и о лучших произведениях современной нам казахской новеллистики, а это — свидетельство высокого уровня литературы социалистического реализма.

Однако нельзя не согласиться и с автором предисловия И. Крамовым. Отмечая преобладающую в новеллах сборника тему взаимоотношений аула и города, в которой светлые краски чаще достаются аулу, а темные — городу, он справедливо замечает, что молодые казахские новеллисты обходят реальную сложность вопроса.

Мне кажется, что такое исполненное противоречий изображение взаимовлияния города и степи возникает отчасти и потому, что писатели чаще всего сталкиваются между собой людей исконного практического дела — хлеборобов и животноводов с молодыми, еще не оперившимися гуманистами, ищущими «делать жизнь с кого», минуя сферу основного городского практического дела — социалистическую индустрию, науку.

В художественных поисках казахских новеллистов находят свое выражение нравственные искания молодого человека нашего времени.

Достоинство сборника, несомненно, видится в том, что, выпущенный к шестидесятилетию Великого Октября, он отражает те великие достижения и возможности, которые характеризуют процесс развития многонациональной советской литературы.

3. Кедрина

Окно в мир прекрасного

Издательство «Московский рабочий» выпустило новый сборник рассказов писателя Александра Баркова «Мои друзья».

Эта книга — итог двадцатилетней работы писателя, но главная тема произведений которого неизменна — Человек и Природа.

Александр Барков. Мои друзья. М. «Московский рабочий». 1976 г.

В предисловии Александр Барков пишет: «Путь к природе — это путь к свету, путь к здоровью, путь к прекрасному! По себе знаю, что юный человек только тогда сможет по-настоящему стать счастливым, когда научится любить и беречь все живое, что его окружает. Ведь все лучшее произрастает в нас сызмальства: и осознание себя как личности, и первое проявление воли, добро-

ты, храбрости, и чувства любви к отцу и матери, и верность Отчизне...» Действительно, каждый из рассказов сборника раскрывает благотворное влияние природы на человека и пронизан подлинной любовью к родной земле. К тихим зорям, пробивающимся сквозь белую дымку тумана, к чарующим вечерним концертам певчих дроздов, к осенней тишине, мягкой, долгой, обрываемой по временам звонкими смешинками неутомонных синиц, к запахам палой листвы, мяты, сырой коры...

О русской природе, полной неразгаданных тайн и чудес, написано много. В первую очередь вспоминаются полюбившиеся с детства книги Тургенева и Чехова, Аксакова и Куприна, их блистательных продолжателей — Пришвина, Паустовского, Соколова-Микитова, Бианки... Думается, что истоки лучших рассказов Александра Баркова в классическом наследии русской литературы. Проза его живет той образностью, которая не терпит оригинальных, модных словечек и оборотов, она лаконична и скромна, точно неброский среднерусский пейзаж.

Вот как выписан осенний день в «Лете на веревочке»: «Знакомой тропой они идут к реке Серебрянке мимо сарая, доверху заваленного березовыми дровами, мимо высокой липы с черными опустевшими грачиными гнездами, мимо кряжистого пня, обросшего серыми тугими копытцами грибов-трутовиков. Низкий синеватый туман, освещенный откуда-то изнутри, не приметно для глаз растаял, слился с начавшей желтеть осокой. Отпечатались золотистые стога сена над луговиной. На том берегу посеребрились купола ив».

Примечательность рассказов Александра Баркова прежде всего в глубоком знании темы, а также в умении раскрыть духовный

мир и психологию людей — детей и взрослых. Писатель разговаривает с юным читателем серьезно, без нарочитой занимательности, пристально присматриваясь к нему, будущему строителю нового общества, подмечает и раскрывает в его душе горячее стремление к добру и красоте. Именно такой юный герой, противостоящий мещанству и черствости некоторых взрослых, в одном из лучших рассказов сборника — «Бельчонок на плече». Рассказ лишен назидания и в то же время имеет большое воспитательное значение.

Нередко между человеком и животным возникает глубокое взаимопонимание, а порой и настоящая дружба. Именно об этом рассказ «Сердешный». А в «Руслане и Тишке» тонко подмечены поведение и повадки собаки и чибиса.

Герои многих рассказов А. Баркова — дети видят мир по-своему романтично, светло и заражают этим чудесным даром видения взрослых людей («Морской окунь», «Сказочный город», «Лето на веревочке»).

Дети глубоко переживают все, что случается со взрослыми, и в трудный момент приходят им на помощь («Когда распускаются подснежники»).

Каждое произведение писателя — о тете, ревах, о лосе, о голубом апреле, о весеннем ручье — написано в своей тональности, в определенном настроении: одно с легким юмором, другое — с грустью. А взятые вместе, они составляют картину нашей жизни на фоне родной природы.

Книгу, адресованную школьникам, с большой пользой и интересом прочитают и педагоги и родители. Она поможет им узнать много нового о природе, почувствовать всем сердцем ее красоту.

В. Разумневич

На одном дыхании...

Песня? Издалека?.. Судя по заглавию, предвкушаешь стихи и легенды, может быть, нечто этнографическое. Но это сборник современной прозы, автор — геолог, больше десяти лет работает на Камчатке, защитил кандидатскую диссертацию и вот — его первая

Юрий Маиухин. Песня издалека. Петропавловск-Камчатский, 1976 г.

книга. Кстати, обо всем этом, к сожалению, не упомянуто в издательской аннотации. А не мешало бы.

Говорят, любая первая книга художественной прозы или стихов не более чем обещание... Действительно, «Песня издалека» — заявка на будущее.

Юрий Манухин рассказывает о хорошо ему известной жизни камчатских изыскателей, буровиков, о сильных, добрых лю-

дях. Показывая высокий смысл будничной работы своих героев, он умеет высветить неожиданные грани их характеров, живописать детали. Маленькая повесть, рассказ, новеллы по две-три страницы каждая — трудные формы. Автору они оказались под силу: он пишет раскованно, с юморком, умело организует материал.

В повести «Мыс Добрых Надежд» (она от первого лица) прежде всего интересна личность рассказчика, молодого бурового мастера Володи Смирнова. С бригадой из нескольких человек он ищет пресную воду у дальнего маяка, на крутизне тихоокеанского берега. За немногие месяцы, проведенные там, «между небом, морем и землей», этот берег становится для Смирнова «берегом Удачи, берегом Любви», хотя вроде бы и событий особенных не было. Но работа не рядовая, трудная, люди в ней приоткрылись по-новому, обнажилась суть человеческого содружества, личных отношений. С «Мыса Добрых Надежд» Смирнов уезжает, многое поняв. За эти месяцы он возмужал, «стал из мальчика мужем», и читатель сочувствует его размышлениям, с интересом следит за становлением его характера. А в общем, повесть написана, что называется, «на одном дыхании», и похоже, что ее структура, ее ритм отвечают мерному ритму океанского прибоя.

Еще более любопытным в книге кажется мне вовсе не «геологический» рассказ «Сергея» о том, что нельзя человеку быть одному... Сюжет несложный. Когда-то на сибирском прииске компания матерых воров втянула «в дело» неустроенного пятнадцатилетнего мальчишку. И на свободу Сергей вышел уже двадцатидвухлетним. Вместе с

другими бывшими заключенными он держит путь морем на материк, «не то подросток, не то юноша, не то мужчина...». Глядит на людей, наглядеться не может, все ему как-то чудно и чудно. На первый случай Сергей мечтает добраться «до Каракумов», а там копать канал, орошать землю и греться на солнышке. А среди пассажиров судна — студенты, в том числе девушка Галя. И Сергей вдруг влюбился. Это его первая любовь, с первого взгляда. Он растерян, в лихорадке пишет девушке полуграмотное письмо с первыми в своей жизни стихами и искренним предложением выйти за него, Сергею, замуж. Нелепо ведет себя парень, очень смешно! Но автору тревожно. Не смешно и студентам. И они сумели принять Сергею в свой мир, душевно помочь ему... Он ощутил — тоже едва ли не первый раз в жизни — тепло человеческого участия. Автор не склонен излишне морализировать, а подтекст богатый, и читателю есть о чем поразмыслить.

...Книга, конечно, вовсе не безупречна. С огорчением встречаешь в ней то расхожий образ, то неряшливую фразу. Эти огрехи можно было бы без труда устранить при подготовке рукописи к печати. Вдобавок довольно-таки тусклое («провинциальное»?) оформление и, повторю, неудачное название. Но, поскольку все-таки это **первая** книга молодого писателя, тут многое, вероятно, на совести редактора и издателей.

Так или иначе творческие возможности Юрия Манухина несомненны, книга состоялась, и, полагаю, не грех поздравить автора с удачей.

М. Маркин



Содержание журнала «Знамя» за 1977 год

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ

- АКОБИРОВ Юсуф — Земля отцов, роман. №№ 1 и 2.
АЙТМАТОВ Чингиз — Пегий пес, бегущий краем моря, повесть. № 4.
БИЧУЯ Нина — Скорца в три цветка, повесть. № 6.
ДОРОФЕЕВЫ Вера и Виль — Истории без любви, повесть-хроника. № 7.
ЖУКОВ Юрий и ИЗМАЙЛОВА Роза. Начало города, документальная повесть.
№№ 2 и 3.
ЖУХОВИЦКИЙ Леонид — Только две недели, повесть. № 12.
КОЛЕСНИКОВ Михаил — Школа министров, роман. №№ 10 и 11.
КУЛЕШОВ Александр — Белый ветер, роман. №№ 4 и 5.
ЛЕСКОВ Виктор — С высоты полета, повесть. № 1.
ЛЕВАШОВ Виктор — Первая половина жизни, повесть. № 6.
ЛИПАТОВ Виль — Игорь Саввович, роман. №№ 7, 8 и 9.
МАРКОВ Георгий — Тростинка на ветру, повесть. № 11.
ПРИСТАВКИН Анатолий — Солдат и мальчик, повесть. №№ 2 и 3.
САНИН Владимир — Трудно отпускает Антарктида, повесть. № 5.
СМИРНОВ Василий — Открытие мира, роман. №№ 11 и 12.

КОРОТИЧ Виталий — Кубатура яйца. №№ 9, 10 и 11.

РАССКАЗЫ

- ГУЛИА Георгий — Абхазцы на покое. № 1.
ЗОТОВ Михаил — Дитя века. Лесные угодники. № 12.
КРИВИЦКИЙ Александр — Похищение из отеля «Черный дрозд». № 3.
ЛИДИН Владимир — Кедровая шишка и др. № 5.
НАГИБИН Юрий — Перед твоим престолом. № 3.
ТОКАРЕВА Виктория — Тайна земли. № 2.

ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА

СОЛУМСМУЭН Одд — Паркет. Перевела с норвежского Т. Величко. № 4.

ПОЭЗИЯ

- АБЫЛКАСЫМОВА Майрамкан — Стихи. Перевела с киргизского И. Волобуева. № 3.
АЛИОГЛЫ Чингиз — Поиск песни, стихотворение. Перевел с азербайджанского В. Проталин. № 4.

- БЕЛОУСОВ Иван — Первая просека, стихотворение. № 12.
 БОКОВ Виктор — Родная ширь, цикл стихотворений. № 7.
 БУКОВ Эмилиян — Стихи. Перевел с молдавского Л. Беринский. № 7.
 ВАГАБЗАДЕ Бахтияр — Стихи. Перевели с азербайджанского Юнна Мориц и В. Цыбин. № 4.
 ВАСИЛЬЕВА Лариса — «Где река изогнулась, сверкая...» Цикл стихотворений. № 4.
 ВЕГИН Петр — Два стихотворения. № 4. Планета Жени Рудневой, поэма. № 9.
 ГАСАНБЕК Юсиф — Стихи. Перевел с азербайджанского Н. Новиков. № 4.
 ГОДЖА Фикрет — Смотрите, стихотворение. Перевел с азербайджанского В. Проталин. № 4.
 ГОЛОВКОВ Анатолий — Поэзия моя, ты — из окопа, стихотворение. № 2.
 ГОРДЕЙЧЕВ Владимир — Два стихотворения. № 3.
 ГРИБАЧЕВ Николай — Из происшествий и поучений нашего села, цикл стихотворений. № 4.
 ДМИТРИЕВ Олег — Цикл стихотворений. № 8.
 ЕМЕЛЬЯНОВ Анатолий — Знамя, стихотворение. № 4.
 Из азербайджанской поэзии — Стихи. № 4.
 Из киргизской поэзии — Стихи. № 3.
 Из литературного наследия — Пабло НЕРУДА, стихи. Перевел с испанского П. Грушко. Вступительная статья В. Тейтельбойма. № 5.
 Из литературного наследия — Ярослав СМЕЛЯКОВ, стихи разных лет. № 3.
 Из молдавской поэзии — Стихи. № 7.
 Из молодой вьетнамской поэзии — Фам Сиен Зуат, Нгуен Дык Мау, Хоанг Ньюн Кам, Чан Данг Кхоа, Лам Тхи Ми За, — Стихи. Перевели О. Чугай и Н. Голь. № 2.
 КОСТРОВ Владимир — Лето 1977 года, цикл стихотворений. № 8.
 КЭБИРАИ Ибрагим — «Я зависим от земли своей родной...», стихотворение. Перевел с азербайджанского Вл. Цыбин. № 4.
 ЛИСЯНСКИЙ Марк — Мой город, цикл стихотворений. № 2.
 ЛЕВЧЕВ Любомир — Проверка чувств, цикл стихотворений. Перевел с болгарского Лев Озеров. № 3.
 ЛЬВОВ Михаил — Одержимость, цикл стихотворений. № 5.
 ЛАПЦУЙ Леонид — Рассвет, цикл стихотворений. Перевел с ненецкого Михаил Яснов. № 8.
 МАЛИКОВ Кубанычбек — Стихи. Перевел с киргизского С. Липкин. № 3.
 МАСЛОВ Олег — В строю, цикл стихотворений. № 2.
 МАРТЫНОВ Леонид — Млечный путь, цикл стихотворений. № 6.
 МАМЫТОВ Жолон — Стихи. Перевел с киргизского М. Синельников. № 3.
 Молодые голоса — стихи, №№ 5, 7, 9.
 ЗОЛОТЦЕВ Станислав — У века на часах, цикл стихотворений. № 5.
 КРУЖКОВ Григорий — Наследство, цикл стихотворений. № 9.
 ШИРОКОВ Виктор — Преемственность, цикл стихотворений. № 7.
 НАРЗУЛАЕВ Нормурад — Золотой простор, цикл стихотворений. Перевел с узбекского А. Передреев. № 9.
 ОЗЕРОВ Лев — В начале дороги, цикл стихотворений. № 10.
 ПАРВЕ Ральф — Три стихотворения. Перевел с эстонского Олег Дмитриев. № 7.
 ПАНЧЕНКО Пимен — «Пепел человеческий не стынет...», цикл стихотворений. Перевел с белорусского Яков Хелемский. № 2.
 ПРИЙМА Алексей — Ремонтники души, цикл стихотворений. № 6.
 ПРЕЛОВСКИЙ Анатолий — Станция, поэма. № 10.
 РОШКА Агнесса — Стихи. Перевела с молдавского Т. Стрешнева. № 7.
 РЗА Расул — Стихи, перевела с азербайджанского Юнна Мориц. № 4.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Всеволод — Из новых стихотворений. № 1. Не теряй ни единого мига... — цикл стихотворений. № 12.
 РУСТАМ Сулейман — Стихи. Перевел с азербайджанского В. Проталин. № 4.
 ТАТЬЯНИЧЕВА Людмила — Не стареют красные знамена, цикл стихотворений. № 11.
 ТИХОНОВ Николай — Жизни новое начало, цикл стихотворений. № 11.
 ХЕЛЕМСКИЙ Яков — Из новых стихов. № 5.
 ЭМИН Геворг — Три стихотворения. Перевели с армянского Е. Николаева и Е. Евтушенко. № 1.
 ЭРАЛИЕВ Суюнбай — Стихи. Перевел с киргизского М. Синельников. № 3.

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

На открытие номера

- Верность ленинским заветам. № 1.
 ГЕОРГАДЗЕ М.— Торжество великих идей. № 12.
 МАРКОВ В.— Закон восхождения. № 8.
 РАШИДОВ Ш.— Язык дружбы и братства. № 7.

Навстречу 60-летию Великого Октября

- АЧИЛЬДИЕВ Игорь — Марка Кировского. № 4.
 ЕГОРОВ А.— Всемирно-историческое значение Великого Октября. № 11.
 КОЗЫРИН Владимир — Встречи с Беляевым. № 6.
 ПАЛЬМАН Вячеслав — Пригород. № 9.
 РОДИОНОВ Борис — Эстафета. № 8.
 ШАХНАЗАРОВ Г.— Прорыв в будущее. № 10.

Наша Конституция.

- БАБАДЖАН Рамз — По высокому счастья закону, стихи. № 9.
 БРЕХОВСКИХ Л. — Право ученого, долг гражданина. № 8.
 ЕРЕМИН Дм.— Суть нашей жизни. № 9.
 ЗЛОБИН Анатолий — Свежий номер газеты. № 9.
 КИРИЛИХИН Я.— Горизонты села Веселого. № 8.
 КОЛЕСНИКОВ Михаил — Крылья для полета в будущее. № 9.
 ПУХОВА З.— Правда нашего времени. № 8.
 СМИРНОВ Олег — Закон, по которому мы живем. № 9.

«Знамя» на Байкало-Амурской магистрали

- ГЕРБАЧЕВСКИЙ Виталий — Северный луч. № 11.
 ИЛАТОВСКАЯ Тамара — Рывок к Моготу. № 1.

«Знамя» на Курской магнитной аномалии

- СОТНИЧЕНКО Виктор — Доброе железо. № 11.

«Знамя» в Краснодарском крае

- АЧИЛЬДИЕВ Игорь.— Кубанский маневр. № 10.
 ДАНГУЛОВ Савва — Слово об отчете крае. № 6.

«Знамя» на «Атоммаше»

- От редакции. № 8.
 АЛЕКСАНДРОВ А. П.— Сердце атомной энергетики. № 8.
 БЕДЮХ Р.— У Цимлянского моря. № 8.
 ЛЕБЕДЕНКО Петр — Мирный фронт. № 8.
 ЛЬВОВ Михаил — Репортаж из штаба «Атоммаша», стихи. № 8.
 САЛУЦКИЙ Анатолий — Цепная реакция. № 10.
 ТИМОФЕЕВ Л.— Первая очередь. № 8.
 ШЕМАРДИНА Людмила — Город моложе меня, стихи. № 8.

Рубежи пятилетки

- ГОРЧАКОВ Марк — Второе дыхание Мангышлака. № 3.
 КАПЛИНСКАЯ Е.— Путешествие в Рязань. № 5.
 ЛЕВИКОВ Александр — Человек, который управляет. № 9.

- ЛИСИЧКИН Геннадий — Колхозы — сегодня и завтра. № 4.
 НЕЖНЫЙ Александр — Три ступени вверх. № 12.
 ПАЛЬМАН Вячеслав — Как здоровье, земля? № 1.
 СЕМИН А. — Хлеб России. № 2.
 СИТНИКОВ Владимир — Что человеку надо. № 7.

За рубежом

- ЖУКОВ Юрий — Страх. № 7.
 ЛУКОВЕЦ Алексей — На севере Канады. № 5.

* *
 *

- БЕЛЯЕВ А. — В кривом зеркале. № 8.
 БОРЗУНОВ С. — Помнит мир спасенный... (О седьмом томе «Истории второй мировой войны 1939—1945»). № 2.
 На пути к победе. (О восьмом томе «Истории второй мировой войны. 1939—1945»). № 12.
 БРОВИКОВ В. — В борьбе за высокие идеалы. (К выходу в свет двухтомника речей и статей М. А. Суслова). № 8.
ВЕРЕЩАГИН Л. — Моральный вексель ученого. № 6.
 ДУНАЕВСКИЙ Александр. — Легендарный Гай. № 2.
 КАЛИНИН А. М. — Из воспоминаний сына. №№ 1 и 2.
 КРАСИЛЬЩИКОВ Владимир — Надежность. № 9.
 РОДИОНОВ П. — Важное условие успеха. (О книге К. У. Черненко «Некоторые вопросы творческого развития стиля партийной и государственной работы»). № 10.
 РУТКЕВИЧ М. — Творческая сила политики партии (О книге А. П. Кириленко «Избранные речи и статьи»). № 9.
 СЕДЫХ В. — Три встречи. № 4.
 ЦВИГУН С. — Наш Феликс. № 12.
 ШУМЕЙКО Г. — Главное сегодня — это действовать. № 5.

Критика. Вопросы теории и текущего литературного процесса

- БАРАНОВ Вадим — Великий Октябрь и литература. Горизонты революционного созидания. № 4.
 ГОЦ Геннадий — На страже жизни. (Заметки о рабочей теме в современной прозе). № 1.
 ЛУКИН Ю. А. — Действительность. Художественная литература. Человек. № 7.
 ОЗЕРОВ Виталий — Сила действенного гуманизма. №№ 10—11.
 ОЛЕЙНИК Борис — Гражданский пафос современной украинской поэзии. № 8.
 Содружество народов — содружество литератур. Творческая встреча в редакции журнала «Знамя». № 5.
 ТОПЕР Павел — Страницы героической летописи. Библиотека Победы. № 6.
 УЛЬЯШОВ Павел — ...И в этот миг окончится война. № 5.
 ЭЛЬЯШЕВИЧ Арк. — Мастерство критики. № 9.

Мастерство писателя

- ДУДИН Михаил — Слово о поэте. Вместо песни. (О творчестве Ярослава Смелякова). № 1.
 ШТОКМАН Игорь — Истоки духовной силы. (Заметки о прозе Юрия Бондарева). № 7.

Дневник писателя

- ГАМЗАТОВ Расул — По зову сердца, совести, души. № 6.
 ЗАРЕВ Пантелей — Совість писателя. Перевела с болгарского Л. Лерер. № 4.
 НИКОЛАЙ Тихонов. — О времени и о себе. № 8.

К юбилею писателей

- БРЕДЕЛЬ Вилли — Необыкновенный человек. (К 85-летию К. А. Федина). Перевел с немецкого Д. Александров. № 2.
- ГОРЯЕВ Виталий — Молодость творчества. (К 80-летию В. П. Катаева). № 1.
- ЗАРХИ Александр — Сквозь «Города и годы» (К 85-летию К. А. Федина). № 2.
- КОЖЕВНИКОВ Вадим — Сила таланта (К 85-летию К. А. Федина). № 2.
- Яркий, самобытный талант. (К 100-летию со дня рождения А. Упита). № 12.
- ЛИДИН Вл. — О друге (К 80-летию В. П. Катаева). № 1.
- СИДОРОВ Евгений — Призвание (К 60-летию В. М. Озерова). № 3.
- ТИХОНОВ Николай — Высокая радость творчества (К 60-летию Ш. Рашидова). № 10.
- ФИШ Радий — Разум, стучащий в груди. (К 70-летию со дня рождения Назыма Хикмета). № 1.
- ШАГИНЯН Маризетта — Наедине с поэтом (К 180-летию со дня рождения Генриха Гейне). № 12.
- ЩЕДРИН Г. — Писатель с броненосца «Орел» (К 100-летию со дня рождения А. С. Новикова-Прибоя). № 3.
- ЯШЕН Камиль — Сила таланта (К 80-летию со дня рождения Мухтара Ауэзова). № 8.
- Яркий, самобытный талант. (К 100-летию со дня рождения А. Упита). № 12.

Искусство и жизнь

- ГАЛАНОВ Б. — Фильм «Повесть о коммунисте». Дорогой ленинской правды — дорогой народного счастья. № 1.
- КАРАГАНОВ А. Начиная «Броненосец «Потемкин». № 8.
- МОЛДАВСКИЙ Дм. — Память полотен (Владимир Лебедев, Валентин Курдов, Евсей Моисеенко). № 9.
- ОСИПОВ Вал. — Ираклий Очаури. Знакомство с прекрасным. № 7.

У книжной полки

- АКСЕНОВ Валентин — Будни строителей (О книге Анатолия Медникова «Свет московских окон»). № 1.
- АНФИЛОВ В. — В ту грозную пору... (О книге С. И. Руденко «Крылья победы»). № 2.
- Страницы героической летописи. Земля мужества. (О книге «На левом фланге»). № 5.
- БАРУЗДИН Сергей — «Стихи, стихи, бойцы моей души» (О книге стихов Михаила Дудина «Лирика»). № 4.
- БОРИСОВ В. — С верой в будущее (О книге Рышарда Фрелика «Возвращение»). № 6.
- БОЧАРОВ А. — В разломе войны. (О книге Ю. Щеглова «Когда отец ушел на фронт». «Пани Юлишка»). № 2. Преемственность идеалов. (О книгах Р. Рождественского «Голос города» и «Все начинается с любви»). № 12.
- ВИД Р. — Социалистический гуманизм в действии. (О книге «Социалистический образ жизни и современная идеологическая борьба»). № 7.
- ВОРОНОВ Вл. — Одержимые небом (О книге Виктора Митрошенкова «Голубые дороги»). № 2.
- ГОРБУНОВ Валерий — Открытие Канады (О книге Г. Бакланова «Канада»). № 1.
- ГОРЧАКОВ М. — Мнение в споре (О книгах Вячеслава Пальмана «Песни черного дрозда» и «Эта странная, дождливая зима»). № 6.
- ГРИШИНА М. — Перед выбором (О книге В. Поголяева «Семеро отцов»). № 6.
- ГРИГОРЬЕВА Л. — Сто тысяч человеческих судеб (О книге Г. Марьяновского «Книга судеб»). № 1.
- ДРОБОТ Галина — Верный фронтовому герою (О книге Е. Воробьева «Вчера была война»). № 6.
- ЕЛИСТРАТОВА Н. — Диалог со временем (О сборниках «Писатель и пятилетка» и «Шаги»). № 9.
- ЖУКОВ Юрий — Испытание на зрелость (О книге Н. С. Патолочева «Испытание на зрелость»). № 9.
- ЗАМОШКИН Кирилл — Приближая будущее (О сборнике документов и материалов «КПСС о формировании нового человека»). № 8.
- ЗИСЬ А. — Перспективное исследование (О книге «Искусство и идеологическая работа партии»). № 3.

- ЗОЛОТЦЕВ Ст.— «Радость звездная над головой». (О книге И. Ф. Драча «На дне росы»). № 2.
- ЗОТОВ М.— «Строка, оборванная пулей». (О книге «Строка, оборванная пулей»). № 2.
- ИВАНОВА Наталья — Диалог во времени. (О книге Валерия Гейдеко «А. Чехов и Ив. Бунин»). № 4.
- КАЛУГИНА Лидия — Роев арык один человек, а тысяча из него пьет... (О книге Рахима Эсенова «Предраассветные призраки пустыни»). № 6.
- КАРАЕВА Вера — Верное направление. (О книге В. И. Конотопа «На земле подмосковной»). № 9.
- КЕДРИНА З.— Достижения и поиски. (О книге казахских рассказов «Белая аруана»). № 12.
- КОЖЕВНИКОВ Ю.— Путь социализма и его художественное постижение (О книге «Новые явления в литературе европейских социалистических стран»). № 4.
- КОЗЛОВ И.— Счастливый талант (О книгах Виктора Полторацкого «Линия жизни» и «Стружань-река»). № 6.
- КУДРЕВАТЫХ Леонид — На чувашской земле (О книге Алексея Талвира «Фундамент»). № 4.
- КУЗНЕЦОВ Вл.— Октябрьский маршрут истории (О книгах «Мир о XXV съезде КПСС» и «Форум советских коммунистов»). № 4.
- КНИПОВИЧ Е.— Подвиг поколения (О книге В. Панкова «Народный героизм и литература»). № 10.
- ЛИХТЕНШТЕЙН Е. С.— Книга, нужная каждому и всегда (О книге Вл. Воронцова «Симфония разума»). № 2.
- МЛЕЧИНА И.— Литература, критика, жизнь (О книге «Творчество и жизнь. Литературно-художественная критика в ГДР»). № 9.
- НАРКИРЬЕВ Ф.— Эмиль Золя и другие (О книге А. Пузикова «Портреты французских писателей. Жизнь Золя»). № 3.
- НИКОЛАЕВ Владимир — Правда против лжи (По страницам трех изданий: «О свободах подлинных и мнимых», «Правда о культурном обмене»; В. С. Коробейников «Духовное общение. Обмен информацией. Идеологическая борьба»). № 6.
- От конфронтации к разрядке (О книге Льва Толкунова «Трудные дороги мира»). № 8.
- США: политика и нравы (О книге Тома Уикера «На арене со львами»). № 10.
- За добрые контакты. (О книге В. Сырокомского «Что они знают о нас»). № 12.
- НИКОНЕНКО Ст.— Вечно живое (О книге Хайнца Штерна, Дитера Вольфа «Великое наследие»). № 6.
- ОСИПОВ В.— Надежный помощник партии (О книге Е. М. Тяжельникова «Союз молодых ленинцев»). № 12.
- ПАНКОВ Александр.— Свет памяти (О повести Виктора Степанова «Рота почетного караула»). № 6.
- По дорогам войны. (О книге Константина Симонова «Разные дни войны»). № 8.
- Экзамен перед «вечным спутником» (О повести Н. Евдокимова «Страстная площадь»). № 10.
- ПАНЧЕНКО Т.— Ленин читает (О книге Ю. Шаропова «Ленин как читатель»). № 4.
- ПЕТРЕНКО Н.— «...Как обречен любить поэт» (О книге Ибрагима Юсупова «Стихи»). № 3.
- Вписать свою строку... (О книгах В. Еременко «За синими ночами» и «Свой хлеб»). № 12.
- ПОЛТОРАЦКИЙ Виктор — Река жизни (О книге Юрия Грибова «Семь домов у Куньгоры»). № 4.
- ПОЛЬСКИЙ Ю.— В интересах народа. (О книге «Советская демократия в период развитого социализма»). № 7.
- ПРИЙМА А.— Голоса молодых (Об альманахе «Мы — молодые»). № 2.
- От сердца к сердцу. (О книге стихов Андрея Дементьева «Рядом ты и любовь»). № 9.
- ПРИЛЕЖАЕВА Мария — Капитан Земли (О сборнике «Капитан Земли»). № 10.
- РАЗУМНЕВИЧ Вл.— Окно в мир прекрасного (О книге Александра Баркова «Мои друзья»). № 12.
- РОЗИН Александр — «Чтоб твое осталось дело...» (О книге А. Харитоновой «Добрый след»). № 1.
- РУМЯНЦЕВ Евг.— Испытание повседневностью (О книге «Опережая время»). № 3.
- САНИН В.— Пути-дороги. (О книге Майи Ганиной «Дальняя поездка»). № 1.
- СВЯТОГОР Р.— Эстафета поколений (О книге Е. Н. Микулиной «Завещаю тебе дорогу»). № 7.

- СИНЕЛЬНИКОВ М.— Человечность искусства. (О книге Михайла Гуса «Во имя человека»). № 2.
- СКОРИНО Л.— Путь исканий (О книге В. Литвинова «Характер — это судьба»). № 8.
- СТАРШИНОВ Н.— «Без слова поэта — грядущего нет...» (О книге Михаила Львова «Избранное»). № 1.
- СТОЯНОВСКАЯ Е.— Листая страницы журналов. Слово, несущее жизнь. (О журнале «Вопросы литературы» № 12, 1976 г.) № 4.
- СТРЖИЖОВСКИЙ Лев— Прочтение — открытие (О сборнике «Современная финская повесть»). № 3.
- Творческая встреча в журнале «Знамя». № 1.
- ТРОФИМОВА И.— Во имя жизни на Земле (О сборнике «Общественность и проблемы войны и мира»). № 6.
- ТУРБИНА В.— По страницам журналов. Москва рабочая, литературная (О журнале «Литературное обозрение», 1976 г., № 12). № 3.
- УВАРОВ В.— Добрый талант (О книге Владимира Мирнева «Перелетное время»). № 9.
- ФЕДОРОВ Игорь — «Поэзия есть во всем...» (Об избранных произведениях Евгения Винокурова в двух томах). № 6.
- ФИШ Радий — У порога взрослости. (О книге Николая Студеникина «Невеста скрипача»). № 10.
- ХОТИМСКИЙ Борис — Рыцари справедливости (О книгах Владимира Гусева «Легенда о синем гусаре», Георгия Метельского «Неповторимый», Франца Таурина «Без страха и упрека»). № 4.
- ЮНИНА Любовь — Хлеб и проза (О книге Н. Толченовой «Хлеб и проза»). № 7.
- «Через труды тяжкие — к звездам» (О романе П. Проскурина «Имя твое»). № 10.
- Вышли из печати. №№ 1, 2, 4, 6, 7.



Главный редактор — **В. М. КОЖЕВНИКОВ.**

Редколлегия: **С. М. БОРЗУНОВ, В. П. ГЕРБАЧЕВСКИЙ, Г. А. ЖУКОВ, Г. П. ЗЛОБИН** (зам. гл. редактора), **В. В. КАТИНОВ** (зам. гл. редактора), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, С. М. КОВАЛЕВ, М. С. КОЛЕСНИКОВ, А. Ю. КРИВИЦКИЙ, В. О. ОСИПОВ, Р. В. СВЯТОГОР** (отв. секретарь), **Л. И. СКОРИНО, С. В. СМОЛЯНИЦКИЙ, Д. В. СТАРИКОВ, В. Ф. ТУРБИНА, В. Д. ЦЫБИН.**

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, К-104, Тварской бульвар, 25.
Телефоны: главный редактор и ответственный секретарь — 202-04-49, секретариат и заместитель главного редактора — 202-30-29 и 202-73-10, отдел прозы — 202-71-97, отдел публицистики — 291-04-43, отдел критики и библиографии — 202-67-79, отдел поэзии — 202-98-80, зав. редакцией — 203-01-57.

Технический редактор **В. С. Пашкова.**

Сдано в набор 14/X 1977 г.
Формат 70 × 108¹/₁₆.

А 10743.
Усл. печ. л. 22,40

Подписано к печати 15/XI 1977 г.
Учетно-изд. л. 23,27

Тираж 170 000 экз.

Изд. № 2723.

Заказ № 1245.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЬ НАДЕЖНО, ВЫГОДНО И УДОБНО ХРАНИТЬ СВОИ ДЕНЕЖНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ.

Сберегательные кассы принимают вклады нескольких видов:

● **ВКЛАДЫ** до востребования принимаются на неограниченный срок, их можно в любое время пополнить или получить по частям или полностью. По вкладам до востребования выплачивается доход из расчета 2% годовых;

● **СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ** принимаются на срок не менее шести месяцев. Срочный вклад нельзя пополнить или получить частями. Каждый дополнительный взнос оформляется как новый срочный вклад. Если вкладчик желает получить часть срочного вклада, то данный счет по вкладу закрывается, а на оставшуюся часть открывается новый срочный вклад. По срочному вкладу выплачивается доход из расчета 3% годовых;

● **УСЛОВНЫЕ ВКЛАДЫ** — вносимые на имя лица, которое может распоряжаться вкладом лишь при соблюдении определенных условий или при наступлении обстоятельств, указанных при внесении вклада: например, после окончания учебного заведения или достижения вкладчиком совершеннолетия и т. д. По условным вкладам выплачивается доход из расчета 2% годовых;

● **ВЫИГРЫШНЫЕ ВКЛАДЫ** отличаются от всех других вкладов тем, что доход по ним выплачивается в форме выигрышей. Тиражи проводятся два раза в год — в апреле и октябре. На 1000 счетов в тираже разыгрывается 25 выигрышей: один выигрыш в размере 200%, два выигрыша по 100%, два — по 50% и двадцать выигрышей по 25% среднего остатка вклада за истекшее полугодие, на который выпал выигрыш;

● **ВКЛАДЫ НА ТЕКУЩИЕ СЧЕТА**, которыми вкладчики распоряжаются путем выдачи чеков: именных или на предъявителя. По вкладам на текущие счета доход выплачивается из расчета 2% годовых.



Российское республиканское управление Гострудсберкасс